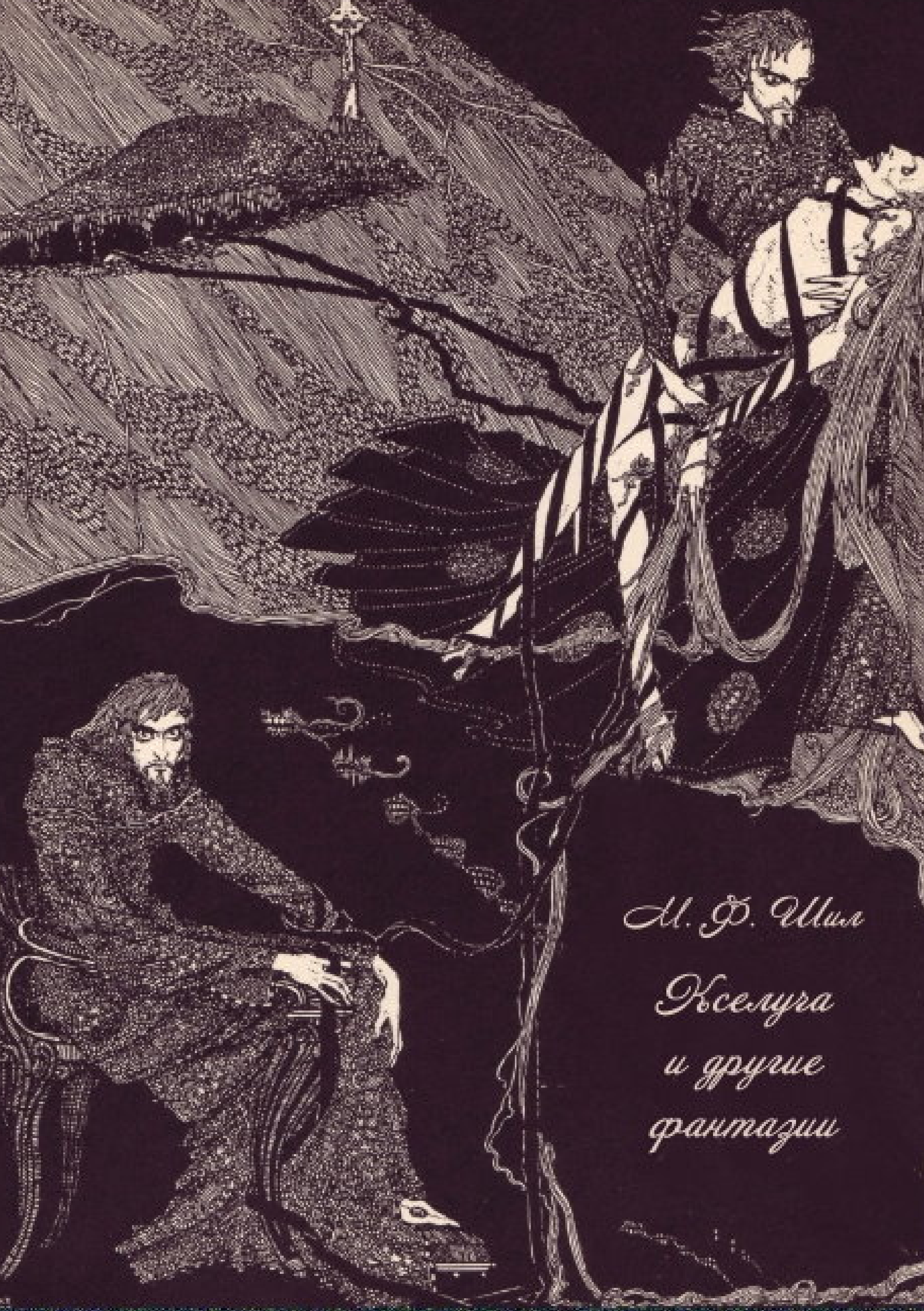

М. Ф. Шил
Кселуча
и другие
фантазии

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCXXVIII



Salamandra P.V.V.

М. Ф.
ШИЛ

КСЕЛУЧА

и другие фантазии

Salamandra P.V.V.

Шил М. Ф.

Кселуча и другие фантазии. Сост. и прим. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 462 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXXVIII).

В книгу вошли избранные и давно ставшие классическими рассказы и новеллы Мэтью Фиппса Шила (1865-1947), мастера темной фантазии, великолепного стилиста и одного из самых заметных авторов викторианской и эдвардианской декадентской и фантастической прозы.

Британский писатель, литературными творениями которого восхищались Х. Л. Борхес и Г. Ф. Лавкрафт, впервые представлен в таком объеме и в рамках одной книги, включающей все считающиеся «каноническими» малые произведения.

В издание включен весь материал книги «Князь Залесский» и трехтомного собрания рассказов, выпущенных издательством Salamandra P.V.V. в 2013-2019 гг.; также добавлен рассказ и две новеллы, ранее не переводившиеся или не переиздававшиеся.

© Translators, переводы, 2019
© A. Sherman, состав, примечания, 2019
© Salamandra P.V.V., оформление, 2019



КСЕЛУЧА

И ДРУГИЕ ФАНТАЗИИ

КСЕЛУЧА

Тотчас он пошел за нею... и не знает....

(Из дневника)

Три дня тому! Клянусь небесами, кажется, миновал целый век. Я воистину потрясен — мой разум поддался соблазну. И тогда я впал в мгновенную кому, в точности схожую с приступом *petit mal*. «Гробницы, черви, эпитафии» — вот что мне виделось. В моем-то возрасте, с моим телосложением ходить шатаясь, как старик после удара! Но все это пройдет: я должен собраться — разум мой повредился. Три дня тому! словно миновал целый век! Я сидел на полу перед старинной шкатулкой, полной писем. На глаза мне попалась стопка посланий от Космо. Никак, я забыл о них! о, они увядают! Нет, я более не вправе считать себя молодым. Я сидел и бездумно читал, унесенный воспоминаниями. Витать в прошлом смерти подобно! *этой* дурной привычке я обязан свернуть шею или погибнуть. Я снова прошел лабиринтом гармонических орбит менуэта, вновь кружился в вальсе, видел вокруг удлиненную пышность канделябров, разгар и буйство вакханалии. Космо, сей царь и махараджа сибаритов! Приап *détraqués*! В укромных уголках римской виллы стояли на высоких постаментах кушетки, окруженные и полускрытые *зеркалами* в рамах чистейшего золота. Чахотка пожирала его; усаживаясь наконец за стол, он дрожал в ознобе, не в силах поднять бокал с вином! глаза его были подобны двум светлякам, тесно обвившим друг друга! вкруг них будто мерцали дымные эманации фосфора! Отчаянна, как понимал всякий, была его потаенная борьба с Пожирателем. Но до конца оставалась покойна царственная улыбка; до кон-

ца — до последнего дня — он пребывал для смешной и жалкой толпы бесспорным корифеем всех обрядов, не скажу Пафоса, но Хамоса! и Ваал-Фегора! Согрев свою кровь, он не отказывался от бражничества, пляски, темноты покоев. Его опочивальня была черна, без единого луча света, круглой формы; к ней вел секретный проход; в воздухе струились ароматы бальзамических курений, бдолаха, едва различимые звуки кимвалов и флейт; комната была уставлена сотней оттоманок Марокко. Здесь Люси Хилл пронзила сердце Какафого, приняв шрам на его спине за отметину Сориака. Здесь в малахитовой ванне принцесса Эгла, проснувшись поздно однажды утром, нашла бездыханное, окоченевшее тело Космо, полностью сокрытое водою.

«Но во имя Господа, Мериме!» (так писал он), «подумать, что Кселуча мертва! Может ли лунный луч уступить гною? Могут ли сожрать радугу черви? Ха! ха! ха! Смейтесь со мною, друг мой: *elle dérangera l'Enfer*! Да она и сам Тофет познакомит с *pas de tarantule*! Кселуча, воплощение женственности! Кселуча, напоминающая обольстительных блудниц древности! Плачьте со мною — manat rara meas lacrima per genas! умелая, как Фаргелия; образованная, как Аспазия; розовая, словно Семирамида. Она понимала сосуд человеческого тела, друг мой, его тайные пружины и восторги тоньше любой из дышащих *savants* Саламанки! *Tarare* — ведь Кселуча не мертва! Живое начало не подвержено смерти; и пламя не завернуть в саван. Кселуча! Где же ты? Вознесена, быть может — живою взята созвездием на небо, подобно дочери Леды. Она отправилась в Индостан, в сопровождении кортежа и почестей бегумы, грозясь свершить набег на императора Татарии. Я заговорил о запустении Запада; она поцеловала меня и обещала вернуться. Упоминала и о вас, Мериме — “ее Завоевателе” — “Мериме, Разрушителе Женщин”. Ветерок из оранжереи плясал средь янтарных дуновений ее локонов, вздымая их легкой волной над тем розалиновым румянцем, что вам так памятен. Убранная с головы до ног, она, милый мой, обладала утонченной грациозностью маргаритки, отраженной в воспаленном зраке созерцающего быка. Строки Мильтона,

сказала она, многие годы возбуждают страсть ее Взора: «Среди пути, на степи Серикаaны, где легкий, тростниковый свой возок, Китаец, парусами оснастив, по ветру мчится». Я и сабеи, заверила она меня, ошибочно сочли Огонь мерилом всех вещей; другая половина мироздания — идеальный свет Аристотеля. В *Ourania Hierarchia* и книге Фауста налицо цельность: горящий Серафим, Херувим, исполненный очей. В Кселуче соединились они. Она вернется, вновь завоевав Восток под эгидой Диониса. Слыхал я, что она ярко пылала в Дели; ее везли на колеснице, запряженной львами. А после тот слух — полагаю, ложный. И впрямь, источник его сомнителен. Как Один, Артур и прочие, Кселуча явится снова».

В скором времени Космо лег в малахитовую ванну и уснул, укрывшись одеялом воды. Ко мне же, в Англию, доходили лишь отрывочные вести о Кселуче: сперва она была жива, позднее мертва, затем сожжена в древнем Фадморе пустыни, ныне Пальмире. Мне было все равно — Кселуча давно стала для меня прахом яблок Содомских. И до тех пор, пока я не извлек из ларца письма Космо, она не посещала моей памяти.

В последние годы я привык проводить большую часть дня во сне, тогда как ночами я блуждаю по городу под успокоительным воздействием тинктуры, сделавшейся для меня необходимой. Подобное теневое существование не лишено известного очарования; и немногие, думается мне, сумели бы длительное время подвергаться влиянию этих чар, не испытывая воспарения чувств, глубокого благоговейного трепета. Путешествие наедине с Изначальным по определению торжественно. Луна отливает бледным сиянием болотного огонька, Ночь непроглядна, как склеп. В Никс не меньше от Танатоса, нежели от Гипноса, и горькие слезы Изиды льются потоком. В три часа ночи, если рядом проезжает экипаж, звук обретает величие громовых раскатов. Как-то часа в два, на углу, я приметил священника; он сидел, мертвый, зловеще оскалившись, подогнув ноги. Одной рукой он опирался о колено и наискось воздевал окостеневший указательный палец. Путем тщательных наблю-

дений я установил, что он указывает на Бетельгейзе, звездную *альфу*, что подпирает плечом влажный меч Ориона. Он жутко раздулся, погибнув от водянки. Во всем Возвышенном есть, безусловно, доля *grotesquerie*; и средь сынов Ночи — попадается и Буффо.

На лондонской площади, пустынной, вероятно, и днем, я внезапно услышал металлический, серебряный стук каблучков. Было три часа, стояла мрачная зимняя ночь; день тому я нашел письма Космо. Я стоял у парапета, глядя, как плывут облака, словно по велению луны, просоленного морем капитана в хмуром плаще. Обернувшись, я увидал прелестную дамочку, весьма победоносно одетую. Она подошла прямо ко мне. Ее голова была непокрыта и увенчана янтарной волной волос, небрежно собранной на затылке в усеянный драгоценными камнями узел. Изобилием щедрого декольте она напомнила мне Парвати, крутобедрую богиню любви из соблазнительных грез браминов.

Она обратила ко мне вопрос:

— Что ты там делаешь, милок?

Ее красота взволновала меня, а ночь — *bon camarade*. Я ответил:

— Загораю под лучами луны.

— Все это заемный глянец, — парировала она, — ты начитался «Цветов Сиона» старины Драммонда.

Вспоминая теперь об этом, я не могу сказать, что ее замечание поразило меня, хотя и должно было — разумеется — поразить.

— Нет, клянусь всеми фибрами души, — отозвался я, — но ты?

— Не так уж трудно догадаться, откуда явилась *я*!

— Ты ослепительна. Пас, конечно.

— О, бери дальше, сын мой! Скажем, с благотворительного бала в Сохо.

— Неужели?.. и одна?.. по холоду? пешком?..

— Что поделать, я стара годами и к жизни отношусь философски. Могу представить тебя верхом на Андромеде рядом с оседланным Овном. Ошибается, месье, тот, кто мыслит атмосферу на видимой стороне Луны. Но у меня есть резоны

считать, что на Марсе обитает раса, чьи веки прозрачны, как стекло; и глаза их видимы, когда они спят; и всякий сон являет наблюдателю крошечную панораму на просвечивающем сквозь веки зрачке. Не воображай, что я всего лишь заурядная *fille*! Согласиться на провожатого значит признать себя женщиной, что неуместно в Нигде. Младая Эос правит колесницей, запряженной четверкой коней, но Артемида «прогуливается» в одиночестве. Не заслоняй мне остаток света, Диогена ради! Я иду домой.

— И далеко это?

— Близ Пикадилли.

— Может, экипаж?

— *Мне* экипаж не требуется, благодарю. Дом мой совсем близко. Пойдем.

Мы тронулись в путь. Спутница моя, не медля, воздвигла меж нами дистанцию, процитировав из «Испанского курата» изречение о том, что открытый воздух враждебен любви. Талмудисты, дважды со значением заметила она, справедливо считали руку самой священной частью тела; поэтому и здесь на соприкосновение в настоящий момент был наложен запрет. Походка ее отличалась чрезвычайной стремительностью. Я следовал за нею. Нигде не было видно и кошки. Наконец мы остановились у двери особняка на Сент-Джеймс. Ни проблеска света в доме. Он казался безжизненным, на лишенных штор и занавесок окнах местами было выведено слово «Сдается». Моя спутница, однако, вспорхнула вверх по ступенькам и с пригласительным жестом вошла в дом. Я, поднявшись следом, захлопнул дверь и очутился в темноте. Я слышал, как она поднимается; затем островок света озарил широкий изгиб мраморной лестницы. На пролете, где я находился, не было ни ковра, ни каких-либо предметов мебели; повсюду лежал толстый слой пыли. Я двинулся было по лестнице, когда она, к моему удивлению, вернулась, приблизилась ко мне и прошептала:

— На самый верх, дорогой.

Опережая меня, она проворно взлетела по ступенькам. Чем выше мы поднимались, тем меньше оставалось у меня сомнений в том, что дом, за исключением нас, был необи-

таем. Везде царила пустота, полная лишь пыли и отголосков эхо. И тем не менее, наверху из открытой двери струился свет; и я вошел в просторную овальную гостиную, расположенную примерно по центру особняка. Я был совершенно ошеломлен неожиданным блеском комнаты. Посередине стоял накрытый квадратный стол, ломившийся от золотых приборов, фруктов, посуды; над ним три тяжелых канделябра изливали электрический свет; я также разглядел на столе (что показалось мне очень *странным*) небольшой подсвечник обычного олова со старым, замызганным и кривым огарком дешевой жировой свечи. Гостиная производила впечатление роскоши, сравнимой с ассирийской. Кушетка слоновой кости в дальнем конце уподоблялась солнцу благодаря изголовью из халцедона, служившему морем, где резвились стаи изумрудных ихтиокентавров. Драпировки цвета меди, чередуясь с зеркалами в яшмовых рамах, выгодно оттеняли купол меди и пламени; но этот последний, как я вспоминаю, беглому взгляду казался покрытым копотью. Моя спутница устроилась на изогнутой оттоманке, поднятой вровень со столом на семитский манер; теперь я видел ее всю до кончиков шафрановых шелковых туфелек. Она указала на сиденье напротив. Неуместность его присутствия среди всей этой вызывающей помпезности так позабавила меня, что я не смог удержаться от улыбки: то был грязный, жесткий, простой деревянный стул, причем одна его ножка, как я вскоре обнаружил, была короче других.

Она указала на вино в бутылке черного стекла и высокий бокал, но сама не подала и виду, что собирается разделить со мной угощение. Она возлежала, опираясь на бедро и локоть, *petite*, ослепительная, и мрачным взором глядела куда-то вверх. Я, однако же, выпил.

— Ты устала, я вижу, — произнес я.

— Сколь же мало видишь *ты*! — задумчиво ответила она, едва удостоив меня взглядом.

— Надо же! твое расположение духа вдруг изменилось? Ты помрачнела и замкнулась.

— Тебе не доводилось, я полагаю, видеть коридорные гробницы древней Скандинавии?

— И спешно меняешь темы.

— Никогда их не видел?

— Коридорные гробницы? Нет.

— Они достойны путешествия! Это округлые или продолговатые каменные палаты, прикрытые сверху величественными насыпными курганами; наружу ведет «коридор» из каменных плит. Вдоль стен палаты сидят мертвецы с опущенными на согнутые колени головами и в молчании ведут свою беседу.

— Выпей со мною вина и оставь погребальные разговоры.

— Ты, похоже, глуп как пробка, — отвечала она с ледяной язвительностью. — Ведь это донельзя романтично! Гробницы те, знаешь ли, относятся к эпохе неолита. Когда зубы, один за другим, выпадают из безгубых ртов — они оказываются у мертвецов на коленях. Затем, когда проступает скелет — они скатываются на каменный пол. И после каждый зуб, что падает на пол, резко прерывает тишину.

— Ха! ха! ха!

— О да. Подобно медленному, многовековому, последовательному и вечно возвращающемуся на круги своя просачиванию слизи в далеких пещерах подземных глубин.

— Ха! ха! Вино твое, кажется, ударило мне в голову! Да уж, эти мертвецы изъясняются на языке по преимуществу дентальном.

— Обезьяна, с другой стороны, изъясняется всецело горловыми звуками.

Часы на городской башне пробили четыре. Беседа наша тянулась вяло, прерываемая долгими минутами молчания. Брожение винного восторга охватило мой мозг. Я видел ее словно в тумане; она то разрасталась и начинала дрожать в воздухе, то снова сжималась и обретала изящный облик. Но жажда амурных подвигов угасла во мне.

— Известно ли тебе, — спросила она, — что нашел както маленький мальчик в одном из датских *Kjökkenmöddings*? Истинная жуть! Скелет громадной рыбы с человеческой...

— Думаю, ты очень несчастна.

— Молчи.

— Ты так заботлива...
— Видимо, ты непроходимо глуп.
— Тебя обуревают страдания.
— Ты неразумен, как ребенок. Ты и понятия не имеешь о смысле этого слова.
— Вот как? Разве я не человек? Страдающий, любящий?
— Ты, в сущности, *ничто* — пока не сумеешь сотворить.
— Сотворить что?
— Материю.
— Как напыщенно! Материю невозможно ни сотворить, ни уничтожить.
— Бесспорно, в таком случае, что ты являешься созданием с крайне недоразвитым интеллектом. Теперь мне это очевидно. Материя не существует, в действительности нет такой вещи — материя есть видимость, призрак — и всякий автор, которого не сочтешь последним тупицей, от Платона до Фихте, по доброй воле или невольно доказывал это для твоего же блага. Сотворить означает произвести впечатление реальности на чувства других; уничтожить — провести влажной тряпкой по грифельной доске.
— Быть может. Мне все равно. Поскольку никто не сумеет такое сделать.
— Никто? Ты всего-навсего эмбрион...
— И кто же?
— *Любой*, чья сила Воли равна силе притяжения звезды первой величины.
— Ха! ха! ха! Клянусь небесами, ты решила пошутить! И кто же обладает такой грандиозной волей?
— Их было трое, и все они стали основателями религий. Был и четвертый: сапожник из Геркуланума, один волевой акт которого вызвал катаклизм Везувия в 79 году, в прямом противостоянии с притяжением Сириуса. Есть много больше славных деяний, чем *ты* когда-либо воспевал. И чем больше бесплотных духов, я уверена...
— Ради всего святого, ты полна печали, не иначе! Бедная девочка! давай же, выпей со мною. Вино густое и пойдет тебе на пользу. Сетианское, не правда ли? По вине его ты колышешься и разрастаешься предо мною, подобно пурпурно-

му облаку вечерней...

— Ты таишь одни низменные мысли! — Я об этом и не догадывалась! — ты мне не спутник! твои ничтожные помыслы обращены к низшим сферам!

— Выпьем — забудь свои муки...

— Какую, считаешь ты, часть захороненного тела первой пожирают черви?

— Глаза! глаза!

— Ты *чудовищно* ошибаешься — ты *настолько* далек от истины...

В пылу возражений она склонилась вперед с такой яростью, что оказалась совсем близко от меня. Просторный халат янтарного шелка, с широкими рукавами, сменил ее бальное платье, хотя и не понимал, когда это случилось; я с недоумением заметил ее новое одеяние, когда она широко расставила руки, упираясь ими в стол. Внезапный запах пряностей и флердоранжа, смешанный с мерзостной струей смертности, давно созревшей для могилы, ударил мне в ноздри. Холодок пробежал по моей спине.

— Ты так *безнадежно* обманываешься...

— Ради Бога...

— Ты самым *жалким* образом заблуждаешься! *Отнюдь не* глаза!

— Тогда что же, во имя небес?

Часы пробили пять.

— *Увула*! тот мягкий язычок слизистой плоти, что свисает с нёба над голосовой щелью. Черви проедают кожу лица и щек, или пробираются через губы, сквозь дыру от сломанного зуба, клубятся во рту. Затем они набрасываются на увулу. Это настоящий *деликатес* склепа.

Ее ужасное возбуждение, запах, слова наполняли меня отвращением. Невыразимое чувство собственной незначительности и глупости приковало меня к месту.

— Ты говоришь, что я полна печали. Ты говоришь, что я преисполнена скорби; что я в мучениях скрежещу зубами. Что ж, разумом ты дитя. Ты используешь слова, не сознавая их значения, словно пребываешь в том, что Лейбниц именовал «символическим сознанием». Но если это и так...

— Это так.

— Ты ничего не знаешь.

— Я вижу, как ты корчишься в муках. Глаза твои бледны. Мне показались они карими. Нет, они отливают легкой голубизной фосфорических вспышек, зримых в темноте.

— Это ничего не доказывает.

— Но «белизна» белков окрашена желтизной. Твой взор обращен внутрь. Отчего ты глядишь бледным, столь исстрадавшимся взором внутрь себя, на свою душу? Почему говоришь об одних только могилах, гниении? Глаза твои, кажется мне, заволокла тусклая пелена бесконечных веков бдения, сокрытых таинств и тысячелетий боли.

— Боль! ты так мало *знаешь* о боли! в тебе одно недомыслие и пустословие! о философии и *подоплеке* боли — ты не знаешь ничего!

— И кто же знает?

— Дам тебе намек. Это подсознание наделенных сознанием созданий Вечности, осознание вечной утраты. Малейший укол булавки, но не Пеана и Асклепия, и силы небес и ада способны полностью излечить. Наделенное сознанием тело подсознательно ощущает непреходящую утрату изначальной целокупности, и «боль» есть знак той трагедии. И чем сильнее боль — тем сильнее, значительней утрата. Самой невосполнимой потерей является, конечно, утрата Времени. Лишившись его, любой частички его, погружаешься в трансцендентализмы, в бесконечности Утраты; но утратив его *целиком*...

— Безумное преувеличение! Ха! ха! Ты излагаешь высокопарные банальности в тоске по...

— Ад там, где чистый, свободный Дух подсознательно ощущает утрату Времени; где он кипит и содрогается от зависти к миру живых, в вечной к нему ненависти, в вечной ненависти к сынам Жизни!

— Успокойся же, прошу тебя! Выпей — молю тебя — *умоляю* — ради Бога — хоть *немного*...

— *Кидаться* в силки — вот оно, бедствие! направлять свой корабль к скале *маяка* — вот она, Мара! Проснуться и со всей безнадежностью осознать, что ты пошел за нею — *и были*

там жилища смерти — и нисходили гости ее в преисподнюю — *а ты и не знал*! — но *мог бы*. Взгляни в предрассветное окно на дома града сего: и нет никого, говорю тебе, но обитает в нем некая душа, что скитается по стародавним подмосткам театра своего Дня — и понукает воображение тысячью детских фокусов, подобий — и на мгновение тешится иллюзиями обмана, воображая, что она *все еще жива*, что возможность жизни не утрачена ею безвозвратно и навсегда — но расщепленная далекой памятью утраченного Лета, истекшего мгновения света меж двумя провалами вечного мрака — вдребезги разбитая, говорю и кричу тебе — разбитая, *Мериме, всеразрушающий демон*...

Она вскочила на ноги и выпрямилась во весь рост между оттоманкой и столом, показавшись мне теперь *высокой*.

— Мериме! — вскричал я. — *Мое* имя, блудница, произнес твой безумный рот! Бога ради, женщина, ты до смерти пугаешь меня!

— Твое имя? Уж не думаешь ли ты, что я не знаю твоего имени, как и всего, с тобою связанного? Мериме! Не ты ли сидел вчера на полу, читая обо мне в письме Космо?

— А-ах... — мои иссохшие губы кривились в истерике плача и смеха. — Ах! ха! ха! Кселуча! Память моя застыла и посерела, Кселуча! пожалей меня — ибо иду долиной смертной тени! — увядший и старый! — погляди на мои волосы, Кселуча, на эти седые пряди! — погляди на меня, дрожащего, омраченного! — я не тот, кого знала ты во дворцах Космо! Ты Кселуча!

— Ты бредишь, ничтожный червяк! — воскликнула она с искаженным гримасой злобного презрения лицом. — Кселуча умерла от холеры десять лет назад, в Антиохии. Я сама отерла пену с ее губ. Нос ее успел сильно разложиться еще до похорон. Он так глубоко ушел в мозг, что левый глаз...

— Ты — *ты Кселуча*! — взвизгнул я. — В голове моей воют громоподобные голоса — и клянусь святым Господом, Кселуча, пусть и испускаешь ты на меня тлетворное дыхание ада, я сожму тебя в объятиях, — живую или проклятую навеки...

Я бросился к ней. И тогда я услышал слово «Безумец!», что будто прошипели языки десятка тысяч змей; порыв губительного разложения исторг в гнилостный воздух ядовитые испарения; на мгновение перед моими дико блуждающими глазами воздвиглась, раздуваясь до самого купола, бесформенная башня изорванного облака, и прежде, чем мои протянутые руки обняли самую опустошенность пустоты, непреодолимая гигантская сила неведомого Бегемота швырнула меня назад, к дальнему закруглению овала, где я ударился головой о стену и рухнул, лишившись сознания.

. . . .

Когда солнце начало клониться к закату, я очнулся и долго лежал, равнодушно созерцая закопченный потолок, кривой стул, оловянный подсвечник и бутылку, из которой я пил. Стол был маленьким, грязным, вполне обыкновенным, без скатерти. Казалось, он простоял там много лет. Помимо этих предметов, комната была пуста; видение роскоши растворилось без следа. Внезапное воспоминание промелькнуло перед глазами. Я с трудом поднялся и, пошатываясь и спотыкаясь, выбежал с истошными криками на сумеречную улицу.

ТУЛСА

(Перевод с обгоревшей индийской рукописи)

Замечательней всего, я часто думаю, то наследие жизненной силы, коего я был изначально удостоин. Прошедшие сто двадцать лет не обесцветили ни единого волоса в моей черной, как вороново крыло, гриве. Память моя по-прежнему острее, чем у многих людей. Мой взор не потускнел. Но конец, сомнений нет, уже близок. Сто и двадцать лет было великому Буддху, принцу Уде, когда он перешел в бесконечный мукут; в этом же возрасте скончался и тот, кого называли моим отцом и, говорят, также *его* отец и, насколько мне известно... — но подобные рассуждения легкомысленны.

Странно, что никто из моих подданных никогда не слышал и даже не подозревал о несомненной связи, существующей между Буддхой и моим народом. Он был одним из его сыновей и одним из его отцов. Здесь, в глубине и мраке моего подземелья, я впервые в наши дни поверяю пергаменту этот страшный секрет.

Я говорил о своей памяти, но, по крайней мере с одной стороны, на древе нет ни цветов, ни листьев. Все мое детство пролетело так бесследно, как если бы у меня никогда *не было* детства. Много и много дней я провел, отрешившись от вселенной и погрузившись в созерцание этой тайны. Но и самые напряженные усилия не помогли мне озарить темноту ни одним лучом воспоминаний. Я помню, правда, когда и как пробудился к осознанию себя; но все, что этому предшествовало, теряется в черноте тьмы. Я открыл глаза в пещере, выдолбленной в естественной скале. Я лежал на спине в гробу из красного камня. Красноватая ткань, усыпанная драгоценными камнями, укрывала мое тело, но ее складки продолжались и дальше, за ногами, как будто покров

предназначался для человека большего роста. Сам гроб был достаточно велик, чтобы вместить тело взрослого мужчины. Я долго лежал, сначала в полудреме, затем с растущим осознанием своего существования. Я встал из гроба, сбросил с себя погребальный покров, выполз из каменного склепа. Я посмотрел на свои руки и ноги, руки и ноги подростка, и увидел, что они соразмерны, стройны, коричневы и красивы. Я готов был закричать от восторга и восхищения. Но слуха моего достиг голос льва. Я сразу ощутил ужас, узнав в нем врага. Солнце заходило. Я был в джунглях, посреди непостижимого леса.

Ночью я узнал миллионоликую жизнь дикой природы. Я ликовал, ускользая благодаря гибкости тела от бешеного слона и крадущегося тигра; я без страха глядел на обезьяну и неукротимого зебу; но когда я увидел *змею* — отталкивающую, как проказа, — ненависть и отвращение охватили меня, и я, задыхаясь от испуга, взобрался на ветви дерева.

С утренним светом я достиг края леса и вышел к величественному городу, полному воздушных, ажурных зданий, пронизанных светом, как видение; город лежал в долине, окруженной цепью высоких голубых гор, с которых сбегало множество потоков; и все это отражалось в овальном озере, занимавшем почти всю оставшуюся часть долины. При виде этого зрелища, насколько припоминаю, у меня в сознании впервые возникла идея *Времени*; я погружался в прошлое, эон за эоном, и город вызывал воспоминания, смутные, но реальные и, казалось, старые, как мир. Город тот, чрезвычайно древний, расположен в центре Индостана; он сам по себе представляет царство и остается неведомым.

На окраине меня встретил пожилой жрец. Он быстро и внимательно заглянул мне в лицо и произнес какие-то слова. Я не понимал и не мог ему ответить. Он привел меня в храм, где служил, и в течение трех лет скрывал меня от всех глаз в тайниках святилища. По прошествии этого времени жрец приказал мне отвести его в каменную пещеру и показать гроб, в котором я открыл глаза. Гроб, сказал он, принадлежал городскому магарадже, умершему за год до моего пробуждения. Магараджа скончался в глубокой старо-

сти; говорили, что он обрел всю сумму человеческой мудрости. Его подданные, следуя четко выраженному указанию покойного, не сожгли тело, но положили его в саркофаг в том месте, где, насколько я помню, во мне впервые зародилась сознательная жизнь. Мой наставник Аджиба, брамингуру, объявил меня сыном умершего раджи, которого он до тех пор скрывал. Слова его никто не подверг сомнению, ибо это показалось бы безумным олицетворением неверия — ведь я был живым подобием умершего! Настал день, когда под радостные восклицания народа я взошел на трон во дворце и стал владыкой Лованы.

В числе первых вещей, которые я узнал, было то, что все мои предки славились и почитались при жизни в качестве людей, достигших святого спокойствия йоуга; что, согласно старинным хроникам, все они без исключения оставляли заботы дурбара [или государства] своим министрам, чтобы во внутреннем дворце предаваться исканиям глубин мудрости. И во мне проявилось то же стихийное и неудержимое стремление. Я сделался своего рода йати, решив, что буду преумножать свои знания и познавать природу вещей, дабы обрести понимание высшей тайны. Годы бежали быстро. Я изучил множество языков, узнал мудрость эллинов, зооморфизм египтян, высоту пирамид Хуфу и Шафры. В напряженных размышлениях проходили мои серые дни. Я прочитал в иудейском свитке историю Мелхиседека, царя Салимского, священника Бога Всевышнего, не ведавшего ни отца, ни матери, ни начала своих дней, ни их конца. Я узнал, как Будда, плод моего родословного древа, был самым чудесным образом рожден своей матерью Майей. Волнующие тайны мира приводили меня в содрогание; язык мой трепетал, глаза закатывались и экстаз сменялся экстазом. Я проследил тщеславие и величие человека до их потаенной сердцевины. Я искал смысл религий: откуда они приходят, куда уходят?

Спустя много лет после взошествия на престол я обнаружил документ, затерянный в пыльном древлехранилище и пожелтевший от времени. Прочитав его, я упал без чувств на агатовый пол и пролежал там весь день и всю ночь, как

мертвый. Это было повествование, записанное на пергаментном свитке, и из него я узнал о мрачной судьбе, постигшей первого из моего рода. Его звали Обал, и он оставил дом свой за сто лет до того, как Аврам, от которого родились иудеи, как пески морские, покинул Харан. В странствиях жаждал Обал постичь мудрость и узнать нравы людей. Он путешествовал, пока не достиг Ура Халдейского, одного из первых городов, построенных руками каменщика и ремесленника. Это было в Месопотамии, называвшейся Нахараим. Здесь обитали приверженцы сабеизма, положившего начало иерологии парсов. Доктрина уходит глубоко к корням Вселенной. С ней частью связаны фаллические культы и — много теснее — *змеепоклонничество*; ибо, поскольку туманные созвездия далеких небес принимают форму *змеи* и отражают ее судорожные корчи, мы видим здесь связь — достаточно глубокую, достаточно ужасную — между Пламенем и Змием; а поскольку Огонь есть пытка, то и Змий — подходящий символ Ада. Отсюда мудрость иудейского змеиного мифа об искушении и грехопадении человека; и это также объясняет, почему сабеане, поклонявшиеся в первую очередь небесному воинству огня, также почитали змеиную нечистоту. В Уре сердце Обала соблазнилось лицемерной красотой Звезды и Луны; он стал приверженцем огня и змия. В течение многих лет он вел в Уре мирную и ученую жизнь и лишь в глубокой старости его настиг приговор Судьбы. Во дворе храма Ашторет он увидал девушку-жрицу, чья красота воспламенила его сердце. Ее звали Тамар. Она дала обет целомудрия. Удалить ее от служения Богине было бы гнуснейшим преступлением. Обал это знал, но он, похоже, был человеком смелых взглядов и безудержной похоти. Он нашел случай поговорить с девушкой; мерзость любви стала меж ними взаимной; он женился на ней. Не считайся он в Уре великим человеком, его, несомненно, забили бы камнями вместе с вероотступницей. Но они жили так долго и так счастливо, что казалось, будто небеса не замечали святотатства. Наконец Тамар умерла. Обал был очень стар. В ночь накануне ее путешествия к гробнице патриарх возлег с нею — в последний раз — на ложе из слоновой кос-

ти, где недвижно вытянулось ее тело. Он уснул. Утром евнухи, войдя в покои, нашли Обала мертвым. Его лицо и вытаращенные глаза почернели от скопившейся крови. Вокруг его горла обвилась змея, вся красная, словно пламя текло в ее венах. Тела Тамар нигде не было видно.

Я рассказывал, что упал в обморок и лежал, как мертвый. Это было странно, так как я уже далеко зашел по пути познания и осознавал древность и универсальность суеверий, всегда проявляющихся в определенном историческом метаболизме. Мой ум стремился к точному. В то время как Йокайя верят, что не существует ничего, кроме знания, вещи же являются только его формами, а Медхимук считают, что и знание, и вещи являются *солнцем*, или ничем, и что само Все — лишь призрачный покров, наполовину скрывающий вечное Сияние, я, признавая стройность этих синтезов догм, обязан признаться, что духовные склонности вели меня в другую сторону, к полной вере в материю и в истинность чувств. Поэтому я все более и более тяготел к мысли, что никакое жизненное явление не может быть истолковано иначе, как посредством «естественных» по сути своей фактов. *И все-таки* эта история, отголосок старого и исчезнувшего мира, разодрала мою душу, подобно завесе. Я даже не стану пытаться изъяснить эту тайну. Вот секрет, слишком темный — слишком темный — для речи. Народы далекого Запада толкуют о Божестве, которое вечно страдает, страдает и страдает — как будто лопающийся мозг человека в силах осознать эту мысль и жить! Желтый брамин, с другой стороны, бреет голову и с легким сердцем, полным лукавства, обсуждает ленивого Бримму, всеведущего, но окутанного инертностью, как мантией. Я же ничего не скажу. Это предмет, *источающий ужас*. В одной доктрине, по крайней мере, видится безопасность; в другой — если ее применить — безумие вечное. Потому не следует понимать все так, будто я придерживаюсь этой второй: кто поверит, если я скажу, что тайной воздействия, которое произвела на меня история Обала, была *память*? Не сочли бы мои слова бредом безумца, если бы я стал это утверждать — смутно, но убежденно — окольно, но без тени сомнения — ах! в том,

что касается *этой* тайны, да зажмет молчание своей рукой губы опрометчивости!

Теперь я принялся усердно изучать род царей, правивших Лованой с незапамятных времен. Факты, с которыми я столкнулся, были поразительны. Именно тогда я впервые узнал, что Буддха, который, как и Обал, покинул свой дом, пылая страстью к мудрости, был одним из нас. Я обнаружил, что все пятьдесят царей по прямой линии достигли возраста, далеко превосходящего обычный срок человеческой жизни; что более половины взяли в жены не индуисток, а веривших в Зенд-Авесту, последовательниц Зороастра, *огнепоклонниц*; что по меньшей мере десять из них покинули свое царство и скитались по Азии в бедности и безвестности, гонимые преступной страстью нашего рода к *каббале* познания; что не менее двадцати пяти — среди них и мой предшественник — встретили свою смерть от укусов ядовитых змей; что все они были женаты; и что смерть ни одного из них не предшествовала по времени смерти его супруги.

Когда я понял зловещий смысл всего этого, я в полутемной комнате, которую сделал своей обителью, пал лицом ниц и поклялся в сердце своем тремя клятвами, призвав в свидетели все силы Вселенной: я преуменьшу и, если будет необходимо, вовсе погашу горящую во мне жажду познания; я никогда и ни с какой целью не покину свою землю и этот дом; никакая дщерь человеческая никогда не станет моей женой.

Я призвал своего *девана* и двух других государственных мужей и повелел им издать указ, обещавший десять рупий серебром в награду за убийство каждой из змей в моих владениях.

— Ваш отец издал такой же указ, — сказал главный министр.

Я вздрогнул.

— И, — сказал другой, — единственным видимым последствием было невероятное увеличение числа змей в округе.

— Что прежде всего выражалось, — прибавил третий, — в быстром размножении неизвестного вида, отличавшегося необыкновенной окраской и крайней злобой.

Эти рассказы произвели на меня глубокое впечатление. В то время, думаю, мне исполнилось пятьдесят. С тех пор я еще решительней, чем прежде, отгородился от людей и, силясь успокоить вечно мятущийся мозг, отдался наслаждениям лотосовой трубки и покою сонного *бханга*. Как джайн, запутавшийся в сетях религиозного легкомыслия, никогда не убивающий живое существо, стремится путем ярых взываний к Паршванатхе и практики самоистязания силой проникнуть в *нирвану* — так я, через другие, более широкие врата, погрузился в *нирвану* ви́дения. Тридцать лет, опаловых, с туманными хроматическими оттенками, пролетели надо мной, как час в ночи. Я был убежденным отшельником; за год едва ли двое из слуг видели мое лицо; деятельная память обо мне ушла от людей. Я все еще изучал — искал — размышлял, но мои искания тонули в умиротворяющем очаровании долгого, долгого транса, гиперборейского сна.

Однажды ночью я гулял во внешнем дворе дворца и любовался «кривым змеем», который извечно тянется вдоль неба. Впервые за много лет я вышел из сумрака своей комнаты. Я был один. До меня донеслись голоса с соседнего поля. Я задумчиво подошел к воротам и заметил толпу людей, стоявших неподалеку. Я давно уже не бывал среди людей; и вот я тихо подошел к толпе и увидал, что она окружила погребальный костер, на котором лежало человеческое тело. То был ритуал *сати*. Рядом стояла очень молодая женщина — высокая, словно богиня — неописуемо прекрасная — в опиатном затмении; ее тело благоухало; ее голова была посыпана сандаловой пудрой — жена покойного, которая посвятила себя огню, что должен был поглотить его тело. Тулса! — госпожа моей жизни — владычица моей судьбы — о, Тулса! Тогда, под луной, мой взгляд впервые упал на эту змеиную фигуру, на эту радужную грацию! Я видел, как одним легким волнообразным движением она взошла на погребальный костер — как этот невесомый дух возлег рядом с

телом мертвеца — и как по углам смолистой груды красное пламя устремилось вверх, вверх! Я был уже в летах — но крепок и гибок; я бросился вперед, с победоносной силой вырвал ее из языков пламени и громко крикнул ропщущей толпе:

— Назад, глупцы — я магараджа!

Не знаю, что за небывалая перемена свершилась во мне. Мой разочарованный дух плясал и танцевал в экстазе новой юности. Да, я поклялся — я поклялся... Но Тулса обладала тем драгоценным качеством глаз, которому греческие мастера дали имя *τό ύγρόν,* «влажность». Чтобы добиться этого эффекта в своих статуях, они чуть приподнимали нижнее веко. Человек — это воплощенная глупость. Рассмотрим только один факт: те же греки верили, что им, единственному из всех народов, присуща так называемая *philosophia* — любовь к тонкостям премудрости; и в то самое время пелись ведические гимны, брамин систематизировал свойства атрибутов Сут, Радж и Тум, а Буддх отрицал, что Брахма, Вишну и Махадева являются эманациями Духа Божьего. Таково врожденное тщеславие и поверхностность человека.

И я тоже был тщеславен и поверхностен! Свою клятву я бросил на ветер. Юношеские страсти, усиленные в миллион раз, пульсировали в моей груди. В моей зенане, так долго пустовавшей, наконец-то появилась обитательница — и звали ее Тулса!

Меня не беспокоили пусть и глубоко укоренившиеся религиозные предрассудки моего необразованного народа, заявившего, что я украл ее из мертвых. Мне нравилось лежать рядом с нею долгие часы и наблюдать, как течет по ее венам ихор, эта кровь богов. Кожа ее бесспорно не походила на кожу индианок, но не припомню, чтобы я когда-либо в точности выяснил, откуда она родом. Знаю только, что Тулса преклонялась передо мной. Мы проводили жизнь вместе в сумеречном полумраке совершенного и счастливого одиночества; и я никогда не пресыщался ее неземным присутствием, не уставал смотреть на странные тонкие рыжеватые пряди в ее иссиня-черных волосах и на вяло-ленивые изгибы ее изысканно мягкой, гибкой и словно шедшей волна-

ми фигуры.

В один недобрый час, когда я, отяжелев от опиатов, лежал в трансе рядом с нею, она узнала от меня историю трагедии, постигшей патриарха Обала.

Она слушала с волнением, с вздымающейся грудью и с напряженным вниманием, причину которого я не мог объяснить.

— Он соблазнил ее, — произнесла она после долгого молчания, с горечью глядя вдаль, — он соблазнил ее и увел от служения небесным богам...

— Да! — Тулса! — он вырвал ее из служения вечному огню...

— А ты?

— Я, моя Тулса? *Я! Я!*

— Да — ты — *ты* похитил меня, посвященную огню, из самого пламени...

Я прижал ее, тяжело дыша, к своей худой груди.

— Ангел! ангел! Нет той силы, что способна превратить твое драгоценное совершенство в ядовитый зуб гадюки!

Так мы проводили свою жизнь. Годы множились и проходили. Тулса приближалась к старости. Ее красота угасла — заметно угасла. С возрастом извилистость ее мускульной и костной систем стала, я должен сказать, слишком заметной, чтобы оставаться привлекательной. Странная кожная болезнь покрыла ее тело множеством маленьких, правильной формы, тускло-красных эритем. Ее глаза покраснели и истекали ревматической слизью. Я ждал, что ее волосы побелеют. Горьким было мое разочарование. Тяжелые, некогда черные волны, ниспадавшие бурным потоком к ее ногам и разливавшиеся по полу прибоем чернильного моря, сперва постепенно, после неуловимо быстро превратились в великолепное, дикое и нечеловеческое подобие огненной мантии.

Она умерла. Я собственноручно запеленал ее труп и помог возложить его на погребальный костер. Смерть среди наших восточных народов, конечно, никогда не бывает приятным зрелищем, но все же я смотрел в последний раз на бледное лицо моей Тулсы скорее с печалью, чем с отвращением.

Мы были одни во дворе дворца. Над нами и вокруг сияла луна и сверкали звезды. Я поднес к хворосту факел: колонна пламени взметнулась, потрескивая, вокруг возлюбленной жертвы.

Я до сих пор не понимаю, как это произошло: то ли огонь поглотил свою жертву с непостижимой быстротой, то ли у меня отнялось зрение из-за болеутоляющих средств, что я принимал в тот день в неограниченном количестве; но промежуток времени, который прошел между тем моментом, когда я поднес факел к груде хвороста, и вторым, когда я поднял глаза на костер, казался исчезающе малым и незаметным — и все же за этот миг, резко опровергая мою оценку его длительности, и хворост, и тело полностью исчезли из глаз.

Я стоял в изумлении, глядя на столб голубого дыма, поднимавшийся в воздух над ничтожной горсткой пепла; и вдруг новое видение — рожденное, быть может, моей фантазией — или тиранией наркотиков — или еще более страшной тиранией яви — видение, несущее на сей раз абсолютный ужас — вторглось в мой разум. Я увидал — или подумал, что увидал — как столб восходящего дыма приобрел кроваво-красный оттенок сардия, и со спазматическим рывком вся высокая и плотная колонна красного дыма раскололась на неисчислимые части; и я видел, как все кольца, и завитки, и истерзанные щупальца, оставаясь отделенными друг от друга, приняли изменчивую змеиную форму, пока все их громадное скопище, сливаясь воедино, не стало извиваться в бесконечном движении, с пустыми глазами и обнаженными ядовитыми клыками.

Ошеломленный иллюзией, я поспешил прочь. Я вошел во дворец и через потайной коридор добрался до покоев, где мы с Тулсой провели годы нашей любви. Из масляной лампы, подвешенной к потолку, лился свет. Я опустился на сиденье и закрыл лицо руками. Шли часы, а я все сидел. Вокруг меня было все наше прошлое — она сама. Как походила на сон вся тайна ее появления, ее пребывания, ее ухода! «Тулса!» — простонал я ее имя и возвысил голос в плаче. — Где же теперь, в каком далеком зеленом святилище океанской пещеры или лазурном уголке небес, таится твоя незем-

ная суть?» Я поднялся, чтобы вверить свое отчаяние ложу, где она любила возлежать, и в полумраке увидел — с дрожью ужаса узрел — свернувшуюся в толстый клубок на постели, поднявшую шею и голову над отвратным гигантским основанием из спутанных колец и пульсирующую по всей своей склизкой длине жирную и омерзительную тошнотворность чудовищной Змеи, глядевшей на меня рубиновыми глазами.

Я бежал из дворца! Потайной ход вывел меня к границе леса. Здесь я наткнулся на протоптанную тропу и пошел вперед, следуя ее извивам. Восходящее солнце нового дня осветило беглеца, торопящегося прочь в дикой панике уже за много миль от башен Лованы.

Так я нарушил свой второй обет, тот, что привязывал меня к дому. Эта мысль пришла мне в голову не скоро. Но оставался третий: никогда по собственной воле не пытаться проникнуть в высшую тайну мироздания, и я всеми силами держался своей клятвы.

. . . .

Годы шли, прошло десять лет, а я оставался все тем же — бродягой, кочующим по Индии. Я путешествовал из города в город, размышляя о нравах людей и выпрашивая хлеб у милосердных. Я бродил по улицам Бенареса, куда Буддха впервые удалился от мира; я стоял под гранитной громадой мечети Джумна Мусджид в Дели; я побывал во всех городах севера.

Но мое паломничество было далеко не бесцельным. Я искал, искал с напряженной скрупулезностью, как ищут зарытые сокровища. Я надеялся найти приют, в котором, совершенно обезопасив себя от замыслов судьбы, я мог бы лечь и умереть естественной смертью остальных людей.

Наконец, в долине Кашмира, я пришел к одинокому индуистскому храму — одной из больших вихар — представлявшему собой продолговатое помещение. Крышу поддер-

живали два ряда огромных каменных колонн, соединенных сводчатыми архитравами; в дальнем, закругленном конце зала высился колосс сидящего Буддхи. Храм был высечен в скале в предгорьях Гималаев.

Хотя на колонне висела горящая лампа, святилище казалось пустынным. Я вошел и двинулся по широкому центральному нефу. В глубине, возле статуи, где, как можно было ожидать, должна была идти сплошная стена, я неожиданно обнаружил открытую дверь. Я прошел через нее и спустился по длинной лестнице, которая привела меня ко второму храму; все вокруг было погружено во мрак; но, случайно нащупав другую дверь, я спустился еще ниже — все ниже и ниже — пока не одолел таким образом шесть лестниц одинаковой длины. К тому времени я, должно быть, уже значительно углубился как внутрь скалы, так и в недра земли.

Еще несколько ступенек, и я вышел в коридор, в конце которого располагалась круглая комната: здесь, очевидно, заканчивалось это грандиозное подземное сооружение. С потолка свисала лампа, отбрасывавшая алый свет. По виду комнаты я понял, что ее не посещали, может быть, целую вечность, и я не мог догадаться, каким образом в лампе поддерживался огонь — разве что к ней были подведены питательные трубки из дальнего, самого первого храма на поверхности; как бы то ни было, при свете я заметил, что замок на двери находился *снаружи*. Твердо решив закончить здесь свои дни, я ступил в подземную камеру и потянул на себя дверь. С радостью услышал я щелчок замка, подписавший мой приговор.

В комнате я нашел небольшой каменный стол и табурет. Я захватил с собой пергамент и письменные принадлежности. Посредством их я изложил свою историю вплоть до этого момента. Я оставлю свои записки тлеть рядом с моими костями. Пока полусладкие муки голода и томление надвигающейся болезни будут овладевать моим телом, я добавлю, быть может, одну-две фразы.

. . . .

Только что я подметил, что эта комната не каменная, по меньшей мере в том, что касается внутренней облицовки. Это, конечно, необычно, но не может быть сомнения, что пол и потолок деревянные, а округлые стены состоят из старого листового железа, обшитого через равные промежутки узкими деревянными пластинами. Тусклый алый свет лампы, несомненно, помешал мне заметить эту особенность с самого начала.

. . . .

Я принес собой некоторое количество опиума. На руках океана радуг я отправлюсь в путь, когда настанет великий час.

. . . .

Опиум хорошо действует, замедляя ток крови и гоня усталое сердце к последним содроганиям. Это ускорит работу голода. Последние пять или шесть часов я провел в роскошной коме.

. . . .

Пощады! Пощады! Несчастный я человек! Эта камера, в которой я — собственноручно — заточил себя, *есть сам подземный ад*! Случайно поднявшись со своего места, я увидел — в тени, отбрасываемой столом, — ужасное зрелище! скелет человека, обгоревший на вид, древний, как гора; нижние конечности отделились от тела, ребра распались на куски, но шейные позвонки еще оставались целы, и вокруг них — свернувшись — в совершенной сохранности и отвратной симметрии — вились позвонки огромной... Нет! только не вновь это слово! Я ударил всем телом в дверь своей тюрьмы, я целый час в безумии колотил своей жизнью, как мо-

лотом, по этой несокрушимости и наконец рухнул на пол.

. . . .

Когда я пришел в чувство, лежа на полу, мне показалось, что я услышал очень слабый звук, исходящий, по-видимому, из-под деревянных панелей. Я прислушался. Это был тихий, хрустящий звук, как будто дерево грызла крыса.

Но едва ли именно это заставило меня так дико вскочить на ноги. Действие мое было непроизвольным, но я скоро понял его причину. Приложив ладонь к дереву, я ощутил на коже заметное *тепло*. Я стал ощупывать листы железа и обнаружил, что и они нагрелись.

. . . .

Это помещение, видимо, находится очень глубоко в недрах земли. Возможно ли, что огромные геологические силы вулканического характера сотрясаются вокруг меня в родовых схватках Ахеронта? Жар пола и стен повышается медленно, но неуклонно.

. . . .

Семьдесят лет назад я дал тройной обет. Сорок лет тому я нарушил первую клятву и женился. Десять лет назад назад нарушил вторую и ушел из дома. Три дня назад я преступил, о, всевидящий Боже, через третью, когда собственноручно заточил себя в этой горестной гробнице. И теперь — наконец! — я познал — с ослепляющей ясностью — предельную, пылающую, сводящую с ума тайну бытия.

Она стара: ее излагали от начала времен, но слушали, как вымысел. Ни одно человеческое сердце не сжимал этот инкуб так безжалостно, как сейчас мое; ни одно глазное яб-

локо так не обжигал, обращая в пепел, этот невыносимый свет. И вот что говорю я полными глупости и ничтожества словами: существует знание, и могут существовать вещи; но все они лишь жалкие призраки одной, Единой Вещи: *Ока, что сияет и сверкает вечно*! Мудры именующие ее Аммон, Бримма, Зеу-Йа, и Ра, и Аллах; но стократ мудрее называющие ее именем *Саранью* [т. е. «Эринии», Противодействие].

. . . .

Я буду вести записи до самого конца, горького и огненного.

. . . .

Что-то скребется, грызет; звук усилился в миллион раз и стал теперь громогласным и непрекращающимся. Он раздается повсюду под полом — скрежещет вдоль каждой деревянной панели — раскатывается за деревянным потолком. Армия существ безостановочно и победно грызет, *грызет*, пытаясь добраться до меня...

. . . .

Я больше не могу касаться ногами пола; каменный стол обжигает; железная облицовка камеры, даже в алом свете лампы, испускает красноватое свечение раскаленного металла...

. . . .

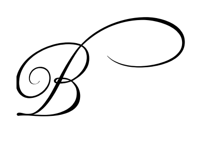
. . . .

. . . .

Тулса! — вновь это имя! — огненная пещь жарчайшего ада! — о, горькая, *горькая* любовь! в самом центре она полыхает. И теперь — ах, теперь — из тысяч отверстий — вокруг, вверху, внизу — высовываются тысячи маленьких и багряных змеиных голов! извиваются — о, желчь Божия! — в экстазе — вытягивают и вновь свивают свои саламандриновые шеи! Багрец, багрец их имя! Но какой Вавилон шипения! Когда-то, во сне, разве не видел я, как она высунула язык, черный и длинный — и теперь — плата, плата за беззаконную любовь! — теперь — о, Великий Господь, — они приближаются — это пылающее пламя червей — теперь — десять тысяч раздвоенных и иззубренных... [следуют три слова, не поддающихся однозначному истолкованию].

БЛЕДНАЯ ОБЕЗЬЯНА

Ни дать, ни взять, как у свиньи. — Аристофан



Вчера я снова стояла у озера, глядя на Харген-Холл; воспоминания подарили мне мысль описать мою жизнь в имении. Вихри морозного ветра выли в ветвях и папоротниках, вороша высохшие березовые листья на южной лужайке; и ни одна птица не пела.

Когда я впервые оказалась здесь, я была молодой девушкой, надо сказать, достаточно веселой; но теперь я познала то, что никогда не забудется; и дни, и волосы седеют вместе.

Наличие в числе моих друзей пяти титулованных имен помогло мне осенью ...08 года получить место в Харгене. Я приехала вечером 10 ноября и не могу забыть странного впечатления, которое произвело на меня поместье; даже когда я очутилась в виду особняка, шум падающей воды наполнил меня ощущением жуткой мрачности — дом почти окружен холмами и утесами, с которых каскадами стекают потоки; тем вечером я разбирала не все, что мне говорили, хотя через два-три дня привыкла к несмолкаемому грохоту.

Лишь четыре дня спустя я встретилась с самим сэром Филиппом Листером — Давенпорт, старый дворецкий, сказал, что у хозяина «недомогание»; но сэр Филипп прислал мне вежливое послание с предложением немного отдохнуть; поэтому в первые дни я только знакомилась с перепадами настроений своей ученицы и бродила по имению, разглядывая все, от «спальни королевы Елизаветы» — над кроватью все еще висел бархатный щит с вышитым серебряными нитями королевским гербом — до обезьян и каскадов. Везде царило одиночество, ибо нас было не более десяти во всей огромной пустыне дома, и только иногда можно было заметить нескольких садовников или грума. Кухня представляла

собой зал, обитый деревянными панелями и похожий на часовню, с витражными окнами, украшенными изображения- шести геральдических щитов Листеров и Линнов, и в громадности этого зала кухарка и ее подручная казались ужасно маленькими и потерянными; и даже горничные редко посещали теперь восточное крыло, разоренное пожаром пятьдесят пять лет назад.

Утром четвертого дня, когда погода расщедрилась на бабье лето, моя ученица впервые показала мне обезьян. Их было три — пара шимпанзе и гиббон — в трех огороженных проволочной сеткой вольерах рядом с восточной линией скал, то есть примерно в шести сотнях ярдов от дома. Там, посмеиваясь и болтая в тени каштанов, они жили своей жизнью, порой разглядывая свои пупы, как восточные философы, или прислушиваясь к пению близких водопадов. В ряду вольеров имелся и четвертый, но он был пуст. Ученица сказала мне:

— Самец, который раньше жил в этом вольере, был гигантом, мисс Ньюнс, и у него было бледное лицо. Он умер за некоторое время до того, как я приехала в Харген, но его призрак является в полнолуние.

— Право, Эсме, — пробормотала я. (Ее звали Эсме Мартагон; она была дочерью маркиза де Мартагона и Маргарет Листер, сестры сэра Филиппа; девочке было в то время двенадцать лет, и она была сиротой — довольно хорошенький эльф с черными кудрями, но изменчивая, как ртуть, то подвижная и живая, то подавленная гнетущей печалью.)

— Но если я сама видела? — серьезно отозвалась она, глядя на меня своими большими глазами.

— Призрак обезьяны, Эсме? — переспросила я.

Вместо ответа она с живостью произнесла:

— Пойдемте, вы услышите!

Она повела меня через парк на север, пока мы не очутились на темной тропе с дрожащей в воздухе моросью: вблизи был один из меньших водопадов. Пробравшись по верхушкам залитых пеной скал, можно было найти за потоком темный грот, поросший очень богатой и красивой растительностью, постоянно орошаемой водой; когда я достигла вслед за Эсме этой впадины в скале, она воскликнула мне прямо в

ухо, перекрикивая тонны рушащегося вниз грома:

— А теперь прислушайтесь! Этот водопад зовется «Обезьяной».

Прошло от трех до шести минут; я не слышала ничего, кроме громкого рокота каскада, и уже собиралась сказать что-то скептическое, как вдруг раздался звук, признаюсь, немало поразивший меня — звук очень резкий и энергичный — смешок и фырканье обезьяны — звук настойчивый и требовательно взывающий к вниманию. Миг спустя он замер, но после повторился снова; на протяжении получаса звук повторялся пять раз, не совсем регулярно, но все же с известной периодичностью; я заключила, что по какой-то ничтожной причине, возможно, благодаря ветру, водный поток время от времени слегка изменял направление, отчего и слышалось это странное хихиканье.

Моя ученица крикнула: «Если вы станете и дальше ждать и прислушиваться, знаете, что с вами будет?» — а когда я спросила, что именно со мной случится, она сказала:

— Вы с ума сойдете!

— Только не я, — сказала я.

На лицо девочки легла тень, как часто бывало, и она проговорила:

— Я бы сошла, я знаю. Три дамы из Листеров и одна из Линнов впали в безумие, и среди них моя бабушка по материнской линии. Это в крови, я думаю.

Я вздрогнула! — ибо внезапно поверила ей. В моем сознании смешок каскада прозвучал злой издевкой. Я тут же встала и, взяв малышку за руку, сказала:

— Пойдем.

В конце дня, когда мы сидели вместе в так называемом «Большом зале», Эсме, мудрая не по возрасту, снова заговорила о смеющемся водопаде и попросила меня не рассказывать о нем и тем более не показывать каскад ее кузену Хаггинсу. Этот молодой человек, с шести лет редко бывавший в Харгене, собирался приехать на несколько месяцев из Индии и провести месяц с нами.

В тот вечер я впервые увидала сэра Филиппа Листера: он обедал с нами и миссис Уайзман в столовой главного крыла.

Нам прислуживал старый Давенпорт, ступавший неслышными шагами. Мы, все пятеро, были словно затеряны в обширной зале с окнами, выходящими на южную лужайку. Повсюду висели (или раньше висели) гобелены, и резные яковетинские столы придавали зале очень мрачную атмосферу; огонь плясал на изукрашенной коваными узорами задней плите камина, под дубовым навесом которого сэр Филипп провел со мной и Эсме десять минут, после чего удалился в свой уединенный уголок дома.

Через два дня он снова обедал с нами, и вновь на следующий день после этого; но в тот день девочка в приступе болтовни мельком заметила, что «дядя Филипп одаряет нас своим обществом с тех пор, как приехала мисс Ньюнс» — и сэр Филипп, как робкая птица, в течение многих дней после этого прятался у себя.

Я сожалела об этом, поскольку он заинтересовал меня. Он держался в высшей степени степенно, достойно и любезно. Был он мужчиной крупным и, если не красивым, то привлекающим взгляд своей оригинальной, я бы сказала, внешностью: по-актерски гладко выбритое лицо, волосы чуть длиннее, чем принято и большие, блестящие совиные глаза с полным скорбных тайн, но в то же время переменчивым и застенчиво-скрытным взглядом. Ему было, как я решила, около сорока пяти лет.

Сэр Филипп был занят написанием «великого труда» в шести томах, посвященного эпохе Древнего царства Египта (четвертая из шести династий египетских царей) и вел такой обособленный образ жизни, что прошло три недели, прежде чем я снова увидела его. Между тем, мы с Эсме ступили на тропу приключений — я называю наши занятия «приключениями», потому что моя ученица и два часа не оставалась одинаковой. У Эсме бывали приступы головной боли; бывали приступы запойного чтения, когда она набрасывалась на книги с жадностью голодного стервятника; бывали у нее припадки лености, оцепенелой сонливости, плача, горестных жалоб, приступы взбалмошности, безумной легкомысленности, жажды — вина. Что же касается ее познаний, то для такого ребенка они были удивительными, и

порой она задавала мне вопросы, на которые я не находила ответа.

В одно утро на четвертой неделе, когда она была не в духе, мы прогуливались по парку; в тот раз сэр Филипп, в виде редкого исключения, повстречался нам вне дома. Мы наткнулись на него у обезьяньих вольеров: он стоял, прижавшись лицом к проволочной сетке, и разглядывал гиббона — так пристально, что мы успели подойти совсем близко, а он все не замечал нас. Внезапно увидев нас рядом, он замер в напряженной позе, но тотчас, в своей сдержанной манере, повел себя очень приветливо и несколько минут беседовал со мной о обезьянах и их повадках. Обезьяны носили имена египетских царей: шимпанзе звали Пепи II и Хети, а гиббона Сети I; в сторону гиббона сэр Филипп покачал пальцем, произнося с игривой внушительностью: «Этот парень! этот парень!» — но я не поняла, что он имел в виду.

Вдруг, посреди разговора, он — с некоторой неловкостью отводя глаза — предложил устроить пикник, второй завтрак на свежем воздухе, на что Эсме и я с готовностью согласились. Однако минуты через три он начал тихо бормотать: «Я должен вернуться к работе» — и ушел, к моему изумлению!

После этого он снова исчез из виду на три недели. Мы с Эсме, тем временем, привыкли проводить часы учебы в главном зале, сидя на кушетке в галерее верхнего яруса — галерее, откуда в минувшие века видны были пирующие за столами внизу вассалы; и те дни моей жизни, что я провела в этом месте, окрашены для меня теперь немалой странностью, словно память о несбыточной Утопии. Главный зал был довольно ординарным и пустым — простой потолок, простые белые стены, обшитые до половины высоты дубовыми панелями; вот только освещался он четырнадцатью огромными витражными окнами и, когда солнце светило сквозь них, старый зал превращался в царство грез... Но он ушел от меня в прошлое, как сон, и я больше его не увижу.

На тринадцатой неделе моего пребывания в Харгене — дело было в четверг, после обеда — я получила от сэра Филиппа Листера необычное послание: он писал, что поранил большой палец, и спрашивал, не соглашусь ли я «любезно

вести записи под его диктовку». Но что, спрашивала я себя, будет с Эсме? Я не хотела расставаться с девочкой! И все-таки я не могла отказать и потому вошла в тот же день в священный чертог. Он, с рукой на перевязи, мгновенно вскочил с потоком извинений, осыпая меня тысячами пылких и одновременно застенчивых благодарностей; но наконец робость взяла верх, и он внезапно замолчал, оборвав себя. Затем я устроилась за старым аббатским столом, он же на старинном фермерском диване с высокой деревянной спинкой; закрыв глаза, он начал негромко диктовать — что-то о Хуфу, Хефрене и реликвиях «века пирамид», пока мне не стало казаться, что и сам он родом из Древнего Египта, как и я; и были минуты, когда я не сумела бы сказать, в какой эпохе от сотворения мира мы находились. В разгар диктовки он неожиданно, с силой зажмурив глаза, прижал левую ладонь ко лбу, как будто устал или запутался, после вскочил и забормотал: «Спасибо! Спасибо!», протягивая мне руку. Его движения иногда отличались поразительной быстротой и внезапностью; рука, к которой я прикоснулась, была холодна, как снег, и я поспешила покинуть его.

Той ночью я, как обычно, вскоре после одиннадцати направилась в свою комнату, расположенную в достаточно отдаленной и пустынной части дома. Вскоре я уснула. Спустя два часа я проснулась в ужасе — я не могу точно назвать причину, но я так испугалась, что нашла себя сидящей в кровати, а в ушах моих звенел странный звук или воспоминание о странном звуке, услышанном во сне; я вся дрожала, и пот выступил у меня на лбу. Из двух открытых окон лился свет полной луны, ложась полосами на пол и освещая гобелен справа от меня; я слышала, как ночной ветер угрюмо вздыхал в листьях кедра, отдельные ветки которого, подвязанные цепочками, касались моих окон. Несколько минут я сидела неподвижно, слыша биение своего сердца, шорох дрожащих ветвей, плеск воды, само безмолвие дома и ночного часа; я чувствовала и словно видела, как вокруг меня парит некий живой дух. Продолжайся это долго, я, вероятно, потеряла бы сознание или криком отогнала видение; но вот я что-то услышала — смешок, радостное хихиканье, тихое, на

грани слышимости, но достаточно отчетливое, убедительно доказывающее, что то был не обман слуха; и я мигом, чувствуя холодок в волосах, но с какой-то яростью и отчаянием кинулась к окну, поскольку сразу вслед за смешком я расслышала шуршание в листве кедра.

То, что я увидела, заставило меня упасть в обморок — в тот же миг или через несколько секунд, сказать не могу; я лишь знаю, что пришла в себя, сидя на полу и прислонившись лбом к старому дубовому креслу, а башенные часы отбивали один за другим три удара. Но как быстро я ни упала бы в обморок, произошло это не мгновенно, и я не могла питать малейших сомнений в реальности увиденного. Хотя лунный свет не проникал в глубь листвы и отдельные участки ее оставались темными, я была уверена, что видела какую-то разновидность обезьяны с бледным лицом, висевшую на кедре — висевшую вниз головой в паутине цепей и веток, что позволяло ей заглянуть ко мне в комнату; и у меня сложилось впечатление, что я слышала — либо до того, как упала в обморок, либо пребывая без сознания — череду щелкающих смешков, а потом далекий голос, увещевающий, молящий, приказывающий, как своего рода тайный зов, а после — сдавленный крик ужаса и боли, и все это растворялось в сне о хихиканье смеющегося водопада.

Но самым сильным из моих впечатлений, несомненно, был этот резкий крик ужаса — впечатление настолько сильное, что я с трудом могла счесть его сном, как и все происшествие в целом. Каким-то образом крик в первую очередь связывался у меня со старым Давенпортом; позднее это чувство окрепло во мне: Давенпорт нигде не показывался ни на следующий день, ни еще четыре дня.

Миссис Уайзман, наша экономка, которая еще долго оставалась бледна и иногда смотрела в пространство пустыми глазами, сказала мне, что Давенпорт «нездоров». Она не задавала мне никаких вопросов о ночных событиях, но дважды я поймала ее пронизывающий взор, устремленный на меня с пытливостью и тревогой; то же было справедливо и в отношении сэра Филиппа: три дня спустя, ближе к вечеру, он появился и взял меня за руку с нежной заботливостью, за-

держав на мне вопросительный взгляд. Что же касается Давенпорта, то в следующий раз я увидела его под деревом в парке, где он сидел с видом человека, выздоравливающего после тяжелого недуга; по его лицу разливалась жалкая бледность плоти пожилых людей, прошедших через болезнь, а бинты вокруг шеи не могли полностью скрыть от меня жестоких царапин на горле.

В те дни казалось, что на Харген обрушилось несчастье. Эсме больше не смеялась, и все мы разговаривали приглушенными голосами. Было очевидно, что каждый держал в сознании секрет, которым не осмеливался даже шепотом поделиться с другими; я тщетно целые дни терялась в догадках, пытаясь постичь значение происходящего. Сама я тоже страдала и с трудом держала себя в руках. У меня проскальзывала мысль сменить комнату, куда я теперь боялась войти даже днем, но мне не хотелось открыто показывать свой страх. По ночам у меня горела лампа, и нервы оставались натянуты даже во сне. Я никогда, мне думается, не могла пожаловаться на излишне нервический темперамент, но в те дни ужас сковывал меня, как немочь, в воображении я продолжала видеть взгляд жутких глаз в ночи, и Харген вскоре превратился в моем истерзанном сердце в истинную обитель мрака. И затем, в один прекрасный день, душевная тяжесть покинула меня, исчезла, как тень, и все мое существо устремилось к радости, отвергающей всякую мрачность, и я забыла, что можно чего-либо страшиться в темноте.

Я расскажу об этом очень кратко. Однажды мы с Эсме, обе вялые, сидели после обеда в верхней галерее, а между нами лежала без дела открытая грамматика; и вдруг точно из-под пола возник молодой человек и закрыл ладонями глаза Эсме, тем временем улыбаясь мне. «Кузен Хаггинс!» — вскричало дитя с немалым удивлением, так как Хаггинса Листера ждали в Харгене лишь через несколько дней. Он поднял девочку большими руками и звонко поцеловал, ибо был весь создан из страсти, баловства и шуток; и затем он заглянул в мои глаза, а я посмотрела ему в глаза.

Я будто всегда знала его — задолго до того, как родилась; я словно угодила в водоворот и погрузилась в него тем быст-

рее и глубже, что на следующий день после той первой встречи Эсме слегла с простудой и я осталась наедине с Хаггинсом Листером в дебрях Харгена. Молодой человек интересовался или делал вид, что интересовался стариной, и заставил меня показать ему все кассоне и старинные кружева, и поблескивающие золотом испанские подзорные трубы, и жирандоли с их купидонами. Он обедал со мной; мы были вдвоем, мы и миссис Уайзман, поскольку сэр Филипп даже более подчеркнуто, чем обычно, держался особняком. Только в четвертый вечер, когда мы с Хаггинсом Листером гуляли по парку, сэр Филипп внезапно предстал перед нами; он стремительно вышагивал в противоположном направлении и не остановился, не издал ни звука, когда проходил мимо нас с опущенной головой и приподнятой над нею шляпой; но, отойдя от нас на некоторое расстояние, он остановился и — погрозил нам пальцем. Он собирался, я уверена, что-то сказать, но не смог выдавить из себя ни слова и вновь быстро зашагал прочь. Помню, что в ту минуту я почувствовала себя крайне оскорбленной, но миг спустя, да простит мне Бог, позабыла о существовании сэра Филиппа Листера.

Я показала молодому человеку обезьян, и спальню королевы, и все каскады, кроме одного, и инкрустации из слоновой кости на двух испанских сундуках, и тюдоровские камины, и все то, что находилось в «длинной галерее», а ему всего было мало. На площадке главной лестницы, под окном, стоял ярко раскрашенный портшез, и витражное стекло отбрасывало на и без того безвкусную роспись цветные безвкусные отблески шести гербовых щитов Листеров-Линнов; в этот портшез он заставил меня усесться — в середине дня, на открытой лестнице — однако мы были там одиноки, как в монастыре под покровом ночи, и вся эта пустыня Харгена точно обманом увлекла, предательски направила нас к уготованной нам судьбе; он усадил меня, как я сказала, и затем, пленив меня таким образом в портшезе, стал с рыданиями выплескивать мне свою страсть; и когда я отвернула лицо из жалости к нему, упавшему в страсти на колени, и пролила одинокую непрошеную слезу, молодой человек сорвал поцелуй с моих губ, тогда же и там же, в портшезе. Я

ничего не могла поделать, ибо Хаггинс Листер пришел, увидел и победил меня, и я была словно одурманена медвяной росой и танцевала, одурманенная, в объятиях Хаггинса Листера.

А он был убедителен, как ураган! он безумно торопил с женитьбой: так безумно вальсируют змейки песка, сливаясь воедино с приближением песчаной бури. Через шесть месяцев, сказал он, все будет устроено и брак наш будет провозглашен; а покамест мы должны держать все в тайне и жениться немедленно! Я притворилась, что противлюсь его тирании, но сопротивление мое было нерешительным и мне, конечно же, ничего не помогло: он был мне дорог и близок и держал меня всю в своих руках и сердце. И вот однажды утром я украдкой выбралась за ворота Харгена и встретилась с ним в одном доме в городке Сент-Арвенс, месте нашей свадьбы; но, когда мы, уже супругами, выходили из дверей того дома, мое сердце тревожно сжалось — менее чем в десяти ярдах от нас шел сэр Филипп Листер. Да, он, никогда не покидавший имение, был прямо передо мной, на улице Сент-Арвенса — он постукивал своей дубовой тростью, удаляясь от нас и, казалось, не подозревая о нашем присутствии; однако мне одновременно показалось, что он на миг повернул к нам голову с посеревшим от волнения лицом; и сердце мое, пылавшее жаром, вздрогнуло, словно от дуновения смертельного холода.

Я вернулась в Харген замужней женой, пошатываясь, как во сне, и чувства пьянили меня в тот день, как вино, ибо я принадлежала возлюбленному и он мне; как я провела этот день, сказать не могу, ибо небесное упоение было для меня внове; помню только тщетные попытки скрыть от Эсме свое состояние — она недавно оправилась от болезни, и я механически занималась с нею, и была сурова с любимым, отказывая ему в своем обществе до вечера, и даже тогда рано отошла ко сну, оставив его вздыхать.

Дверь в спальню я забаррикадировала стулом — свадебное ребячество, так как, чтобы обезопасить комнату, мне следовало бы ее запереть. Я долго лежала без сна, глядя на сияние полной луны, и наконец, изнуренная картинами днев-

ного сна наяву, ненадолго задремала.

Меня пробудил рев, и я надеюсь, что подобный звук никогда более не призовет меня своим трубным гласом. Я поняла, что какая-то несчастная душа попала в беду и из бездны горя и ужаса отчаянно взывала к Господу; и, спустив ноги на пол, я в мгновенном порыве преклонила колени, громко восклицая: «Боже Всемогущий, охрани мою любовь от зла в этой обители ужасов». Миг спустя я набросила на себя халат, схватила подсвечник и выбежала в коридор.

Пока я бежала, пытаясь зажечь свечу, моего слуха достиг, как мне почудилось, донесшийся откуда-то тихий, низкий смешок, похожий на смех шакала над падалью; я так испугалась, что мои пальцы задрожали и никак не могли поднести спичку к фитилю свечи. Когда огонек стал обжигать кожу, я отбросила спичку. Все еще на бегу, я зажгла другую — точнее, попыталась зажечь, ибо в ту секунду, когда спичка занялась от трения, я увидела — или непонятным образом почувствовала — что рядом со мной находится какое-то обезумевшее, чудовищное животное; в тот же момент спичка погасла или, быть может, огонек ее был задут, и что-то холодное, как лед, прикоснулось ко мне. Я ощутила тогда боль, всю боль ужаса и тьмы, и застыла без движения. Но через несколько секунд, думаю, я уже снова неслась по коридору; подсвечник я где-то выронила и потому не видела, что дверь в конце коридора, которую я ожидала найти, как обычно, открытой, была закрыта — и с силой ударилась о нее. Дверь оказалась не только закрытой, но запертой на ключ! Обнаружив это, я, стоя перед запертой дверью, вложила все силы души в крик. «Хаггинс! Сэр Филипп! Давенпорт! Хаггинс!» — кричала я; после я замерла, слыша журчание потоков, текущих, как в вечности, сквозь молчание ночи, и громкий стук сердца под ребрами — но ответа не было.

Удивляться, возможно, было нечему, так как моя комната, как я упоминала, находилась в уединенной части особняка; я стояла, парализованная страданием, ожидая, что в любой миг на меня ринется нечто и я от страха упаду бездыханной. Тишина продлилась, вероятно, с полминуты, а

после за дверью послышался гулкий звук — словно по лестнице волокли вниз что-то массивное и оно билось о ступеньки — бум! бум! бум! В моем одиночестве, в ужасном мраке, звук показался мне таким торжественным и таинственным, что я вскоре не смогла оставаться на месте, с этой болью, и, даже не осознав, что делаю, внезапно оказалась за окном, пробираясь к соседнему окну по карнизу на высоте пятидесяти футов. Карниз имел в ширину не более фута, мне кажется, и я не в состоянии теперь сказать, как я отважилась выбраться на него и почему не упала. Прижавшись к стене — и все время чувствуя в воздухе морось, взметаемую сильным ветром, ощущая вокруг ночь, полную дикого лунного огня — я ступала, трепеща, по тонкой пелене снега на головокружительной высоте, подавляя плач, пока не достигла соседнего окна; и там, бросившись внутрь, я разразилась рыданиями и, оказавшись в безопасности, потеряла сознание. Я все еще слышала, однако, грохочущий звук, уходящий все ниже — и, когда он раздался у подножия лестницы, я очнулась, найдя в себе бесстрашие пойти следом.

Я стала красться вниз, осторожно, пригнувшись, ступенька за ступенькой. На полпути я услышала, как по полу внизу что-то проволокли. Я продолжала спускаться. Звук сделался глуше, удаляясь в дверной проем, и я знала, что это за дверь; но, когда я направилась туда, моя голая пятка наступила на что-то холодное, и я споткнулась и упала сверху. Я застонала от жалости к себе: было ведь так темно, и я так страдала. И однако, когда я падала, я услышала, как в спичечном коробке перекатились спички — я все еще держала коробок в руке, не сознавая этого; и меня потянуло зажечь спичку. Прошло некоторое время, прежде чем я решилась и смогла, а когда смогла, увидела тело старого дворецкого в ночном белье, распластавшееся передо мной на полу; по выражению его глаз я поняла, что они никогда больше не увидят света дня.

В тот же миг где-то хлопнула дверь, и я вновь поняла, какая: маленькая боковая дверь у входа в кухню, ведущая в северную часть парка; и снова что-то придало мне силы и подняло на ноги, побуждая идти туда. Я пробралась к ма-

ленькой двери; отворила ее; мои голые ноги ступили в снег. Перед собой, на короткой гравиевой дорожке, уходящей на север в парк, я отчетливо увидала бледную обезьяну, прижимавшую к груди человеческое тело. Вскоре она опустила свою тяжелую ношу и склонилась над ней с ужасным бормотанием; и когда я увидела это, что-то заставило меня наклониться, поднять камень и запустить им в зверя.

Камень попал прямо в голову.

Через несколько секунд существо поднялось и побежало на подкашивающихся ногах в темноту парка.

Шатаясь, я добралась до тела и увидела, что то был Хаггинс Листер — задушенный; и над телом возлюбленного я лишилась чувств.

Я пришла в себя только в десять утра; я лежала на кровати; с одной стороны сидела Эсме, с другой миссис Уайзман.

Последняя смотрела застывшим взглядом; и по тому, как Эсме улыбалась, склонив головку набок и раз за разом пересчитывая свои пальчики, я поняла, что дитя утратило рассудок.

Я лежала неподвижно, ничего не говоря; мне было все равно.

Вошла горничная по имени Берта и пробормотала: «Его еще не нашли». По нескольким словам, тихо произнесенным в ответ миссис Уайзман, я заключила, что сэр Филипп Листер исчез.

Мне было все равно; я лежала неподвижно и угрюмо, смежив веки.

Около полудня снова пришла весть, что люди, разыскивавшие сэра Филиппа Листера, даже не смогли обнаружить его следов; но примерно в пять вечера он был найден умирающим в скальном гроте за водопадом, который называют «Обезьяной». Его принесли в дом.

Вскоре после этого миссис Уайзман, которая ранее покинула комнату, вбежала с заплаканными глазами, умоляя меня хоть минуту провести с умирающим сэром Филиппом, жаждавшим в последний раз увидеть меня; я позволила ей накинуть на меня какую-то одежду, и она повела меня к

смертному ложу.

К тому времени я уже знала — миссис Уайзман, обливаясь слезами, днем мне все рассказала — что мать сэра Филиппа Листера слишком часто и долго прислушивалась к смеющемуся водопаду и потому родила сына таким, каким он был — а был он существом, способным при малейшем волнении сбрасывать с себя человеческий облик и принимать обличие зверя, и вместе с человеческим обликом сбрасывать с себя одеяния в смертоносном вихре ночных радостей — подумать только, он, который был в моих глазах столь совершенным в своей кротости, столь застенчивым, столь степенным! И тем не менее, я содрогнулась до глубины души, когда он коснулся моей руки и проговорил, задыхаясь, сквозь клокотавшие в горле хрипы агонии: «Я очень вас любил». Быть может, содрогание то спасло меня от смерти или безумия, ибо я вскоре впала в глубокую апатию. Была почти ночь, и свет там был тусклый, но я все же могла видеть мех на теле чудовища: волоски были значительно больше дюйма в длину, зеленоватые и жесткие, как у гориллы. Они охватывали его горло и запястья четкими кольцами, как меховая шуба; поросль эта к горлу и запястьям не редела, но была такой же густой, как везде, и словно бы резко обрывалась.

Но он очень любил меня, и теперь я люблю его тоже, ибо, если он и питал гибельную ревность, эта ревность порождена была любовью ко мне; умирая, он глянул мне в глаза человеческими глазами, добрыми и кроткими, говорящими: «Я очень вас любил» — и когда с последним вздохом он указал на рану, туда, где брошенный мною камень пробил его череп, я обрела голос и возрыдала пред Господом о нем, и о себе, и о Харген-Холле, и обо всем, не сознавая более, что зарылась лицом в мех на его ужасной груди. И он умер, и Хаггинс Листер умер, а я осталась жить.

ИСТОРИЯ ГЕНРИ И РОВЕНЫ

Леди Ровена Ховард ди Исте была замужем уже десять месяцев, когда — *вновь* — пути ее и лорда Дарнли пересеклись.

Это случилось в опере Палли, где ее оперный бинокль, скользя по противоположному ряду «дворянских лож», остановился на мертвенно белом лице и высоком лбу Дарнли, позволив ей увидеть, что и *его* бинокль был устремлен на нее; обмен взглядами через окуляры продолжался несколько мгновений, пока она, внезапно побледнев, не наклонила немного голову.

Когда она выходила из театра, человек в костюме белого медведя (секретарь Дарнли) ухитрился бросить ей в сложенный зонт визитную карточку с написанными словами «Можем ли мы встретиться? У Мета Суданс» — время близилось к восьми часам вечера, и звон Постного колокола вскоре должен был означить закрытие всех театров, открытых с десяти утра в этот вторник, последний — и самый безумный — день карнавала, день barberi и moccoletti, и град карнавала взмывал к небесам. Ибо сейчас град тот стал сплошным умопомрачением, в воздухе висел дым ракет, экипажи с боковых улиц сворачивали на Корсо, в толпу домино, пьеро, маркиз, пастушкек — хаос воздетых рук, криков, состязаний, цветов.

Но Ровена откинулась в своей коляске, не принимая участия в этих увеселениях — дама со статным и томно расслабленным телом и пухлыми губами, горевшими алым на бледном лице; узел угольно-черных волос и изгиб горла придавали ей некоторое сходство с созданиями из грез Россетти. Когда Дарнли стоял рядом с нею, было заметно, что он ниже ее на дюйм.

Ее экипаж проехал по виа Урбана к Колизею, и лорд Дарнли выступил из тени места свиданий.

— Вот видите, мы встретились.

И она пробормотала:

— Как странно.

Они подошли к арке вомитория; руины мрачно раскинулись перед ними.

— Итак, вы все еще повсюду? — спросила она, улыбаясь.

Он ответил:

— Я путешествую. Хоть мы и души, согрешившие в ином мире, а земля — наша тюрьма, мы все же можем счастливо бродить по ней.

— Ах, это скорбное настроение... Вы обещали, что будете счастливы, Генри.

— А вы?

— Я вышла недавно замуж за старика, который говорит об одних акциях и облигациях. Но есть и свои утешения.

— Какие же?

— Богатство, солнце, карнавал.

— За карнавалом следует Великий пост, — отметил он.

— Но перед Великим постом — карнавал! — коротко рассмеялась она.

И он:

— В вас появилась приземленность. Влияние мужа?

— Может быть.

— Нет, простите меня: я знаю, что вы не могли измениться. Вы всегда остаетесь собой.

— Надеюсь, я все то, что вы во мне видите... Лицо, однако, не всегда отражает личность человека. Самая неземная красавица, какую я когда-либо встречала, держит в Севилье папиросную фабрику и страдает слабоумием.

— Я никогда не оценивал вас по лицу, — сказал Дарнли, изучая это лицо с опущенными ресницами, — но по себе: вы мой двойник — или были им раньше.

Комплимент заставил Ровену смущенно потупиться.

— Ну, если вы так говорите... Я — надеюсь — что это правда. *Вы* скорее производите впечатление какого-то существа с Олимпа, нежели человека; в отношении же себя я начинаю опасаться, что я — по большей части женщина.

— «Олимпийские существа», безусловно, не ведают кожных заболеваний, — с улыбкой ответил он.

(Пять лет тому, накануне ожидавшегося брака с Рове-

ной, Дарнли провел три дня в Исландии, средоточии проказы, и после на его левой руке появились три узелка лепры, превратившие его в изгоя.)

— Вы еще не поправились? — спросила она.

И он ответил:

— Моя болезнь неизлечима.

— Увы! И моя, Генри, — сказано это было, возможно, с большей печалью, чем она чувствовала на самом деле.

— Я здесь, чтобы излечить вас и меня.

Она с сомнением посмотрела на него при свете только что взошедшей луны, удвоившей громадность развалин и коснувшейся черт Ровены колдовской и романтической кистью.

— А лекарство — все то же, прежнее? — спросила она, улыбаясь. — Рандеву в великом Нигде?

— Там, где души действительно встречаются, — сказал он.

Несколько мгновений она стояла, задумавшись, прислушиваясь к далекому гулу карнавального вихря, едва слышному здесь.

— И вы *все еще* верите, Генри, в существование души, загробной жизни?

— Душа существует, как и загробная жизнь. Вы не верите?

— Верю, если вы так говорите.

— Говорю. Я знаю это уже семь лет. И снадобье *существует*.

— Искуситель, искуситель.

Дарнли все время играл в кармане с двумя пузырьками, с которыми почти никогда не расставался; и теперь он сказал:

— Вы согласны?

— Генри, у меня есть — привязанности...

— Как видно, вы перестали... любить.

— Ах!

— Значит, вы согласны. Скажем, в полночь?

— О нет, я... Хотя бы дайте мне время.

— Сколько?

— Месяц.

— Где?
— В Неаполе.
Он поклонился.
— Итак, через месяц — в Неаполе.
— К тому времени я так или иначе решусь.
Он снова поклонился. Они прошли через вомиторий и расстались у Мета Суданс.

Праздник moccoletti был в полном разгаре, и сотни тысяч свечей метались, ярились, бросались в гущу сражения, разгоряченные лица свисали с балконов верхних этажей, и каждый защищал свою свечу, стараясь погасить чужую с помощью мехов, дыхательных трубок, громадных вееров... Внезапно Постный колокол погасил все свечи, но толпа, что стала напоминать теперь выдохшееся шампанское, не редела, и кучер Ровены долго с уловками пробирался, лавируя в толчее разъезжавшихся экипажей, пока не высадил ее у палаццо; там Ровена нашла довольно холодную записку от мужа, сообщавшего, что он не дождался ее и отправился один на мероприятие, завершавшее светский карнавальный сезон — бал-маскарад в Палаццо Рондола.

Герцог ди Рондола (тот самый «Рондола», который был натуралистом и превратил свой парк в знаменитый «Зоопарк Рондола»), в том году задавал тон сезона, и в эту последнюю ночь залы его дворца были полны.

Там в полночь танцевала Ровена; но вскоре за тем, устав от душных комнат, она спустилась в парк. Она искала одиночества и мечтаний, но поиски вначале были тщетными: среди клуб и беседок ей встречалось множество уютно сидящих на скамеечках или прогуливающихся пар, и она уходила все дальше в глубину парка, пока в очень затененной его части не увидала идущего к ней мужчину среднего роста в малиновом кальпаке, подпоясанного кашемировым кушаком; узнав его черные усы и ровный блеск зубов, Ровена вздрогнула...

— Вы... — выдохнула она, когда они сошлись. — Я не знала, что вы здесь...

Она глядела на него с неким благоговейным страхом — *второе* за день свидание внушило ее воображению, что встре-

ча в парке была порождением абсолютной силы его личности, его воли и способности влиять на события; и она промолвила:

— *Эта* наша встреча вправду необычайна: я искала грезы...

— Я помешал?

— О, нет — так Саул, разыскивая отцовских ослиц, нашел царство, Генри.

— Царство и трагедию.

— Ах, какой же вы мрачный человек! Но лучше умереть царем, чем жить крестьянином, не так ли? — она чуть склонила голову набок, улыбаясь нежно и заискивающе.

И он:

— Не лучше ли умереть «богиней», чем жить «женщиной»?

— Искуситель, искуситель.

— Я задал вопрос.

— А я ответила! В Неаполе, через месяц, — и однако, если бы Ровена внимательно глянула в себя, она нашла бы, что ее ответ месяц спустя не слишком отличался бы от сказанного в эту ночь; но время и место были полны музыки и волшебства, тени в лунном свете веяли грезами, и Ровена с тайным беспокойством вернулась к предмету беседы, флиртуя, поигрывая этим острым оружием с мистицизмом и меланхолией, наполовину ребяческими и всецело женскими.

— Мы все время встречаемся! — заметила она. — Что же нас заставляет?

— Физика учит, — ответил он, — что некоторые атомы тяготеют друг к другу. Они неразделимы. То же и в сфере духа.

— Значит, мы все подчинены Закону?

— Атомы подчинены химическому принуждению; духи подчиняются велению Провидения.

— Так что, к примеру, наша встреча сейчас...

— Погодите, — сказал он, протягивая руку, — может быть, вот ее *объяснение*...

Они стояли в древесной аллее, окруженной живой изгородью аралий; аллея шла под уклон и немного повыше влю-

бленных стоял павильон, размещенный у стены; Дарнли со словами «*Вон там*» указывал вниз, где в свете двух мавританских фонарей виднелось вдалеке какое-то испещренное пятнами животное, грациозными прыжками мчавшееся к ним по аллее.

Глаза Ровены, расширившись, устремились на зверя.

— Что это за... — прошептала она.

— Леопард с озера Цана...

— Сбежал из зверинца?

— Очевидно. В этих лесах немало...

— Но он все ближе!

— Вы не боитесь? Una lonza leggiera e presta molto, che di pel mac...

— Генри!

— Вот и наше снадобье...

— О, не *таким* же способом, конечно! — и она слегка подалась назад, видя, что лоснящееся, шелковистое, гибкое создание, зловещее в своей красоте, быстро приближается.

— Однако, — проговорил Дарнли, — аллею позади перегораживают павильон и стена, прохода в живой изгороди также не видать: боюсь, мы в ловушке... Но и будь здесь выход, леопард догнал бы нас, попытайся мы бежать.

— Спасите меня — умоляю!

— Вы настаиваете?

— Разумеется!

— Но как?

— Вы не вооружены?

— Нет... у меня только это... — сказал он, отцепляя от пояса изогнутое лезвие крошечного индийского кинжала, игрушку с агатовой рукоятью. — Но он лишь способен поранить, а рана, без сомнения, приведет зверя в бешенство...

— Генри! Как близко! Он остановился! смотрит на нас!

— Пусть смотрит. Со стороны может показаться, что вы взволнованы...

— Нет! Нет! Я не взволнована... Но спасите меня...

— Мы можем сейчас же покончить...

— Это ужасно! Спасите меня, молю!

— Вы все же настаиваете?

— О да! — произнесла она, не понимая, как *мог* он ее спасти, но с давних пор убежденная в способности его воли творить чудеса; он и впрямь перевел взгляд со зверя на нее, проговорив:

— Я *могу* спасти вас, но лишь одним путем — утратив часть себя. Скажите же, долго ли мне после этого придется ждать?

— Утратив часть?.. Я не пони... В любое время, когда захотите! Только спасите меня от...

— Завтра?

— Смотрите — он снова бежит к нам! Да! В любой миг...

— На рассвете?

Зверь был уже в трехстах футах от них.

— Да!

— Вы согласны?

— Да, да... Смотрите!

— Вы обещаете?

— Да!

Дарнли без дальнейшего промедления поднял кинжал; три быстрых удара разрезали у плеча его кафтан, и он рывком оторвал и бросил на землю рукав, оставив руку обнаженной; после чего граф, в такой же степени ученый анатом, в какой и охотник-космополит, знакомый с привычками животных, погрузил лезвие в свою плоть в той точке плеча, где плечевая кость соединяется с лопаткой в головке суставного гнезда, затем рассек ближайшие сосуды, мышцы, надкостницу, а после, искусно повернув кинжал, вставил острие между хрящами сустава. Его действия были такими молниеносными и одновременно точными, что он почти закончил операцию, прежде чем Ровена, побледневшая от удивления, успела понять, что происходит; и только когда она заметила поток крови, хлынувший по сделавшейся белой руке, увидела его сурово сжатые челюсти, точно высеченные из гранита, она все поняла и издала крик, а зверь, нюхавший воздух едва ли в шестидесяти футах от них, громко заскулил...

Отбросив кинжал, Дарнли охватил свое левое запястье правой рукой, потянул и вырвал руку из плечевого суста-

ва; он успел вовремя, ибо глаза зверя уже зажглись зелеными искрами хищного желания, — и когда леопард пополз, прижимаясь брюхом к земле, извиваясь и готовясь к прыжку, Дарнли взмахнул оторванной рукой, как палицей; рука полетела, крутясь, и упала прямо перед мордой зверя.

Леопард с мгновенным восторгом набросился на этот дар небес.

Подождав с минуту, пока леопард не приступил к трапезе, наклонив голову набок и грызя руку с зажмуренными глазами, Дарнли стал угрожающе наступать на него, топая ногами; леопард, схватив добычу и рыча, отступил вниз по аллее; Дарнли вновь двинулся вперед, и леопард от неожиданности снова попятился; так они добрались до конца аллеи, где зверь прыжком скрылся из виду.

Все это время Ровена стояла, окаменев; но увидев, что граф возвращается, она побежала с холма к нему; он прижимал к левому плечу кушак и был бледен, как кобылье молоко. В ее лице также не было ни кровинки — она понимала, что Дарнли выкупил ее жизнь ценой своей крови.

— Видите ли... я должен... оставить вас, — выдохнул он, дыша неровно и коротко, громко выпуская воздух из посиневших губ, но по-прежнему улыбаясь; и, произнеся «Я должен вас оставить», он небрежно глянул влево, как на прореху в одежде.

И она:

— О, Генри, умоляю! умоляю! врача...

— Это ни к чему, — задыхаясь, произнес он со всей бесстрастностью, доступной смертному. — Я остановился в «Отель д’Эспань», неподалеку... Я вернулся... чтобы сказать вам... *до свидания*.

— Ах, Генри! — промолвила она, положив руку на его правое плечо, а он, нежно глядя на нее, спросил:

— Вы наконец отдаете себя мне?

Умирающее «да» вздохом слетело с ее губ, почти соприкоснувшихся с его губами; но воля его подавила всякую ласку: она была отдана другому — «до смерти»; после смерти она будет принадлежать ему. Но не сейчас — он был человеком чести, нерушимой порядочности...

— Итак, на рассвете? — раздался его голос.

Вновь испытывая смятение, она отшатнулась.

— Когда наступит рассвет?

— Ровно в половине седьмого.

— Завтра?

— О да.

— Покинуть все... Ну хорошо, но скажем, в семь — или в восемь.

— Тогда в восемь. Возьмите это.

Отняв кушак от кровоточащей округлой раны, он извлек два пузырька и отдал ей один со словами:

— Три капли.

— В восемь?..

— В восемь... Arrivederci.

— Генри... *Бога ради...* — прошептала она ему вслед.

Но он ушел; и она, стоя там в ужасе, смотрела, как он, пошатываясь, спускался по склону, ибо он уже умирал, но был пьян, как от вина. Удары ее сердца падали медленно и громко, словно удары молота, и сердце это было расколото надвое: она должна была умереть — но жаждала жить.

С трех ночи до семи утра Ровена крепко спала.

Открыв глаза, она сразу ощутила на душе ужасающую тяжесть и задрожала. Но так же, как и в другие дни, Ровена вызвала звонком горничную; и, когда та вошла, она, лежа на кушетке в своем будуаре в бледно-оранжевом парчовом халате, негромко произнесла одно слово:

— Шоколад.

Выпив немного испанского шоколада, густого, как суп, она на время вручила себя в руки горничной, наслаждаясь роскошным скольжением гребня в волосах; затем она отпустила служанку. К тому времени до рокового часа, восьми, оставалось всего двадцать минут, утро же было ясное и теплое.

Она протянула руку, взяла пузырек, что дал ей граф, и несколько минут вертела его в пальцах; ее губы кривила гримаска нетерпения. Утро приносит размышления; Ночь

— это иное царство и иной образ существования, и при ярком свете солнца мы глядим на ее лунные сияния и бури чувств с некоторым изумлением и вновь обретенным здравомыслием. Встав, Ровена на цыпочках подошла к окну и, разжав пальцы, позволила пузырьку упасть вниз, прислушавшись к хрупкому звону разбившегося стекла на камнях двора. Но теперь она побледнела, как сама смерть.

О, сносить его презрение — он жив, она жива! Это тоже было своего рода смертью, ибо она была соткана из его мыслей и мнений и долго жила и воспринимала свое бытие в его фантазии о ней; и так она стояла, и виновато ждала, прижимая руку к мчащемуся бешеным галопом сердцу, а драгоценные минуты уходили... В восемь он умрет — оставалось всего семь минут... Нужно написать ему, остановить его; но не следовало ли сделать это *раньше*? Не терять драгоценные мгновения? Дарнли сказал, что поселился в «Отель д'Эспань»; но она не знала, где находилась гостиница, и минуты незаметно уходили, пока она попусту теряла время — сердце осыпало ее тяжкими упреками, но мысль о его презрении — он жив, она жива — была такой же тяжкой. Она позвонила.

— Далеко ли «Отель д'Эспань»? — со злостью спросила она.

— В четверти мили, миледи, — ответила горничная.

— Торопитесь... снарядите верхового...

Она нацарапала и бросила горничной записку с единственной невыразительной строкой: «Прошу вас, ничего не делайте».

Оставшись одна, она заперлась, инстинктивно скрывая от посторонних глаз дрожь, неудержимо охватившую теперь все ее тело; затем упала на кушетку, с силой сомкнув веки.

Еще три минуты: тиканье маленьких часов, торопящихся пробить, сотрясало ее всю, и удары прозвучали, как грохот гибельного барабана: первый, второй... четвертый, пятый... и с роковым восьмым из груди ее вырвался, по правде сказать, вздох облегчения.

Прощай! Она не сомневалась, безусловно чувствовала, что он мертв, и в этот миг в ней смешались ненависть, от-

вращение и осознание того, что она навсегда от него избавилась.

Увы, слепой смертный! не сознающий, что вокруг всякого объекта — Мириады! что много бесконечней яви вещей то Бездонное, на коем они расцветают!

Гонец леди Ровены прибыл в «Отель д’Эспань» в десять минут девятого; вся гостиница ходила ходуном; он заторопился назад с известием, что лорда Дарнли обнаружили мертвым.

Каково же было его изумление, когда по возвращении он нашел палаццо своего господина в такой же растерянности, какую наблюдал в «Отель д’Эспань»! Потрясенные сотоварищи поведали ему, что ровно в три минуты девятого по всему крылу дворца, где располагались покои леди Ровены, разнесся крик, — крик столь ужасающий, что все похолодели до мозга костей, смешение сопрано и хрипа, дикое и жуткое… Но слуги, сбежавшиеся к покоям Ровены, нашли двери запертыми…

А ближе к вечеру весь Рим был удручен слухами о двух кончинах; печаль усиливала мрачная тайна, окутывавшая грустное событие: если в случае лорда Дарнли достаточно очевидной причиной смерти являлся сильнодействующий яд, распространенный среди кули Пуны, в случае леди Ровены все лишь напрасно ломали головы. Правда, состояние слизистой оболочки ее горла, по словам докторов, позволяло заподозрить удушение; но этому выводу сопутствовал и другой, а именно — пальцы душителя (если то был душитель) отличались такой консистенцией, что не оставили ни малейшего следа или отпечатка на снежной белизне горла Ровены.

ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ

Бельфегор не был обычным демоном. — Макиавелли

Вы не знакомы, — спросил дядя Квинтус, — с историей о Великом Царе? Впрочем, это само собой разумеется, потому что вы не умеете читать клинопись, а табличку ту расшифровали лишь я да еще один ученый.

Мой дядя Квинтус — неугомонный человек — недавно вернулся после сезона раскопок и исследований курганов и руин Нимруда и Хосабада, где находится сегодня деревня Хилла и где некогда стоял Вавилон. Ночь была ненастная, порывы ветра терзали гобелены и только мерцание огня освещало нас. Мы придвинулись к камину почтительным полукругом, а дядя Квинтус тем временем затянулся из маленькой трубочки дымом смеси табака и каннабиса, привезенной с Востока.

— Вы уже слышали, что этот царь сошел с ума от гордыни, — сказал он, — но даже это не дает представления о его безумных страстях. Нерон и Сарданапал были в сравнении с ним невинными ягнятами. И при всем том он был также трусом.

Царицу звали Никотрис; она была родом из Ионии, западное же ее имя было Мойра; у нее был прямой нос и выпуклый подбородок дочери греков. Связи между Востоком и Западом тогда еще не были достаточно тесными, и неизвестно, какими судьбами она оказалась в Вавилоне, но царь увидел ее и, из жадности к новизне, полюбил. И начался дивный спектакль: стали замечать, что женщина из Ионии приобрела совершенно исключительную власть над разумом Навуходоносора — халдейского царя — воплощения величия — небесного великолепия, явленного в одеждах плоти. И все изумлялись, когда Никотрис, ранее люби-

мая, стала *внушать страх* — ведь она была самой кроткой из женщин, и могущественные сановники называли ее «учтивой» царицей Никотрис.

Изнурительная болезнь постигла царицу. Никотрис лежала, словно мертвая — холодное тело в саркофаге черного камня — и ее служанки, со стенаниями и жалобами, умащивали ей губы елеем, и всю ночь выли вокруг нее свою дикую *нению* о душе, улетевшей из жизни, ударами в кимвалы и звоном десятиструнных псалтерионов аккомпанируя странному и пронзительному пению, и мелодия та звучала много дней. Но когда пришли стражи некрополя, сопровождаемые процессией рогатых протоиереев Астарты, чтобы перенести тело из дворца в гробницу, Никотрис, очнувшись от оцепенения, открыла голубые глаза и снова пробудилась к жизни. В истории еще не бывало случаев подобного одновременного пребывания на земле и в стране теней. С того дня царь перестал любить свою царицу.

Величественная фигура Никотрис, ее изможденность, бледность ее лица потрясали воображение царя. Она легко, как тень, проходила с диадемой на голове через пиршественный зал, где в полночь, налитый вином, царь пировал со своими министрами, и, скользя мимо, с мягкой улыбкой предостерегающе поднимала тонкий палец. Тогда шум пиршества на минуту смолкал, и царь хмурился.

Тайна «пробуждения из мертвых» обособила ее. Никто не мог сказать, какие мрачные тайны скрывались в ее сознании, принесенные из тех подземных бледных царств, куда забрел ее отважный дух, какие ужасные зрелища видели ее широко раскрытые глаза во время этого далекого путешествия! Была ли она действительно женщиной, одной из многих, или пришелицей из могилы? Царь больше не приближался к ней: нард, кассия и мускус не могли перебить могильный запах, который в его фантазиях витал вокруг царицы; он избегал спокойствия ее улыбки; он страшился прижимать к себе в объятиях ее иссохшую грудь; вначале благоговейный трепет, после лишь ненависть воцарялись в его сердце при мысли об учтивой царице Никотрис.

И все же Никотрис любила царя, хотя, зная все его слабости, его гордость, постоянно стремилась обуздать его. Часто она увлекала его, протестующего, от радостей вина к залитому лунным светом раю дворцового сада; они составляли разительный контраст: царица на голову возвышалась над тучным, смуглым, толстогубым царем с развевающейся бородой. Часто она заставляла его следовать за собой на верхнюю площадку огромного храма Бела — пирамидального, с семью террасами, символизирующими планеты, — где находилась обсерватория астрологов. И здесь, на этой высоте, когда темным утром Плеяды уходили в небеса, царица впадала в экстаз и рукой в алом облачении от края до края обводила звездные глубины, пророчествуя властью Всевышнего: она вопрошала тогда, кто заставил рогатого коня Астарты терзать землю и чья рука забросила на небосвод «извивающегося змея». И царь отворачивался от нее с отвращением.

Но ее воля была законом в суде. Когда, например, восстали оставшиеся жители Ниневии и было решено предать их всех казни, царица спокойно вошла в зал совета и, предостерегая, убедительно молила сохранить им жизнь, после чего царь бросил скипетр на пол и вышел из зала; министры молча вышли вслед за ним, в то время как Никотрис, оставшись одна, склонилась к большому черному бабуину со склонов горы Арарат, всюду сопровождавшему ее, и со своей безмятежной улыбкой произнесла: «Вот видишь, Пул, друг мой, как принимают эти люди мудрые увещевания!» В тот день, однако, непреклонность ее воли восторжествовала, и побежденных пощадили.

Однажды царь возвращался с охоты на льва на равнине Дура и, медленно проезжая в своей колеснице по лабиринту улиц Вавилона, вдруг увидел на углу девушку, чья красота покорила его душу. На ней была изящная обувь из барсучьей шкуры; она вся сверкала, как шахская дочь, льняными и шелковыми вышитыми одеждами — синими, пурпурными и ярко-красными — а на лбу ее весело играл лучами изумруд. Она приподняла вуаль и царь на миг узрел прекрасное видение ее лица; после девица поверну-

лась и скрылась в темном проулке. Царь велел двум своим визирям следовать за нею; тем показалось, что она вошла в дом, куда они и вбежали; дом был сооружен в виде ступенчатой пирамиды, и на плоской крыше каждого яруса была разбита терраса с пальмами, кедрами, виноградом и прочими растениями знаменитых висячих садов. Вероятно, девушка спряталась в каком-нибудь укромном уголке этих садов; обитатели дома не знали ее; чиновники робко искали ее повсюду, но она исчезла. Они спрашивали себя: не была ли та девушка неким воздушным созданием, посланным судьбой, дабы омрачить разум царя — грозной вестницей богов? Нервное томление Навуходоносора, его боязнь смерти и зрелища смерти, его страх перед миром духов заразили всех придворных.

Сойдя с колесницы у дворцовой лестницы, царь спросил у виночерпия, поднесшего ему здесь же кубок с пряным вином:

— Где Никотрис, царица?

— Она лежит, больная, в женской половине, — отвечал Ваиезафа.

В тот день царь много раз спрашивал о здоровье Никотрис. Им овладело нетерпение: умрет ли она или снова впадет в противоестественную жизнь в смерти — ненавистную смерть, не знающую распада, нечестивую жизнь, лишенную биения пульса? Не пробудится ли она вновь? Все это, подумал он, должно закончиться, и он положит этому конец. И царь вспомнил полное изящества и красоты видение на городской улице.

Лелея дьявольский замысел, он лично навестил Никотрис на рассвете. Гарем представлял собой ряд залов, окружавших один из дворцовых дворов, а сам дворец — низкое строение, размещенное на огромной платформе из глазурованного кирпича. Царь вошел в гарем через темный сводчатый проем, с обеих сторон которого стояли на часах крылатые херувимы, и нашел Никотрис полулежащей на ложе из слоновой кости в одной из «галерей»; с ней рядом что-то болтал единственный страж — старый бабуин, верный Пул. Царь долго смотрел на нее, побледнев; он поклял-

ся в душе покончить с этим — своей преступной рукой. Но, хотя Никотрис была не в силах говорить, она словно прочитала его зловещие мысли, узнала о встрече на улице — и она подняла тонкий палец. Навуходоносор отвернулся.

В тот же день царя известили, что царица Никотрис, судя по всему, перешла в состояние смерти.

Прислужницы отнесли ее в открытом гробу черного мрамора в райский уголок, надеясь, что ветер с равнины, быть может, вновь оживит царицу. Рай занимал двор в углу платформы, на которой стоял дворец, и примыкал к городской стене; с двух сторон его окружал алебастровый парапет платформы, а с двух других колонны, соединенные шелковыми занавесями. Здесь журчало множество фонтанов, орошая крокусы, волчники и иксии; тыквы, дыни и смоковницы; мандрагоры и хенны. В одном углу стоял миниатюрный храм бога Нисроха, сработанный из черного дерева и охраняемый крылатыми быками. Перед ступенями его положили тело царицы.

В полночь царь покинул пиршество и вышел в сад. Его разум кипел храбростью от искристого иранского вина, он был полон ликования — наконец-то он навсегда освободился от ужасной Никотрис! Она должна быть немедленно погребена, сказал он; на сей раз никакого пробуждения! Он и не ведал, как близко лежало тело царицы.

И вдруг — перед ступенями храма — он увидел. Мраморная, она дремала под луной. Царь отскочил назад, застонав от боли. Его охватила паника, затем безумная ярость. Как случилось, что она здесь? Это была насмешка судьбы — и с глазами полосатой гиены Шинара, сверкающими на его лице, как у ирбиса за миг до прыжка, он пригнулся и, словно ирбис, извиваясь, начал подбираться к гробу, с жуткой осторожностью вытаскивая из-за пояса небольшой кинжал. Он ударил. Лишь *единожды* свершала рука человека столь гнусное бесчестие. Лезвие рассекло кожные покровы, связующие челюстные суставы. Рот разинулся. Царь увидел красное — и больше ничего не видел.

Он бежал, и рыдание застревало у него в горле; два глаза, вопрошающие, упрекающие, глядящие из-за колонны,

встретились с его собственными. Он узнал глаза Пула, обезьяны, и кинулся вперед, чтобы ударом свалить зверя, но Пул исчез.

Ассирийцы устраивали гробницы вне городов, в пещерах, высеченных в скалах, или мавзолеях, сложенных из раскрашенных кирпичей, причем каждый гроб помещался в отдельной камере; сам же гроб был каменным, а крышка — из стекловидного материала, похожего на современное стекло. В согласии с этими обычаями — после того, как Никотрис нашли таинственным образом изуродованной и по крайней мере *теперь*, как полагали, бесспорно мертвой — добрая царица и была погребена на следующий день, седьмого числа месяца Адара; за гробом горестно следовал верный Пул.

Царь сбросил с себя змеиные кольца Никотрис. Но когда он направлялся той ночью в залы гарема, пересекая опустевшую спальню царицы, его постигло новое несчастье. Было темно; занавеси галерей были задернуты; он был один. В темноте — вздох. Вглядевшись, он заметил что-то во мраке. Царь повернулся и бросился бежать.

Сумятица беспокойного ума овладела царем в те дни. Он вскакивал со сна с обезумевшими глазами и мокрыми волосами, словно его преследовали призраки. Ночные шорохи, человеческие образы в складках драпировок пугали царя. Он возненавидел одиночество. Пиры и вино больше не приносили забвения.

Он тайно послал за жрицей-прорицательницей, служившей день и ночь в храме Астарты, и она, явившись в самый темный предрассветный час, встретилась с царем во внутренней галерее дворца. Истерзанный царь сидел на краю своего ложа; она тряслась перед ним, согнувшись от старости, с высохшим лицом, с крошечными яркими глазами, полными знания.

— Две вещи, — сказал он, — ты сделаешь или умрешь: ты прогонишь духа, который вселился в меня, и укажешь мне имя и место пребывания девушки, которую я видел на улице Вавилона в первый день Адара.

— Я могу сделать даже больше — я могу *показать* царю девицу, — сказала старая ведьма.

— Как?

— Сначала в видении. Если царь придет один в назначенное место завтра в полночь — я покажу ее царю.

— Я приду.

Сивилла ушла, спустившись по лестнице в стене. Царь встал и принялся расхаживать взад и вперед по галерее. Он глядел на освещенную луной бесконечность Вавилона, на пирамиды, храмы, городские стены — ушло бы три дня, чтобы их объехать. Отсюда он видел на равнине колоссальное золотое изваяние, которое сам установил. И он топнул ногой; он с вызовом воздел руку. «Не это ли великий Вавилон?..» — думал он.

Но, пока царь размышлял о величии Вавилона, сзади его кто-то обхватил руками, и чья-то рука легла ему на горло. Он упал в глубоком обмороке...

Весь следующий день он бродил по дворцу, не походя на царя, с всклокоченными волосами и клочьями пены в бороде, и взмах его руки погрузил кинжал в грудь виночерпия, подошедшего с кубком.

Когда наступила ночь, он сильнее нахмурил лоб. Он сидел на троне в приемном зале, жалко свесив голову к коленям. В полночь он отпустил всех и, оглядываясь по сторонам, тайком спустился по большой лестнице к юго-западным воротам дворца.

Здесь его ждала Зереш, колдунья. Они вместе шли по равнине, ветер свистел в пустыне, вдалеке грохотал гром. Но луна светила ярко.

Царь шагал быстро; Зереш едва поспевала за ним. Вдруг он остановился.

— Куда ты меня ведешь?

— В город гробниц, о царь.

— Что?

— Только там в моих силах показать царю видение.

Царь пошел медленнее.

— Я скажу тебе кое-что, — сказал он резко, — и пусть твоя наука это объяснит. Царица Никотрис мертва, и все же, когда я проходил ночью через ее покои, мне показалось, что передо мной кто-то стоит.

Зереш улыбнулась.

— Не знаю, — ответила она, — но если этот кто-то не напоминал человека, не мог ли то быть любимый царицей Пул, который, вне сомнения, до сих пор обитает в покоях своей госпожи?

— Я приказал прогнать обезьяну из дворца. Но что ты скажешь о руках, холодных, как руки Никотрис, что охватили меня в час утренней стражи?

Зереш оскалила единственный зуб.

— Несомненно, то были руки игривого Пула, о царь; будучи изгнан, он вернулся обратно, взобравшись на дворцовую платформу.

Они приблизились к развалинам Ура, где до них донесся львиный рык и вой дикой кошки, крадущейся среди руин. Справа — Евфрат, и кругом — «резьба таинственная обелиска, гроб яшмовый или увечный сфинкс», пережившие крушение первых городов мира. Здесь царило полнейшее запустение.

— Скажи мне, — спросил царь, — какова природа видения, ожидающего меня?

— Сперва царь войдет во внешнюю камеру гробницы.

Навуходоносор вздрогнул.

— Там небеса спустятся усладить ноздри моего господина.

На самом деле сивилла приказала двум девушкам ждать в темноте с дымящимися кадильницами.

— Царь, — продолжала она, — приблизится к противоположной стене, отодвинет в сторону ковер и войдет во вторую залу мертвых; тотчас небесные сферы овеют сладчайшими звуками его слух.

Во втором помещении она спрятала ловких музыкантов с флейтами и цимбалами.

— Царь пройдет через залу, раздвинет занавес и увидит перед собой...

— *Ее?*

— В ореоле сияния.

В третьем зале Зереш поместила самую прекрасную из своих приспешниц, облаченную в серебряное одеяние; пря-

мо перед нею кипел на огне котелок, содержащий смесь натрона, битума и серы; сквозь пелену поднимавшегося дыма царь должен был узреть видение; молодой жрице велено было спрятаться в одной из боковых комнат после того, как взор царя упадет на нее.

Их путь пересек низко летящий орел.

— Это, — сказала Зереш в духе анимистического антропоморфизма Востока, — Орел. Он смотрит в сердце Солнца. Как сильны его крылья! Смотри, как он величаво летит! Он — символ гордости.

Царь недоверчиво посмотрел на нее.

Они приблизились к пруду, у которого на одной ноге, в бушующем теперь на равнине урагане, стояла выпь.

— Смотри, — промолвила Зереш, — вот Выпь; она печально размышляет у одинокого пруда; мрачна она — символ уныния, вечно неблагодарная, вечно недовольная.

Царь нахмурился, услышав это.

Они почти достигли окраины города мертвых, когда на тропу с ревом выскочил Бык.

— Смотри, — закричала Зереш, — дикий Бык! Он питается травою земли, но попирает землю ногой. Кто приручит его? Он вскидывает голову от избытка силы. Это —- символ необузданного духа, того, что в Ионии называют *atasthalia* — бездумная, сумасбродная душа.

— Прекрати, ведьма! — вскричал царь.

Зереш прикрыла рот рукой.

Они уже подошли ко входу в гробницу, как вдруг оба остановились, словно окаменев; золотистое лицо ведьмы приобрело еще более зловещий оттенок, колени царя подкосились от нового ужаса. Тьма опустилась на землю. Луна светила тусклым рубином.

— Астарта сокрыла свой лик! — прохрипела Зереш. — Она гневается!

Но, когда тень Земли начала покидать орбиту спутника, ведьма спросила:

— Пойдет ли царь дальше?

Царь стоял, прислонившись к скале. Его губы дрожали, но он не мог издать ни звука.

— Пойдем же, — настаивала ведьма, — иначе царю не узреть видение.

Он с усилием выпрямился и пошел неверными шагами меж рядов усыпальниц; наконец Зереш остановилась перед открытым входом.

— Если господин мой отважится войти, откровение не замедлит последовать, и все будет так, как я сказала: ароматы, музыка, видения.

— Но гробница черна, как смерть; я не смею войти в нее!

— Мрак необходим, — ответила Зереш. — Моему господину нечего бояться.

Царь, дрожа, прошел под сводом в коридор, в конце которого раздвинул полог и вошел в первое помещение, слыша за собой в коридоре похоронную песнь ветра. Он стоял неподвижно и ждал обещанных благоуханий, но в ноздри его ударил запах смерти, исходивший от саркофагов.

Замычав от отвращения, он ощупью двинулся вперед и, отодвинув в сторону ковер, спустился по трем высоким ступеням во вторую комнату.

В тот же миг он ощутил присутствие еще одного существа: оно, словно ветер, металось из конца в конец комнаты и, быстро пронесшись мимо, коснулось его. Дух, терзаемый муками! Так подумали и спрятанные Зереш в усыпальнице девушки, которые ранее с криками бежали от призрака, не зная, что Пул, последовавший за своей госпожой к гробнице, стал с тех пор постоянным обитателем уединенного города мертвых.

Но музыка! Призвав на помощь все остатки здравого смысла, царь с отчаянной *надеждой* прислушивался — напрягал все свои ошеломленные чувства, в то время как Пул, тяжело дыша, метался туда и сюда. Но вот и впрямь раздался звук — громкий, сводящий с ума — треск, лязг, как будто разлеталось осколками стекло или мертвые колотили по тюремным решеткам дома смерти.

По телу царя поползли мурашки, и он, утратив всякое чувство направления, вскинул руки и побежал. Так он достиг третьей завесы и на бегу разодрал ее.

И тогда явился свет. Котелок Зереш, кипевший над противнем с тлеющими углями, испускал светлый дым, и в дыму глаза царя различили фигуру, при виде которой у него от ужаса сотрясся мозг: то была высокая женщина, закутанная с головы до ног в погребальные покрывала, с раскинутыми руками и повязанным тряпицей челом. Он увидел прямой нос — выпуклый подбородок — воскресшую Никотрис! И пока он смотрел, покров на лице, небрежно охватывавший голову, медленно разошелся и упал; раненые челюсти, соединенные единственным сухожилием, разинулись...

...Из ее горла вырвался крик...

Царь Навуходоносор замер, бессмысленно глядя прямо перед собой, мускулы его лица напряглись, толстые губы приоткрылись. Так прошла целая минута. Потом он с безумным видом провел ладонью по лбу, но и это вскоре прошло, и теперь царь был спокоен, а губы его кривились в идиотской ухмылке.

И он был отлучен от людей, и жилище его было у зверя полевого; и волосы его отросли, как птичьи перья, как перья орла; и ногти его стали как птичьи когти, как когти выпи; и ел он траву, как дикий бык.

И тело его было орошаемо росою небесной.

ЖЕНА ЮГЕНЕНА

Югенен, мой друг — любитель искусств, острых ощущений и нервных импульсов, — идеальный *boulevardier* и *persifleur*, не иначе, утратил рассудок, со всей уверенностью заключил я. По крайней мере, к такому заключению я пришел, когда после долгих лет молчания получил от него следующее письмо:

«*“Сдили”*, друг мой; этим именем называют они теперь сей древний Делос. По каковой причине и было сказано: “Так проходит мирская слава”.

Ах! Но для меня он, как и был для *нее*, — все еще Делос, священный остров, где родился Аполлон, сын Лето! Из своего жилища на вершине Кинта я вижу широкую дугу Киклад, вижу суда с приношениями — плодами Сирии, Сицилии, Египта; вижу ладьи, привозящие на праздник божественных посланниц Пан-Ионии — священные одеяния богинь трепещут на ветру, что вновь доносит до меня их “песни избавления”.

Остров ныне почти целиком принадлежит мне. Я также, без малого, единственный его обитатель. Делос имеет, как вы знаете, всего четыре мили в длину и вполовину меньше в ширину; я приобрел каждый свободный фут его поверхности. Я живу на плоской гранитной вершине Кинта и здесь, друг мой, я умру. Цепи неумолимей и ужасней тех, какие знали когда-либо члены Прометея, приковывают меня к этой скале.

Друг! друг! вот по кому тоскует мой больной дух. *Живой человек*: мертвых у меня достаточно, живых чудовищ, увы, слишком много! Престарелый слуга, быть может, двое, которые, как кажется, настойчиво избегают меня — вот и все мое человеческое общество. Осмелюсь ли просить вас, спутника моих давних лет, прийти на помощь несчастному, погибающему в этом месте запустения!»

Письмо продолжалось на многих страницах с тем же смешением высокопарности и отчаяния и содержало, кроме того, подробное обсуждение пифагорейской доктрины метемпсихоза. Трижды встречалось словосочетание «живые чудовища». Подобное послание, и от *него*, не могло не возбудить у меня крайнего любопытства и жалости.

Путешествие из Лондона на Делос не назовешь близким, но я, уступив во время длительного отпуска непреодолимому побуждению и приятным воспоминаниям о прошлом, в одну звездную ночь все же сошел на песчаный берег в некогда знаменитой гавани маленького греческого острова. Мое прибытие можно точно датировать благодаря тому, что произошло это ровно за два месяца до весьма необычайного природного катаклизма, случившегося на Делосе ночью 13 августа 1880 года. Я пересек кольцо плоской земли, которое тянется вдоль берегов острова, и начал подниматься на центральную гору. Дремотный воздух изнывал в диком дыхании роз, жасмина и миндаля; не было недостатка в стрекоте цикад и искорках светлячков, дополнявших наркотическое очарование этой страны грез. Менее чем через час я вошел в запущенный сад и положил руку на плечо высокого сутулого человека в аттических одеждах, одиноко бродившего под деревьями.

Он испуганно вздрогнул и повернулся ко мне.

— Ах, — сказал он, тяжело дыша и прижимая обе руки к груди, — это было так неожиданно! Мое сердце...

Он не смог продолжать. Это был Югенен — он и не он. Густая борода, стекавшая по его белой шерстяной одежде, была, как я мог заметить, все такой же черной; но неопрятные космы волос, колыхавшиеся с каждым дуновением зефира вокруг его головы и шеи, обесцветились до снежной белизны. Он смотрел на меня тусклыми и запавшими глазами давно умершего человека.

Мы вместе пошли к дому. Одного взгляда на здание было достаточно: я понял, что каким-то таинственным образом, в какой-то степени, Прошлое сковало и омрачило интеллект моего друга. Особняк был чисто эллинского рода, но поистине непредставимого размера — дебри, а не жилище. Я оказался в древнегреческом доме, только во много раз увели-

ченном и превращенном в бесконечное, непрерывное скопление греческих домов. Он был одноэтажным, хоть здесь и там над громадной плоской крышей возвышался второй ярус комнат. К этим последним вели лестницы. Мы прошли через дверь, открывающуюся внутрь, в коридор, который, в свою очередь, привел нас на прямоугольный мраморный двор; это была *аула*, окруженная коринфскими колоннами, с каменным алтарем Зевса Геркейоса в центре. Вокруг двора располагался с каждой стороны ряд залов, покоев, *таламосов*, увешанных богатым бархатом; и весь колоссальный дом, состоящий из сотен и сотен копий таких же дворов и окружающих помещений, образовывал непроторенную пустыню комнат, в чьих однообразных лабиринтах непременно заблудился бы и самый хитроумный путник.

— Это здание, — сказал мне Югенен через несколько дней после моего приезда, — это здание — каждый камень, доска, драпировка — было сотворено дикой и беспокойной фантазией моей жены.

Я недоуменно уставился на него.

— Вы сомневаетесь, что у меня есть или была жена? Тогда пойдемте со мной. Вы увидите... вы увидите... ее лицо.

Он повел меня по темному дому без окон, днем и ночью освещенному приглушенным пурпурным сиянием, которое исходило от множества маленьких открытых глиняных ламп, наполненных ароматным *нардинумом*, маслом, выжатым из цветков арабского растения нард.

Я следовал за изможденной фигурой Югенена через бесчисленные мрачные залы. Пока он медленно тащился впереди, заметно задыхаясь, я обратил внимание на то, что шел он согнувшись, словно высматривая что-то внизу; как я вскоре понял, это что-то было алой нитью, проложенной в качестве путеводной тропы в лабиринтах дома и бегущей по черному полу. Внезапно он остановился перед дверью покоев, именуемых *амфиталамосом* и, сам оставшись снаружи, жестом велел мне войти.

Я не имею, так сказать, «предрасположенности к тремору», и все-таки я не без дрожи оглядел комнату. Вначале я ничего не мог различить в мрачном свечении одинокой лам-

пы, висевшей на кованых медных цепях. Но постепенно передо мной проступила огромная картина без рамы, написанная масляными красками и занимавшая почти всю стену. Это был портрет женщины. Мое сердце трепетало, охваченное странным, глубоким волнением, когда я рассматривал ее черты.

Она стояла, выпрямившись во весь рост, облаченная в ниспадающий, багряный, вышитый *пеплос*, с чуть откинутой назад головой; одна рука была вытянута и указывала вперед и вверх. Лицо было не просто греческим — древнегреческим, в отличие от современного типа — но преувеличенно, неправдоподобно древнегреческим. «Красивее ли эта женщина всех смертных — или ужасней?» — спрашивал я себя. Справедливо было и то, и другое, или и то, и другое вместе, и однако, загадка была неразрешима. Ламия Китса возникла предо мной — этот «чешуйный блеск, сверканье багреца, лазури, злата». Недвижные поразительные глаза приковывали меня к месту, пока образ ее медленно овладевал моим взором. Вот она, пробормотал я, голова Горгоны с волосами-змеями и глазами василиска; и, размышляя об этом, я вспомнил миф о странных созданиях, рожденных каплями крови, стекавшей с головы Медузы; а затем, с судорогой отвращения, припомнил детские бредни Югенена, его слова о «чудовищах». Я подошел ближе, стараясь понять, что произвело на меня такое впечатление, близкое к ужасу, и вскоре нашел — или подумал, что нашел — ключ. То были, вне сомнения, глаза женщины. Правильней сказать, глаза тигра: круглые, зеленые, большие, с блестящими желтыми радужками. Я поспешил выйти из комнаты.

— Вы видели ее? — спросил Югенен с хитрой и нетерпеливой гримасой на пепельном лице.

— Да, Югенен, я видел ее. Она очень красива.

— Она написала это сама, — сказал он шепотом.

— Что вы говорите!

— Она считала себя... она *была*... величайшим гением живописи со времен Апеллеса.

— Но сейчас — где она сейчас?

Он поднес губы к моему уху.



— Она умерла. Вы, во всяком случае, выразились бы именно так.

Эта двусмысленность показалась мне еще более необычной, когда я обнаружил, что Югенен имел обыкновение скрытно и регулярно посещать отдаленные помещения дома. Поскольку наши спальни были смежными, я со временем не мог не заметить, что он посреди ночи — дождавшись, когда я, по его мнению, крепко засну — вставал, собирал остатки нашего ужина и спешно, крадучись, исчезал с ними в сумрачных залах громадного дома, всегда следуя в одном и том же направлении, указанном алой нитью на полу.

С тех пор я принялся усердно изучать Югенена. Природа его физического недуга, по меньшей мере, была ясна. Он страдал особым расстройством, которое врачи называют «дыханием Чейна-Стокса»; болезнь проявлялась через определенные промежутки времени, вынуждая его откидываться на спину в мучительной агонии дыхания и стенать от недостатка воздуха; его скулы, казалось, готовы были прорвать увядшую кожу мумии, ноздри безостановочно расширялись и сокращались. Но даже этот распад тела, считал я, мог быть частично приостановлен, не сопровождайся он яростным возбуждением *разума*, от которого в мире не существовало лекарства. Прежде всего, Югенена преследовала вера в какой-то зловещий рок, нависший над островом, где он жил. Он снова и снова вспоминал в разговорах со мной все древние описания Делоса, подчеркивая в гомеровых и александрийских гимнах Аполлону Делосскому странное представление о том, что остров *плавал* на морских волнах, или был прикреплен ко дну цепями, или был извергнут из глубин, дабы послужить временным пристанищем несчастной Ортигии, либо же, наконец, что ему предстоит *утонуть* под надменной пятой новорожденного бога. Долгие часы, словно беседуя сам с собой, он без устали развивал своего рода сновидческие, мистические толкования прочитанных нами вместе отрывков. «Известно ли вам, — говорил он, — что древние твердо полагали, будто водные потоки Делоса вздымаются и опадают в согласии с отливами и приливами Нила? Может ли что-нибудь яснее указать на веру в необыкновенный харак-

тер острова, его далеко идущее вулканическое родство, оккультные геологические аномалии?» Он часто повторял каламбурный гекзаметр древнейшего сивиллова пророчества:

*έσται και Σάμος άμμος, έσείται Δήλος άδηλος**

и часто, повторяя это, он извлекал из жалобных струн эоловой лиры тренодий, который, как он пояснил, сочинила его жена в виде аккомпанемента к стиху; и когда к погребальному завыванию этой надгробной песни — такой дикой и скорбной, что я не мог слушать ее без содрогания — присоединялась меланхолическая нота пустого и горестного голоса Югенена, воздействие ее на меня становилось невыносимым, и я радовался неверному, бледно-пурпурному свету ламп, хоть немного скрывавшему от Югенена мое лицо.

— Заметьте, однако, — добавил он однажды, — значение подразумеваемого эпитета «далековидный» применительно к Делосу: это означает «достославный», «многоизвестный» — видимый издалека не столько телесным, сколько духовным оком, так как остров не слишком гористый. Следовательно, слова «исчезнет из глаз» должны иметь соответствующее значение угасания этой славы. Судите сами, исполнилось пророчество или нет, когда я скажу вам, что эта священная земля, на которую некогда не разрешалось ступить ни единой собаке, на которой ни одному человеку не было позволено родиться или умереть, в настоящее время носит на своей груди чудовище, что отвратней плода воображения любого демона. Жуткое буквальное и физическое исполнение пророчества не может, я считаю, быть делом отдаленного будущего.

Я был уверен, что подобный эзотеризм был прежде чужд Югенену. Эта буйная поросль сорных трав душила его разум, но корни ее, как виделось мне, питались некоей огромной энергией, овладевшей моим другом. Мало-помалу я стал расспрашивать его о жене.

---

* Самос станет песком, и Делос (далековидный) исчезнет из глаз (*Прим. авт.*).

Она происходила, по его словам, из старинной афинской фамилии, которая благодаря постоянным усилиям сохранила чистоту своей крови. За несколько лет до моего визита Югенен, пресыщенный и уставший, проезжал через Грецию по пути на юг и как-то вечером оказался в деревне Кастри; и там, на месте древних Дельф, посреди разгневанной толпы греков и турок, угрожавших разорвать ее на части, он впервые увидел Андромеду, свою будущую жену.

— Она обладала невероятным мужеством и колоссальной оригинальностью мышления, — сказал он, — поскольку взяла на себя роль современной Гипатии и решилась, находясь среди фанатиков, возвратить на исходе века древних богов, как сделала некогда та. Разъяренная толпа, от которой я ее спас, окружила ее перед портиком только что построенного храма Аполлона, чей культ она надеялась там же и тогда же возродить.

Страстная любовь этой женщины обратилась на ее спасителя. Югенен чувствовал, что скован импульсом непреодолимой воли. Они соединились и по ее настоянию поселились в сумрачной обители, созданной ею на Делосе. В этом одиночестве, в этих тенях мужчина и женщина остались вдвоем. По прошествии нескольких месяцев Югенен открыл, что женился на провидице, жившей в мире видений, на сновидице, преисполненной снов. И каких видений! каких безумных снов! Югенен признался, что она внушала ему благоговение, и к этому благоговению примешивалось чувство, бывшее если не страхом, то чем-то сродни страху. Он понимал теперь, что вовсе не любил ее, а крайности ее страсти стал воспринимать с ненавистью, какую испытывают люди к экстракту болиголова. И все же его разум неизбежно должен был окраситься ее мрачным мировоззрением. Он жадно впитывал все ее поучения. Он следовал за нею, как луна за планетой. Когда она целыми днями скрывалась от него и куда-то исчезала, он бродил, покинутый и несчастный, тщетно разыскивая ее в лабиринтах дома. Обнаружив, что она имела привычку отдаваться наркотическим радостям семян некоторых опиатов, встречающихся на острове, Югенен нашел в себе смелость выразить неодобрение — и кончил тем, что сам стал


F.O.H.

рабом индийской *ганджи*. Так было и с ее странной властью над животным миром: ему это не нравилось, его это ужасало; он считал это чрезмерным и противоестественным; но он лишь украдкой бросал бесплодные взгляды и ничего не говорил. За нею обычно тянулся длинный зачарованный караван живых существ, в особенности кошачьих и крупных птиц. Собаки, напротив, сторонились ее и скалили зубы. Она привезла с собой с материка целую коллекцию этих питомцев, половины из которых Югенен никогда не видел; они содержались в неведомых уголках дома; время от времени она исчезала, чтобы вернуться с новыми компаньонами. Доброта, которую она проявляла к этим бессловесным тварям, была, я полагаю, достаточным объяснением ее власти над ними; но разум Югенена, уже разбитый болезнью, мрачно искал какую-то иную причину. Основной мотив этого беспокойства, несомненно, заключался в фанатической приверженности его жены пифагорейскому учению о переселении душ. В этом отношении Андромеда была определенно невменяемой. Она, рассказывал Югенен, выпрямлялась, протягивала руку вперед и, застыв с безумным взором, быстрым гортанным речитативом — словно пифия в экстазе исступления — пророчествовала о вечных трансформациях, уготованных духу человека. С неким презрением она останавливалась на ограниченности животных форм в мире и с негодованием доказывала, что дух человека выдающегося и самобытного, утратив тело, *может и должен* вселиться в не менее выдающееся и оригинальное вместилище. «И, — часто добавляла она, — на земле существуют подобные создания, но Господь, желая уберечь человечество от безумия, прячет их от глаз обычных людей».

Не скоро удалось мне склонить Югенена к рассказу о финальной катастрофе его необычайной супружеской жизни. Наконец он поведал об этом в следующих словах:

— Как вы теперь вы знаете, Андромеда была одним из величайших художников мира — вы видели ее автопортрет. Однажды, привычно рассуждая об ограниченности доступных форм, она вдруг сказала: «Но и ты будешь посвящен: пойдем, пойдем, я тебе *кое-что* покажу». Она быстро пошла впереди,

маня меня за собой, оглядываясь и улыбаясь мне любяще и покровительственно со снисходительностью жрицы, ведущей в храм неофита; я следовал за нею, пока мы не остановились перед только что законченной картиной, на которую она указала. Я даже не стану пытаться — ибо такая попытка была бы глупостью — описать тот ужас и безумие, что я увидал на холсте; не могу я и описать словами ту бурю злости, презрения и отвращения, что поднялась во мне при виде этого изображения. Ее кощунственная фантазия разожгла во мне такой гнев, что я поднял руку и хотел ударить ее по голове; по сей день не знаю, нанес ли я удар. Я ощутил, это правда, как рука моя соприкоснулась с чем-то мягким и податливым; но удар, если я его и нанес, был, без сомнения, слишком слабым, чтобы причинить вред субстанции много тоньше человеческой. И все же она упала; пелена близящейся смерти заволокла ее тускнеющие, укоризненные глаза; она сумела проговорить последние слова, указывая на Нечисть: «Во плоти узришь ты это!». И так, все указывая, указывая, она испустила дух.

Я перенес ее тело, забальзамированное в греческой манере умельцем из Коринфа, в одну из небольших комнат на крыше дома. Я оставил ее во мраке этой тесной и одинокой камеры и, собираясь выйти, заметил улыбку смерти на восковом лице в открытом гробу. Две недели спустя я пришел навестить ее. Друг мой, она полностью исчезла, за исключением костей; и из пустого гроба, над голым, лишенным плоти черепом, мне навстречу вспыхнули два глаза — живых глаза — глаза самой души моей Андромеды, но полные вновь родившегося яркого света, и в то же время глаза изображенного на картине ужаса, чьи очертания я начал различать в темноте. Я захлопнул дверь и упал на пол без чувств.

— Вы хотите намекнуть, мне кажется, — сказал я, — на изменение облика, переход от человека к животному; но, разумеется, предположение, что чудовище, тайно приведенное в дом вашей женой и случайно запертое вами с мертвой, обезумело от голода и набросилось на тело в открытом гробу, кажется если не менее ужасным, то по крайней мере менее невероятным.

Он на мгновение поднял на меня глаза и затем ответил:

— С мертвой я не запирал никаких чудовищ. Не спешите с «объяснениями». Я не должен напоминать вам о том, что вы и так знаете: на земле — не говоря уж о небесах — есть много такого, что и не снилось вашим мудрецам.

— Согласитесь, хотя бы, что нужно бежать из этого дома, — убеждал я.

Югенен ответил необычайным признанием: любое пренебрежение желаниями существа оказывало такое пагубное влияние на его здоровье, что у него давно не осталось сомнений — жизнь его тесно связана с жизнью создания, за которым он ухаживал; совершение же *второго* убийства, в каком он станет повинен, да что там, сама попытка его совершить, к примеру, путем бегства из дома — оборвет его собственную жизнь.

Услышав это, я преисполнился решимости спасти своего друга, несмотря ни на что и даже его самого. Прошло уже два месяца; близился конец моего пребывания на острове — но болезни его души и тела ничуть не отступили. Меня мучила мысль, что Югенен снова останется один и падет жертвой разрушительных маний.

В тот же день, когда он забылся влажной, беспокойной, опиатной дремой, я пошел по пути, означенному алой нитью. Она вела так далеко — и так похожи были залы, и так змеился путь, и такими неизменно однообразными были помещения по обе стороны от меня, что я не сомневался: если путеводная нить где-либо оборвется, добраться к желаемой цели можно будет лишь благодаря неслыханному везению. Я прошел по нити до самого конца, и заканчивалась она у подножия крутой лестницы, по которой я поднялся. Наверху и почти рядом с лестницей тянулась узкая стена с запертой деревянной дверью; в двери было отверстие, достаточно большое, чтобы пропустить внутрь руку. Когда я достиг верхней ступеньки, мой слух поразило долгое, низкое, жалобное скуление, отвратительно схожее с человеческими стенаниями.

Я поспешил спуститься. На небольшом расстоянии от лестницы я разорвал шелковую нить и, собирая ее по пути в ла-

донь, еще раз разорвал нить неподалеку от наших покоев.

— При сем, — произнес я, поднося нить к пламени лампы, — спасена будет живая душа.

После я лег и смотрел сквозь полусомкнутые веки, как Югенен, изможденный и дрожащий, собирался на свою еженощную вылазку. Мое сердце билось в тревожной агонии, пока я ожидал его затянувшегося возвращения.

Он вошел в мою комнату быстро и беззвучно и потряс меня за плечо. На его лице было непривычное выражение спокойствия, благородного достоинства и таинственности.

— Проснитесь, — сказал он. — Я хочу, чтобы вы... плохой из меня хозяин дома, не правда ли?.. чтобы вы нынче же ночью, немедленно, оставили меня, покинули остров — *сейчас же*.

— Но скажите, почему... — ахнул я.

— Нет-нет, отказа я не приму. Просто доверьтесь мне на этот раз и уходите. Судьба обратилась против меня — судьба столь дерзкая, что даже не позаботилась скрыть содеянное. Уходите. В гавани вы найдете рыбаков, кто-нибудь из них еще до рассвета доставит вас на Ринию, и вы будете спасены.

— Спасен... но от чего?

— От чего? Не могу сказать. От той судьбы, какой бы она ни была, что ждет меня. Знаете ли вы — можете ли вы представить — что нить, на которой висела моя жизнь, *оборвана*?

— Но если я скажу...

— Вам нечего мне сказать. Ах... вы слышите?

Он поднял руку и прислушался. У дома внезапно завыл ветер.

— Поднимается ветер, только и всего, — сказал я, вставая с постели.

— Но это... то, что последовало за порывом ветра. Разве вы не *почувствовали*?

— Югенен, я ничего не почувствовал.

Он охватил обеими руками мраморную колонну и прижался к ней лбом, а одной ногой негромко и механически стал отбивать такт по полу. В этой позе он, теперь совер-

шенно растерянный и оробевший, оставался несколько минут. По временам до нас доносился вой ветра. Внезапно он со смертельно бледным лицом повернулся ко мне и издал вопль, как испуганная донельзя женщина.

— Но сейчас... по крайне мере сейчас.... вы *почувствовали*?

Я не мог больше отрицать очевидное. Весь остров словно бы тихо покачивался, как на корабль на якоре.

Сам утратив присутствие духа, дрожа больше в благоговейном трепете, чем от ужаса, я схватил Югенена за руку и попытался оторвать его от колонны. Он что-то с мрачным видом бормотал, цеплялся за колонну и отказывался двинуться с места. Я, решив вопреки всему остаться с ним, сел рядом. Сейсмическое волнение усиливалось. Но Югенен, кажется, больше ничего не замечал, лишь автоматически, с регулярностью часового механизма, выстукивал такт. Прошел час, два часа. Наконец качание земли сделалось интенсивным, быстрым и безостановочным.

В какой-то момент я в приступе паники вскочил на ноги и затряс его за плечи.

— Упрямый человек! — вскричал я. — Вы потеряли последние остатки благоразумия? Как вы не ощущаете запах, не чувствуете, что дом в огне?

Его глаза, ставшие темными и тусклыми, вмиг зажглись новым безумием.

— Значит, — громогласным и ясным трубным голосом прокричал он, — она будет... да, она *будет* спасена! О, гепард — *оперенный гепард*!

Не успел я задержать истекавшего теперь изо рта пеной безумца, как он пробежал мимо меня и выскочил в коридор. Я бросился догонять его со всей быстротой, на какую был способен. Ковры и портьеры, чуть занимаясь тусклым пламенем, наполняли переходы дымом Тофета. Я надеялся, что Югенен с его слабыми легкими рано или поздно упадет, задыхаясь от усталости. Но некая энергия будто придавала ему силы — он летел вперед, как ветер; какой-то уверенный таинственный инстинкт словно направлял его: он не колебался и ни разу не замедлил бег.

Долгая погоня по трещавшему, горящему теперь со всех сторон дому подошла к концу. Верная интуиция безумия не подвела помешанного — он достиг цели, к которой стремился. Я увидел, как он взлетел по полусгоревшей лестнице, подножие которой уже превратилось в озеро огня. Он подбежал к дымящейся деревянной двери гробницы Андромеды и рывком открыл ее. И из темного склепа вырвался — заглушая гул огня, завывание бури и тысячеголосый рокот землетрясения — пронзительный и хриплый вой, от которого кровь заледенела у меня в жилах; и я увидал, как из тьмы появилось существо столь омерзительное, что никакой человеческий язык не найдет слов для его описания. Ибо, скажи я, что это был гепард — исполинский гепард — с водянисто-желтыми горящими глазами — с жирным и бескостным телом под густой порослью темно-серых и ярко-красных на концах перьев — с такого же цвета крошечными крыльями на спине — с громадным, широким, расширяющимся внизу хвостом, подобным хвосту райской птицы — как передам я словами все тошнотворное отвращение, бездонную ненависть и страх, какие испытывал? Пламя, было видно, уже охватило тело зверя; оно уже горело. Я увидал, как он даже не прыгнул, а взлетел к голове Югенена; как когти впились в плоть, зубы погрузились в горло. Все это я видел. Югенен зашатался, клокоча разорванным горлом, отбиваясь от оперенного ужаса, и опрокинулся туда, где секунду назад стояла лестница; они рухнули вместе в море пламени.

Я стремглав выбежал из дома, случайно найдя выход. Ночь была ясная, но все ветра, как будто сорвавшись с цепи, завывали вокруг острова в экстазе бури. Спускаясь, я замечал по пути, что деревья и некоторые скалы были опалены и расколоты; в одном месте мое внимание приковало скопление глубоких, гладких, конических отверстий, окаймленных серой светящейся окалиной. Ближе к берегу я остановился на отвесном обрыве и глянул прямо на море. Зрелище было величественным и ужасным. Не было ни валов, ни пены или ряби, но глубины, горевшие от поверхности до самого дна фосфоресцирующим светом, вздыма-

лись и, как мерцающий плуг за огненными кобылицами Диомеда, с ровной, неослабевающей, почти ошеломляющей стремительностью мчались на остров. И Делос, казалось, и впрямь *качался на воде* — плыл в мучительной борьбе, как малая обреченная птица в всепоглощающей стихии. С первыми лучами рассвета я покинул этот мистический храм древнего благочестия. Среди последнего, что открылось моему взору, был густой дым, все еще поднимавшийся над разрушенным и проклятым обиталищем Югенена.



ВАЙЛА

E caddi come l'uom cui sonno piglia — Dante.

Много лет тому назад, в бытность мою парижским студентом, я свел близкое знакомство с великим Коро и вместе с ним воочию наблюдал ряд тех случаев психических заболеваний, в анализе которых он не знал себе равных. Мне вспоминается одна девочка из Марэ, которая до девяти лет ни в чем не выказывала отличия от своих товарок по играм. Но однажды ночью, лежа в постели, она прошептала на ухо матери: «Мама, неужели ты не слышишь, как *звучит мир*?» Видимо, из недавних уроков географии она почерпнула, что Земля несется с огромной скоростью по орбите вокруг Солнца; это *звучание мира* она (весьма субъективно) воспринимала как едва слышимое мелодичное гудение, подобное шепоту морской раковины в молчании ночи, и в своих фантазиях считала этот звук песнью бесконечного движения. В течение полугода безумие всецело овладело ею.

Я упомянул о происшествии с девочкой в беседе со своим другом, Хако Гарфагером, делившим со мной, на Сен-Жермен, уединение старого дома, укрытого с улицы кустарником и высокой стеной. Он выслушал меня с какой-то странной жадностью, а после целый день выглядел подавленным.

Другой случай, который я подробно ему изложил, произвел глубокое впечатление на моего друга. Молодой человек, мастер игрушек из Сент-Антуана, страдавший врожденным хроническим туберкулезом, прожил двадцать пять лет жизни самым заурядным образом. По натуре был он скромен, прилежен и погружен в себя. Как-то зимним вечером, возвращаясь в свою пустынную каморку, он приобрел один из тех сеющих смуту листков, что, подобно созданиям тьмы, вьются в ночи над Большими бульварами. Сие заурядное

деяние возвестило его погибель. Он лежал в постели и просматривал *feuille*. Он никогда ничего не читал и мало ведал о мире и тяжком стоне его страданий. Но на следующий вечер он купил свежий выпуск. Мало-помалу он начал интересоваться политикой, общественными движениями, грохотом жизни. И этот интерес стал всепоглощающим. Каждый вечер вплоть до поздней ночи он лежал, углубившись в яростный вздор и бурный вихрь печатных страстей. Он просыпался усталым, кашляя кровью, но воодушевленным — и немедленно покупал утренний выпуск. Постепенно он деградировал. Чем сильнее скрежетали его зубы, тем меньше они жевали. Он сделался неряшлив, часто прогуливал работу, по целым дням валяясь на кровати. Газетенки взяли над ним верх. Большие вопросы и треволнения овладели его слабой душой, и потому все меньшие заботы и волнения умерли в нем. Вскоре наступил день, когда он перестал дорожить своей жизнью, и день следующий, когда со рвением маньяка он стал рвать на себе волосы.

Великий Коро сказал мне об этом человеке:

«Воистину, не знаешь, смеяться или плакать над подобными случаями. Прежде всего отметим, сколь различно сотворены люди! Есть умы чувствительные, как расплавленное серебро: они грубеют и темнеют от *малейшего* ветерка — а случись самум, торнадо? Здесь не метафора, но сравнение. Для таких людей эта планета — я чуть было не сказал, наша Вселенная — не место обитания, а Машина Смерти, гибельная Пустота. *Слишком* ужасен для многих нескончаемый пронзительный крик Бытия, они *не в силах* вынести земную юдоль. Им следует сосредоточиться на скромном шорохе своей жизни, сказал бы я, а не думать об этом беспредельном огнедышащем Механизме. В случае с нашим бедным игрушечных дел мастером, мы наблюдаем расстройство слуха, называемое “оксиэкойя”. Вспомним превосходный греческий миф о Гарпиях: этот человек точно был похищен *ими* или же, скажем, его затянуло под смертоносные колеса Мироздания. Весьма, знаете ли, почетный уход — попасть под Огненную Колесницу. Только помните, что вначале его ухватили за *ухо*, которым он вслуши-

вался в завывание Европы и в итоге закончил собственным воем. Может ли соломинка спокойно кружиться в первозданном вихре? Хаос и топот наших подошв, скажу я вам, разделяет весьма тонкая граница! Я знал человека, у которого была подобная особенность, слуховая гиперестезия: всякий звук немедленно приносил ему детальные сведения о своем источнике; иными словами, слух этого человека соотносился с обычным примерно как спектроскоп с телескопом. Он мог, например, определить на слух соотношение металлов в упавшем слитке, отличая, допустим, сплав меди и железа от сплава олова и свинца, причем звук сталкивающихся слитков сообщал ему не только пропорции металлов в каждом из них, но и какое-то странное знание о первичном значении и, если можно так выразиться, духе меди, железа, олова и свинца. Конечно, он сошел с ума, но перед этим сообщил мне удивительную вещь: *некое* прозрение подсказало ему, что точно такое же свойство, как у него, присуще и Высшему Существу, в Его восприятии пространства; это позволяет Ему постигать природу и движения разума и материи. И он также добавил, что *Грех* — то, что мы полагаем *грехом* — не что иное, как движения материи или разума, которые причиняют боль или оскорбляют чувствительнейшую диплакузию (так я вынужден назвать данное свойство) Творца. Даже "Законы" Откровения были, по мнению этого несчастного, установлены Создателем лишь для того, чтобы оградить себя от боли, причиняемой подобными звуками. И божественное наказание за убийство, к примеру, есть не более чем ответ на беспокойство, произведенное в божественном сознании материей кинжала или пули, оказавшихся в некий момент в неподобающем месте! Человек тот также, утверждаю я, был похищен Гарпиями».

Я уже упоминал, что подробно рассказал обо всем этом своему другу Гарфагеру. Меня удивил не столько его пристальный интерес — ибо Гарфагера интересовали любые знания — сколько его очевидные усилия скрыть это любопытство. Он торопливо листал книжные страницы, но был не в силах утаить трепет ноздрей.

С первых же дней совместной учебы в стокгольмской семинарии между нами установилась молчаливая близость. Он был мне очень симпатичен, и я знал, что и он симпатизирует мне. Но то была близость, лишенная обычных проявлений дружбы. Гарфагер был самым скромным и замкнутым созданием. Хотя наше совместное *ménage* (вызванное случайной встречей на полночном *séance* в Париже) длилось уже несколько месяцев, я ничего не знал о его планах и намерениях. В течение дня мы оба много читали — он пристально всматривался в прошлое, а я в равной степени был поглощен настоящим; по ночам мы возлежали на диванах подле огромной пещеры старого камина в стиле Людовика XI и выдыхали в сторону умирающего пламени клубы дыма в тишине полыни и эфирных масел. Иногда *soirée* или лекция заставляли меня выйти из дома, но — за одним исключением — я никогда не замечал, чтобы Гарфагер покидал его. В тот раз я возвращался домой по улице Сент-Оноре, где непрерывное движение сотрясало старинную булыжную мостовую, и внезапно натолкнулся на него. Он отрешенно стоял на тротуаре посреди окружающего шума и прислушивался к чему-то; похоже, он не сразу узнал меня, когда я прикоснулся к нему.

Еще мальчишкой я разглядел в моем друге подлинное благородство прирожденного патриция. Это было в нем зримо. Не скажу, что личность его создавала впечатление некоей возвышенности, богатства — скорее напротив. Он, однако, внушал чувство глубокой *древности* и наводил на мысли о последних минутах великой эпохи. Мне не приходилось встречать дворянина, болезненный облик которого столь явно нес бы печать истинного аристократа, правителя по своей сущности, чей чахлый цветок распустился вчера и завтра увянет; но корни того цветка пронизывают бездну столетий. Я знал лишь, что родовое поместье Гарфагера находится на одном из мрачных островов к северу от Зетландии, где жили его мать и тетка со стороны отца; что он был глуховат, но порой мог испытать боль или восхищение от каких-либо сочетаний музыкальных звуков,

скрипа двери, птичьего крика. Едва ли мне было известно тогда что-либо еще.

Он был ниже среднего роста и выказывал склонность к полноте. Его орлиный нос резко выступал вперед под того рода лбом, что френологи именуют «музыкальным» — иначе говоря, виски выдавались *наружу* над скулами, оставляя обширное пространство для мозга, в то время как линии бровей и блекло-голубые глаза под тяжелыми веками словно уходили от носа *вглубь* лица. Лицо это украшала реденькая бородка. Но наиболее удивительной чертой его облика были уши: почти круглые, очень маленькие и плоские, лишенные наружного завитка, известного как *helix*. Два крошечных диска хрящей всегда напоминали мне маленькие круглые щиты античных времен, называемые *клипеус* и *пельта*. Со временем я узнал, что представители его рода на протяжении нескольких веков отличались подобным строением ушных раковин. На бледном лице моего друга читалось грустное безволие, исполненное горечи. Кто-то назвал его Сарданапалом, последним и тщедушным отпрыском великого Нимрода.

Год спустя я счел необходимым известить Гарфагера о своем намерении покинуть Париж. Вечером мы сидели на наших привычных местах у камина. На мое сообщение он отозвался сдержанно вежливым «Вот как!» и продолжал глядеть на огонь; но через час повернулся ко мне и сказал:

— Похоже, этот мир суров и эгоистичен.

Мне приходилось и раньше выслушивать его трюизмы, преподнесенные под видом вновь открытых истин, но серьезный пристальный взгляд, сетование в голосе и отчаяние, с каким он покачал головой, немало изумили меня.

— *Отчего* вы так говорите? — спросил я.

— Друг мой, не оставляйте меня!

Он простер руки. Голос его звучал сдавленно.

Тогда-то я и узнал, что он пал жертвой дьявольской злокозненности, стал добычей адского искушения. Эта прельстительная, манящая рука, потаенная страсть, которую он всю жизнь избегал (и которой был особенно подвержен в одиночестве), все время соблазняла его — с того самого дня,

когда в возрасте пяти лет он был выслан отцом из опустевшего дома, окруженного морем.

— Кто же питал злые умыслы?

Он ответил: его мать и тетка.

— И в чем заключалось искушение?

Он сказал, что это было искушение вернуться — помчаться в безумии желания — обратно в тот сумрачный дом.

Я спросил, в чем именно он усмотрел преступные козни матери и тетки. Он отвечал, что, по его мнению, у них не было никакого определенного мотива, но лишь постоянная зловредность, ненамеренная и роковая; и что обнаруживалась она в бесконечных просьбах и наставлениях, какими на протяжении многих лет они докучали ему, заставляя вновь стремиться к далеким владениям предков.

Все это не укладывалось в моей голове, что я и высказал со всей ясностью. В чем же состояли ужасный магнетизм и столь же ужасная опасность его дома? На мой вопрос Гарфагер не ответил, но, поднявшись со своего места, скрылся за портьерой и покинул комнату. Он быстро вернулся с рукописью в кожаном переплете ин-кварто. Она оказалась «Хроникой скандинавских семейств» пера Хьюго Гаскойна, выполненной староанглийским готическим письмом. Указанный Гарфагером отрывок гласил:

«Знайте же, что старший из двух братьев, Гарольд, муж, исполненный неоспоримых достоинств и доблести, свершил паломничество в Данию. Возвращаясь оттуда домой, в Хьятланд (Зетландию), привез он с собою супругу, любезную Тронду, в коей текла кровь датских королей. И младший брат, Свейн, каковой был задумчив и приятен в обхождении, однако же много превосходил старшего хитроумием, принял его со всем возможным радушием. Но вскоре Свейн слег, занемогши от порочной страсти к Тронде, жене брата своего. И в то время, как достойный Гарольд с доверчивостью и чистосердечием молодости хлопотал у постели, где лежал больной, Свейн внезапно нанес ему могучий удар мечом, немедля заковал его руки в оковы и бросил на дно глубокого узилища. И поскольку Гарольд не желал отказываться от Тронды, жены своей, Свейн отрезал ему оба уха и выколол один

глаз, и после этих истязательств намеревался убить его. Но в тот же день доблестный Гарольд, разорвав оковы, напал на своего врага, обхватил его руками и, одолев и сбив его с ног, скрылся. Однако он не сумел отойти далеко от Замка, ибо, хоть и был он быстроног, не в силах был бежать дальше, ослабев от причиненных братом мук. И покуда он лежал без сознания, Свейн тихо подобрался к нему и, пронзив его копьем, сбросил с Сумбург-Хед в море.

Вскоре после того леди Тронда (не ведавшая ни о том, как погиб ее господин, ни того, жив он или мертв) благосклонно приняла Свейна; с великим торжеством и под звуки труб они разделили ложе. И отправились они оттуда в дальние края.

Случилось так, что Свейн возмечтал построить большой дом в Хьятланде к возвращению домой с леди Трондой. Посему он призвал искусного Зодчего и спешно отправил его в Англию собрать трэллей для постройки дома, а сам жил со своею женой в Риме. И отплыл Зодчий со своими работниками из Лондона, но на пути к Хьятланду вместе с кораблем утонули и он, и все прочие. А спустя два года, когда наступил назначенный срок, Свейн Харфагер послал письмо в Хьятланд, чтобы справиться о своем большом Доме, так как не знал он о гибели зодчего. И вскоре получил ответ, что с Домом *все хорошо*, и построен он на острове Вайла, а не на том острове, что указал Свейн. И страшно ему стало, и едва не пал он мертвым от ужаса, ибо узнал почерк брата своего Гарольда. И молвил он: “Стало быть, жив Гарольд, или же призраком написано сие письмо”. И горевал он много дней от столь сокрушительного удара. Впоследствии воротился он в Хьятланд узнать, как обстоят дела, и увидал, что старый Замок у Сумбург-Хед разрушен до основания. Тогда Свейн вскричал во гневе: “Иисус милосердный, что стало с великим Домом отца моего? Увы мне! нелегкая година судьбы”. И один из людей сказал ему, что толпа чужеземных работников разрушила его. И молвил Свейн: “Но кто подвигнул их на это?” И никто не ответил. И вновь вопрошал он: “Ужели мой брат Гарольд жив? Ибо вот его письмо у меня”, и снова ответа не было. Тогда отправился он на Вайлу и увидел, что стоит там большой Дом. И, глядя на тот Дом, сказал Свейн: “Видать, его построил брат мой Гарольд, мертвый или живой”. И там он поселился и жил, и жена его, и сыновья его и сыновья сыновей по сей день. Сей Дом не ведает пощады и жа-

лости, и потому сказано, что на всех, живущих там, падут греховное безумие и нечестивая агония, и что слуху их предстоит испить чашу ярости безухого Гарольда, доколе не завершится время Дома сего».

Я прочел отрывок вполголоса и улыбнулся.

— Это, Гарфагер, — сказал я, — неплохой рассказ старого доброго Гаскойна, пусть он и несколько суховат.

— Тем не менее, *история* подлинна, — ответил он.

— Вы в нее верите?

— Дом тот до сих пор прочно стоит на Вайле.

— Братья Свейн и Гарольд были достаточно грамотны для своей эпохи, не так ли?

— В моем роду, — ответил он с ноткой высокомерия, — неграмотных не было.

— Но вы же, по крайней мере, не верите, что средневековые призраки могут руководить постройкой семейных особняков?

— Хьюго нигде не утверждает этого, ибо от удара копьем вовсе не обязательно умирают. А если бы он и говорил так, было бы неверно полагать, что мне известно что-либо подобное.

— И в чем же, Гарфагер, заключается природа того «греховного безумия», той «нечестивой агонии», о которых пишет Гаскойн?

— Вы спрашиваете меня? — он развел руками. — Что я знаю? Ровным счетом ничего! Я был отослан из дома пяти лет от роду. Но отголосок этого по-прежнему криком отдается в моей душе. И я не *рассказывал* о муках — даже самому себе — наследственной тоски и отвращения...

В любом случае, объяснил я, именно сейчас моя поездка в Гейдельберг необходима. Я готов пойти на компромисс, сократив по возможности время своего отсутствия, и воссоединиться с ним, если он подождет несколько недель. Молчание Гарфагера я расценил как согласие и вскоре покинул его.

Но я был вынужден задержаться, а по возвращении в наше старое жилище нашел дом пустым. Гарфагер исчез.

И лишь двенадцать лет спустя мне пришло письмо — весьма сумбурное и чрезмерно многословное — написанное хорошо знакомым мне почерком друга. Местом отправления была означена Вайла. Характер начертания букв, заключил я, выдавал *бешеную спешку*, что было тем более удивительно, если учесть тривиальное содержание этого объемистого послания. В самом начале письма отправитель говорил о нашей старой дружбе и просил в память о ней посетить его умирающую мать; оставшаяся часть послания, лист за листом, содержала кропотливый анализ генеалогического древа его матери, целью которого было доказать, что она является урожденной Гарфагер и кузиной его отца. Далее он углублялся в рассуждения о необычайной плодовитости своего рода, утверждая, что с четырнадцатого столетия более четырех миллионов его предков жили и умерли в различных краях света; в настоящее время, по расчетам Гарфагера, оставались в живых всего трое из его обширного семейства. Этим выводом письмо завершалось.

Под впечатлением от полученного послания я отправился на север; достиг Кейтнесса; миновал шквалистые Оркнеи; добрался до Лервика; на Унсте, самом холодном и северном из Шетландских островов, посредством денежной дани убедил владельца оценить мореходные качества «сиксерна» под люгерным парусом (сходного с ладьями викингов) в противостоянии с водными стихиями и мрачным нависшим небом. Меня предупредили, что путешествие в такое время сопряжено с известным риском. Декабрь в этих северных широтах был по-киммерийски суровым. Говорили, что здесь не бывает морозов, но редко обходится без штормов. Невзирая на вялое дуновение ветра, густой и сырой туман, порождение моря, стелился высоко над водами, заключая лодку в куполовидную каверну среди печальных сумерек и угрюмых волн. Большие острова остались позади; нечто призрачное в мертвенном сочетании безмолвного моря и тусклой мрачности неба вызывало у меня чувство, что я словно *покидаю* нашу землю, направляясь *за пределы* обитаемого мира. Порой, однако, мы проносились мимо одной из тех уединенных шхер, или

морских скал, чьи отвесные стены, изрешеченные и расколотые приливными волнами и течениями Северного моря, являли пейзаж ужасающей гибели и опустошения, заметный даже на расстоянии. Лишь три таких шхеры случилось мне увидеть, прежде чем миновала середина тусклого дня; затем внезапная чернота ночи пала на нас, и с ней пришла одна из тех бурь, что составляют зиму этого околополярного моря. В блеклых и скорбных сумерках следующего краткого дня не прекращался дождь; но, прежде чем наступила полная темнота, мой рулевой, все время беседовавший с помощником о морских девах, водяных конях и *грюлях*, прервался, чтобы указать на мрачную серую возвышенность с наветренной стороны, которая и была, как он заверил меня, островом Вайла.

Вайла, добавил он, служила центром своеобразной системы опасных вихревых течений и водоворотов, что возникают под действием приливных волн, хаотически кружащихся меж островов. Близ Вайлы, по словам моряка, они мчатся с необыкновенной стремительностью из-за высоких утесов, которые подобно барбаканам сторожат окрестности; поэтому приближаться к острову в любое время тяжело, а ночью — безрассудно. Преодолевая сильные волны, мы подошли уже достаточно близко и могли разглядеть гриву прибоя, высоко вздымавшуюся над прибрежными скалами. Сила его ударов, заметил моряк, была в несколько раз больше, чем при артиллерийском обстреле; удары эти подбрасывали тонны камней на высоту нескольких сотен футов над островом.

Когда солнце едва приподнялось над линией горизонта, явив свой бледный лик сквозь траурную пелену мрака, мы вплотную приблизились к берегу; и я впервые ощутил некое *вращательное* движение на острове (вызванное, без сомнения, круговым потоком воды). Мы пришвартовались в маленьком заливе или морском рукаве на западной стороне острова; восточный берег из-за сильного волнения не подходил для высадки, хотя и был целью моего путешествия. В двух крытых торфом и соломой *ске* (каменных хижинах), которые приютились под защитой нависшего скло-

на, я обнаружил пятерых-шестерых оборванных местных крестьян-мореходов; очевидно, они добывали средства к существованию, поставляя необходимые припасы в большой дом на востоке. Других жителей на Вайле не было; взяв одного из них в качестве проводника, я вскоре тронулся в пеший переход по острову. Всю ночь, проведенную в лодке, я испытывал странное ощущение гнетущего гудения в ушах, что никак не могло объясняться даже ревом моря вокруг побережья. По мере нашего продвижения гул этот угрожающе усилился, и вместе с тем меня еще раз посетила необъяснимая уверенность в наличии уже упомянутого *вращательного* движения. Я обнаружил, что Вайла представляет собой край отвесных утесов и пропастей, сложенных из превосходного гранита и слоистого гнейса; однако примерно в центре острова мы достигли высокого плато, наклоненного от запада к востоку и покрытого замкнутой цепью сообщавшихся озер, которые зловеще и непрерывно перетекали друг в друга. За чередой мрачных, мерцающих черным светом волн я не мог разглядеть противоположный берег; выкрикивая имя своего спутника и напрягая слух в ожидании его ответных криков, я осознал, что берега того нет *совсем*. Да, я *кричал*, ибо ничто другое не могло спорить с непрерывным ревом десятка тысяч бизонов, несущимся со всех сторон. Я ощущал теперь несомненную дрожь земли. Напрасно взгляд мой искал в тоскливой местности хоть одно дерево или куст; никакая растительность, кроме мха, не смогла бы выдержать и дня в поединке с вечной агонией бурь, сделавших эту заболоченную и бесплодную землю своим владением. Спустя час после полудня темнота начала сгущаться вокруг нас; и в скором времени проводник, указав вниз на крутой узкий проход около восточного берега, поспешил обратно тем же путем, каким мы пришли. Я отчаянно кричал ему вслед, когда он ушел — но человеческий голос в том месте не мог быть услышан.

Спустившись в ущелье, я двинулся по нему с замиранием сердца и сильным головокружением. Дойдя до конца ущелья, я вышел на широкий уступ, который содрогался от непрестанного натиска моря. Вся эта часть острова

была, вдобавок, подвержена резкой и постоянной тряске, и явно не по причине ударов океана. Страшась порывов ветра, я ухватился за скалу и увидел зрелище таинственной жути, мрачной дикости. Казалось, окрестности воплощали пролог «Гекубы» или же некую мрачную область дантовского «Ада». Три черных утеса в окружении невообразимого сочетания скал, скрюченных, как ведьмины пальцы, служили убежищем визгливым стаям скоп и бакланов, тюленям и моржам, лежавшим в нескольких саженях от них; к их крикам и вою море добавляло свой надменный голос, полный вспененного, буйного, но невнятного гнева, ярясь словно армия под развернутыми знаменами, атакующая сушу. Пошатываясь, я прошел немного влево, и вдруг передо мной открылся огромный амфитеатр, и взору моему предстала панорама ужаснувшего сердце величия, какого я не мог вообразить ранее и не могу вспомнить во всех подробностях сейчас.

Я сказал «огромный амфитеатр», однако он скорее имел очертания округлого готического (или норманнского) дверного проема. Пусть читатель вообразит подобный проем, около мили в ширину, только лежащий на земле; изогнутая часть его наиболее удалена от моря; вокруг идеально гладкая и ровная стена вздымается на высоту, достойную гнезда коршуна, а в глубине этих готических форм *на всем их протяжении* пусть разбиваются волны ревущего океана, торжествующе расточаясь в изумрудно-седой ярости — тогда и немое благоговение, испытываемое мною, и томительный *ужас*, и ощущение полета легко найдут у него понимание.

Вот сколь впечатляюще заканчивали свой путь воды озер Вайлы.

В арке этого готического фонтана, пребывавшего в мире своих дымных мук и всепроникающей водной взвеси, стоял медный дворец... круглый по форме... гигантский по размеру.

Последний отблеск увядавшего дня почти исчез, но я еще мог различить, несмотря на беспрестанный ливень, чье мрачное мерцание напоминало ореол слез, что здание

было низким в сравнении с его необъятной окружностью; что на крыше у него имелся невысокий купол; что вдоль стен тянулись два тесно сомкнутых ряда закрытых ставнями норманнских окон; и что верхние окна были меньше нижних. Некоторые признаки заставили меня предположить, что дом был построен на природном каменном фундаменте, громадной округлой скале, покоящейся в арке водопада. Но основание это едва возвышалось над потоком; по местности, на которую я смотрел, текла глубокая и яростно пенящаяся река, обрушиваясь прямо в море. Было бы невозможно пройти к дому, если бы не перекинутый рядом массивный мост, увитый толстым слоем водорослей; он вел прямиком к зданию. Спустившись с уступа, я пересек его, промокнув до нитки. Вблизи я увидел, что дом до половины высоты стен также был густо покрыт, подобно старому кораблю, раковинами моллюсков и всевозможными видами блестящих морских трав; и — что особенно удивительно — во многих местах с медных стен свисали огромные, позеленевшие от ила железные цепи варварского обличия, отполированные веками. Они тянулись симметрично расходящимися лучами к скрытым водой точкам на земле: здание выглядело как стоящий на нескольких якорях ковчег. Но я не стал тратить время на его осмотр и отправился дальше; миновав плавный круглый водопад, ниспадавший с карниза крыши, я через один из многочисленных небольших портиков, выступавших из стен, наконец проник в дом.

Теперь меня окружала темнота — и звук. Мне казалось, что я стою в самой глотке какой-то вопящей планеты. Бесконечная грусть снизошла на меня, я был близок к тому, чтобы дать волю слезам. «Именно здесь, — сказал я, — находится Хорив, и сие есть место плача и долина вздохов». Сумятица звуков напоминала непрерывную канонаду многих тысяч орудий, смешанную со странными сотрясениями и грохотом взрывов. Я прошел через темные комнаты и пытался понять, куда идти дальше, когда омерзительная фигура с лампой в руке быстро двинулась ко мне. Я сжался от страха. Казалось, я вижу скелет высокого человека, за-

вернутый в саван. Однако блеск крошечных глаз и увядшая кожа лица мгновенно успокоили меня. Ушей у вошедшего не наблюдалось. Это был, как я потом узнал, Аит, а его необычайный облик частично объяснялся его же утверждением — не то истинным, не то ложным — что он некогда сильно *обгорел*, чуть ли не сгорел дотла, но чудом выжил. Со злобным выражением лица и странной взволнованной жестикуляцией он проследовал к покоям на верхнем этаже, где зажег восковую спичку, махнул рукой в сторону накрытого стола и оставил меня.

Долгое время я сидел в одиночестве. Земля под особняком сильно содрогалась; но все чувства мои, мнилось, были поглощены исключительно восприятием звука. Вода, вода стала моим миром — кошмаром на моей груди, ужасом в моих ушах, невыносимой пыткой моих нервов. Меня переполняло ощущение бесконечного погружения и гибели в сносящем все потопе — инстинктивно я хватал ртом воздух. Я встал и прошелся по комнате, но вдруг застыл на месте, злясь отчего-то на самого себя. Как видно, я осознал, что двигаюсь с некоторой *поспешностью*, несвойственной мне, неестественной для меня. Чувство головокружения резко усилилось. Я заставил себя остановиться и внимательно оглядел зал. Помещение было большим и сырым; обветшавшая, но богатая средневековая мебель словно терялась в нем. В центре зала стояло широкое низкое надгробие из мрамора с высеченным на нем именем Харфагара, жившего в пятнадцатом столетии; стены были покрыты старыми, коричневыми дубовыми панелями. Мрачно рассматривая все это, я ждал, борясь с невыносимым чувством одиночества; но вскоре после полуночи занавесь разошлась, и Гарфагер быстрой походкой приблизился ко мне.

За двенадцать лет мой друг постарел. Он по-прежнему выказывал известную склонность к полноте, однако пристальному взгляду представлялся нынче истощенным, недоедавшим. Шея торчала из туловища, поясница искривилась под бременем лет, по лицу и плечам в беспорядке рассыпались волосы ужасающей белизны. С подбородка

до самой груди свисала седая борода. На нем было что-то вроде засаленного халата, который развевался при ходьбе, выставляя напоказ неприкрытые и волосатые голени ног, обутых в мягкие комнатные туфли наподобие тех, что называются *ривлинами*.

Внезапно он заговорил. Когда я взволнованно вскричал, что уста его движутся впустую и я не улавливаю ни звука, он прижал обе ладони к своим ушам и яростно возобновил осаду моих – и вновь безрезультатно. Тогда он с сердитым мановением руки схватил свечу и поспешно вышел из комнаты.

В поведении его было нечто чрезвычайно искусственное и невольно напоминавшее скелетообразного Аита: резкость, возбуждение, пылкость, *шумное* неистовство, порывистость походки и экстравагантная дикость жестов. Его руки постоянно отбрасывали назад пряди волос. И хотя по лицу его разливался шафрановый оттенок смерти, глаза с набрякшими веками, напротив, опухли и налились кровью; он все время напряженно глядел вниз и куда-то в сторону. Он вернулся с листом бумаги цвета слоновой кости и графитным стилосом, свисавшим со шнура поверх его одежды.

Гарфагер поспешно нацарапал на листе просьбу принять вместе с ним участие (если я не слишком устал) в похоронах его матери. Громким возгласом я изъявил согласие.

Он снова прижал ладони к ушам, а после написал: «Не кричите: я слышу малейший шепот в любом месте этого здания».

Я вспомнил, что в молодые годы он казался несколько *глуховатым*.

Мы миновали анфиладу комнат; он прикрывал свечу рукой. Это было необходимо, поскольку я вскоре обнаружил, что в дрожащей среде дома воздух нигде не пребывал в покое, но был будто охвачен загадочным волнением. Едва ощутимое дуновение, похожее на эхо далекой бури, легко пошевеливало драпировки. Повсюду я сталкивался со следами былого великолепия и гниением нынешнего упадка. Во многих комнатах стояли старые мраморные надгробия; одна напоминала музей, хранивший россыпи бронзовых из-

делий, урн — но все разбитое, покрытое грибком, повсеместно капавшее сыростью, точно сам особняк источал пот в пылу тяжких трудов. Дурманящий запах разложения витал в воздухе. Мне было нелегко поспевать за Гарфагером, пока он безудержно мчался сквозь этот лабиринт. Только раз он резко остановился и, вздернув в бликах света безумно исступленное лицо, воздев руку, произнес единственное слово. По движению его губ я угадал слово «Внемлите!».

Затем мы вошли в длинный темный зал, в самом центре которого покоился глубокий гроб, расположенный на стульях возле кровати в окружении ряда высоких подсвечников из черного дерева. Я заметил одну особенность: часть изножья отсутствовала; приблизившись, мы увидели ступни трупа. К боковой стенке гроба крепились три вертикальных шеста; каждый был увенчан серебряным бубенчиком на гибкой стальной пружине — вроде тех, чей звон сопровождает движения танцоров *морески*. Аит с явным раздражением мерил шагами небольшое пространство у изголовья. Гарфагер быстро прошел по комнате к гробу, поставил свечу на каменный стол поблизости и встал над телом, погрузившись в болезненное созерцание. Я стоял рядом и смотрел на покойницу. Столь неумолимой смерти, Горгоны, я еще никогда не видел. Мне показалось, что гроб полон спутанных седых волос. Леди определенно была преклонного возраста, костлява, с носом-ятаганом. Ее голова торжественно покачивалась от непрерывного дрожания дома. Из каждого уха сочился черный ручеек, рот окружала полоса засохшей пены.

Я разглядел, что над трупом были установлены три тонкие пластины из полированного дерева, по форме и местоположению схожие с мостиком скрипки. Они были вставлены в пазы по бокам гроба, а форма их верхних кромок точно соответствовала наклону, который предстояло принять двум створкам крышки гроба при закрытии. Одна из этих пластин располагалась над коленями мертвой леди; другая — над животом; третья — в области шеи. В каждой имелось небольшое круглое отверстие. Из каждого отверстия вверх к ближайшему бубенцу был протянут шнур; та-

ким образом, три отверстия делились тремя шнурами на шесть вертикальных полукругов. Прежде, чем я смог догадаться о предназначении этого устройства, Гарфагер закрыл складную крышку гроба, в центре которой, в свою очередь, были проделаны крошечные отверстия для шнуров. Затем он повернул ключ в замке и произнес слово, прозвучавшее как «Пойдемте».

По его приказу Аит, приблизившись, взялся за ручку в изголовье; и тогда из темной глубины зала появилась дама в черном. Она была очень высока ростом, бледна и отличалась благородной наружностью. По изгибу ее носа и округлым ушам я признал леди Сверту, тетку Гарфагера. Ее глаза покраснели, но от рыданий ли, я не мог определить.

Мы с Гарфагером взялись за поручни в ногах гроба, и леди понесла перед нами один из подсвечников. Процессия тронулась в путь. Когда мы дошли до дверного проема, я заметил еще два гроба, стоящих в углу; на них были начертаны имена Гарфагера и его тетки. Мы проследовали по широкой изогнутой лестнице на нижний этаж и, спустившись еще ниже по узким бронзовым ступеням, оказались у металлической двери, где леди поставила канделябр и покинула нас.

Внешней стеной комнаты смерти, куда мы перенесли гроб, служила медная стена дома, наиболее близко подступавшая к водопаду; судя по всему, она подвергалась яростным ударам бурлящего потока. Сотрясение здесь было достаточно сильным. Все огромное пространство, в несколько ярусов, было заставлено деревянными полками со сгнившими или гниющими на них гробами. Я с удивлением заметил, что пол был медным. Судя по шороху массового бегства при нашем приближении, место это служило логовом для целых полчищ водяных крыс. Поскольку они не сумели бы прогрызть шестнадцать футов меди, я предположил, что некая плодовитая пара, должно быть, нашла здесь во время строительства дома спасительный ковчег; но и эта мысль показалась мне дикой. Гарфагер же впоследствии поделился со мной подозрением, что крыс,

с неким умыслом, *поселил* в подвале архитектор, выстроивший здание.

Мы опустили нашу ношу на каменную скамью посредине комнаты, после чего Аит поторопился уйти. Затем Гарфагер принялся быстро расхаживать из угла в угол вдоль длинного склепа, нетерпеливо склоняясь и привставая на цыпочки, чтобы исследовать полки и их содержимое.

Мог ли он, задавался я вопросом, испытывать какие-либо сомнения относительно сохранности гробов? Влага и распад проникали во все. Кусочек дерева, который я растер пальцами, превратился в труху.

Но вот он подозвал меня, и, вновь застыв, опять произнес: «Внемлите!». Мы вернулись в мою комнату. Здесь, оставшись один, я долго, снедаемый странным неясным гневом, мерил шагами пол, а после, утомленный, провалился в наполненный ужасом сон.

Даже тусклый дневной свет этой унылой местности никогда не рассеивал мрак в дальних углах дома. Однако я мог определить время *levées* по часам, стоявшим в моей комнате. В поразительно короткий срок наша былая близость с Гарфагером более чем восстановилась. Я говорю — *более чем*, и это само по себе поразительно, учитывая, что между нашими судьбами пролегли двенадцать лет. Но так оно и было; близость наша подтверждалась тем обстоятельством, что мы теперь принимали и прощали вольности в выражениях и поведении, какие, будучи оба людьми необычайно замкнутыми, ранее никогда не допустили бы по отношению друг к другу. Мы бродили по дому с бессмысленной настойчивостью, пересекая коридоры, исчезавшие в темной дали. Как-то он написал, что моя походка терзает его слух своей размеренностью. Я отвечал, что походка моя соответствует настроению. Он написал: «Вы развили в себе способность *раздражать*». Я был глубоко оскорблен и ответил: «Во вселенной уж точно существует более одного пальца, на который можно надеть обручальное кольцо».

Я стал понемногу догадываться о секрете нечеловеческой обостренности его слуха. К собственному ужасу, я и

сам по прошествии некоторого времени начал улавливать какие-то отголоски громко произнесенных слов. Я предположил, что причиной может быть повышенная возбудимость слухового нерва; даже исключая водопад, рева океана и грохота непрекращающегося шторма вокруг нас было бы достаточно, чтобы вызвать подобное нарушение; в таком случае, воспаление его собственного слухового аппарата, вероятно, достигло совершенной стадии гиперпиретической лихорадки. Я определил эту болезнь как Paracusis Willisii. Гарфагер недовольно нахмурился, но я, не смущаясь, безжалостно продолжал рассказ об одном случае из своей практики. Речь шла о безнадежно глухой женщине, которая, тем не менее, была в состоянии расслышать звук падения булавки, находясь в мчащемся вагоне поезда*. На это он только ответил: «Среди всех невежд, по моему давно сложившемуся мнению, ученые являются людьми самыми невежественными».

Гарфагер приписывал ужасное состояние своего слуха темноте, но мне это объяснение казалось просто надуманным. По его собственному признанию, сам он, его тетка и Аит нередко испытывали приступы сильнейшего *головокружения*. Я был поражен, так как сам незадолго до этого дважды просыпался от ощущения качки и тошноты, будучи уверен, что комната вместе со мной неудержимо вращается справа налево. Когда это ощущение прошло, я рассудил — пожалуй, преждевременно (хотя и в согласии с распространенными медицинскими теориями), что оно вызвано сотрясением нервных окончаний в улитке внутреннего уха. Что касается Гарфагера, то его убежденность в том, что дом и весь окружающий мир кружатся, приняла поистине пугающие формы, и ее последствия порой напоминали признаки невменяемости или демонической одержимости. По его словам, чувство головокружения никогда

---

* Подобные случаи изучены или, по крайней мере, доступны пониманию любого медика. Поражение нервов у глухих может быть причиной усилившейся чувствительности. При значительных повреждениях, *предела* такого усиления чувствительности не существует (*Прим. авт.*).

полностью не покидало его; временами ему казалось, что он с протянутыми вперед руками взирает в жуткую бездну, над которой уже занесена нога. Как-то раз во время наших блужданий он был словно повержен оземь незримой силой; так он пролежал целый час, весь покрытый холодным потом, и застланными безумием глазами удивленно следил за круговращением дома. Ко всему прочему, его постоянно терзало восприятие столь необычайных по своей природе звуков, что я не мог найти для них иного объяснения, помимо сильнейшего *tinnitus*. Он рассказывал, что в неразборчивый шум иногда вторгались пронзительные трели некоей орфической птицы, чьи страстные мадригалы наполняли его пониманием, что птица та явилась из далекой страны, имела оперение снежной белизны и была увенчана сиреневым хохолком. Порой он слышал соединенный гул человеческих голосов; их отдаленное отчетливое многоголосие рассыпалось в финале хаотическими музыкальными звуками. Бывало, его оглушал удар бесконечного и грозного столкновения, точно в его ушах раскалывалась и рушилась вселенная из стекла. Он также говорил, что мог скорее видеть, нежели слышать, разноцветные спутанные спирали музыки сфер, где-то глубоко, в глубине бездны, в черном мрачном провале ревущего водоворота. Эти его впечатления, которые я упорно считал *сугубо* внутренними явлениями, порой доставляли ему удовольствие, и он надолго застывал с приподнятыми руками, прислушиваясь к обольстительным звукам; другие, однако, воспаляли его, доводя до грани яростного безумия. Я предположил, что именно в этом заключалась причина тех раздраженных возгласов «Внемлите!», что он издавал примерно каждый час. Но я заблуждался — и вскоре с испугом и ужасом узнал истину.

Однажды мы проходили мимо железной двери на нижнем этаже; он замер и несколько минут прислушивался к чему-то с выражением чрезвычайно проницательным и хитрым. Наконец у него вырвалось: «Внемлите!»; после он повернулся ко мне и написал на листке: «Вы не слышите?» Я слышал лишь монотонный рев. Он прокричал пря-

мо мне в ухо — слова его до сих пор слышатся мне, как далекое эхо сновидений: «Вы увидите».

Он поднял подсвечник; достал из кармана своего одеяния ключ; отворил дверь.

Мы вошли в круглый зал с очень высоким, в сравнении с размерами помещения, куполом; зал казался пустым, за исключением прислоненной к стене стремянки. Пол был устлан мраморными плитами, а в центре темнел бассейн, напоминающий имплювий римского атриума, но круглой формы; бассейн явно был глубок и полон маслянистой миазматической воды. Меня поразило одно обстоятельство: когда свет упал на угольно-черную поверхность воды, я заметил, что она была совсем недавно чем-то *потревожена;* это никак не могло объясняться вибрацией дома — от середины бассейна к мраморным бортикам угрюмо расходились чернильные *волны* слизи. Я недоуменно взглянул на Гарфагера. Он знаком велел мне ждать и затем около часа прогуливался вокруг бассейна, привычно заложив руки за спину. По истечении этого времени он остановился; стоя вместе у края, мы пристально всматривались в воду. Внезапно он с силой сжал мою руку и я с неподдельным страхом увидел, как крошечный шар, без сомнения свинцовый, но окрашенный каким-то кроваво-красным химическим пигментом, упал из-под купола и исчез в центре черных глубин. При соприкосновении с водой он зашипел, исторгнув легкое облачко пара.

— Во имя всего греховного! — вскричал я. — Что это вы мне показали?

Он снова сделал быстрый и уверенный жест, призывая меня подождать; передвинул стремянку ближе к бассейну; вручил мне подсвечник. Взобравшись на лестницу, я поднял повыше свечу и разглядел нечто, свисавшее из туманного центра купола. То была сфера из потемневшей от древности меди; опущенное вниз горлышко придавало ей сходство с сосудом. На конце этого горлышка, как мне показалось, виднелось крошечное отверстие. По выпуклому медному боку сферы вились полустертые красные письмена:

«Дом Гарфагеров: 1389 – 188...»

Что-то *сверхъестественное* — не знаю что — в сочетании покрытой патиной сферы, мрачного бассейна и затеи с ежечасно падающими и шипящими шарами заставило меня поскорее спуститься со стремянки.

— Но что это значит?

— Вы видели надпись?

— Да. Что же все-таки она означает?

Он написал: «Сопоставив тексты Хьюго Гаскойна и Трунстера, я вычислил, что особняк был *построен* около 1389 года».

— А вторая дата?

— После последней восьмерки, — ответил он, — следует еще одна цифра, почти, но не полностью изъеденная патиной.

— Какая цифра?

— Разобрать ее нельзя, но догадаться нетрудно. Так как 1888-й год практически миновал, это может быть только цифра 9.

— Ваш рассудок в *ужасном* расстройстве! — воскликнул я, вспыхивая от гнева. — Вы предполагаете — отваживаетесь *утверждать* — такое, с чем разум, привыкший основывать свои выводы на фактах, не в состоянии примириться!

— А вы, со своей стороны, говорите вещи попросту абсурдные, — написал он. — Полагаю, вам известна формула Архимеда, согласно которой, зная диаметр сферы, можно определить ее объем. Итак, диаметр сферы под куполом, как я установил, равен четырем с половиной футам; диаметр каждого из свинцовых шаров составляет около трети дюйма. Если допустить, что в 1389 году вся сфера была наполнена шарами, нетрудно вычислить, что из четырех с лишним миллионов ежечасно падавших шаров внутри осталось не так-то много. И действительно, в сосуде их не могло быть больше. Падение шаров никак не может продолжаться еще год. Следовательно, мы неизбежно приходим к заключению, что речь идет об указанной цифре 9.

— Понимаете ли вы, Гарфагер, — вскричал я, — какую дикость утверждаете? Поверьте, друг мой, это самое порочное распутство мысли! С помощью какой безысходной алгебры вычислили вы, что крайний срок *обязан* быть именно таким, что ему назначено совпасть с остановкой часового механизма? И даже если так — каково назначение всего этого? Здесь нет — и не может быть *значения*! Вы думаете, что создатель этого жилища был подобен всеведающему карлику?

— Вы что, пытаетесь разозлить меня? — возопил он. Затем лихорадочно принялся писать: «Я не знаю — клянусь вам, что решительно ничего не знаю о предназначении этого устройства! Но разве вам не очевидно, что это огромный хронометр, призванный отмечать часы — не дня, а некоего цикла? цикла продолжительностью в пятьсот лет?»

— Но это всего лишь, — неистово прокричал я, — мрачный фантом нашего воображения! злая выдумка! Как же тогда регулируется падение шаров? О, друг мой, вы заблуждаетесь — ваш разум повредился в этой вакханалии шума и грохота.

— Я не сумел выяснить, — ответил он, — посредством какого внутреннего механизма, вязкой субстанции или пружины, чье действие, несомненно, основано на вибрации дома, шары замедляются в своем падении; но искусный средневековый ремесленник, изобретший эти часы, обладал достаточными познаниями, чтобы создать такое устройство; по крайней мере, понятно, что одним из элементов замедления служит малый размер пропускного отверстия, также очевидно и то, что этот элемент по известным, хотя и трудным для понимания, законам статики перестанет действовать, когда останется не более трех шаров; последние три упадут почти одновременно.

— Ради Бога! — безрассудно воскликнул я, не пытаясь подбирать слова, — ваша мать *мертва*, Гарфагер! Вы же не посмеете отрицать, что не осталось никого, кроме вас и леди Сверты!

Вместо ответа он лишь наградил меня презрительным взглядом.

Однако день или два спустя он поведал мне, что звук свинцовых шаров постоянно отравлял его слух, что жизнь его превратилась в напряженное, час за часом, ожидание их падения. Даже забываясь ненадолго сном, он непременно просыпался при каждом их всплеске; в какой бы части особняка он ни находился, звук этот повсюду настигал его с неотступной и настойчивой *громкостью*, и каждое падение отзывалось приступом мучительной боли во внутреннем ухе. Поэтому я ужаснулся, когда он заявил, что звуки падения шаров стали для него теперь сутью жизни, настолько близкой и схожей со свойствами его души, что их прекращение могло даже сокрушить его рассудок. И он судорожно закрыл лицо руками, прислонившись к колонне. Когда приступ миновал, я спросил, не согласится ли он раз и навсегда отринуть наваждение хронометра и бежать вместе со мною. Он начертал таинственный ответ: «*Тройственный* узел нелегко разорвать». Я вздрогнул. Почему тройственный? Он написал с горчайшей улыбкой: «Быть очарованным болью, тосковать о боли, обожать бесплодно и отчаянно — это ли не греховное безумие!» Я был потрясен. Бессознательно он цитировал Хьюго: греховное безумие! нечестивая агония! «Вы видели лицо моей тетки», — продолжал он, — «взор ваш был затуманен, если вы не заметили святотатственного спокойствия, радости кощунственного терпения, оскала, что прячется за ее милой улыбкой». Затем он заговорил о будущем, которое виделось ему бесконечным ужасом и заставляло содрогаться все его существо, но порой веселило сердце безумной *надеждой*. Он полагал, что уровень звука вокруг может значительно усилиться. И *тогда*, сказал он, содрогнется разум. В первый мой вечер в имении, звук моих шагов, а позднее и какие-то громко произнесенные мною фразы причинили ему острое беспокойство. При такой чувствительности, как я понял из его дальнейших слов, роскошь пытки от всевозрастающей громкости звуковой среды была искушением, перед которым никто не сумел бы устоять; и когда я заметил, что не в силах даже представить себе подобное усиление звука, не говоря уж о средствах, с помощью которых оно могло быть

произведено, он извлек из архивов дома некую летопись, передававшуюся из поколения в поколение. Из нее следовало, что бури, которые постоянно разоряли уединенные просторы Вайлы, с промежутком в несколько лет порождали особо сильный *ураган* — подобный Сириусу среди солнц — *предельное* буйство злонамеренных стихий. В такие дни обрушивались дожди и разливались реки, как во времена первого всемирного потопа; те *rösts* или водовороты, что всегда окружали Вайлу, расширяли затем в безумном порыве свои вращающиеся воронки и с ревом устремлялись вверх в многоликой смертоносной пляске водяных смерчей. Словно змееподобные динотерии или вздымающиеся монолиты Стоунхенджа с его грозными циклопическими колоннами, наступали они на маленький клочок суши и, сомкнувшись с торжественным грохотанием, обрушивали на него свои воды; и озера, питающие водопад, удваивались в объеме, и струи падали с удвоенным шумом. По словам Гарфагера, только чудом можно было объяснить то, что уже двадцать лет на Вайле не происходило такого грандиозного события.

И что же, спросил я, служило третьей нитью упомянутого им тройственного узла?

Он повел меня в круглый зал, который, по его словам, был построен в качестве геометрического центра круглого дома. Зал был огромен — столь огромен, что подобного, как мне кажется, я никогда не видел — так огромен, что любой участок стены, освещаемый свечой, казался почти прямым. И почти все его пространство от пола до потолка было занято колонной желтой меди; пространство между стеной и цилиндром позволяло разве что протиснуть руку.

«Этот цилиндр кажется сплошным, — написал Гарфагер. — Он доходит до купола и продолжается дальше, а другой его конец пронзает нижние этажи, спускается к медному полу склепа и, *проходя насквозь*, погружается в скальное основание. Под каждым этажом он расходится во все стороны, поддерживая пол своей вершиной. Какого рода мысли вызвал я в вашем уме этим описанием?»

— Не знаю! — ответил я, отворачиваясь. — Избавьте ме-

ня от ваших вопросов, Гарфагер. У меня кружится голова...

— Но вы ответите мне, — продолжал он. — Подумайте о *странностях* медного пола внизу, толщина которого, как я обнаружил, составляет около десяти футов; я имею причины считать, что его внешняя поверхность расположена несколько выше уровня земли; вспомните, что здание нигде не *крепится* к цилиндру; вспомните о *цепях*, что выходят из наружных стен и словно бы прикрепляют дом к скале. Скажите-ка, что вы *теперь* думаете?

— Так вот чего вы ждете? — воскликнул я. — Ждете *этого*? Не исключено ведь, что здесь не было никакого злого умысла. Вы торопитесь с заключениями! Любое жилище, даже прочно стоящее на земле, всегда может быть разрушено сильной бурей, а уж тем более на такой земле, в таком месте! Быть может, архитектор предусмотрел, что в подобном случае цепи порвутся, а дом за счет проседания будет спасен?

— Милосердия в вас, по крайней мере, с избытком, — отвечал он, и мы вернулись к книге, которую затем стали вместе читать.

Он не полностью утратил давнюю привычку к исследованиям, но больше не мог принудить себя к чтению. Он то отбрасывал, то снова брал в руки тяжелый том, расхаживая взад и вперед в круге света от лампы; бывало и так, что я, не слыша собственного голоса, читал ему вслух. По странной душевной прихоти, несколько книг, не испытывавших сейчас границ его терпения, были объединены общим мотивом — чем-то *picaresque* или претенциозно-умозрительным: *Пройдоха* Кеведо, небесная система Тихо Браге и прежде всего «Могущество и Промысел Божьи» Джорджа Хейквилла. Но однажды, когда я читал, он прервал меня высказыванием, на первый взгляд неуместным: «Чего я *не могу* понять, так это того, что вы, как ученый, считаете, будто физическая жизнь прекращается с остановкой дыхания», — и с этого момента характер нашего чтения изменился. Он привел меня в хранилище библиотеки в самой нижней части здания, и час за часом с неким *яростным* экстазом, доставая с полок том за томом, осыпал меня уче-

ными доказательствами бытия человека после «смерти». В его сознании звучало высказывание Галлера, и он настойчиво повторял его, снова и снова: «Sapientia denique consilia dat quibus longævitas obtineri queat, nitro, opio, purgationibus subinde repetitis...»; и поскольку опиум был эликсиром долголетия, самая смерть, утверждал он, была тем опиумом, чей куда более действенный напиток забвения убаюкивал тело, даруя покой бесчувствия далеко за вратами, ведущими в сад сновидений. Он цитировал различные труды, начиная с *Дхаммапады* буддистского канона и *Theatrum* Цвингера и кончая *Historia Vitæ et Mortis* Бэкона, выстраивая передо мною свидетельства истинности своей веры. Как-то он спросил, что я думаю по поводу рассказа барона Верулама о мертвеце, который во всеуслышание произнес молитву, или о пульсирующих внутренностях казненного преступника? Он, казалось, был удивлен моим скептическим отношением к этим россказням и напомнил мне о корчах мертвой змеи и биении сердца лягушки, *наблюдаемом* спустя несколько часов после «смерти». «Она не умерла, — процитировал он, — но *спит*». Причудливую мысль Бэкона и Парацельса о том, что жизненный принцип заключен в тонком духе или флюиде, наполняющем организм, он развил в замысловатое доказательство того, что подобный дух, по самой своей природе, не может быть подвержен *внезапному* уничтожению, пока пронизанные им органы остаются взаимосвязаны. Я спросил, каков, по его мнению, предел сохранения чувствительности в организме. Когда медленный распад, ответил он, заходит так далеко, что нервы уже не могут быть названы нервами, клеточная структура — клеточной структурой, а мозг — мозгом, или когда искусственным путем связь мозга с телом пресекается в шейном отделе — *тогда* воистину воцаряется царь ужасов, и тело как таковое прекращает свое существование. С опрометчивостью, никак не свойственной мне до прибытия на Вайлу, я, не сдержавшись, задал вопрос: не считает ли он, что это *суеверие* имеет какое-либо отношение к телу его покойной матери? Некоторое время он стоял в задумчивости, а затем написал: «Даже если бы я

не имел оснований полагать, что моя собственная жизнь и жизнь моей тетки в определенной степени зависят от полного прекращения ее существования, мне все равно следовало бы принять меры предосторожности, чтобы удостовериться в постепенном разрушении ее тленной оболочки; посему я буду осведомлен о самых мельчайших подробностях». Затем он объяснил, что кишащие в склепе грызуны со временем потрудятся и над ней; но не смогут проникнуть к области горла, так сперва им придется прогрызть себе путь через три шнура, протянутые сквозь отверстия пластинок в гробу — и тем самым, один за другим, они заставят бубенцы звенеть.

Миновало зимнее солнцестояние, открывая следующий год. В одну из ночей я спал глубоким сном, когда Гарфагер вошел в мою комнату и принялся трясти меня. Его лицо в свете свечи казалось мертвенно-бледным. За несколько часов он совершенно преобразился. Он уже не был прежним. Он напоминал тех несчастных, чей доверчивый взор — в самую полночь — заглянул внезапно в глазницы Ужаса.

Он сообщил мне, что слышал странные прерывистые звуки, напряженные и скрипучие, которые были словно подвешены в воздушном пространстве на нитях, готовых вот-вот разорваться от натяжения. Затем он спросил, не соглашусь ли я, Бога ради, сопровождать его к гробнице. Мы прошли через дом; Гарфагер малодушно дрожал и впервые отставал от меня. В мертвецкой он украдкой осмотрел несколько полок. Глаза его ввалились, лицо исказила гримаса, напоминавшая лик Смерти. Я заметил старую водяную крысу, которая тайком кралась прочь от лишенного изножья гроба, содрогавшегося на каменной скамье. Когда Гарфагер проходил мимо одной из самых коротких полок, единственный гроб, помещавшийся там, вдруг рухнул с высоты и разлетелся на куски у его ног. Он издал крик испуганного зверя и неверными шагами устремился ко мне. Я на руках отнес его обратно в верхний зал.

После он сидел, отвернувшись, в углу небольшой комнаты, трясущийся, согнувшийся под бременем лет. Более он не сопровождал привычным «Внемлите!» падение свин-

цовых капель. На мои увещевания он отвечал лишь словами: «Так скоро! так скоро!». Всякий раз, заходя к нему, я заставал его в том же положении. Его мужество было сломлено, он дрожал в нервной лихорадке. Не думаю, что он хоть на минуту забылся сном.

Во вторую ночь, когда я приблизился к нему, он внезапно вскочил с бешеным криком:

— Прозвенел первый колокол!

И едва он прохрипел эти дикие слова, как моего, теперь болезненно чувствительного, слуха достиг отдаленный слабый вой; несомненно, в том далеком месте, откуда он исходил, вой тот звучал ужасающим пронзительным воплем. Заслышав этот звук, Гарфагер зажал руками уши и бросился вперед, не разбирая дороги; я стремглав побежал за ним в черные глубины особняка. Мы мчались, пока не очутились в круглой комнате, залитой красноватым отсветом канделябра. В дальнем конце алькова стояла кровать. На полу лежала в обмороке леди Сверта. Темноватые седые пряди в беспорядке окутывали ее, подобно сердитому морю; повсюду были разбросаны клочья волос, вырванных с корнем. На ее горле багровели следы пальцев душителя. Мы перенесли ее на кровать и, найдя в шкафу настойку, влили ей меж стиснутыми зубами лекарство. На отрешенном, бесчувственном лице леди Сверты я не увидел признаков смерти и, поскольку нашел нечто отталкивающее в ее облике, поспешил поручить ее заботам Гарфагера.

При следующей встрече я заметил, что манеры Гарфагера претерпели изменения, которые я могу назвать разве что омерзительными. Он держался с самодовольной важностью, характерной для человека слабого интеллекта, ни к чему толковому не способного, но ободряющего себя возгласами: «За дело! время не ждет — пора встряхнуться!» Его походка вызвала у меня отвращение и предположение об *ataxie locomotrice*. Я осведомился о леди и происхождении следов на ее теле. Низко склонившись к нему, я расслышал глухой вкрадчивый ответ: «Тайная попытка покушения на ее жизнь была совершена этим скелетом, Аитом».

Его слова искренне удивили меня, но он, судя по всему, не разделял моего удивления. На мои неоднократные настойчивые вопросы о причине пребывания в доме подобного слуги и роде его службы он не мог дать внятного ответа. Аит, по словам Гарфагера, был взят в особняк во время его долгого отсутствия в годы юности. Он знал лишь, что Аит отличался необычайной физической силой. *Откуда* и как он явился, не ведало ни одно живое существо, кроме леди Сверты; и она боялась или, по крайней мере, постоянно отказывалась посвятить Гарфагера в эту тайну. Собственно говоря, добавил он, со дня его возвращения на Вайлу леди по каким-то причинам хранила молчание касательно семейных дел, и ни разу, не считая случайных замечаний, не нарушила свой же негласный запрет.

С любопытной и излишней *целеустремленностью*, в приступе добровольной и беспорядочной энергии, напоминая во всем пьяницу, который заставляет себя действовать упорядоченно, Гарфагер демонстративно обратился в те дни ко множеству несущественных дел. Он собрал семейные летописи и расположил их в хронологическом порядке. Связал и пометил стопки документов и, упросив меня помочь, перевернул все портреты лицом к стене. Однако его труды прерывались постоянными головокружениями; шесть раз на день он падал наземь. Кровь порой текла из его ушей. Он с жалобными стонами сетовал на ясный звук серебряной флейты-пикколо, который не прекращая манил его. Когда он в поте лица занимался сиюминутными мелочами, его руки трепетали, словно дрожащий тростник. Я замечал, как двигались с невнятным бормотанием и хныканьем его губы, а глубоко запавшие глаза слезились. Его молодость уступила место дряхлости старческого слабоумия.

Но настал день, когда он ожил и вновь помолодел. Он вошел в мою комнату, пробудив меня ото сна; я видел безумное ликование в его глазах, слышал дикое шипение его крика:

— Вставайте! Это грандиозно. *Буря*!

Ах! Я уже ощутил ее — в долгом круговращении ночного кошмара. Я чувствовал ее в томительной атмосфере комнаты. Итак, буря пришла. Я видел ее в зловещих отсветах лампы на дьявольски искаженном лице Гарфагера.

Я взглянул на циферблат часов. Было девять утра. Сардоническая радость сразу взорвалась внутри моего существа. Я вскочил с дивана. Гарфагер тем временем удалился, вышагивая гордой поступью обезумевшего древнего пророка. Я бросился вслед за ним. Дрожь здания явственно усилилась; иногда дом на секунду замирал и будто прислушивался, затаив дыхание. То и дело мне мерещились едва различимые отзвуки каких-то далеких причитаний и воплей, подобных плачу иудеев в Раме; но были ли они плодом моего воображения или завываниями бури, я не мог судить. Слышались мне и отчетливые звуки органа. Воздух дома полнился смутным предчувствием беды.

Ближе к полудню я увидел Гарфагера, с лампой в руке бежавшего по коридору. Его ноги были босы. Поравнявшись со мной, он окинул меня взглядом, но едва ли признал и проскользнул мимо, однако тотчас остановился, вернулся и прокричал мне в ухо: «Желаете *взглянуть*?». Он поманил меня за собой. Я последовал за ним и увидел небольшое окошко во внешней стене, закрытое железной створкой. Когда он отодвинул защелку, металлическая пластина мгновенно распахнулась и отбросила его далеко в сторону; в тот же миг порыв ветра, завывая и грохоча, быстро ворвался через отверстие, с громогласной яростью пленил меня и приковал в противоположном углу. По коридору прокатилась разрушительная волна, сопровождаемая падением картин и мебели. Я, тем не менее, умудрился подползти на животе к окошку. Я ожидал увидеть море — но все мои чувства поглотила кружащаяся, перестилавшаяся вихрями тьма, чья распахнутая пасть напоминала букву О. Солнце Вайлы исчезло. Улучив подходящую минуту, мы в едином усилии сумели закрыть створку.

— Пойдемте, — Гарфагер снова зажег свечу и подозвал меня, — посмотрим же, каково приходится мертвецам в Судный день посреди великого запустения!

Едва мы бегом достигли середины лестницы, как я содрогнулся от грозного толчка; по всему дому разнесся низкий глухой удар, который мог объясняться лишь одновременным падением всей огромной массы нагроможденных на полках склепа гробов. Я обернулся к Гарфагеру и краем глаза заметил, что он, сломя голову, панически удирает по своим следам, зажимая руками уши и широко распахнув рот. Затем страх настиг и меня — вселил дрожь в отважное торжество моего сердца — и отозвался мыслью, что *теперь* мне остается только бросить Гарфагера в беде и задуматься о собственном спасении. Но все же некое странное сомнение заставило меня в последний раз броситься на его поиски; колебания эти я безусловно воспринял как эгоистичные и болезненные. Я долго бродил по полуночному дому в поисках света и, наконец обнаружив лампу, продолжал искать Гарфагера. Так прошло несколько часов. Воздух сгустился, и царившее вокруг неистовство усилилось до чрезвычайности. Звуки, похожие на отдаленные крики — призрачные, как вопли духов — терзали мой слух. С приближением вечера я начал распознавать в грохочущем все громче баритоне водопада нечто новое: пронзительность — свист экстаза — преступное намерение — угроза бешенства, слепого и глухого.

Около шести вечера я нашел Гарфагера. Он сидел в темном помещении, склонив голову и сложив руки на коленях. Лицо его было скрыто волосами, из ушей текла кровь. Правый рукав его одеяния был разорван, как я предположил, во время повторной попытки справиться с окном; исцарапанная рука безвольно свисала. Некоторое время я стоял и слушал его бессвязное бормотание. Теперь, когда я нашел его, я ни слова не сказал об отъезде. Он вдруг резко поднял голову с криком «Внемлите!» — затем с властным нетерпением повторил: «Внемлите! Внемлите!» — и после восторженно вскричал: «Второй колокол!». И *снова*, лишь только замер его крик, по всему дому разнесся приглушенный, но явственный вопль. Мгновенный приступ головокружения швырнул Гарфагера на пол; я же, схватив лампу, выбежал из комнаты, весь дрожа, но охваченный решимо-

стью. Резкие крики продолжались еще некоторое время, не то наяву, не то отдаваясь эхом в ушах. Подбежав к покоям леди, я заметил на противоположной стороне коридора открытую дверь оружейной комнаты; я бросился внутрь, схватил боевой топор и, вооруженный таким образом, собирался уже прийти на помощь даме, когда Аит, сверкая глазами, выскочил из ее спальни через дальнюю дверь. Подняв свое оружие, я с криком кинулся к нему, готовясь поразить врага; однако я случайно выронил лампу — и не успел опомниться, как топор был выбит из моей руки, а сам я был с силой отброшен назад. И все же света из комнаты оказалось достаточно: я разглядел, что скелет метнулся в ближайшую ко мне дверь оружейной, где я раздобыл топор. Я тотчас захлопнул ее и запер; затем, поспешив к другой, проделал то же. Аит очутился в плену. Потом я вошел в комнату леди. Она лежала, свесившись с кровати в алькове; склонившись над нею, я услышал громкий предсмертный хрип. Взгляд, брошенный на растерзанное горло, убедил меня, что ее последний час уже пробил. Я положил ее на кровать и полностью прикрыл распущенными гирляндами черных драпировок, а затем бездушно отвернулся от ужасного зрелища. На секретере, стоявшем поблизости, я увидел записку, предназначенную, очевидно, для Гарфагера: «Я намерена ослушаться и бежать. Не думай, что из страха — но ради самой ослепительности Вызова. Ты *готов* присоединиться?» Я позаимствовал из канделябра свечу и покинул леди, оставив ее в одиночестве последних мук агонии.

Я успел отойти на некоторое расстояние от спальни, когда вздрогнул от удивления, услышав необычный звук — звон, напоминающий по *тембру* бряцанье тамбурина. Он показался мне довольно громким, несмотря на то, что раздавался на значительном расстоянии от меня; все это означало, что звук производился с какой-то невероятной силой. Я ждал, и минуты две спустя вновь раздался тот же звук, который затем стал повторяться с такими же равномерными промежутками. Почему-то он вызывал у меня боль. Постепенно во мне крепло убеждение, что источником зву-

ка был Аит: должно быть, он снял со стены два старинных медных щита и, ухватив их за ручки, ударял теперь щитами друг о друга, давая выход овладевшей им ярости. Я вернулся к Гарфагеру; казалось, истерзанные до предела нервы заставляли его метаться по комнате. Он склонял голову; встряхивал ею, как лошадь под градом ударов; пытался оградить руками свой слух от повторяющегося звона медных щитов.

— О, когда... когда... когда же, — хрипло простонал он мне в ухо, — этот дьявольский хрип угаснет в ее горле? Я вот-вот не выдержу и сам, говорю вам — сам, *своей собственной рукой*! — о Господи...

С утра воспаление его слуховых окончаний (как, впрочем, и моих собственных), похоже, только усилилось сообразно окружающему реву и вопящему хаосу; и слышимые им хрипы леди ужасающе заполняли выверенные интервалы между бряцанием жутких кимвалов Аита. Он воздел трепещущие пальцы в воздух и, размахивая руками, стремглав помчался в темноту.

И вновь я тщетно искал его. Проходили часы, и медленно этот адский день клонился к мрачной полуночи. Удвоенный шум водопада смешался с громом и величием бури, достигшей своей кульминации, и превратился в *скрежещущий крик* — звук слишком определенный и намеренный, чтобы его можно было приписать какой-либо естественной причине. Я лишился власти над собственным разумом, и тот блуждал по своей прихоти. Здесь, в очаге лихорадки, я заразился ею; средь сынов противления, был крепок силою и слаб немощью безумия. Я бродил из комнаты в комнату, повергнутый, ошеломленный, испытывая головокружение от прилива радости. Я пал, «как тот, кого объемлет сон». И все же, когда я приблизился к оружейной, бурные экстазы Аита слабым звоном отозвались в ушах. Гарфагера я нигде не встретил; несомненно, и он, словно неприкаянный Агасфер, блуждал в круглом мире дома. Однако ближе к полуночи я заметил слабый свет, проникавший сквозь приоткрытую дверь одной из комнат на нижнем этаже. Я вошел туда и обнаружил Гарфаге-

ра. Это был зал с хронометром и свинцовыми шарами. Гарфагер полусидел на стремянке, раскачивался и, обхватив себя руками, глядел в черноту бассейна. Последнее мерцание буйства дня, казалось, умирало в его глазах. Он не поднял головы, когда я приблизился. Его руки, особенно обнаженная правая, были красны от свежей крови; но и на это он, похоже, не обращал никакого внимания. Так он сидел с широко раскрытым ртом и тяжело дышал. И пока я смотрел на него, он внезапно подскочил, хлопнул в ладоши и с криком: «Прозвенел последний колокол!», как безумный, бросился вон из комнаты. Поэтому он не увидел (хотя и мог догадаться по звукам) зрелище, созерцание которого наполнило меня благоговейным ужасом: из хронометра в оцепеневший бассейн выскользнул в облаке шипящего пара шар: и с тиканьем часов, другой! — и снова тиканье, и следующий! и не успел еще *полностью* рассеяться пар от первого, как испарения третьего смешались с ним над серой поверхностью воды. Понимая, что свинцовые песчинки часов исчерпались и время здания истекло, я также, беспорядочно размахивая руками, помчался прочь. Однако бегство мое внезапно было остановлено ощущением грозного рока, пролившего свой фиал на особняк; и тотчас, благодаря залпам пронзительного треска наверху и надвигающемуся ливню всемирных вод, я осознал, что водяной смерч, целиком или частью, обрушил на нас катастрофу разразившегося потопа и прорвался внутрь, уничтожив по пути купол здания. В тот миг я увидел Гарфагера; он несся в мою сторону и рвал на себе волосы. Когда он пробегал мимо, я схватил его.

— Гарфагер! спасайтесь! — закричал я. — Те самые источники, — ради Бога, Гарфагер! — я шипел ему прямо в ухо, — *источники самой Великой Бездны..!*

Он посмотрел на меня пустым взглядом и скрылся. Я кинулся в комнату и захлопнул дверь. Здесь некоторое время я ждал, ощущая дрожь в коленях; но нетерпение бешенства понукало меня, и я снова двинулся дальше. Коридоры были повсюду затоплены водой, доходившей мне до бедер. Посланцы бури, яростно хлынувшие сквозь разрушенный

купол, теперь буйствовали и распутничали по всему дому. Мой светильник сразу погас; и тут же я вздрогнул, пораженный присутствием *иного* света — призрачного, мрачного, синеватого — донельзя мягкого, но дикого, фосфоресцирующего — который заливал теперь все здание. Я не мог найти этому объяснения. Но покуда я стоял в раздумьях, неодолимый порыв ветра ворвался в дом и я услышал где-то совсем рядом резкий *хруст*. Минута бездыханной тишины — и затем — быстро, быстро — все быстрее — послышались удары, и биение, и лязг рвущихся одна за другой, по всему огромному кругу, якорных цепей, что удерживали дом под упорным натиском урагана. И *вновь* мгновенье вечного покоя — и тогда — неспешно и уверенно — ибо час его пробил — громоздкий дворец *сдвинулся с места*. Моя плоть корчилась, как липкая кожа змеи. Здание медленно перемещалось и останавливалось: — затем толчок — вихрь — и пауза! снова кружение — и удар — и пауза! — потом непрестанное напряжение чудовищной медной оси, подобное тяжкому движению плуга, взрезающего землю; и после пылкая устремленность, и первый взмах крыла только что оперившегося птенца — порыв — и наконец воздушный экстаз полета. И когда я качался и падал, вращаясь вместе с домом, мысль о бегстве вновь посетила меня, но на сей раз я в ярости сжал кулаки.

— Нет, Господи, нет, нет, — вскричал я. — Более не стану я стремиться прочь отсюда, о Боже! Я готов погибнуть рядом с Гарфагером! Позволь мне танцевать здесь, на этом Балу Вихрей, в Хаосе Громов! Разве великий Коро не назвал это переходом в огненной колеснице? Но огонь этот ярче! краснее! Словно прогулка по жарким волнам лавы, по расплавленным слиткам адского золота! Это — крещение в жаровне солнца!

Память на ощупь пытается внести ясность в сумерки, окутывающие дальнейшие события. Я пробирался по лестнице, уже затопленной потоком воды; после долго бежал, спотыкаясь и падая, с дикими речами на устах, среди обваливающихся потолков и рушащихся повсюду стен. В воздухе висела капель, вся крыша, помимо трех балок стро-

пил, была снесена ветром. В мертвенной луной синеве гобелены плескались на ветру, влачась за движущимся домом, словно развевающиеся волосы гневного факира, что корчится под укусами роя оводов и смертоносных тарантулов. Пол постепенно наклонялся, как палуба судна; вся покрывавшая его вода стекала, сливаясь воедино, в одном направлении. Там, где находился самый большой из выступающих портиков, дом стал при каждом своем повороте биться с ужасающим содроганием о какую-то преграду. Удар — и пока губы успели бы сосчитать до трех, еще три толчка. То была ветреность громады! вакханалия тяжести! Быстро — еще быстрее, все быстрее — дом лихорадочно закружился и помчался; свирепая буря обрывала его портики, точно паруса, и превращала в развалины его огромное тело. Протиснувшись через заваленную обломками стены дверь одной из комнат, я увидел в тусклом синевато-сером свете Гарфагера, восседающего на саркофаге. Он сжимал в окровавленной руке палку и слабо, но упорно бил в находившийся рядом с ним большой барабан. Скорость накренившегося дома достигла теперь точки покоя, *равновесия*, предельной энергии вращения. Гарфагер сидел, опустив голову на грудь; внезапно он отбросил волосы с лица, вскочил, распростер руки и начал вращаться — головокружительно! — в том же направлении, что и дом! — в таком же равновесии сна! — его волосы развевались, щеки дрожали, глазные яблоки закатились от ужаса, а язык вывалился наружу, как у волка, раскрывшего пасть в бешеном издыхающем вое. В приступе отвращения и тошноты я отвернулся от этого зрелища и побрел, спотыкаясь, на подгибающихся ногах, пока не обнаружил, что нахожусь на нижнем этаже, напротив крыльца. Дверь упала, разлетевшись на куски, к моим ногам, и дыхание бури обдало меня своей свежестью. Некий порыв, частью безумие, но в большей мере глас небесной ясности, бросил меня вперед. Я выскочил наружу и погрузился в разверзшийся вокруг ад.

Я сразу очутился глубоко в воде; река сбила меня с ног и понесла к морю. Даже здесь я расслышал мгновенный

пронзительный треск будто разъятого на части мира. Едва он стих, как мое тело натолкнулось на своем пути на одну из окутанных толстым покровом морских водорослей базальтовых опор полуразрушенного моста. Я чуть не потерял сознание. С усилием подняв голову над водой, я сумел подтянуться и выбраться на деревянный настил. Участок моста, доходивший до скалы, откуда я спустился в первый день, оставался в целости. Я с трудом пополз на животе, сжимаясь под порывами ветра. Струи дождя хлестали не переставая, в воздухе мерцала шелковая завеса капель. Надо мной разливалось то же неистовое свечение, что озаряло ранее дом сквозь дыры разрушенного купола; я оглянулся — и увидел, что жилище Гарфагеров стало достоянием прошлого; поднял глаза — и вот, все северное небо до самого зенита горит одним волнистым изменчивым океаном торжественных огней. То было полярное сияние, и каждое мгновение его трепещущие лучи выстраивались в колонны, конусы и обелиски — ярко-красные, лиловые и розовые; колыхаясь от дуновения бури, они словно по волшебству сложились в необъятную сверкающую орифламму чарующих световых локонов, и завитков, и радуг, а дальше, над самым горизонтом, разлившиеся лучи полярного света воздвигли незыблемую северную корону ослепительной чистоты и блеска. Блаженные слезы нахлынули на меня при виде этого величественного явления. И с ними разрушилось сновидение! — рассеялось наваждение! — будто чья-то рука сняла с моего разума слепую пелену заблуждений; и я, рыдая на коленях, воздел руки к небесам в благодарственном воздаянии за чудесный Рефидим и чудо избавления от всех искушений — и скорбей — и трагедии — Вайлы.

ПЕЧАЛЬНАЯ УЧАСТЬ САУЛА

Нижеследующий текст — документ, найденный в фондах Библиотеки Каулинг; он написан неверной рукой на пятнадцати обрывках материала, весьма напоминающего папирус, но папирусом не являющимся, и на двух квадратах пергамента, который профессор Станнистрит назвал кожей «рыбы-хобота»; семнадцать листов скреплены в верхней части какой-то смолой или дегтем. Примечание в конце написано другой рукой и другими чернилами, помечено «Э. Г.» и гласит, что документ извлекли из португала (большой бочонок) на испанском галеасе «Капитана» между Бермудами и островом Св. Фомы; вдобавок, нам известно, что в этой точке морское дно образует впадину глубиной в четыре тысячи фатомов — как вы заметите, это удивительным образом подтверждает сведения, сообщенные в документе. Повествователь, некий Саул, родился за шестнадцать или двадцать лет до восшествия на престол королевы Елизаветы и написал свой отчет около 1601 года, в возрасте примерно шестидесяти лет. Его рассказ удивительным образом соотносится с нашими современными познаниями — конечно, моряки в те давние времена не могли ничего знать о подводных лодках. Я заменил некоторые архаические обороты и слова, добавив несколько слов в тех местах, где рукопись была повреждена.

Все возрастающий недостаток воздуха заставляет меня поскорее описать случившееся в надежде, что я смогу переправить свои записки из этой пещеры в бочонке, который, может статься, попадется кому-то на глаза; мое перо — осколок кости, чернила — грязь из озера, а бумага изготовлена из камыша. Ежели начать с моего рождения, то имя, мне данное — Джеймс Дауди Саул, третий сын Перси Дау-

ди Саула и Марты, его жены, рожденный в Аплэнд Мид, на ферме в свободном владении моего отца, близ боро Байдфорд, в Девоншире; я не ведаю, в каком году родился, знаю только, что был уже юношей в год восшествия Ее Величества на трон.

Меня рано отправили в школу отца Джона Фишера в боро, и я добился немалых успехов в латинской грамматике (ибо отец мой желал, чтобы я стал клерком), но в возрасте пятнадцати лет, кажется, я сбежал, повздорив со своим старшим братом, и решил, что море станет моим призванием. В итоге на протяжении двух лет оставался я при капитане торгового судна, Эдвине Очинсе, на болинджере «Дэйн», ходившем по разным портам в Проливе; а после его смерти сел в Пензансе на корабль знаменитого мастера Томаса Стакли, который, подобно многим другим девонширским джентльменам, занимался пиратством среди ирландских скал. Он вел дела с ольстерским кавалером, мастером Шоном О'Нилом, который не раз дружески трепал меня по плечам; но потом, поссорившись с Ее Величеством, он стал папистом и отправился с доном Себастьяном Португальским в африканскую экспедицию, от участия в которой мне пришлось отказаться.

Потом на протяжении года, а может, и двух, я занимался законным промыслом на барже «Гарри Мондрой», между устьем Темзы и Антверпеном; но однажды я случайно повстречался в «Колоколе», что в Гринвиче, с мастером Фрэнсисом Дрэйком, молодым человеком лет двадцати пяти, который собирал тогда команду для своей бригантины, «Юдифь», а цель его была такова — поучаствовать в третьей экспедиции мастера Джона Хокинса в испанские поселения.

Мастер Хокинс отплыл из Плимута на «Иисусе», с четырьмя кораблями сопровождения, в октябре 1567 года. После того, как мы попали в шторм (это было в равноденствие в Бискайском заливе), пришлось остановиться на Канарах; захватив четыре сотни чернокожих на побережье Гвинеи, мы поплыли в Вест-Индию, но удача нам не улыбнулась. Потом мы направились в Картахену и к Рио де ла Хача; теперь, должно быть, всем уже хорошо известно, как «Иисус»

лишился руля, как нам понадобилось почистить дно корабля, как мы поплыли к Сан-Хуан-де-Уллоа в Мексиканском заливе; как тринадцать испанских галеонов и фрегатов застали нас врасплох, как адмирал де Бакан заключил с нами договор, который он злодейски нарушил в полдень, обманом лишив нас трех кораблей и нашей добычи; спаслись только «Миньона» и «Джудит» — но об этом я подробно рассказывать не стану.

«Юдифь», водоизмещением всего в пятьдесят тонн, и «Миньона», водоизмещением менее ста тонн, были полностью укомплектованы командой, но на борту оставалось мало воды, и кладовые почти опустели. Пролежав три дня в дрейфе у песчаных скал, мы подняли паруса 25 сентября, поскольку слышали о некоем месте в западной части залива, где можно было пополнить наши запасы провизии. Мы прибыли туда 8 октября, но обнаружили, что там нет ничего или почти ничего, полезного нам; мастер Хоукинс созвал совет на «Миньоне», и сотне людей предложили сойти на берег, чтобы остальные смогли вернуться в Англию, урезав рацион.

То, что случилось с нами, сошедшими на берег, я помню смутно — многочисленные приключения, о коих Богу ведомо, остались в моей голове как тяжкие, но выцветшие, поблекшие сны, ибо что они в сравнении с тем великим испытанием, каковое Господь Всемогущий уготовил бедняку вроде меня. Мы бродили по лесам, на нас нападали индейцы, нашей пищей были коренья да ягоды, и через три недели мы наткнулись на испанский гарнизон — нас взяли в плен и отправили в Мехико. Там с нами обошлись по-христиански: накормили, приодели и распределили по разным плантациям: это премного удивило всех нас, наслышанных о страданиях английских моряков в Испании; но в те времена в Мехико не было Святой Палаты, посему нас и пощадили: некоторые стали надсмотрщиками, другие ремесленниками в городе и так далее. Что до меня, то после семи месяцев отсутствия я вновь оказался в Сан-Хуан-де-Уллоа, и здесь, неплохо навострившись по плотницкой части, я вскорости преуспел в этом деле.

Никто моей верой не интересовался; я приходил и уходил, когда хотел; довольно быстро я освоил испанский язык, пообтерся в городке, женился на Лине, девице поистине очаровательной, дочери сеньоры Гомес из *confiteria* или лавки сладостей; и Лина родила мне Моралеса и Сальвадору, двух прелестнейших малышей.

Я прожил в Сан-Хан-де-Уллоа два года и одиннадцать месяцев; и то были годы тихие и счастливые — ничего подобного я в своей жизни не знал.

Днем тринадцатого февраля 1571 года я держал путь домой через *prado*, отделявшее мою мастерскую от *confiteria* тещи — и тут я увидел четверых людей, которые приближались ко мне и которых в Сан-Хуане никто прежде не встречал. Один из них был доминиканец, так тщательно укутанный в рясу с капюшоном, что рассмотреть его лицо не оставалось никакой возможности — виден был лишь блеск глаз; другой носил бороду — этот явно принадлежал к Ордену Иисуса; третий напоминал нотариуса, а четвертый походил на альгвасила и сжимал в руке жезл. И завидев всех этих людей, лишился я разом и надежды, и радости; ибо большой неповоротливый фрегат бросил якорь тем утром у песчаной скалы, и я мигом сообразил, что эти гости приплыли оттуда, что они — служители Святой Инквизиции и что они явились по мою душу.

Я упоминал уже, что до 1571 года не было в Мехико никакой инквизиции; но в последние месяцы в Сан-Хуане ходили слухи, что король Филипп, убоявшись английского вмешательства в торговлю золотом и распространения английской ереси, подумывает учредить Святую Палату в испанских колониях. Сказано — сделано, в моем случае, по крайней мере[1]: я ведь был единственным еретиком в тех местах. Меня подстерегли на *prado* в тихий сумеречный час, и я услышал

[1] Хорошо известно, что никто из 99 спутников Саула, высадившихся на берег с «Юдифь» и «Миньоны», не смог спастись; все были схвачены, брошены в казематы, подвергнуты пыткам, прогнаны голыми по улицам. Некоторых сожгли на аутодафе, других отправили на суд в Севилью, откуда послали на галеры (*Здесь и далее прим. авт.*).

от альгвасила известные слова: «Хватайте еретика». И меня потащили по маленькой *callejôn*, которая вела от *prado* к берегу, где уже ожидала судовая шлюпка.

До того момента, пока они не втолкнули меня в лодку, я даже не помышлял о том, чтобы в последний раз обнять жену и малюток — настолько ошеломило меня внезапное пленение. В лодке я упал на колени, хотя и лишился дара речи и не мог вознести молитву. После чего гребец опустил руку мне на плечо, как будто утешая: это движение вызвало у меня поток униженных просьб и призывов. Но охотники, не теряя времени зря, подхватили меня под руки; когда шлюпка достигла песчаного гребня, меня подняли на корабль по кормовой лестнице, отвели в дальний угол на полубаке и заперли в каморке, оставив корку хлеба, четыре луковицы и чашку с водой; значительную часть этого тесного помещения занимали детали бушприта; здесь же, кстати, я обнаружил пару кулеврин.

Я еще не знал, куда похитители собираются меня доставить — то ли в Европу, то ли в какой-то порт в испанских колониях; но я обо всем догадался на следующий день, когда меня вывели на палубу — я не увидел никаких признаков земли, море простиралось во все стороны, насколько хватал глаз.

Наш корабль, который именовался «Сан Маттео», был большим и неповоротливым, водоизмещением около четырехсот тонн, с высоким носом и высокой кормой, полубак был двухъярусным, а корма — трехъярусной. Конечно, корабль нимало не напоминал новехонькие, с иголочки суда мастера Флетчера, такие, как «Юдифь». Но «Сан Маттео» был прочно сработан, неплохо отделан, а полсотни пушек были отлиты из доброй меди. Корабль шел по ветру на всех парусах и, кажется, мне подвергался немалой опасности. Вообще «Сан Маттео» показался мне настоящим старым корытом с такой массивной надводной частью, которую могла разрушить первая же серьезная буря.

Меня отвели в капитанскую каюту, которую использовали в качестве приемной залы; за столом сидели пятеро. Тот, кто расположился в центре — не кто иной, как мой об-

винитель и судья — тотчас сообщил, что доказательства моей вины представлены служителям Палаты (каковыми служителями, насколько я понял, и были все присутствующие) и полностью подтверждены вышесказанными служителями; и когда я дам ответы на все вопросы, касающиеся жизни моей в Сан-Хуане, тогда сразу допросят меня с пристрастием. Грудь мою, Господь свидетель, сдавило ужасом; но внешне, кажется, я оставался спокоен — христианская доблесть не покинула меня. Допрос был кратким; я отказался целовать крест, после чего ко мне обратился Председатель — тот самый доминиканец, которого я увидал на *prado*; лицо его покрывало множество морщин, хотя был он еще молод, а его кривая улыбка терялась в сети морщин. Он настаивал, но я остался тверд. Моя грубость, заметил он, заслуживает наказания; теперь в течение дня мне устроят второй допрос, чтобы принудить к покаянию, и не станут особенно церемониться.

Я ждал этого второго допроса, но не дождался. Свернувшись в углу среди металлических деталей, я все яснее осознавал, что «Сан Маттео» приходится туго; к вечеру мои уши наполнил вой ветра, и я уже не мог расслышать слабые звуки из кухни, которая располагалась не в трюме, как на английских кораблях, а на полубаке над моей каморкой. Весь день мне не приносили еды, и я понял, что у людей на борту есть дела поважнее, чем забота о злополучном еретике.

Я заснул крепким сном — и не просыпался, похоже, до следующего полудня; хотя разница между полуднем и полуночью в моей тюрьме была невелика. Теперь я снова почувствовал, как раньше, буйство ветров; судя по движению корабля, началась настоящая буря, которая вертела «Сан Маттео» с невообразимой силой. В ту ночь, страдая от голода, я отчаянно колотил кулаками по стенам моей тюрьмы, но так и не дождался ответа — несомненно, мои крики и стук терялись в хаосе звуков.

Потом я снова забылся и вновь, похоже, в середине дня, проснулся от воя ветра, который врывался в дверь, только что отворенную юнгой. Он склонился надо мной, поставил рядом миску со свининой и, постучав меня по плечу, при-

ложил губы к моему уху и выкрикнул: «Ешь, англичанин! Твоя жизнь спасет этот корабль!»

Он удалился, а я остался в недоумении. Но к тому моменту, как я закончил трапезу, смысл его слов стал более-менее ясен — я неплохо изучил нравы моряков, в особенности испанских моряков; и я сказал самому себе: «"Сан Маттео", несомненно, на грани гибели; солнце скрылось с небес; мы сбились с курса — и я, еретик, буду сброшен за борт, как Иона, чтобы умилостивить бурю».

И вот остаток дня я лежал лицом вниз, поручая мою душу, мою жену и детей попечению Создателя; и вот, ближе к ночи, вошли три моряка, подхватили меня и потащили наружу; и я покинул каморку, и все прежнее самообладание оставило меня.

Несомненно, ни единому смертному в его последний час не являлось такого мрачного зрелища, каковое предстало моим глазам. Некое ужасающее сияние разлилось в воздухе, и в самом свете мне чудился мрак. И ржавые отсветы над горизонтом оставляло солнце, которое то взлетало вверх над валами, то скрывалось внизу, совершая круговые движения, словно мучилось от морской болезни или обезумело. По небу как будто разлили чернила, и небо и море смешивались в единую массу. Я увидел, что задняя мачта исчезла, и «Сан Маттео» шел только под двумя парусами; однако же корабль дергался и метался, как напуганный каплун, то и дело черпая бортами воду. Путешествие из моей камеры на полуют заняло не менее двадцати минут — настолько сильной была качка. И за это время моего слуха коснулось немало звуков — мрачных и скорбных: безумные крики, перезвон колоколов, жуткие стенания сирен и погребальные молитвы... Меня объял трепет: ибо я понял, что в этой битве стихий стану жертвой — и отправлюсь вниз один.

К орудийной башне у правого борта был привязан бочонок: в таких хранили солонину во время продолжительных путешествий. Рядом, прижавшись к палубе, держась обеими руками за окошко орудийной башни, застыл иезуит; его одеяния развевались, и за пазухой он держал молоток; вокруг стояли четверо в светских одеждах.

Пока я вырывался из слабеющих рук своих стражей, бочонок наклонился, и я смог разглядеть внутри железный балласт — то, что именуется *drados*; и тогда понял я, что буду брошен в воду не так, как Иона, а в бочонке, и тело мое не поплывет, подобно телам многих Ион, «в кильватере», как говорят моряки, чтобы отвратить катастрофу от корабля. Нет, погребение в бочке с балластом более соответствовало нравам испанцев.

Когда я подошел к орудийной башне, тот, кого я считал капитаном, положил руку мне на плечо и произнес какие-то слова, заглушенные ветром; впрочем, я понимал, что он приказывает мне сесть в бочонок. И я, нимало не медля, влез туда и втиснулся внутрь. Сопротивление казалось мне затруднительным — я мог рассчитывать разве на то, что свалюсь за борт, прихватив с собой одного из испанцев; вдобавок, не было у меня сил сопротивляться, и возможно, я почти тотчас лишился чувств, ибо я ничего не помню, кроме того, что бочонок закрыли крышкой, оставив поначалу лишь малое отверстие сверху; и тогда иезуит, поддерживаемый двумя членами команды, прочел какую-то молитву или напутствие. В следующее мгновение я уже лежал во тьме, задыхаясь, и слушал стук молотка.

Во сне или наяву — но мнится мне, что я помню тот миг, когда бочонок рухнул в воду; я услышал, как перекатывается балласт и куски железа врезаются в мое тело.

Вряд ли причиной этих ударов стало буйство морской стихии; ибо в последний раз, когда я посмотрел на воду, стоя уже в бочке, состояние моря существенно переменилось — мы вошли в полосу сравнительно спокойной воды; образовалось нечто вроде бухты в полмили шириной, окруженной бушующим океаном. И почудилось мне, что вода медленно кружится; я невольно подмечал в те минуты самые разные вещи — зловоние, исходящее от бочонка, шапка иезуита, сползающая ему на нос и многое, многое иное...

Я мчался вниз, все глубже в бездну, к исходной точке, где скрывались подножия океанских гор и холмов. Я вскорости перестал чувствовать движение. И все-таки я дивился, с какой скоростью погружался в бездну, миля за милей,

все глубже и глубже, дальше от обиталища жизни, надежды, света и времени. Я стоял на железном балласте, как на земле, ибо *drados* удерживали бочонок в ровном положении, крышка находилась где-то в дюйме от моей головы; мои пальцы то и дело ощупывали ее — словно я был щенком, брошенным в воду. Я не задыхался, ибо бочонок оказался просторным и поместительным, и сделанным на славу; хотя по прошествии непродолжительного времени послышался слабый треск, свидетельствовавший, что море давит многотонным своим весом на каждую щепку моего утлого суденышка. Вдобавок, ощупывая руками стенки бочонка, я наткнулся на острие гвоздя, который вдавило внутрь напором воды. И почти тотчас же капля воды упала мне на лоб, и за ней последовали все новые и новые; и я понял, что море пробило трещину в крышке бочонка.

Не было ни потрясения, ни удивления; ибо в глубине души я осознавал, что навеки расстался с миром. Я понимал — уверен в этом — что перенесся в иное существование, где нет ни цветов, ни форм, ни размеров, ни времен, в самый темный угол творения, где не светит свет и не прорастает надежда. И в голове моей проносились странные мысли о грядущей судьбе, о нисхождении от бездн к абсолютному несуществованию, от одной тьмы к другой, еще непрогляднее...

Я не мог стенать, не мог молиться, не мог взывать к своему Богу, я лишь замирал, потрясенный невероятием своей погибели, ибо чувствовал я себя взятым из Его рук, лишенным Его сострадания; и с каждым мгновением я уносился все дальше от мира, где Он вершит свой суд.

И все же, хотя в бесконечном кружении я приближался к смерти, некие слова проникали в мое сознание — слова, которые, кажется, много месяцев не тревожили мой ум. Ибо теперь слышал я хор, как будто певший в немыслимой дали, в небе небес. И вопль десяти тысяч голосов, десять тысяч раз повторявших эти слова, достигал моего слуха. И таков был этот глас, таково было это страстное песнопение: «Если я взойду на Небеса — Он там; если я обрету место в Аду — Он там; если я воспарю на крыльях утра и сокроюсь

в дальних глубинах морей — даже там Его рука отыщет меня, и Его верная рука поддержит меня».

Но в тот миг недостаток воздуха стал для меня самым серьезным испытанием — казалось, что не осталось от меня ничего, кроме черепа и глотки, заполненной кровью; я был скован и не мог вырваться... Но даже в этой агонии я думал о смерти и ее природе; любопытство сие немало напоминало шутовские выкрутасы, но оно позволяло отсрочить конечную погибель — да, мне хотелось увидеть собственную смерть.

Капли падали мне на лоб все реже и реже, но я, погруженный в свои страдания, не замечал этого.

Но потом настало мгновение, когда все мои чувства изменило невероятное, удивительное движение. Ибо я почувствовал резкий удар; бочонок как будто отбросила в сторону неведомая сила, еще мгновение — и он врезался во что-то. По счастливой случайности я как раз напряг все мускулы, упершись ногами в железный балласт и прижав голову к крышке бочонка. И тотчас почувствовал я сильнейшие удары — первый, второй, третий; бочонок колотился о камни, он рассыпался, а я устремлялся — из смерти в чувственный мир. И хотя мне не хватало времени, чтобы как следует призадуматься о загадочном передвижении по горизонтали по дну океана, меня увлекло нечто еще более загадочное — звук в мире вечной тишины — рев, который вскорости превратился в настоящее буйство. Пока это буйство усиливалось, я начинал осознавать, что мчусь по огромному туннелю, толчки и удары становились все чаще и сильнее; и я каким-то неведомым образом догадался, что приближаюсь к источнику звука — вниз и вперед... Мне, заплутавшему в оглушительной тьме, не удалось понять, сколь долго продлилось путешествие; это могла быть минута или пять минут, миля или двадцать миль; но потом настал миг, когда бочонок подскочил и взлетел; он крутился в полете, а потом рухнул на камни — и от удара я лишился сознания.

Этот последний удар был настолько неожиданным и резким, что я, очнувшись по прошествии нескольких часов, не сомневался, что уже мертв. Мысленно я повторял слова: «Дух

есть слух, и Вечность есть шум».

Поначалу я казался самому себе существом, наделенным одним-единственным чувством, поскольку, поднеся руки к лицу, тщетно старался я разглядеть хоть что-нибудь; тело мое, насколько я был осведомлен, теперь для меня утрачено и уничтожено; и я обратился в слух, единственное предназначение коего — улавливать тот непрекращающийся рев, каковой заменял всю вселенную; и снова и снова я повторял про себя: «Да, дух есть слух, и Вечность есть шум».

И я провел немало минут, заинтересованно вслушиваясь в неумолчный рев, который словно бы доносился из некой гигантской раковины — и ангельские голоса сливались в хоре... Я был уверен, что расстался с телом, еще и потому, что каким-то образом покинул бочонок — ведь теперь я мог дышать свободно. Но потом, окончательно придя в сознание, я почувствовал запах застоявшейся морской воды, смешанный с запахом тухлой солонины — и тогда я уверился, что по-прежнему жив. Я вытянул руки и наконец-то догадался, почему могу дышать. Дно бочонка было выбито, один обруч слетел, клепки на нем разошлись; я лежал на спине, а балласт и днище бочонка придавили мне ноги — выходит, бочонок попросту опрокинулся.

Следующее обстоятельство, которое я отметил — поверхность, на которую выбросило бочонок, сильно содрогалась, словно в лихорадке.

Я заговорил сам с собой, попытавшись (это потребовало некоторых усилий) восстановить все обстоятельства своих злоключений: сначала меня сбросили в бочонке с борта корабля «Сан Маттео» — полагаю, не меньше ста лет назад; потом я несомненно упал на дно морское; здесь некое подводное течение подхватило меня и понесло по некому туннелю; видимо, началом этого течения был водоворот, замеченный мной в тихой заводи — за несколько минут до того, как меня заперли в бочонке. Морское течение пронесло бочонок по подводному коридору в пещеру или какое-то пустое пространство в толще земли; бочонок, вылетев из туннеля, ударился о скалу и разбился. Вероятно, в пещере содержался воздух, скопившийся здесь в результате неких

природных потрясений — по этой причине я мог дышать. А неумолчный рев — шум океанской воды, вырывающейся из жерла тоннеля; под ее тяжестью содрогаются даже скалы.

Вот к каким выводам я пришел; судя по мощному эху, можно было предположить, что пустое пространство, куда низвергается вода, беспредельно велико. Более ничего я добавить не мог — но, осознав все случившееся, я закрыл лицо руками и вознес молитву; ибо помимо громоподобного шума, слышались и иные звуки, и все они смешивались в безумном хаосе; я не мог описать их, но одна лишь лихорадочная дрожь земли напоминала о могучем призыве Вездесущего Бога; и стенания вырвались из моей груди, когда я постиг все величие открывшегося мне места.

Поднеся к глазам руки, чтобы вытереть слезы, я ощутил на пальцах что-то грязное и зернистое[2], возможно, просыпавшееся через разбитое днище бочонка. Я смахнул этот песок, а потом, морщась от боли, поднял голову и постарался привстать. Несомненно, мне следовало подумать о неизбежной смерти от жажды и недостатка пищи; но я хотел встретить свой смертный час свободным, и я выполз из своей тюрьмы, словно цыпленок из скорлупы.

В кармане у меня лежала трутница, но в помрачении чувств я даже не вспомнил о ней, я полз по грязи, вслепую протягивая руки, чувствуя морось, источник которой я не мог определить. Я двигался медленно, поскольку обнаружил, что мое правое бедро как будто сломано, а тело мое сильно избито; и едва я сделал десять шагов, нога моя нащупала пустоту, и я полетел вниз с громким криком.

Мое падение прервалось, когда я рухнул в теплую воду; вынырнув, я почувствовал на лице какую-то вонючую слизь. Я тотчас поплыл обратно к скале, с которой упал; теперь мне стало ясно, что дно пещеры занимает море или соленый пруд, а бочонок разбился о какой-то островок в этом внутреннем море. Но мои попытки выбраться на остров не увенчались успехом, так как течение усилилось и в итоге

---

[2] В рукописи: «песчаное».

стало настолько мощным, что я думал только о том, как бы удержать голову над водой. Когда я осознал степень своего одиночества, то почти тотчас же начал тонуть и даже захлебываться, как многие тонущие. Но прежде, чем я потерял сознание, течение вынесло меня на берег, где, уцепившись за какое-то бревно, я выполз из воды, коснувшись все той же зернистой грязи, а потом погрузился в сон, продлившийся, полагаю, не менее двух суток.

Я начал просыпаться — и шум воды в ушах моих стал бессмертной музыкой; в сердце своем не находил я подобных радостных впечатлений; и я сидел неподвижно и слушал, боясь пошевелиться, ибо если двинуться на ощупь, можно было снова попасть в беду, а глаза мои постепенно привыкали к отсутствию света, и я вперял свой взор в окружающую тьму. Ноги мои касались линии прибоя, ибо я чувствовал, как омывают их волны, гонимые течением; но я не слышал всплеска — я ничего не слышал, кроме звука падения воды, соединенного с эхом, музыка которого казалась мне благозвучной, словно гармонии лютни и удары барабанов, и вскорости этот непрерывный грохот своим тяжеловесным ритмом заполнил мой разум. И мне показалось, что он постепенно стихает, когда я отворачиваюсь, обращается в сумрачный напев — и я забывал о муках голода и неотвратимом приближении смерти; не ведаю, сколь долго вслушивался я в эти звуки, может, часы, а может, дни напролет; ибо не было в том мире Времени, а лишь пение сирен, которое зачаровывало меня, и один час мог обернуться сотней лет, а сотня лет — часом.

Я, однако же, тотчас отметил, что волны, касавшиеся моих ног, были гораздо холоднее, нежели та вода, в которую я упал со скалы; и я понял, что озеро напоминает котел, в разных частях которого — разная температура; океанские воды холодны, а вода в озере постепенно нагревается, ибо жар исходит от скал; также в той части пещеры, где находился я, поверхность и воздух были довольно теплыми, хотя атмосферу и заполняла вонь стоячей воды.

По прошествии долгого времени я отыскал в кармане трутницу, а вдобавок нашел и долото, которое собирался

наточить дома в тот деть, когда меня пленили; также обнаружился и небольшой бурав. И я высек искру, от блеска которой едва не лопнули мои глаза, и подпалил ветошь, кровавым светом озарив волнующиеся воды у берега; и хотя я разогнал тьму лишь на малом участке, но все-таки мне удалось разглядеть, что стою я на гранитной скале, у основания которой виднеется глинистая порода, надо мной, выше по склону, поросль каких-то деревьев, напоминающих вязы, искривленных и старых, но не выше моего пояса, хотя, впрочем, некоторые и доходили мне до груди. Листья их были молочно-белыми, и они содрогались, когда тряслась скала; на них росли округлые плоды, такие же бледные, равно как и стволы. Через некоторое время обнаружил я и другие карликовые растения похожей формы, только их плоды содержали сок, напоминавший мыльную воду, которая пенилась[3]. Позднее, при свете факела, я увидел в озере у берега плавучие стебли примерно в два ярда длиной, они удерживались на воде при помощи маленьких пузырей[4]; а еще в топком месте у мыса обнаружился участок, поросший камышом; на верхушках камыша торчали перья или хохолки, которые постоянно дрожали; стебли были около трех футов высотой, и росли они из одного корня, глубоко уходившего под землю[5]; я не видел никаких других растений, кроме бледных, красноватых грибов, почти белых, растущих на той скале, где я сейчас пишу, и в узком проходе по эту сторону пруда со смолой.

Но в ту минуту, когда свет от ветоши коснулся волн, я осознал, что изобилие пищи ожидает меня в этом месте — достаточно лишь протянуть руку; ибо в жалком водоеме я увидел бледных существ, подобных змеям, семи или восьми футов в длину; они то свивались в узлы, то плавали поодиночке, и еще я заметил четыре белых шарообразных создания. Стало ясно, что озерцо полно жизни; эти существа

---

[3] Агава?

[4] Какая-то разновидность macrocystis.

[5] Некий карликовый папирус или осока, напоминающая папирус.

совершенно не боялись света, который касался их белых тел, так что я пришел к выводу: все они лишены зрения. Много времени спустя, возможно, через несколько лет, я поднялся вверх по течению налево от озерца, к мысу, который был усыпан устрицами, а также множеством жемчужин и пустых раковин; но поначалу я ничего этого не видел.

Чтобы отыскать пропитание в озере, я опустился на колени у самого берега (дальше я заходить не рискнул, памятуя о силе течения), наклонился, не выпуская факел, и стал дожидаться приближения наиболее аппетитной с виду добычи, существа, напоминавшего тропическую рыбу-хобот, с туловищем трехгранной формы, покрытым пятнами. Обитатели озера были многочисленны, но принадлежали лишь к нескольким видам; все растения здесь были карликовыми, а животные, наоборот, огромными, исключая одну тварь, подобную ящерице, размером с палец; я этих ящериц видел на рифах, хвосты у них были как листья, а шеи удивительно широко раздувались, и твари пучили глаза без век[6] — но они были слепы. В озере лишь у одного существа имелись глаза, но они странно вертелись в глазницах и, очевидно, не действовали... Что до поимки добычи, то поначалу я обходился без факела, орудуя на ощупь; склизкие туловища тварей вырывались из моих рук, но сопротивлялись они не слишком сильно — похоже, просто не понимали, кто именно мог вытащить их из тайного убежища. Плоть этих тварей была теплой и водянистой, хотя и жесткой, и не очень приятной на вкус. Сначала я поедал их сырыми; потом я начал устраивать костры из веток, которые собирал и срезал с деревьев, а потом сушил. Позднее, обнаружив подходящее место в скалах, я устроил очаг там; но почти все обрывки моей одежды, за исключением кожаной куртки, были пущены на розжиг, прежде чем я наткнулся на заросли камыша, стебли которого стали мне и трутом, и пищей, а теперь еще и бумагой для письма. Сваренные вместе, сердцевина камыша и рыба стали прекрасным блюдом; если их высушить и истолочь — получалась мука. Так что,

[6] Гекконы?

отыскав камыши, а неподалеку от них — и устриц, и научившись кипятить воду в углублениях скал, я мог получить почти настоящую жареную еду.

Кажется, довольно долго, быть может, на протяжении недель, я утолял свою жажду, лежа на берегу, у края воды, где разбивались волны; но жажда становилась все сильнее, она терзала мою глотку так же, как жажда света терзала мои глаза, и порой я едва не кричал от отчаяния, мечтая о том, чтобы наполнить желудок водой, проглотить немыслимо горькую воду, которая, убежден, была куда более горькой, нежели во внешнем море. Но к тому времени я уже немало прошел по берегу, на который меня забросило; я обнаружил, что вокруг простирается безграничное переплетение пещер, ущелий и коридоров, карликовых лесов и губчатых камней, булыжников и базальтовых колонн. То было фантастическое смешение камней и тьмы, все полуразрушенное и непрерывно содрогающееся от шума воды, который не стихал, куда бы я ни направил свой путь, и пропитанное вонью морской воды, временами настолько густой, что мне трудно было дышать. На земле лежали раковины разных сортов и размеров, во многих таились жемчужины и самоцветы; я находил морских ежей, морские звезды, морские огурцы и других морских тварей с шипами и иглами; на мысу слева от озера обнаружилось немало мидий; я видел кораллы и немало губок, порой чудовищно огромных и испускающих невероятную вонь; некоторые губки казались окаменевшими, другие были мягкими, а третьи — словно стеклянными, сверкавшими всеми оттенками радуги; они напоминали изысканные сосуды или стеклянные веревки, но пахли все одно омерзительно. Доколе не устроил я очаг во впадине среди скал, бродил я вокруг без факела, не подозревая о наличии горючих веток деревьев; позднее отыскал я и серу, и смолу, которые пригодились для изготовления факелов; блуждая вслепую, надеясь на удачу, я считал свои шаги, порой до тысячи или двух — доколе не уставал. Но в результате этих походов тело мое покрылось шишками и ссадинами в результате падений, а горло саднило от солоноватой воды, которую я пил, пока не отыскал

пресную. В тот день я спустился по трем огромным ступеням, как будто сотворенным руками человека, и обнаружил в полумиле от озера базальтовый зал поистине огромных размеров, по которому могли проехать сорок колесниц; и стены его были ровными, словно стены домов, а потолок низким, всего лишь в двадцать футов, низким, черным и гладким; в дальней части зала располагался лес базальтовых колонн. Я отметил, что воздух там еще теплее, чем у озера, и вскорости я обнаружил горячий поток, пахнувший серой; обнаружил я и целые отвалы влажной серы. Также я увидел канал, пересекавший поверхность зала, ровный, как будто прорытый людскими руками, достигавший двух футов в глубину и двух футов в ширину; по дну канала тек черный ручей, горячий, почти кипящий, а камни по обе стороны покрывал толстый слой серы. В скором времени я собрал в трутницу немного этой воды и, слегка охладив ее, обнаружил, что она густая и пресная, хотя и имеет сернистый привкус; с тех пор я всегда держал охлажденную воду в нескольких пустых раковинах, расставленных у левой стены каменного зала.

И на протяжении долгих лет моего пребывания в этом склепе впадина среди камней стала для меня чем-то вроде дома. Здесь, в углу, в трех шагах, я устроил очаг; я окружил его камнями, а на камни положил ровную плиту, и, заплетя бороду, чтобы не сжечь ее, я жарил здесь мясо — до тех пор, пока не начал варить смесь из рыбы и сердцевины тростника в кипящей воде; и много времени спустя я поддерживал огонь ветками деревьев из карликового леса — ибо мне нравился его свет.

А что касается света, то девятнадцать раз тьму разгонял не мой костер, а иная сила; семнадцать раз свет исходил от молнии; ибо так мне следует именовать ее, хотя молния появлялась не в небе, а в толще земли — и этого я уразуметь не в состоянии[7]. Но я стоял у края воды, склоняясь над своими белыми рыбами, когда пещера предстала во всем

[7] Электрические подземные штормы.

своем величии — словно глаза мои открылись, расширившись в миллион раз на мгновение, а потом внезапно закрылись; и на минуту сомкнулась прежняя густая тьма, а потом яркое сияние вспыхнуло вновь — и угасло. И стоял я, охваченный ужасом, и в сердце моем повторялись исполненные ужаса слова: «Ты, Господи, видишь меня». И хотя мои глаза были ослеплены сей вспышкой, но малая часть тайн пещеры открылась мне — и еще шестнадцать раз разверзалась завеса тьмы, и словно бы архангел навещал меня в этой бездне; и еще дважды я становился свидетелем того, как пещеру освещал вулкан.

Но задолго до извержения вулкана познакомился я с мескалем; прошло немного времени после вспышки света, и тогда, выбравшись на берег, чтобы подхватить рыбу-хобот, которую я оставил в грязи — полагаю, я провел в пещере лет восемь или двенадцать — наткнулся я на маленький округлый фрукт; я проткнул пальцами его кожуру и смочил соком губы. Сок показался мне горьким, но я неосторожно проглотил несколько капель, и результат оказался поистине чудесным; не успел я вернуться на побережье, как меня охватила апатия; я упал у самой линии прибоя, силы оставили меня, и с губ моих сорвался шепот: «Пусть так; а я отдохну». Я погрузился в забытье, тихое и полное радости; рев, окружавший меня, превратился в хорал, слабого подобия которого не мог воспроизвести мой голос, и я, кажется, скорее видел, нежели слышал сию музыку; и глаза мои быстро закрылись, а пред ними предстала целая вселенная, полная сияющих, призрачных, гномических форм, некоторые из них представлялись совершенно невообразимыми, так что я даже не могу никак описать их, катились гранатовые потоки, текли зеленые волны, кружились малиновые водовороты, взлетали яблочные шары и бледно-желтые обручи, распускались огромные нарциссы и прозрачные тюльпаны, горы рубинов и роз громоздились надо мной, и я переносился в мир, который был куда реальнее Земли, но все мои слова не смогут поведать вам о нем.

Я слышал в Сан-Хуане рассказы о цветке, который именовали «мескалевым бутоном»; мексиканцы жевали его и

испытывали откровения, в которых им являлись подобные фигуры; и я пришел к выводу, что кустарник в пещере относится к тому же роду[8]. Но хотя этот нежданный дар помог мне превратить грязную яму в толще земли в область волшебных наслаждений, я осознавал, что употребление сего растения будет шагом весьма самонадеянным, ибо его вредное воздействие на тело человека было совершенно очевидно. Но я никогда не пытался отвергнуть это счастье, ибо разум находил спасение сладостным, а в сознание проникала нездешняя речь, и я не променял бы сей плод даже на истинный вечный лотос или на дивную траву забвения.

Я проводил год за годом — нет, мне казалось, эпоху за эпохой — в грезах у берега озера, пока душа моя, так сказать, растворялась в гуле водопада и сливалась с ним. Я лежал нагой, ибо поначалу приберегал свою куртку и рубаху для трута, а позднее, обнаружив заросли камыша, пользовался рубахой и курткой, завертывая в них рыбу и сердцевину камыша; и когда последние лоскуты ткани расползлись на моем теле, а мои башмаки рассыпались прямо на ногах, то я оставался совсем нагим, хотя мою кожу укрывали отросшие волосы и борода; я предавался праздности, в таком мрачном настроении я даже не варил еду, а зачастую ел сырую пищу, надолго позабывая об очаге среди камней. В конце концов я отказался даже от ловли рыбы и от прогулок к заводи с мидиями — это стало для меня слишком тяжким бременем; и я проводил немало времени, не употребляя иной еды и питья, кроме горько-сладкого молока мескаля.

Лишь дважды привелось мне очнуться от этих приступов лености, и в обоих случаях потревожил меня страх — сначала при извержении вулкана, а потом тогда, когда я обнаружил недостаток воздуха для дыхания. И в каждом случае я поспешно хватал факел и отправлялся дальше — туда, куда не заходил в своих прежних экспедициях. И под сво-

---

[8] Внешний облик мескаля (на поверхности) значительно отличается от растения, найденного Саулом, но принцип действия почти тот же.

дами пещеры находил я то, что удовлетворяло мои нужды: в первый раз наткнулся я на заросли камыша, которые поддерживали мои силы на протяжении долгих лет, а во второй отыскал смоляную заводь. Она располагалась за лесом базальтовых колонн в дальнем конце каменного зала; и миновав эти колонны, узрел я кости некой твари, каковая размерами превосходила нескольких слонов вместе взятых; и была сия тварь подобна слону, с прямыми длинными бивнями; и на челюсти у нее было шесть больших зубов весьма странной формы; каждый такой зуб состоял из нескольких меньших, которые прилипали друг к другу, словно на сосках; и скелет твари мог пролежать среди камней много столетий, ибо иные кости потемнели и сломались; а за столпами открывался изогнутый проход, стены которого покрывал пурпурный грибок; за сим коридором обнаружилась пещера, порога которой я не смог переступить, поскольку пол ее покрывала вязкая масса, теплая и густая по краям, но горячая и водянистая в центре; и светилась эта поверхность радужным светом, но то была не радуга небес, а радуга падших ангелов, тучных и вялых. Но за много лет до этого увидел я камыши; вскоре после извержения вулкана, когда его неистовый рев разнесся над левым берегом пещерного моря — каковой берег был плоским и просторным и не окружали его высокие стены, как берег правый — тогда двинулся я вдоль линии прибоя и, поднявшись повыше, обнаружил болотистую заводь и вокруг нее заросли камыша. Именно там нашлись и жирные устрицы, и раковины с жемчужинами, ибо на той земле водились самые разные устрицы, с полосатыми жемчужинами и с перламутром, и в большинстве раковин находил я драгоценности, а во многих обнаруживались розовые жемчужины, а равно и черные, какие попадаются в Мексике и в Вест-Индии, видел я и желтые, и белые, и грушевидные, и округлые — иные сияли немыслимо ярко и казались бесценными, поистине свадебными подарками. Что до камыша, то его стволы имели треугольную форму и достигали пяти дюймов в ширину, а сердцевина годилась в пищу. По прошествии долгого времени я сделал открытие, что ежели разделить эту серд-

цевину на полосы, намочить их, а потом высушить, то получится пергамент, белый и мягкий, но со временем желтеющий и становящийся ломким.

Но кроме этих двух приключений, первого — с тростником, а второго — у пруда или смоляной заводи, я не помню, чтобы долгий транс, в каковой я погрузился на берегу, прерывался какими-то иными путешествиями. Однако я пережил немало потрясение в тот час, когда, открыв глаза, узрел не прежнюю тьму, а красноватое свечение, озарившее всю пещеру, и почувствовал, что камни содрогаются, не так, как обычно, вследствие падения огромной массы воды в основание скалы, а как при настоящем землетрясении; и когда глаза мои, теперь столь же острые, как у ночной птицы, заметили сие потрясение, обнаружилось, что всю поверхность воды покрывали неровности, похожие на кучи песка, танцевавшие в такт с землетрясением. Тогда же я впервые увидел жерло туннеля, расположенного справа; оттуда падал поток воды; и верхняя часть жерла вспучивалась, как верхняя губа у плачущего человека. Видел я также, что пена покрывала всю поверхность водопада, там вскипали огромные хлопья, сливавшиеся в некое подобие бороды Моисея, особенно в центре, где течение было исключительно сильным; казалось, целое море исторгалось из тоннеля с громким криком. Я увидел и свод — рыжеватое небо из камня, а справа я заметил остров, длинный и прямой, куда меня выбросило в самом начале; в правой части острова до сих пор лежал мой бочонок; эта часть острова располагалась ближе всего к водопаду, а левая оконечность островка располагалась в двадцати ярдах от левого берега озера. И наконец-то рассмотрел я все озеро, имевшее форму яйца, возможно, двух миль длиной; я оказался у «острого конца» этого водоема. Узрел я и правую часть пещеры, где вода становилась спокойнее; там берега омывало течением, двигавшимся по кругу, а поскольку водопад обрушивался вниз, продвинуться в ту часть я не мог; не удалось бы мне и пробраться в левую часть пещеры более чем на милю, ибо в озеро выдавался мыс, разделявший пещеру на две больших камеры. У дальнего берега озера заметил я

еще четыре маленьких каменистых островка; и стало мне ясно, что озеро подобно океану, что воды его невероятно глубоки, а дно расположено гораздо глубже, в невероятных недрах земли. Все озарилось светом. И где-то вдалеке, у самого края озера, заметил я жерло некой пещеры, в котором сверкали искры, где громоздились камни и откуда вырывались языки пламени, потом исчезавшие...

Я догадался, что какой-то вулкан извергается в основании пещеры; и пока я стоял, разинув рот, из неведомых глубин озера в моем направлении двинулось некое существо, рядом с коим я провел столько времени и о присутствии коего не догадывался. Тело его сворачивалось кольцами, каждое из которых достигало фурлонга в диаметре; а тело венчала голова — и не мог я бежать, не мог и отвести взора от омерзительного зрелища, представшего в нездешнем свете. Голова его и лик были размером с дом, оно напоминало саму смерть, костлявую, блестящую и обтянутую тонкой кожей, мучнисто-белого цвета, с пятнами. Я увидел лоб и ноздри, но на месте глаз было лишь ровное пустое место; и оно протянуло ко мне беззубую пасть, разверстую в крике ужаса, словно обвиняя Того, кто сотворил сие; ибо в воздухе разливался жар, и, возможно, инстинкт предупредил тварь о грозящем бедствии, напомнив о подобном же происшествии, случившемся, верно, столетия назад. Существо скрылось у правого края острова в клубах пены, оно промчалось совсем рядом, не заметив меня, а мои ноги словно приросли к земле; и оно кружило у поверхности озера, сотрясая воздух своим погребальным воем. Сразу после этого я как будто потерял рассудок от невероятной жары и почувствовал сильнейшее головокружение; когда я очнулся, в пещере стало темно, как прежде. И еще раз, по прошествии долгого времени, я видел, как языки пламени вырываются из жерла по ту сторону озера, как серая пыль покрывает воду, как возносится над поверхностью огромное существо и как деревья в прибрежной роще опаляет невероятный жар; с тех пор ничего подобного не повторялось.

Однако после этого второго сотрясения пришло мне на ум следующее: я находился под действием плодов мескаля

— когда вообще почти не дышал — и все же чувствовал стеснение в груди. И это давление усиливалось; тогда я сказал самому себе: «Хотя пещера обширна, количество воздуха, содержащегося внутри, должно быть ограничено, а дышал я долго; когда я попал сюда, я был молод, а теперь стал стариком. И настанет день, когда мне будет нечем дышать».

Поначалу трудности начинались лишь тогда, когда я устраивался на отдых; когда я вставал, все проходило; пагубные испарения скапливались у озера, поскольку именно здесь я находился дольше всего; с каждым годом они становились все гуще — ведь я по-прежнему дышал; эти испарения оказывали снотворное воздействие, но не радостное, как в случае мескаля, а в высшей степени неприятное, у меня от них начинались кошмары и судороги. Поначалу я спасался, перебираясь в другие места, подальше от своего очага и от берега. Но путь мой во всех направлениях был прегражден, ибо я уже посетил все уголки пещеры, куда мог добраться, и испарения были повсюду. Они разрушали и кустарники, которые начали осыпаться и увядать. Остались немногочисленные уголки в верхней части склона; с трудом взобравшись наверх, я мог дышать более или менее свободно; но ведал я, что дни мои сочтены. Боже мой! Боже мой! Зачем Ты сотворил меня?

Но вскорости, постигнув смысл своей бездеятельности, я начал задаваться вопросом о пещере и ее устройстве, как никогда не задавался доселе; я думал, что внутрь попадает огромное количество воды, и все же пещера не заполняется, а значит, должен быть и выход, куда вытекает вода. Это привело меня к нижеследующему выводу: туннель, через который вода из моря попадает в пещеру, расположен на склоне какой-то подводной горной гряды; пещера расположена в толще этих гор, а выходом из нее должен быть другой, более протяженный туннель, уходящий к подножию горы и открывающий путь на морское дно[9]. И я подумал:

[9] Это вполне разумно: два туннеля и озера образуют нечто вроде сифона и сжатый воздух вырывается из «кармана». Такова, по существу, единственно возможная гипотеза — за исключением предположения,

ежели удастся мне добраться до бочонка, починить его и, забравшись в него, отправиться по второму туннелю (который, как я полагал, находился вдали от берега, в левой оконечности озера, где сходились оба течения), тогда вынесет меня на дно морское, потом я поднимусь на поверхность — ибо бочонок без балласта сразу вынесет меня наверх, — а там я просверлю в верхней части бочонка пару отверстий, чтобы внутрь поступал воздух, и буду дожидаться корабля, который меня подберет, прежде чем мои запасы подойдут к концу и помру я от голода или жажды (я рассчитывал хорошенько запастись мескалем, чтобы требовалось поменьше еды и питья). Чтобы проникнуть в туннель, ведущий наружу, требовалось немного: доставить бочонок на мыс, забраться внутрь и скатиться в бочонке с оконечности мыса в озеро; там течение непременно подхватит меня и унесет к выходу, а там меня мигом затянет в туннель.

Я подумал о том, что огромные усилия в любом случае уменьшают мои шансы на успех; таковые законы действуют и в большом, и в малом. Можно спустить бочонок в озеро в верхней точке, откуда течение повлечет меня вдоль левого берега мимо острова, а там меня может подхватить поток, уходящий направо. И ежели меня не разнесет на части во время великого путешествия по туннелю, то лучше бы обить внутренности бочонка камышом; я еще придумал устроить в бочонке отодвигающуюся дверцу, чтобы обеспечить приток воздуха, коли вынесет меня на поверхность; я не сомневался, что прежние плотницкие навыки позволят мне с этим без труда управиться. Конечно, меня может ослепить лунный свет и уж наверняка ослепит солнечный, когда открою я глаза там, наверху; но мне казалось, что глаза для человека имеют цену невеликую, а для меня и подавно. В общем, нимало не страшился я; и причина моего бесстрашия, как я понимаю теперь, состояла в следующем: в глубине души я вообще никогда не собирался устраивать ни-

---

что второй туннель выводит на сушу, где формируется соленое озеро или река, как на Сардинии.

чего подобного. То были пустые измышления: допустим, я выберусь наружу, но как смогу я жить без водопада? Несомненно, я умру... И что хорошего для меня в жизни при свете дня, без радостей мескаля и без тайной близости голоса, без тех вестей, которые он доносит? Оставив все, что дает мне силы существовать, я растаю, как призрак в утреннем свете — ибо сила голоса поддерживала жизнь в моей хрупкой оболочке, и на том я стою, и в этом заключено мое бытие. И в глубине души я наверняка понимал; но я обольстил себя пустыми мечтами и трижды попытался разобраться с бочонком, страшась собственного безрассудства; два раза мне не удавалось достичь левого края острова, ибо течение уносило меня в сторону — несомненно, к туннелю, ведущему наружу. Но страшился я не этого туннеля, а монстра в глубинах озера, который пребывал на своем месте, бледный и неподвижный, думающий неведомые думы. Ибо я знал: ежели рука моя или нога коснется его кожи, я закружусь в воде и утону, издавая безумные крики, ибо плыл я вслепую, держа в руке незажженный факел и привязав к бороде трутницу. И в первые два раза меня выбрасывало на мыс, и лишь в третий раз я достиг левой оконечности острова, скалы, на которую я выбрался, раздирая руки об острые раковины. И зажегши факел, неверными шагами двинулся я в правую часть острова; и там лежал бочонок — в точности как я оставил его двадцать или сорок лет назад, грязь, налипшая на стенки, была влажной от водяной пыли, которая окутывала остров. И на этом месте увидел я не только бочонок, но и рукоять меча и человеческий череп, принесенные сюда водопадом. Бочонок был по-прежнему хорош благодаря доброй смоле, которой его покрыли; и выбросив из него *drados* (для этого пришлось мне напрячь все силы), поправил я четыре гвоздя, вылетевшие из трех разошедшихся нижних частей, и поставил на место сломанный обод; после чего подтолкнул бочонок к воде, которая, я был уверен, вынесет его в узкую часть озера точно так же, как меня вынесло во время стародавнего падения на остров.

Но вскорости меня выбросило обратно на берег, скорее мертвого, чем живого; и я обнаружил, что бочонок сел на

мель; и понял я, что обольстил себя пустыми мечтаниями, немало потрудившись и ничего не достигнув. Я не мог покинуть пещеру — сие было попросту невозможно, выходило за пределы всякого вероятия. И там, на берегу, я оставил бочонок на долгое время, а сам обитал на склонах этих скал, которые образовывали нечто вроде стены в правой части моих чертогов. И наконец, однажды на ум мне пришло, что недаром в этом месте дарованы мне чернила и бумага, а равно и знание, как доставить бочонок на поверхность — вместе с историей о том, какие вещи мой Бог нашептал здесь в Его песне, укрыв меня под Его рукой, хотя никакое перо и не сможет должным образом выразить это; но я долее не мог сопротивляться желанию писать — и отослать свое писание на поверхность в бочонке.

Для починки бочонка был у меня бурав, долото и брус, а также несколько гвоздей; работа оказалась несложной, поскольку обручи были в порядке. Я перекатил бочонок повыше, окружив смоляными факелами, каковые разместил в трещинах на скале; ибо глубоко внизу не хотелось мне разводить огонь, а на такой высоте факелы давали немного света.

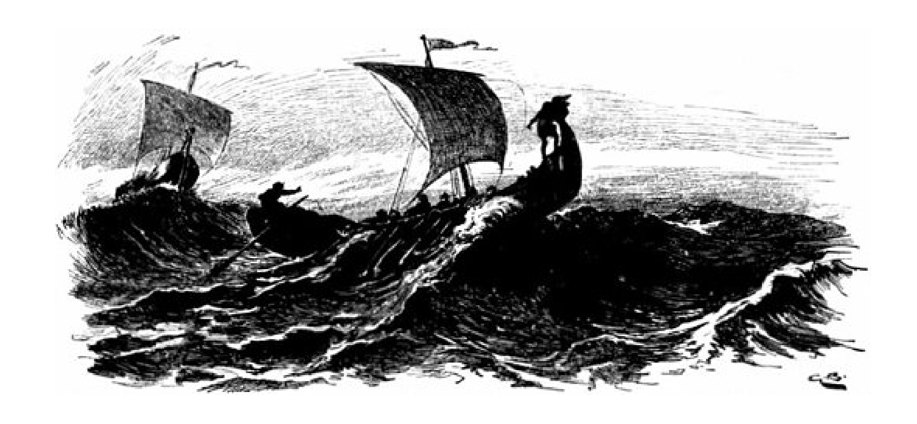
Когда бочонок был исправлен, я приготовил страницы для письма, разделив на полосы сердцевины камыша; но обнаружились на их поверхности прорехи, которые я не мог покрыть копотью (используемой вместо чернил) с помощью обломка кости, каковой служил мне пером. Так и не удалось мне записать все, как подобает. Я вообще сомневался, что смогу писать; и перо дрожало в моей одряхлевшей руке, и пергамент дрожал, когда сотрясались стены склепа. Но я постепенно, в слабом свете факелов, приноравливаясь к этой дрожи, заполнял листы — буква за буквой, слово за словом. В итоге пятнадцати листов камышовой бумаги оказалось недостаточно, и сейчас я пишу на двух обрывках рыбьей кожи.

Но теперь все кончено; и я посылаю свою рукопись, надеясь, что в верхнем мире сыщется добрый человек, который прочтет ее и обо всем узнает. Прозвание мое, ежели я ранее об этом не писал, было Джеймс Дауди Саул, и родился я неподалеку от боро Байдфорд в графстве Девоншир.

Боже мой! Боже мой! Зачем Ты сотворил меня?

Я вопрошаю Тебя, ибо вопрос сей порожден суровыми обстоятельствами моего затруднительного положения. И все же сердце мое ведает, Господи Боже, что все роптания лживы; ибо тайная вещь прекраснее жены, ребенка или сияния всякого света, и она подобна сокровищу, зарытому в поле, сокровищу, которое найдет некий счастливец, продаст и купит самое это поле; и я благодарю, благодарю Тебя — за твой голос и за мой удел, ибо именно Ты привел меня сюда. И волшебство Твоей тайны превыше всех красивейших, совершенных слов.

ПРИЗРАЧНЫЙ КОРАБЛЬ



1

Один посылает своих валькирий выбирать убитых, — сказал викинг Сигурд своему племяннику Гурту. — Я ухожу и могу не вернуться; ты знаешь мою волю — смотри, Гурт, исполни ее.

Руки Сигурда лежали на головах двух девятилетних детей. Он поцеловал детей и прыгнул в свой ял; два воина доставили его на лежащий неподалеку на воде драккар. Когда прямоугольный парус вздулся на ветру и длинная галера, сверкая позолоченным рангоутом и пурпурным флагом, двинулась вниз по фьорду, Сигурд, стоявший на корме, поднял взгляд от рулевого весла и помахал рукой. Его богатое вооружение блестело в лучах заходящего солнца. Он стоял, нависая над всеми, громадный, с длинной волнистой бородой древних ассирийских царей; в красновато-коричневом потоке волос блестели тут и там серебряные нити.

Сигурд взмахнул рукой — восемьдесят его гребцов запели морскую песню, — и они скрылись из глаз за утесом, выйдя из залива.

Залив находился в дальнем длинного извилистого фьор-

да. От берега полого поднимался зеленый склон; на вершине начинался лес, а на полпути к лесу стоял приземистый, привольно раскинувшийся бург или господский дом владений викинга. Гурт направился к нему, держа детей за руки. Он шел так быстро, что буквально тащил детей за собой; его хватка причиняла им боль. Ликование плясало в его сердце и мрачных глазах. Наконец-то он стал хозяином — возможно, навсегда, потому что Один уже отрядил своих валькирий, а викинг Сигурд был всего лишь смертным.

В те времена большинство мужчин были воинами, но Гурт воином не был; об этом говорило его лицо — пухлое, смуглое, как у норманнов, изборожденное глубокими морщинами, безволосое, с бегающими темными глазами и сломанным носом. Он заметно сутулился. Когда Гурт стоял рядом с Сигурдом, его голова еле доставала викингу до плеча.

Поздним вечером он пировал в низком, широком зале; вокруг, на скамьях, развалились оставшиеся люди Сигурда, прихлебывая из рогов мед. Дым от длинных очагов у стола поднимался к открытым люкам крыши. Гурт, задумавшись, сидел во главе стола, поглаживая пальцами чеканную чашу. Затем он вскочил, не совсем твердо держась на ногах, и наступила тишина.

— Люди, — сказал он, — теперь я ваш предводитель; если имеется средь вас трэлл, или карл, или воин, оспаривающий это, пусть скажет. Клянусь поясом Тора...

Он хитро огляделся, но никто не пошевелился.

— Сигурд, — продолжал он, — ушел викингом в Бритланд. Кто знает, когда он вернется? Меж тем, у нас недостаток всего: зерна, тканей, золота. Сигурд гулял по морям, бражничал и терпел всякого лодыря — лишь бы тот был храбр и ловок в битве. Я стою за то, чтобы вести и преумножать хозяйство. Не будет праздности на наших землях, покуда я здесь владыка! Да трудится каждый трэлл в поте лица; и пусть каждый приносит свою долю с земли или моря. Тот, кто станет уклоняться, узнает мой гнев. Выпьем за это!

Воцарилась тишина. Злоба и болезненная тревога исказили лицо Гурта. Но люди, один за другим, медленно поднялись и выпили.

Когда за столом кое-где начал раздаваться храп, Гурт выскользнул во двор. Светильник Фригги, низко висевший на западе, тускло горел в небесах. Гурт пересек двор и, пройдя три коридора, постучал в дверь. Старая Гунхильда, *вала* бурга, впустила его в комнату. Он сел рядом, глядя ей в лицо.

— Вала, — спросил он, — ты заглянула для меня в будущее?

Старуха, кутаясь в шаль, многозначительно кивнула. Она была одета в белое. Заходящая луна, обрамленная пышными облаками, светила на них через окно.

— И что будет править моей жизнью, вала: добросердечие Фрейи или злокозненность Локи?

Гурт напряженно стискивал мягкие руки. Глаза на его морщинистом и строгом старообразном лице смотрели с мучительным ожиданием.

— Локи или Фрейя? — отозвалась Гунхильда, глядя куда-то вдаль. — И тот, и другая, если хочешь знать.

— А! расскажи мне.

— Ты покоришь живых.

Его глаза загорелись.

— Но остерегайся мертвых.

— Как это? Мертвых, говоришь?

Вала указала согнутым пальцем в угол, где на двух кроватях спали дети. Волосы девочки, Герды, тяжелым золотым ковром рассыпались по покрывалу. Хрольф, сын Сигурда, подложил под голову руку с сжатым кулаком.

— Если им будет причинено зло, — сказала Гунхильда, — Всеотец этого так не оставит, говорю тебе.

Маленькая Герда была сиротой, дочерью соседнего ярла, близкого друга Сигурда. Ярл, умирая, поручил ее заботам Сигурда вместе со своими землями и бургом. Последний наказ викинга гласил, что дети должны вступить в брак, как только достигнут чего-то подобного зрелости. Сигурд давно лелеял этот замысел, и предчувствие того, что новое плавание може стать одним из бесконечных путешествий, которые предпринимали отважные люди по зову Одина, придало его словам характер сурового приказания.

— Если им будет причинено зло... — повторила Гунхильда.



— Но послушай, вала, — заговорил Гурт, разводя руками, — я не причиню им зла! Зло, говоришь? Если отец мальчика не вернется, мы через несколько лет отправим Хрольфа викингом: пусть изведает пути моря. Славна, как мы все знаем, смерть в битве. Что же касается девочки, то через семь или восемь весен она подрастет: то-то будет девица на выданье! Зло, вала? Почему бы мне самому не...

— Что?

— Ну... не жениться на ней?

Гунхильда спокойно покосилась на хитрое маслянистое лицо.

— И тем самым прибрать к рукам все богатства умершего ярла, Гурт?

Он негромко рассмеялся.

— Есть ли что-либо понятней желания заполучить и преумножить?

— И все же, Гурт, — сказала вала, предостерегающе погрозив ему пальцем, — обуздай свою жажду богатства! ибо, если я правильно читаю знаки... но тьфу! Герда ни за что не выйдет за тебя. У тебя в волосах уже проглядывает седина.

— Когда... когда Сигурд вернется?

— Ты хочешь спросить, — сказала она с горечью, — вернется ли он вообще?

— Положим.

— Этого я не могу тебе сказать. Даже мне не все открыто. Но я знаю, что он из тех великих и храбрых воинов, которые возвращаются домой, хотя весь мир им противостоит. И я говорю тебе, Гурт, твори свою волю и процветай; но остерегайся причинить зло этим детям.

Гурт встал. Серость утра смешивалась с темнотой. Он преклонил колено и вышел.

2

Спустя девять лет Сигурда больше никто не ждал. Викинги уходили в плавание раз в год, и все понимали, что кости героя, не возвращавшегося девять лет, давно белеют, должно быть, на каком-нибудь берегу или перекатываются в морских волнах вместе с приливами и отливами.

Меж тем, Гурт «покорил живых». Воины не любили его, но послушно складывали к ногам Гурта трофеи своих походов. Этот худощавый, смуглый человек приобрел над ними железную власть. Его боялись.

Дитлев, берсерк, ярился как йотун и менее других страшился духов-охранителей бурга; однажды он вернулся из похода к побережью Тронхейма и счел себя обделенным при разделе добычи. Глубокой ночью Дитлев покинул бург и бежал, нагрузив коня украденным.

Берсерк — огромное тело, оканчивающееся крохотной бородатой головкой — достиг мест, где мог больше не опасаться преследователей, и тут-то, выступив из лесной тьмы, на тропе вырос Гурт. Дитлев не подозревал, что Гурт, как и он, был

охвачен леденящим страхом, хотя рядом затаились, готовые прийти на помощь, шестеро трэллов. Меч поник в руке звероподобного берсерка перед этими бдительными глазами и всеведущим мозгом. Он покорно вернулся домой вместе с Гуртом и с той ночи превратился в жалкого пса, ждущего одобрительного взгляда хозяина. Так, одного за другим, кого силой, кого обманом, Гурт подчинил всех своей воле.

Лишь одного не удавалось покорить никакой хитростью. В семнадцать лет юному Хрольфу велено было идти в викинг. Умирая от желания отправиться в поход, он отказался. Дитлев, поймав взгляд Гурта, потащил юношу к заливу. Только когда норвежское побережье превратилось в узкую полосу над горизонтом, его освободили. Хрольф тотчас прыгнул с кормы в море. О своем возвращении он возвестил поджогом сарая на утесах — сторожевой башенки часовых, чьей обязанностью было оповещать о внезапном приближении врага, разводя огни на высотах. Гурт уже считал, что в его владения вторглись, а Хрольф сушил свою ало-желтую одежду викинга у горящей сторожки.

Но в восемнадцать ни своенравие, ни страсть к несогласию более не могли удержать его от радостей моря. Герда, выросшая стройной, как молодая лиственница на склоне холма, застегнула пряжку кольчуги Хрольфа и с легким насмешливым поклоном вложила ему в руку «Тюрфинг» — фальшион деда. Хрольф наклонился и коснулся губами шелковистого розового румянца ее щеки. Герда едва заметила эту ласку; но три дня спустя, когда Хрольф был далеко, она вспомнила о поцелуе, складывая его одежду, и чуть покраснела.

И Хрольф испил восторг битвы и вернулся загорелым, и соленое море украсило его лицо короткой рыжеватой бородкой. Герда, подметив сигнал, порхнула к берегу фьорда, и Хрольф, увидев ее белое платье, ступил на землю и встретил ее без обычного поцелуя; и они вместе пошли в бург.

Гурт, завидя их, сказал себе: «Не спешите, мои птенчики! Из вас вышла бы красивая парочка, и ваши крылья быстро растут, но я определенно намерен их подрезать — и время, кажется, пришло».

В полумиле от бурга, в глубине леса, раскинулось озеро, по которому плыл высоконосный челн. В осенние дни Герда часто заплывала здесь на мелководье, в заросли осоки, слушая перекличку моевок или наблюдая за крачками, чайками или скопами. И там, прячась за деревом, Хрольф стоял через два дня после своего возвращения — стоял и смотрел на нее. Он ни за что на свете не смог бы объяснить, почему прятался. Озеро было залито послеполуденным светом заходящего солнца, а посреди его была Герда, вся в сиянии, волшебная, с опущенной головой, а грудь ее то и дело вздымал неслышный вздох, подобный нежной тревоге, покачивавшей уток на мягкой зыби озера. Вскоре, бросив почти безотчетный взгляд, она заметила краешек красного рукава, побледнела и вздрогнула так, что уронила весло в красную от закатных лучей воду.

— О, Один! она уронила весло, — сказал Хрольф своему дереву, словно случилось что-то важное.

Тогда он выбежал на берег, восклицая:

— Погоди немного, я сейчас.

— Нет, нет, — крикнула она издалека.

— Что ты сказала?

— Не беспокойся.

— Но что ты будешь делать?

— Все хорошо.

— Что именно?

— Ты замочишь одежду.

— Я? Ни за что.

— Так и будет. Ну почему...

— Сейчас, сейчас.

Он погрузился в поросшую тростниками жижу, распугивая бакланов и кроншнепов, поднявших громкий крик, подплыл к веслу и, как бывалый мореход, потащил его к челну. Герда следила за ним со странным волнением и страхом и привстала в челне, то краснея, то бледнея.

— Ну вот, я же сказала.

— Что сказала?

— Что ты замочишь одежду.

— Ну, конечно...



— А сказал, ни за что.
— Ха! ха! мне это теперь привычно.
— Ты такой взрослый... викинг.
— Я уже убил своего первого.
— И у тебя борода.
— Ты тоже изменилась.
— Кто, я? почему бы и нет?

— Ничего не пойму. С тех пор, как я вернулся, ты выглядишь совсем по-другому.

— Мне очень жаль, Хрольф. Мы всегда были такими хорошими друзьями. Почему по-другому?

— Ты кажешься мне гораздо выше ростом, а твои глаза... какие же у тебя чудесные голубые глаза, Герда!

И она опустила эти голубые глаза, что-то бормоча и видя свою вздымающуюся в волнении грудь. Ощущая острые уколы в сердце, она готова была закричать от радости.

— И потом... — Хрольф оказался рядом с ней, держа руку на планшире, — ты не... знаешь... не поцеловала меня... когда я вернулся.

— Кто не поцеловал?

— Ты.

— Ты уверен, Хрольф? Я думала...

— Нет, не поцеловала, не поцеловала. Думаешь, я бы не запомнил?

— Ты меня не просил, Хрольф.

— Ну... можно мне в лодку?

— Нет — не надо! Хрольф, не надо! Ты перевернешь...

— Разреши мне!

— Не выйдет, разве ты не видишь?

— Если ты сядешь вон там, может, и получится.

Она подвинулась. Хрольф подтянулся на руках, но под весом его рослого тела челн резко накренился. Он вскоре сдался.

— Глупая скорлупка! Если я попробую забраться, ты быстро окажешься в воде.

Герда еще сильнее налегла на противоположный борт.

— А теперь попробуй еще раз, — сказала она.

Он попробовал еще раз, и в следующее мгновение Герда уже была в воде, лежа на его руке. Свободной рукой Хрольф цеплялся за челнок.

— Ну вот... — только и смог он выдохнуть.

Ее густые волосы, закрученные вокруг головы на манер Евы, были едва влажными. Она плавала, как рыба. Но сейчас глаза ее были закрыты. Женщина в ней лишилась чувств — или притворялась.

— Милая! Герда! — он целовал ее в приподнятые губы, — какой я неуклюжий медведь... ты простудишься, Герда...

Она крепче обняла его. Ее глаза открылись, улыбнулись и снова закрылись, содрогаясь от новой бури его губ. То был величайший миг ее жизни, тот миг, что она бессознательно ждала, а после не переставала вспоминать.

Гурт увидел, как они приближаются к дверям бурга в грязных одеждах, и пошел им навстречу. Он заметил, как изменились их лица, заметил новый смысл в их глазах, их сладостный заговор и радость.

— Что случилось? — воскликнул он.

— Ничего… оставь, — ответил Хрольф. — Упали в воду.

«Нынче вечером», — сказал себе Гурт.

Затем, наклонившись к Герде, он шепнул:

— Вечером я хочу поговорить с тобой — наедине. Придешь к бочке с водой у бурга часов в девять — слышишь?

Мир плыл вокруг Герды в туманном сне. Она еле расслышала, но ответила:

— Да.

У бурга она высвободила руку и побежала переодеваться. Потом, задыхаясь, устремилась в святилище Гунхильды, вбежала и упала перед валой, пряча пылающее лицо в ее коленях и дрожа, дрожа. Гунхильда, наделенная немалой проницательностью в делах сердечных, все поняла, погладила золото ее волос и склонилась к горячему ушку, ритмически напевая:

Теперь пусть Всеотец,
Один, искусный в работе,
Громкогласный певец,
Радостный гребец,
Ведающий истину,
Плетущий паутину,
Один, шепчущий в ветре,
Дарует благой исход!

3

— Жениться на мне? — переспросила Герда.

— Да, так, — отвечал Гурт.

Было девять часов, около бочки с водой.

Герда хотела рассмеяться, но рыдания сорвались с ее губ. О, где же Хрольф? Ей хотелось прошептать ему все это и уви-

деть, как вспыхнет в нем презрение.

Гурт держал ее за запястье, его темные глаза горели.

— Никакой дрожи! никаких обмороков и судорог! Ты моя. Я воспитал тебя для этого. Ни слова! Если вздумаешь бунтовать — если задрожишь — я срежу твои волосы, я исщипаю и исцарапаю твои прелести, я измолочу тебя, как зерно под жерновом, и подчиню своей воле — слышишь?

— Но кто ты такой, что осмеливаешься...

— Молчать! и его тоже, помни — твоего молодого надутого петушка — я раздавлю его, если ты вздумаешь сопротивляться мне...

— Его! Да он может защитить себя и меня от тысячи таких, как ты, Гурт Хермодсон!

— Иди! — он отшвырнул ее от себя. — Скажем, через месяц. Я даю тебе целый месяц, чтобы привыкнуть к этой мысли. Тем временем за вами будут следить, не сомневайся. А теперь беги и скажи своей вале, если хочешь, что я поклялся громом Тора взять тебя в жены!

И Герда побежала к вале и, всхлипывая, рассказала сивилле на ухо обо всем. В полночь Гунхильда стояла, бормоча в одиночестве заклинания над огнем в жаровне, и к утру в ее мудрой старой голове созрел план.

Она привела Хрольфа к себе. «Тюрфинг» вылетел из ножен, когда Хрольф услышал ее рассказ. Он готов был объявить открытую войну — но вала, угрожая и умоляя, сумела немного успокоить юношу.

— Воля Локи решительно противится твоему союзу с Гердой, — сказала она. — Всё против тебя. Если у тебя не хватает мужества обуздать свою горячую кровь, можешь оставить надежду и забыть о Герде навсегда.

Хрольф сел и стал слушать. План Гунхильды заключался в бегстве. Это казалось ей единственным способом предотвратить трагедию в доме Сигурдсонов. Гунхильда знала, как хитер был Гурт, как удачлив и ловок в достижении цели, и призвала всю старую и дремлющую остроту своего ума на помощь в поединке с ним. Она была теперь очень слаба — это будет ее последняя битва, и старая вала будет сражаться хорошо.

Хрольфа и Герду больше не видели вместе. На третий день Хрольфу предстояло притвориться, что он едет в соседний бург, но тайком вернуться с полпути, а вечером они оба должны были ждать в условленных местах на скалах. Гунхильда знала, что соглядатаи Гурта следят за детьми, но в тот вечер собиралась призвать Гурта к себе. Пока они с Гуртом будут разговаривать, Фрида, одна из ее служанок, задвинет снаружи засов, и Гурт окажется взаперти. Тогда Фрида побежит и подожжет груду торфа у стены бурга, и это станет для детей сигналом, что пора им встретиться и спешить восвояси, поскольку соглядатаи, не обнаружив Гурта, не захотят или не осмелятся последовать за беглецами. Дети смогут спокойно добраться до Ивен-фьорда и бурга ярла Сведгира, который уж точно не откажет им в убежище. А когда справят свадьбу, битва будет почти выиграна.

В тот третий вечер — холодные вихри бушевали в моросящей дождем темноте — Герда стояла, закутанная в плащ, но промокшая с головы до ног, на утесах к северу от фьорда, а Хрольф ждал на южных утесах. Фрида должна была подать сигнал около девяти. Однако и в десять огонь не вспыхнул.

Гурт тем временем ходил взад и вперед по залу, сцепив руки за спиной. Всякий раз, подходя к двери, он слегка приоткрывал ее и смотрел на бурю. Его люди молча слонялись по залу. Ярко горели длинные очаги. Глаза Дитлева, берсерка, с сонной преданностью сторожевого пса следили за каждым шагом Гурта, не перестававшего расхаживать бесшумной кошачьей походкой.

Ближе к одиннадцати Хрольф сказал себе: «Борода Тора! где же костер?» — а Герда, дрожа, вся измученная страхом, громко заплакала: «Видно, случилось что-то ужасное!»

Гурт, остановившись перед Дитлевом, спросил:

— Ты уверен, что молодой Хрольф вернулся?

— Да, — ответил Дитлев, — я видел его.

— А девушка?

— Хенг, дворовой холоп, сегодня присматривал за ней.

— И где же Хенг?

— Я думал, эта деревенщина здесь.

— Нет — видишь ли, это не так, — произнес Гурт с дьявольской улыбкой. — А теперь вставай и приготовь у дверей шесть лошадей, как я повелел тебе сегодня утром. Потом возьми из огня головешку и разожги костер у задней стены бурга — вон там.

Дитлев тупо уставился на него.

— Сделай это, — сказал Гурт, продолжая расхаживать.

Служанка Фрида ничего не знала о плане, согласно которому должна была запереть Гурта, и теперь сидела и пряла, болтая, на женской половине.

— Значит, Гунхильда обманула нас — ах, нет... и все же... — бормотал Хрольф. Но вот он увидел вспышку огня в условленном месте, вскричал: «Хорошо!.. наконец-то!» и галопом промчался через лес на другую сторону. У края обрыва он спешился и нашел Герду.

— А теперь быстрее, — выдохнул он. — Ах, как холодно, любовь моя! — и путь через лес далек...

— Милый Хрольф, — прошептала Герда, — я чувствую какой-то необычный страх... Почему сигнал так запоздал? Если с тобой случится беда...

Она зарыдала. Хрольф подхватил ее на руки, посадил в седло, вскочил сам и поскакал вниз по склону холма.

Из расщелины позади них выполз человек и побежал к бургу. Это был дворовой холоп Хенг. Он ворвался внутрь и шепнул Гурту:

— Они уходят — через лес!

— На лошадей! На лошадей, вы шестеро! — взревел Гурт, топая ногами и сверкая глазами. — Молодой Хрольф и девица Герда бежали через лес!

Шесть человек подбежали к ожидавшим их лошадям; двое по пути выхватили из черенков факелы. Углубившись в лес, они услышали впереди топот коня Хрольфа. Но конь его нес двойную ношу и был не самым быстрым в бурге; погоня была недолгой. Вскоре Хрольф, связанный, лежал на спине в ногах у воинов. «Тюрфинг», однако, успел пронзить Хенга, дворового холопа, и рассечь плечо Дитлева.

Мысль, что терзала сердце Хрольфа, была горькой, как гангрена от ножевой раны: «Вала предала нас — нас, своих

собственных детей!» Герда стояла рядом под охраной воинов, оцепеневшая и подобная мраморной статуе.

–––––

Как только люди ускакали, Гурт помчался через двор. Бежал он странно: то несся, то на мгновение останавливался в нерешительности, полный сомнений; после снова бежал, останавливался и вновь бросался вперед. Очутившись у покоев валы, он сбросил с ног мягкие постолы и на цыпочках подобрался к ее двери. Дверь была заперта снаружи. С величайшей осторожностью Гурт отодвинул засов. Страх и торжествующая хитрость боролись на его кривящемся лице. Но сильнее всего был страх. Он совершил ужасное! Вала хотела заточить его, однако он сам заточил ее. И все же вала была святой избранницей богов, и на Гурта всей тяжестью легло жуткое бремя совершённого кощунства. И теперь, бесшумно отодвинув засов, он попятился назад, надел постолы и кинулся обратно через двор.

Три дня назад он подслушивал у двери, когда вала подробно рассказывала Хрольфу о своем плане. Тотчас в голове Гурта замелькали собственные замыслы. Можно было, например, сразу же задержать детей или на третий день послать людей в условленные места и захватить их по отдельности. Но им овладело желание добиться решительной победы, высшего триумфа. Юноша должен был быть пойман в момент похищения вверенной попечению Гурта девушки, что полностью оправдало бы в глазах обитателей бурга все последующие жестокости.

Многочасовая задержка с костром была просто капризом тигра, играющего со своей добычей.

Утром одна из служанок, войдя в комнату валы, обнаружила ее сидящей с напряженно сжатыми руками и выражением ужасающего удивления и оскорбленной гордости в застывших глазах. Она, столь уважаемая, почитаемая, дожившая до преклонного возраста, умерла от унижения.

Гурт напрасно ступал на цыпочках, ибо мертвая уже не

могла его услышать — так в страхе бегут нечестивцы, когда их никто не преследует.

4

Успех превратил Гурта Хермодсона в нечто очень похожее на дьявола — успех и смерть валы Гунхильды. Он не помышлял о таком исходе. Случившееся расстроило Гурта и извратило его сознание. Если человек считает, как счел Гурт, что на него пало проклятие небес, он впадает в глубокую порочность и больше не обращает внимания на пустяки.

В течение трех недель Герда и Хрольф, мучительно теряясь в догадках о судьбе друг друга, оставались под стражей в двух близлежащих помещениях бурга. Дитлев, потирая рассеченную руку, наблюдал, как Хрольф беспрерывно ходил по комнате и скрежетал зубами. Герда, растрепанная, убитая горем, сидела, глядя перед собой и отказываясь от еды. После похорон валы Гурт дважды навещал ее. Она отпрыгивала в угол, как испуганная молодая косуля, отчаявшаяся, но готовая отбиваться, если ее тронут. На его разговоры о браке и угрозы применить силу Герда отвечала молчанием, презрительно кривя верхнюю губу.

«Если бы мальчишка умер!» — думал Гурт. Но он пока не видел способа совершить хладнокровное убийство. Обстоятельства этого не оправдывали, а его люди оставались мужчинами, храбрыми и порой великодушными, и могли счесть убийство неприемлемым. Эти рассуждения, однако, навели Гурта на превосходную мысль, и на следующий день Дитлев, по его приказанию, проскользнул в комнату Герды.

Он говорил ласково, рассказывал о Хрольфе; сказал, что тот рядом — такой же заключенный, как она. Герда приблизилась к нему, упиваясь его словами. Значит, Хрольф здесь, поблизости!

— Я пришел как друг, чтобы предупредить тебя, — сказал Дитлев, — и пришел тайно: никто об этом не знает. Над головой юноши нависла смертельная опасность.

— Опасность!

— Ты же знаешь Гурта Хермодсона. Он всегда добивается своего. Он ничего не говорит, но я хорошо понимаю, как он поступит, если ты будешь ему противиться.

— Поступит? С Хрольфом?

— Да. Если парень будет мешать, его уберут, говорю тебе. Опасность грозит ему каждую минуту. Может быть, этой ночью... во сне...

— О! — Герда подскочила к нему, схватила за рукава и упала на колени.

— Дитлев! ты же мужчина! Спаси его, ради меня! У тебя сердце тигра, добрый Дитлев! Разве я когда-нибудь причиняла тебе зло? Он — все, что у меня есть, Дитлев... моя жизнь... спаси его, Дитлев...

— Ах, теперь ты бредишь, — сказал он, — что я могу поделать?

Он высвободился из рук Герды и ушел, оставив ее в обмороке на полу.

Через час она известила Гурта, что готова завтра же выйти за него.

Наутро алтарь на зеленой лужайке залился бычьей кровью, и новая вала пела перед ним, и Гурт, наконец, стал бесспорным хозяином земель старого ярла.

Как будто стыдясь этой комедии, он исполнил свою роль заикаясь, застенчиво и неуклюже, но потом блаженно направился в бург, пронзительно трубя в рог. Для Герды он достал из кладовой шелковое платье, которое она надела. Она покорно и отрешенно соглашалась на все, оговорив лишь, что в этот день Хрольф не должен быть освобожден, но на следующий отвезен в бург ее отца и отпущен невредимым.

И рядом с Гуртом, во главе стола, она просидела всю вторую половину дня. И все вольнее и вольнее тек мед, и все громче звучал шум веселья и забвения печали, и наконец Гурт, то и дело подносивший к губам свою чашу, впервые повернулся к мраморной невесте и благосклонно сказал:

— Выше голову, красавица! Ничего дурного с тобой не случится. Нет более безобидного старого пройдохи, чем твой Гурт — если ему позволяют спокойно идти своей дорогой.

И, словно в ответ, с залива донесся слабый звук рога. Он раздался в тот миг, когда в гуле празднества наступило мимолетное затишье — и, кажется, его услышали все. Воцарилось молчание. Гурт вопросительно обвел глазами гостей.

В ту же минуту к нему подбежал холоп и прошептал:

— Сигурд Сигурдссон вернулся, и половина его воинов с ним. Он только что высадился в заливе.

Чаша упала, и Гурт рухнул ничком на стол с пронзенной судьбою грудью. Можно сказать, что он упал в обморок — весь мир рванулся куда-то прочь от него. Но это продлилось не более мгновения. Затем его хитрая натура вновь возобладала — эта рана не была смертельной.

Гурт вскочил и выпрямился, сразу отрезвев, и поманил к себе Дитлева. Герде он прошептал, обводя взглядом зал: «Ступай теперь с Дитлевом; позже я приду к тебе».

— Поскорее запри ее там же, где и раньше, — шепнул он Дитлеву, — и присматривай хорошенько за мальчишкой, а ключи оставь при себе. Сигурд вернулся. Потом приходи и держись поближе ко мне. Возможно, ты мне понадобишься.

Затем, когда берсерк и Герда вышли, он возвысил голос:

— Люди! у меня для вас хорошее известие. Сигурд Сигурдсон здесь. Давайте окажем ему радушный прием, говорю я. Но о своей женитьбе я хочу рассказать Сигурду сам. Смотрите же, ничего ему не говорите. Помните!

Он повернулся, и люди последовали за ним. На полпути к берегу он встретил на склоне Сигурда. За десять лет викинг постарел. Борода у него стала седая, волосы тоже побелели. Но спина героя не согнулась, взгляд был спокоен, и величие отважного воина, победившего случай, жизнь и смерть, облагораживало и венчало его чело и придавало его внешности нечто богоподобное.

— А, Гурт Хермодсон! — сказал он с беспечным спокойствием. — Рад видеть тебя.

Его рука легла на плечо Гурта.

— И я счастлив видеть тебя, — отозвался Гурт, — хоть мне это и странно.

— Ну что ж, Гурт, мир — это поле битвы для нас, бедных сынов божьих, и человек должен сражаться, пока в нем ос-



таются силы, и умереть в битве. Я побывал далеко, в Бритланде, присоединился к сонмищу саксов, сражался со скоттами, сражался с пиктами, бился здесь, воевал там. Я понял, что дело того стоит, и во имя богов пошел и сделал его. Но, человече, дети!

— Дети? — переспросил Гурт.

— Да, друг мой.

Тридцать долгих секунд Гурт колебался. Когда его губы снова зашевелились, он стал потерянной душой.

— Дети? Они недавно поженились. Ушли вместе в бург

старого ярла.

Он знал, что через день, самое большее, ложь непременно будет раскрыта — если Сигурд проживет этот день.

— Доброе известие! — воскликнул Сигурд и похлопал его по плечу. Они вошли в бург. Остальные, обмениваясь приветствиями, толпой вошли вслед за ними. Сигурд и Гурт уселись и погрузились в беседу.

— У тебя сегодня радостный день, — сказал Сигурд, кивая на стол.

— Да, утроил праздник для здешних прохвостов. Но что с добычей? Ты вернулся полным?

— Полным, Гурт, даже слишком полным. И кроме того, в прошлом году я оставил часть груза на сохранении в Леруике, на Хьятланде.

Глаза Гурта вспыхнули.

— Кто хранит груз?

— Старый Рагнар. Он нынче ярл в Леруике.

— Но за грузом надо послать.

— Брось, дружище. Я устал, Гурт, от битв и сокровищ, от блеска моря и блеска меча. Пусть лежит там.

— Я отправлюсь за грузом.

— Как хочешь.

— Сегодня же.

— Как пожелаешь, друг мой.

Глаза Сигурда смотрели куда-то вдаль — так люди после долгой ночной бури ждут утра. Гуртом же двигала необходимость оказаться — и поскорее! — как можно дальше от бурга; все должны были знать, что он далеко.

До наступления темноты на борт «Скидбладнира», стремительного драккара, взошли сорок человек. Под палубой, оставшись наедине с Дитлевом, Гурт тайком сунул в руку берсерка пузырек с зеленой жидкостью.

— На двоих хватит, — сказал он. — Если не получится, лучше выпей остальное.

Дитлев и остальные стали грести к берегу, а «Скидбладнир» двинулся вниз по фьорду.

В тот вечер, за ужином, Сигурд почувствовал, как у него скрутило живот, и покрылся смертельным потом. Его пере-

несли в прежние покои. Долгие часы из никогда не стонавших губ вырывался стон за стоном. Ближе к утру по всему бургу разнесся вопль, подобный громкому ржанию страдающей от боли лошади. Но рассвет явил милосердие.

Люди не знали, что и думать: все случилось так неожиданно. Никто не заподозрил дурного, тем более что Гурт, у которого мог иметься мотив, накануне уплыл в море. Вокруг ложа толпились лучшие воины Сигурда, тихо рассказывая о его достоинстве, царственной ярости, дружелюбии. Сигурд был величайшим из викингов, говорили они, и являл пример хорошего человека.

На третье утро Хрольф и Герда стояли вместе с другими над телом — вернувшиеся воины Сигурда настояли на их освобождении. Тело Сигурда перенесли на носилках и уложили на высокий штабель дров, сложенный на корме его старого длинного драккара; рядом с покойным положили его его золотой шлем, щит и меч. Громадное, высоко лежащее тело было завернуто в пурпурный шелковый плащ. Серое утро проливалось холодным дождем; вода непрерывно струилась по закрытым векам и длинной бороде и стекала ручьями с огромного прямоугольного паруса.

Корабль отбуксировали вдоль всего фьорда и привязали к свае у берега открытого залива. Весь день на драккар набегали длинные низкие волны, ревя монотонные похоронные песни; и всякий раз, когда нос драккара приподнимался, встречая их пенистый накат, корма билась о песок и тело на погребальном костре сотрясалось. К вечеру на берегу собрались толпы воинов; и когда исчезающий круг солнца в последнем сиянии прорвался сквозь тусклые сумерки и озарил всю морскую ширь, одни поднесли факелы к изгибу кормы, другие отвязали канат, третьи подтолкнули драккар вперед. Красный парус наполнился ветром, и драккар, пылая, двинулся по закатной тропе. С берега, печально взмахивая руками, прокричали умершему Сигурду слова последнего прощания.

Таким образом, как мы знаем, норвежцы предавали морю тела своих королей.

Но в сумятице этого мгновения случилось так, что драк-

кар оттолкнули от берега, прежде чем пламя полностью занялось. Едва корабль очутился среди бурных зеленых валов, как волны начали сказываться на костре. Драккар скорее тлел, чем горел. Еще дальше он врезался в вздымающуюся волну и вышел из нее опаленным, но способным плыть — и без единого язычка огня. Тело не было затронуто огнем. Корабль почти скрылся из виду, и издалека воины не замечали, что окутавшее драккар закатное сияние было не тем пламенем, которое способно сжигать.

–––––

Старая Гунхильда, благодаря какому-то удачному прозрению, предсказала Гурту: «Ты покоришь живых — но остерегайся мертвых».

Плавание от этой части норвежского побережья до Хьятландских островов и обратно занимало шесть или семь дней. Утром пятого дня Гурт возвращался с грузом. Вокруг драккара простиралась морская ширь. Утро было темное и шквалистое, ветер дул с юго-юго-запада и «Скидбладнир» шел в бейдевинд на восток, тяжело преодолевая волны. В семь часов один из гребцов бросился вниз и разбудил Гурта, сообщив, что был замечен неизвестный корабль размерами побольше «Скидбладнира» — возможно, враждебное пиратское судно — идущий на драккар прямо по ветру. Гурт был труслив и, даже будь его драккар порожним, постарался бы избежать любой возможности стычки; теперь же он вдобавок ко всему шел нагруженным. Он вскочил с лежанки, широко раскрыв глаза от страха, и закричал:

— Быстрее! Скажи всем, пусть налегают на весла и идут по ветру!

Через три минуты «Скидбладнир» летел на северо-восток, оставляя за собой широкий пенистый след. Час спустя другой корабль, не имевший весел, отстал, и Гурт распорядился лечь на прежний курс; но во время этих маневров они несколько утратили представление о том, где находятся.

В полдень, в сумраке бессолнечного дня, Гурт и его греб-

цы снова увидели, как их нагоняет неведомый корабль.

Прочь, прочь! на север, на север! Пусть весла вновь погрузятся в морские волны, пусть ветер раздувает провисший парус! С каждым взмахом тридцати весел Гурт наклонялся вперед, словно подгоняя драккар. Сердце нашептывало негодяю неведомые страхи. Его руки были холодны, как руки Сигурда.

В три все снова облегченно вздохнули. Но внезапно разразилась ужасная буря. Никто на «Скидбладнире» не понимал, где они, куда направляются. Вокруг была полутьма, мрачная, как смерть. Но примерно в тот час, когда незримое солнце должно было уйти за горизонт, на юге немного развиднелось, и за приподнятой туманной завесой они смутно разглядели — корабль!

Бежать, скорее! Теперь им были ни к чему увещевания Гурта — воины гребли, спасая свою жизнь. Все трепетали от страха, подобного которому они никогда раньше не испытывали, неизъяснимого, безымянного. И вдруг на них обрушился черный, как вороново крыло, полог тьмы. И последним, что они увидели, был призрачный корабль.

Сами того не зная, они находились у норвежского побережья и направлялись к одному из исполинских водоворотов, кружащихся в безумной пене близ берега. Оглушительный рев нарастал, и через несколько минут «Скидбладнир», содрогнувшись и больше не слушаясь весел, помчался стрелой по непредставимо широкой дуге кругового полета. Некоторых сразу швырнуло, как перышки, в бурлящую воду; большинство же, сброшенные на палубу, цеплялись за все, за что только могли ухватиться. В двух кабельтовых позади мчался корабль, который преследовал их и навлек на них гибель, невидимый в абсолютной темноте, пока лампа, разбившаяся в носовой части «Скидбладнира» во время безумного полета, не выплюнула красный дым и огонь. Свет озарил извивающийся и качающийся обод над ними, а под ними чудовищную воронку, в которую они все сужающимися кругами летели по громадному и наклонному кипящему скату. Языки летящего пламени излились со «Скидбладнира» на другой корабль, и тот также расцвел красным цветком,

и Гурт Хермодсон, приподнявшись на корме, увидал Сигурда, величественно и спокойно лежащего на своем погребальном костре.



И Хермодсон, разглядев его, возопил к небесам пронзительным криком, заглушившим рев водоворота — и упал. Когда «Скидбладнир» ринулся носом вниз в бездну, Гурт был уже трупом.

— Но что, если Гурт Хермондсон когда-нибудь появится? — сказал Хрольф год спустя. — Кто знает, может, он все это время оставался жив. Тогда я перестану быть твоим мужем.

— Это правда, — задумчиво ответила Герда. — Придется нам обсудить это дело — когда он возвратится.

КОЛОКОЛ СВЯТОГО ГРОБА

Три лета назад, бродя по Провансу, я оказался однажды вечером в Лебрен-ле-Брюйере, деревушке на дне долины Безон. Здешний трактир был таким захолустным, что я решил добраться до Карнака, благо до него оставалось всего четыре мили.

— Но, — сказал старый винодел, которого я попросил показать мне тропинку через лес, — вам стоит пойти кружным путем, по дороге.

— Почему же? — спросил я. — Получается ведь лишний километр?

— В наших краях почти никто не ходит больше по тропинке, — был ответ. — И вы не ходите туда, — предостерегающе и с некоторой серьезностью добавил он.

— Что, здесь водятся волки? — спросил я.

Он понизил голос:

— Вы можете увидеть кой-кого. Она зовется матушкой Гувийон, — таким тоном, словно хотел сказать: «Вам может повстречаться Вельзевул».

Я предположил, что он имеет в виду какое-нибудь привидение и, поскольку торопился и был знаком с суевериями южан, протянул ему франк и углубился в лес по тропинке.

В некоторых местах тропа густо поросла миртом и кермесовым дубом, и мне приходилось раздвигать кусты; в свете луны я заметил над кустарником два высившихся неподалеку кургана или могильных холма, сотворенных «феями»; и затем, пройдя километра три по довольно невыносимой глухомани, я испытал потрясение, увидав на поляне в трех метрах слева от себя женщину...

Она сидела на обломке одного из тех камней, которые называют «менгирами».

В туманном лунном свете мне показалось, что она медленно поводила плечами из стороны в сторону, подпирая

рукой подбородок; некая грация в ниспадающих складках ее лохмотьев наводила на мысль о статуе, установленной на пьедестале. Ее рост, насколько я мог разглядеть, был исполинским — огромные руки, похожие на дубины, гигантская грудь и широко развернутые плечи; открытый рот казался овальным темным зевом пещеры, спутанные волосы, черные с сединой, напоминали клубок змей; и, когда я проходил мимо, она проводила меня взглядом быка, потревоженного на пастбище случайным путником.

Образ этой женщины занимал мое воображение до тех пор, пока я около девяти вечера не очутился в Карнаке; и в тот же вечер, в гостиничном саду с качелями, кеглями и беседками, хозяин поведал мне историю матушки Гувийон.

— Она родом, — рассказал он, — из зажиточной семьи, владевшей землей на дальней стороне Лебрен-ле-Брюйера; ее отец был большим человеком, и даже в Авиньоне и Оранже знали, что он не упустит своего. В Лебрене все боялись его, включая кюре, так как говорили, что он не верил в милосердного Господа нашего. Каждый вечер он выпивал поллитра коньяка, и можно было слышать, как он по ночам ходил взад и вперед по своей веранде, ссорился с кем-то невидимым и продолжал пить; он бывал ужасен, когда выпивка бушевала у него в голове — прямо как человек, обезумевший от солнечного удара.

И вот однажды летом, когда филлоксера сгноила его виноград и виды на урожай мало что обещали, он в одну жуткую и памятную всем ночь воздел руку и очернил небеса, понуждая их сотворить худшее, и бросил вызов колоколу церкви Святого Гроба, требуя явить чудо и дать ему услышать звон; а надобно сказать, что колокол тот невозможно было услышать с его двора.

Его жена, страшась колокольного звона, убежала и спряталась под кровать, дочь Мод задрожала. Некоторые говорили, что колокол и вправду зазвенел в его ушах; как бы то ни было, вскоре после этого он умер в судорогах и был похоронен без церковного благословения.

Спустя недолгое время умерла и его добрая жена, а Мод Гувийон осталась хозяйкой всего.

И тогда хозяйство по-настоящему оживилось. Если на всех виноградных листьях в приходе и появлялся вдруг желтоватый мох филлоксеры, шпалеры Мод Гувийон оставались зелеными.

Умелое опрыскивание и садовые ножницы, без сомнения, вполне объясняли это процветание, но когда повсюду, кроме ее полей, распространилась ложномучнистая роса и все жаловались на гибель урожая марены, стали поговаривать и о черной магии.

Правда состояла в том, что работники Мод постоянно чувствовали на себе ее суровый взгляд, поскольку в хозяйстве она разбиралась получше любого мужчины; более того, она покрыла свои земли новомодной песчанистой почвой из Марселя — и в следующем сезоне шестьдесят бочек легкого вина покатились в ее телегах в Авиньон, тогда как папаша Гувийон мог в свое время похвастаться самое большее пятьюдесятью тремя.

Все в округе боялись ее крутого нрава: когда Югенен неудачно подковал ее мула и тот охромел, Мод Гувийон спустила громадного кузнеца с лестницы; кюре в Лебрен-ле-Брюйере возглашал «Молчание!» всякий раз, когда кто-либо упоминал ее имя. Со дня смерти отца она не переступала порога церкви.

Но в одно воскресное утро, когда ей уже исполнилось тридцать пять, Мод, ко всеобщему удивлению, пришла на службу в маленькую церковь в долине.

— Никогда еще, — сказал хозяин, — люди не видали таких шелков, колец и лент, хотя обычно Мод одевалась неряшливо. Она гордо задирала голову, как будто церковь была для нее недостаточно хороша, а кюре начал заикаться и то краснел, то бледнел. И как вы думаете, почему она это сделала? Она готовилась появиться перед всеми в качестве замужней женщины: скоро узнали, что она собралась выйти за маленького Томбареля, сапожника. Люди тревожно перешептывались — все знали, что никто не согласился бы по своей воле жениться на Мод, чей отец, как говорили, услышал колокол, пусть она и была богата; так что Мод, должно быть, по каким-то собственным причинам выбрала Том-

бареля и принялась сама обхаживать его.

— Но о каком колоколе вы все время говорите? — спросил я.

Хозяин всем своим видом выразил изумление.

— Я полагал, что даже приезжий... Я имею в виду, понятно, колокол церкви Святого Гроба.

— И чем замечателен этот колокол? — спросил я.

— Звук его не следует слышать, — ответил он, нахмурившись. — Считается, что этот колокол — не могу сказать, как — навлекает беду на каждого, кто его услышит.

Он помолчал и заговорил снова:

— В общем, все жалели бедного маленького Томбареля. Говорят, когда Томбарель принес священнику пару сабо, тот начал уговаривать сапожника призвать святых для защиты от лукавого; и, помолившись святым, Томбарелю следовало бросить в Мод камень. За неделю до назначенной даты гражданской свадьбы Томбарель сбежал в Казалес, но Мод поехала за ним и, по слухам, отделала суженого доской. Во всяком случае, вернулись они вместе и поженились.

Вскоре после этого Мод родила сына Пьера. Что же касается бедного Томбареля, то он умер, не протянув в браке и трех месяцев.

Этот Пьер вырос болезненным, бледным мальчиком, но чем более уродливым все его считали, тем больше гордилась им мать. Он был для Мод всем — от одного взгляда на сына она таяла от любви.

Он был калекой с болезнью тазобедренного сустава, и мать годами трижды в неделю возила его к врачу в Ла Ризолет. Когда доктор сказал Мод, что ребенок не выживет, она лишь рассмеялась и назвала врача глупцом, который ничего не смыслит в своем деле. И Пьер выжил.

Но Пьер страдал еще и душевной болезнью — безумной жаждой крови. Выбить свинье глаз камнем из рогатки было для него самой большой радостью. В тринадцать он издевался над всеми маленькими девочками в округе, позднее был найден с рассеченной шеей: Пьер сам нанес себе рану. В тот день мать, разевая квадратный провал рта, как всегда делала в минуты волнения, взвалила его на плечо и побежа-

ла с этим мертвым грузом в Ла Ризолет, не дожидаясь повозки — подвиг, достойный тягловой кобылы.

Вот таков был Пьер. Другие дети избегали его, и в деревне предсказывали, что настанет день, когда сын Мод Гувийон услышит колокол Святого Гроба.

— Однако, — сказал хозяин на *patois*, причудливость которого я отчаиваюсь передать словами, — что бы он ни делал: прикалывал ли теленка, или чуть не убивал малое дитя, или валялся весь день, скорчившись, на обочине дороги, — мать радостно смеялась и ласкала его; это только заставляло ее еще больше любить сына и гордиться им. Любовь к сыну буквально лишала ее рассудка.

Пьер, — продолжал он, — был влюблен в Розали, внучку школьного учителя Тиссо, самую красивую золотоволосую фею, какую вы можете вообразить; а Розали была помолвлена с Мартином Дежуа, плотником из Ла Ризолет. Пьер выслеживал ее повсюду с необычным для него упорством; но она смеялась над его жалким телом калеки, и в ее смехе было больше ужаса, чем веселости; Розали знала, как безумно любил ее Пьер, но едва ли понимала, какой опасностью грозил ее смех.

Когда приблизился день ее свадьбы с Мартином Дежуа, Пьер упал головой в колени матери, которая сидела на кухне и лущила горох, и сказал: «Мама, я пойду и убью себя; все здесь надо мной смеются, потому что я не похож на других, а если я не получу Розали, надо мной будут смеяться еще сильнее». Материнское сердце было для него что арфа, и он хорошо знал, какие струны нужно затронуть рассказами о чужих насмешках, чтобы превратить мать в бешеную кошку. «Подожди, Пьер, — очень тихо проговорила она, склоняясь над горохом, — подожди, ты женишься на этой девушке».

В ту же ночь, когда вся деревня спала, матушка Гувийон закутала голову платком и направилась к дому Тиссо, стоявшему возле церкви. Тиссо чуть не упал замертво от страха, когда, прихрамывая, вскочил с постели в своем красном шерстяном ночном колпаке, отворил дверь и увидел ее, такую громадную, что ей пришлось нагнуть голову, входя в дом.

Она предложила за Розали все: восемь тысяч франков в авиньонском банке, оливковые рощи, два масличных пресса, скот и посевы — все должно было отойти Пьеру и Розали; а тем временем старик Тиссо сидел, упираясь руками в колени, дрожа и не зная, что и сказать.

Наконец он пробормотал, что Розали ни за что не согласится: за Мартина Дежуа она собиралась выйти по любви.

— Розали еще ребенок, — сказала мамаша Гувийон, — предоставьте это мне.

— Ну-ну, — отозвался Тиссо.

Итак, матушка Гувийон вернулась домой довольная. Если бы только этим кончилось! Но едва она ушла, как Тиссо разбудил внука и послал его с запиской к Мартину Дежуа, сообщив, что тот должен на следующее же утро приехать в Лебрен. Мартин приехал — но, разыскивая по приезде Тиссо, просунул голову в дверь класса, дети его увидели и два часа спустя матушка Гувийон уже знала о его появлении в деревне. Тиссо и Мартин посовещались, и Тиссо заявил, что видит единственный выход: в ночь перед истечением десятидневного срока ожидания Мартин должен увезти Розали в Авиньон и обвенчаться с нею там. В деревне, однако, ни для кого не было секретом, что три дня уже прошли, и глупый старый Тиссо даже не подумал о том, что матушке Гувийон наверняка было известно, когда истекает срок. Не успела она прослышать, что Тиссо встречался с Дежуа, как сразу догадалась, на чем они порешили. В Лебрен-ле-Брюйере рассказывают, что она в тот вечер послала за Дежуа, прося его прийти и поговорить с ней, но тот отказался и даже слушать ничего не пожелал. Если так, это была первая и последняя попытка матушки Гувийон переубедить Дежуа, который решил, в свою очередь, перехитрить ее.

Наступил условленный день, и в одиннадцать вечера Мартин Дежуа, парень высокий и сильный, пересекал пустошь между Ла Ризолет и Лебрен-ле-Брюйером — ту самую пустошь, где стоит церковь Святого Гроба. Он направлялся к роще за домом священника, где Розали ждала его в повозке вместе со старой служанкой Тиссо, чтобы бежать в Авиньон; и он выбрал кратчайшую дорогу, хотя люди, идущие

пешком из Ла Ризолет в Лебрен, обычно предпочитают обходной путь — настолько пустынны эти бесплодные просторы, поросшие диким виноградом и кустами лаванды, где лишь изредка можно встретить зловонное озерцо, или кипарис, мрачно высящийся на фоне неба, или скопление тех черных, изъеденных временем скал, что провансальцы называют «каньярами»; ветер взметает над безлюдьем тучи легкой белой пыли: даже когда в долинах спокойно, над пустошью часто веет мистраль.

В одном из уголков этого Мертвого моря Прованса стоит, как стояла со времен франков, развалившаяся церковь Святого Гроба; поросшие колючими кустами руины почти скрыты теперь пологом странной гнилой растительности. Но колокольня осталась нетронутой; сохранились, как говорят, и колокол, и колокольная веревка.

Я не стану останавливаться на древнем сказании, благодаря которому колокол обрел такую зловещую славу среди наших долин; но считается, что он возвещает верную гибель бедняге, услышавшему его звон — несчастному отказывает и сердце, и разум. В это верят и самые завзятые скептики от Лебрена до, я думаю, Удена: услышавший звон колокола проклят; все его начинания будут обречены на провал и принесут ему одни страдания и горести; если он не погибнет сразу, жизнь его все равно будет отравлена: воздух станет жалить несчастного, вода обжигать, и смерть покажется ему долгожданным избавлением.

В ту ночь, когда Мартин Дежуа отправился за Розали из Ла Ризолет, туман на пустоши сверкал под лучами луны, ветерок был слабый, и матушке Гувийон открывался некоторый обзор с церковного крыльца, где она стояла, прячась за густыми зарослями аралий и кермесового дуба. Долгие годы ничья нога не ступала так близко к церкви Святого Гроба, как она в ту ночь. Матушка Гувийон то и дело прикладывалась к фляжке с бренди, чтобы поддержать в себе храбрость — я рассказываю вам сейчас только то, что много позже поведала она сама, и каждое слово здесь — истинная правда. Она еще раньше поискала на ощупь веревку, собираясь, если ее не окажется, забраться по стене прямо к ко-

локолу, как кошка; но веревка была там, и по-прежнему довольно крепкая, хоть и немного прогнившая, как она могла видеть в лунном свете, озарявшем развалины; и теперь она стояла и ждала появления Мартина Дежуа, рассудив, что ввиду спешности и важности дела он не станет делать круг через Сен-Пьер, а пойдет прямиком через пустошь.

Наконец, около одиннадцати до нее донесся чей-то свист: соседство колокольни не нравилось Мартину, и он насвистывал, подбадривая себя. Матушка Гувийнон тотчас принялась за работу. Первым делом она заткнула уши ватой и плотно перевязала их сверху платком, так как намеревалась зазвонить в колокол и не услышать звона. Ее только беспокоило, действительно ли это Мартин. А что, если это Пьер? Пьер иногда пересекал пустошь по ночам; Пьер любил насвистывать. Но все было в порядке — это был Мартин — она разглядела его, когда он приблизился. Он перестал свистеть, наклонил голову, перекрестился — во цвете лет — молодой, полный сил, накануне свадьбы — когда внезапно — бамм, бамм, бамм — над ним прозвенел колокол...

Матушка Гувийон растянулась на земле и видела из-за кустов, как у Мартина подкосились ноги и он прислонился к одному из каньяров; после она в восторге поспешила домой, думая про себя: «Я не слышала колокол! Я не слышала!»

Розали и служанка напрасно ждали в ту ночь Мартина Дежуа; только через пять дней его тело нашли на дне глубокого оврага к северу от пустоши, который называют «Пастью дьявола». Никто не знал, упал ли он туда случайно или бросился вниз в отчаянии, но все считали, что он услышал колокол, и прошли годы, прежде чем кто-либо заподозрил, что его смерть не была вызвана рукой Провидения.

Так матушка Гувийон сдержала свое слово, и через несколько месяцев Розали вышла замуж за Пьера.

— Но, — сказал хозяин гостиницы на своем местном диалекте, — содеянное не принесло ничего хорошего матушке Гувийон. Розали оказалась для Пьера худшей женой, какую можно придумать, ибо была такой милой и нежной, и Пьер так любил ее, что месяцами ходил, как зачарованный; затем неизбежно следовала другая крайность: в такие дни

бледное лицо этого хромого калеки пугало всех в долине и он носился с горящими глазами, как бешеная собака. Однажды он ударил мать ножом в руку, и порой приходилось следить, чтобы он не зарезал себя. И так продолжалось почти пять лет.

Виноградники также постигло несчастье. Последовали три плохих года, когда даже «Эрмитаж», «Ла Нерт» и прочие большие винодельни Прованса не закупорили ни одбочки вина. На четвертый год весь урожай марены матушки Гувийон погиб на корню, и ей пришлось подписать с агентом в Карнаке договор, чуть не лишивший ее крыши над головой. Говоря коротко, в конечном итоге зло не принесло ей счастья.

Но она все так же обожала своего *petit*, своего «малыша», и втайне гордилась тем, что сделала для него; и в те дни, когда он ужасал всех, она утешалась мыслью, что ужас предпочтительней насмешек. «Они не станут теперь ухмыляться и скалить свои уродливые зубы на моего *petit*, на моего сыночка», — говорила она себе.

И в одну горькую зимнюю ночь все кончилось...

Пьер снова распоясался; крики с винодельни матушки Гувийон доносились даже до деревни, и вскоре к священнику прибежала служанка, вопя, что Розали сейчас убьют. Одному Богу известно, что там случилось: Розали больше никогда не видели, и люди полагают, что Пьер убил ее, а матушка Гувийон где-то спрятала тело. Но тело так и не было обнаружено, и вся эта часть истории остается тайной. В бреду, во время своего краткого последующего заключения, матушка Гувийон поведала многое из того, о чем я сейчас рассказываю, но об этом не обмолвилась ни словом.

Кюре, услышав вопли девушки, начал молиться, затем оседлал своего мула и помчался сквозь бурю в Авиньон. Еще до полуночи на винодельню прибыл отряд жандармов; стали искать Пьера; его нигде не было. Матушка Гувийон, вышивая с отвисшей челюстью, заявила, что не знает, где он.

Ночь была дикая — я видел три таких в Провансе. Жуткие молнии, настоящий потоп, штормовой ветер с севера и ураган на западе, словом, южная буря... Стоило жандармам

отвлечься, как матушка Гувийон выбежала из дома, забыв о своей непокрытой голове, но не позабыв захватить с собой все сбережения до последнего су. Она договорилась встретиться с Пьером на пустоши, единственном безопасном месте, и собиралась, как видно, отвезти или отослать сына на побережье и посадить на корабль — для нее не существовало ничего невозможного. Конные жандармы, правда, прочесывали долину с фонарями, но это ничего не значило: она была уверена, что обведет их вокруг пальца...

Но когда, добравшись до пустоши, она побежала к условленному каньяру, Пьера там не было; к следующему — и там нет Пьера; она растерянно металась от каньяра к каньяру. Ее сердце дрогнуло, взгляд вопрошал небеса — они были непроницаемо черны; и, спотыкаясь в вихре развевающихся волос, напоминая шаткий столб водорослей, она возвысила голос: «*Пьер!*» Где же он, своенравный мальчик, любимец ее сердца?

И вновь ее пронзил ужас — колокол... считалось, что он бил иногда в полночь, когда на пустоши бесновалась буря... «Только не этой ночью!» — но едва она это произнесла, как чудовищный грохот бури заглушил ее слова. Она оступилась и в ужасе упала в грязь; из груди ее вырвалась молитва.

Ночь ураганов и вихрей, и посреди ненастья женщина часами молила, упрашивала: «В любую ночь, только не сегодня... это будет так несправедливо... мое бедное материнское сердце не выдержит» — пока буря не пошла на убыль и опасность не миновала.

К утру, когда темнота оставалось такой же непроглядной, хотя буря утихла вместе с ее страхами, она услышала колокольный звон. Не тот гулкий звон, как тогда, над Мартином Дежуа — бамм, бамм — а лишь один удар, печально растворившийся в дрожащем воздухе.

Значит, все кончено? Надежды нет? Внезапно женщина вскинула голову, заскрежетала зубами, погрозила кулаком — как некогда ее отец — колоколу, небесам... «Звени, колокол!..» Колокол — чепуха; она найдет своего малыша, как только немного рассветет, вырвет его из лап жандармов: все еще наладится...

Отправившись еще раз на поиски, она очутилась прямо перед церковью и, при вспышке молнии, заметила у входа след мужской ноги. Увидев этот след, она вздрогнула, похолодев до мозга костей от ощущения чего-то потустороннего, ибо невозможно было поверить, что какое-либо живое существо отважилось приблизиться к колокольне в такую безумную ночь.

— Мартин Дежуа?.. — прошептала она. Чья сила заставила колокол бить? то был не ветер!

В этот момент до ее слуха донесся топот лошадиных копыт — жандармы все еще рыскали по окрестностям в поисках Пьера, — и она спряталась в кустах у входа в церковь, чтобы преследователи не заметили ее в блеске молний. Пять лет назад она стояла здесь — и сделала свое дело. И теперь она содрогнулась, завидев недавно примятые аралии, раздвинутые ветви: кто-то вошел в церковь Святого Гроба этой ночью! И при мысли о мщении мертвеца, покойника, этого убитого ею человека ее сердце упало.

Но какие-то чары заставили ее переступить порог, и она замерла в непроглядном мраке внутри, слыша хрип в собственном горле, слыша стук сердца, отбивающего всю гамму страха, гордости, отчаяния, пока внезапно вспышка молнии не осветила церковь, открыв ей причину звона: кто-то обвязал веревку колокола вокруг своей шеи, оттолкнул ногой камень, на котором стоял — и повесился. Теперь он висел неподвижно, и они смотрели друг другу в глаза — мать и сын.

На следующее утро ее нашли блуждающей по пустоши с кривой улыбкой, безобидную и вялую; ее отвезли в лечебницу в Авиньоне, где через много недель к ней вернулось что-то похожее на рассудок. История матушки Гувиньон стала известна из ее тихого бормотания, и ее выпустили на свободу; но она не пожелала возвращаться домой и поселилась в лесу; она спит в каньярах и питается маслинами, орехами и фруктами. Ее излюбленное пристанище (если она еще жива) — менгир на заброшенной тропе между Лебрен-ле-Брюйером и Карнаком.

МЕСТО СТРАДАНИЙ

Хотя мое повествование касается того, как преподобный Томас Подд узрел средоточие зла, темой его является скорее зло, что обретается на небесах: ибо я полагаю, что Британская Колумбия подобна небесам или тому, каким я мечтал бы увидеть свой рай — если вознесусь столь высоко: сплошная громада гор с зерцалами озер, потоками вод и густыми лесами, прорезанная ревущей Роной.

Случилось это в Смолл-Форкс, куда я приехал, думая пробыть две недели — а остался на пять лет. Поистине невероятно, как за недолгое время изменился и разросся городок: ведь поначалу Смолл-Форкс был центром снабжения всего-навсего трех шахтерских поселков, и даже четверть тех двух миллионов тонн руды, что добываются здесь в наши дни, показалась бы тогда непредставимой.

Рудную жилу Скэтчерин, расположенную в трех милях от озера, обслуживала одна медеплавильная печь. Но на пятьдесят миль в округе не было ни одной серебряно-свинцовой шахты, ни одной пивоварни, ни единой машинной мастерской или кирпичного завода. Никто в ту пору еще не считал водопад Харпер-Фоллз источником энергии.

Именно с Харпер-Фоллз связана гибель пастора Томаса Подда, о которой вам предстоит услышать; и только мне известны обстоятельства и причины его смерти.

Если не ошибаюсь, впервые я увидел Подда в первую неделю моего пребывания в Смолл-Форкс — однажды вечером на Набережной.

(Вы знаете, вероятно, что Смолл-Форкс тянется вдоль побережья одного из заливов озера Сакунэй, у подножья гор, окруженных лесными чащами — и впрямь, по моему мнению, подобен райскому уголку.)

Тем вечером Подд прогуливался вместе с другим священником по Набережной, и впечатление, что произвела

на меня его персона, выразилось в усмешке — слишком уж непривычным было тогда для меня зрелище чернокожих в сутанах и белых колоратках. По правде говоря, Подд был скорее коричневым, чем черным — худой низкорослый человечек лет пятидесяти, с выступающими скулами, ввалившимися щеками, скудными пучками бородки, уверенной осанкой и лбом подлинного интеллектуала; однако взор его просверлил меня с выражением диковатым и рассеянным.

Он занимал важное положение в Смолл-Форкс, где колония примерно из сорока цветных трудилась на лесопилке. Подд читал им проповеди в скособоченной церквушке на углу Шелуховой улицы.

Он вел молитвенные собрания вечерами, по понедельникам; и в один из понедельников, когда миновало около месяца моего проживания в Смолл-Форкс, я забрел на его проповедь, возвращаясь с прогулки. Я услышал молитву — или, вернее, требовательный призыв к этим темнокожим, которые стучали по своим скамьям и раздраженно раскачивали их перед кафедрой.

По окончании собрания, я вышел и ощутил слабое прикосновение к спине. Оказалось, что преподобный джентльмен, завидев незнакомца, бросился вслед. Он величаво соединил руки и затем с улыбкой осведомился, не намерен ли я «присоединиться к ним». Мысль эта была далека от меня; я сказал, что «мне было любопытно», и оставил преподобного.

Вскоре после того он зашел ко мне, и дважды в течение трех месяцев пил со мной чай — видимо, с надеждой обратить меня в свою веру. В обращении он не преуспел, но зато весьма меня заинтриговал.

Подд был человеком науки до самых кончиков пальцев; я обнаружил, что он пылает врожденной страстью к Природе; и я выяснил — не могу припомнить, у него самого или у других — что у Подда была манера время от времени покидать человеческое общество, теряясь на несколько дней в лабиринте гор, вздымающих к луне область озера Сакунэй.

Никакой груз дел, никакие доводы или заботы не могли удержать Подда дома, в уюте Смолл-Форкс, когда его соблазнял зов дикой природы. Эта характерная причуда была давно известна в городке, где к ней относились со смирением и снисходительностью. Он родился милях в сорока от Смолл-Форкс; мне показалось, что он знает леса и горы Британской Колумбии так же хорошо, как фермер – свой двухакровый лужок.

Итак, спустя недели две после его второго визита, меня достигла внезапная весть о том, что в голове у преподобного Томаса Подда что-то помутилось — да и могло ли обойти меня это известие, если слухи о пасторе вызывали насмешки по всей округе далеко за пределами Смолл-Форкс?

Поговаривали, что как-то субботним вечером преподобный джентльмен вернулся домой из очередного долгого странствия, наполненного праздным общением с Природой. Утром в воскресенье он пришел в молитвенный дом возмутительно поздно и нетвердым шагом, точно помешанный лунатик, взошел на кафедру — без сутаны! — без колоратки! — со сползшими подтяжками! — а затем, водрузив локти на лежавшую здесь же Библию, пристально и с издевкой взглянул на свою малочисленную черную паству и принялся глумиться и насмехаться над нею.

Он открыто назвал прихожан толпой обезьян, шайкой черномазых лепечущих младенцев; сказал, что стыдится их всем сердцем, ибо они так невежественны и затеряны во мраке; и все, что содержится в их неотесанных башках — пустота; никто из них не разумеет ничего, кроме него, Подда; он единственный средь людей познал то, что знает, и узрел то, что видел...

Что ж, его глубоко уважали за интеллект, красноречие и несомненную искренность в христианском служении, и потому община, похоже, восприняла это непристойное выступление с большой терпимостью. Возможно, прихожане надеялись, что то было лишь помрачение ума, каковое скоро пройдет; но когда преподобный джентльмен сразу после указанного события снова отправился в горы, исчезнув на несколько недель — никто не ведал, где он скитался — это

было уже чересчур. Поэтому, вернувшись наконец в город, он узнал, что место его занял другой темнокожий священник.

С той минуты социальное падение Подда стало неудержимым. Он довел себя до бедности и лохмотьев. Жена и две дочери отряхнули его пыль со своих туфель и покинули Смолл-Форкс – предпочитая самостоятельно где-нибудь искать средства к существованию, насколько я понимаю. Но Подд остался или, во всяком случае, часто попадался на глаза в Смолл-Форкс, когда снисходил до городка, спускаясь сюда после горних блужданий.

Мне довелось видеть его пьяным на Набережной; подтяжки Подда свисали до колен, шляпа превратилась в руины — хотя я уверен, что он так и не сделался пропойцей. Как бы то ни было, тонкий слой внешнего лоска стерся с него, будто едва намеченный рисунок, и он успешно погрузился в дикое состояние. Чем он жил, я не знаю.

Однажды днем я встретил его возле новой судостроительной верфи, которую «Канадская тихоокеанская железная дорога» возвела в полумиле от Смолл-Форкс. Он сидел на куче сосновых бревен, сложенных на обочине дороги. Его голая грудь и нога виднелись в прорехах одежды, глаза пожирали небо, где замерла дневная луна. Но, завидев меня, он блеснул великолепными зубами, беспечно вскричав на французском: «*Ah, monsieur, ça va bien?*» — на французском, поскольку неграм свойственна известная фривольность речи, выражающаяся подобным образом.

Я прервал его болтовню, спросив:

— Подд, что это было, в конце концов — ваше внезапное низвержение от святости к порочности?

— Ах, наконец-то вы спрашиваете о чем-то дельном! — беззаботно отвечал он, подмигнув мне.

Я заметил, что он прискорбно отощал; кожа приобрела шафрановый оттенок, скулы, казалось, вот-вот обнажатся, а в глазах горел огонь, свойственный человеку, переживающему длительную экзальтацию или возбуждение.

Желая, по мере сил, помочь ему, я сказал:

— Должно быть, что-то случилось внутри или вовне;

вам лучше обо всем поведать мне, и тогда я смогу что-либо для вас сделать.

Он тотчас же раздраженно заметил:

— О, вы мыслите так же, как дурная толпа глупых маленьких ребятишек, барахтающихся во тьме!

— Вот как, — отвечал я, — но если вы так мудры, почему бы вам не раскрыть свою тайну, дабы мы также обрели мудрость?

— Что я скажу вам, — его голова дергалась вверх и вниз, губы сжались, — сомневаюсь, что кто-либо может выдержать это зрелище; да тут у любого волосы поседеют!

— Какое зрелище? — спросил я.

— Зрелище Ада! — вздохнул он, чуть воздев руки.

Помолчав с минуту, я сказал:

— Ну, это ерунда, Подд.

— Конечно, сэр, наверняка так и есть, раз вы так говорите, — тихо отвечал он грустным голосом. — Разумеется, именно это говорили Галилею, когда он утверждал, что земной шар движется.

Приняв, насколько возможно, серьезную мину, я посмотрел на него и спросил:

— Так вы видели Ад, Подд?

— Возможно, — ответил он и добавил: — А также и вы, кстати. Вы могли лицезреть его с того момента, как вышли на прогулку, но не поняли того.

— Ну что ж, тогда Ад не столь уж ужасен, не так ли, — заметил я, — если можно увидеть его и не распознать. Но Ад прямо у нас, в Смолл-Форкс? Я только что оттуда.

При этих словах он поднял голову и с довольно едким смешком промолвил:

— Да, как прекрасно, когда невежда подшучивает над теми, кто обладает знанием, и чем глупее этот судья, тем лучше! Так оно обычно и бывает.

Кровь вдруг прилила к его лицу, и он вперил взор в небеса.

— Видите вы там этот мир?

— Луну? — переспросил я, тоже посмотрев в небо.

— Души в месте том обитают в боли, — пробормотал он;

подбородок его внезапно опустился на грудь.

— Так на Луне есть люди, Подд? — спросил я. — Вам известно, конечно, что там нет воздуха? Или вы имеете в виду, что Луна и есть Ад?

Он взглянул вверх, улыбнувшись:

— Боже мой, да вы много отдадите за то, чтобы узнать, уж я-то понял это с самого начала. Раз уж это вы, сделаю вам деловое предложение. Вы будете давать мне три доллара в неделю, покуда я жив, а перед смертью я расскажу вам, что и как я узнал; научу вас всем приемам. Или напишу письмо и запечатаю его в конверт, который вы получите после моей смерти.

— Надо же, — сказал я, — какая жалость, что я не могу себе такое позволить.

— Вполне можете, — был его ответ, — но истина в том, что вы не верите ни единому моему слову: вы полагаете, что я сумасшедший. Да, это так, отчасти! Ей-богу, что верно, то верно!

Он вздохнул и замолчал на некоторое время, рассеянно глядя на Луну и явно забыв о моем присутствии.

Но затем он продолжил:

— Предложу вам все-таки рискнуть. Платить вам недолго придется: вижу, у меня началась чахотка – проклятье нашего цветного народа — и только вчера горлом шла кровь. И кроме того, вы сможете оказать ближнему благодеяние, ибо я очень голоден — по собственной вине; но после того, что видел, я не мог продолжать прежнее пустословие перед теми бедными глупцами. Если не хотите давать мне три доллара в неделю, дайте один.

Что поделать, я согласился — конечно, не ожидая услышать какую-нибудь «тайну». Но я видел, что этот человек, будучи не от мира сего, не мог заработать себе на хлеб. Я считал его в той или иной степени безумным — и по-прежнему считаю так; однако теперь я убежден, что он далеко не настолько повредился в уме, как мне представлялось поначалу. Таким образом, я обещал, что он сможет еженедельно получать один доллар в моем банке, пока сам я буду оставаться в Смолл-Форкс.

Иногда Подд брал свой доллар, но часто этого не делал, хотя был предупрежден о том, что накопившиеся долги выплачиваться не будут, и ему следует являться в банк каждую неделю. Так продолжалось свыше четырех лет, в течение которых он становился все более тощим и окончательно одичал.

Тем временем насмешки над Поддом в Смолл-Форкс и округе Сакунэй прекратились: шутки давно утратили свою свежесть. Опустившийся нищий стал деталью местного пейзажа, подобно конной полиции или лесопильной фабрике — зрелище слишком привычное глазу, чтобы тревожить сознание какими-либо чувствами.

Но на исходе этих четырех лет Смолл-Форкс единым строем восстал против Подда.

Произошло следующее: округ Сакунэй как раз отправил ежегодную партию из приблизительно четырехсот миллионов футов древесины в провинции канадских прерий; число добывающих и плавильных компаний увеличилось до четырех — крупные концерны, работавшие с тремя-четырьмя тысячами тонн руды в день. Учитывая такое положение дел, все население округа дружно подхватило клич: «Электричество! Электричество!».

Вслед за тем в Смолл-Форкс появился главный минералог провинции с внушительным лбом и ответственным видом; его отчет правительству Британской Колумбии гласил, что водопад Харпер-Фоллз способен дать мощность в 97 тысяч лошадиных сил; это вызвало в округе большой интерес; и, наконец, городской совет Смолл-Форкс принял решение о создании муниципальной электростанции на Харпер-Фоллз.

Один только Подд возражал!

Он считал, — как я узнал впоследствии — что Харпер-Фоллз принадлежит лично ему; и он не желал, чтобы люди изгадили водопад или появились где-либо поблизости от него.

Тем не менее, он ничего не желал объяснять. Были начаты работы — пока что в виде сбора строительного материала. Первый намек на сопротивление делу возник

однажды в полночь, в начале мая — эту ночь я никогда не забуду — когда все муниципальные запасы сгорели дотла.

Величественные языки пламени были отлично видны в Смолл-Форкс с расстояния пяти миль, и я наблюдал представление, находясь в гуще огромной толпы горожан.

Все пришли к заключению, что какой-то неизвестный преднамеренно совершил поджог, так как иных объяснений не нашлось. Оставалось загадкой, кто именно сделал это — поскольку не было и подозреваемых. И, подобно пауку, чья сеть неожиданно разорвалась, муниципальные власти снова начали собирать материалы для строительства электростанции.

Затем, в конце июля, произошел еще один пожар.

Но на сей раз на складе находились бдительные ночные сторожа, и один из них показал под присягой, что, судя по всему, видел Подда в подозрительной близости к месту бедствия.

Город был весьма возмущен этим обстоятельством, ибо все ожидали от электростанция множества благ.

По крайней мере, когда Подд был пойман и допрошен, он не стал всецело отрицать обвинение.

— Возможно, это был я, — был его ответ; и далее, — ну так и что с того?

Слова Подда доказали мне, что он был невиновен; я считал, что его ответ был продиктован тщеславием либо безумием. Власти, должно быть, рассудили так же, и Подд был отпущен, как безобидный дурень.

В городе, тем не менее, освобождение Подда вызвало взрыв негодования; три дня спустя я увидел его посреди толпы, откуда, если бы я не пришел на помощь, он едва бы вырвался живым — ведь теперь он представлял собой лишь мешок костей с двумя горящими глазами. В самом деле, вмешательство потребовало от меня немалой решительности, поскольку там были полицейский из Северо-Западного управления, хладнокровно поощрявший нападки на бедного изгоя, агент по продаже недвижимости, провонявший скипидаром менеджер лесопилки и прочие граждане, чьи интересы были задеты. И все же я прокри-

чал краткую речь, поручившись, что Подд невиновен; вероятно, реноме уроженца Британии помогло мне вырвать его, задыхающегося, из их хватки.

Когда Подд обнаружил, что мы оказались вдвоем на дороге за пределами города, он внезапно рухнул на колени и, обняв мои ноги, принялся рыдать, обращаясь ко мне в пароксизме благодарности.

— Вы были всем для меня — вы, чужак. Господь вознаградит вас — жить мне осталось недолго, но вы узнаете, что ведомо мне, и увидите то, что созерцал я.

— Подд, — сказал я, — вы слышали, я дал слово, что вы невиновны. Скажите же мне теперь, что не вы совершили эти преступления.

С ледяным высокомерием он поднялся, взглянул мне в лицо и произнес:

— Конечно, это сотворил я. Кто же еще?

Я рассмеялся. Но затем строго заметил:

— Ладно, вы сознались в злодеянии, вот и все.

— Послушайте, — отвечал он, — не будем спорить. Мы смотрим на вещи с разных точек зрения — оставим споры. Я имею в виду, что в течение нескольких недель или месяцев, что я еще проживу, никакая электростанция не будет построена на Харпер-Фоллз — после, пускай строят. Вам не известно то, что знаю я о водопаде. Это глаз сего мира — да, безусловно, глаз сего мира. Но вы узнаете и узрите.

Он взглянул на клонящийся к западу лунный серп и, немного подумав, продолжил:

— Встретимся в пятницу, в девять вечера. Вы многое сделали для меня.

Говорил он с такой убежденностью, что я обещал повстречаться с ним. Несколькими минутами позднее я уже смеялся над тем, что был так впечатлен его болтовней.

Так или иначе, два вечера спустя, в девять, я встретился с Поддом и мы тронулись в путь; мы прошли, взбираясь и карабкаясь по склонам, около семи миль, которые я запомню навсегда.

Если я смогу хоть отчасти рассказать об этом колдовском приключении, то стану куда лучшего мнения о своих худо-

жественных способностях; но подлинная реальность тех событий ускользает от описания.

Невзрачный, угасающий Подд по-прежнему обладал легкой поступью горного козла, и мы пробирались в местах, которые без его помощи я едва бы преодолел — призрачные овраги, ельники и старые унылые кедровники с гудящими кронами, скалы перевала Гэрровэй, где грохот водных струй внушает трепет, и ледниковые озера, спящие во мраке дебрей, заросших лиственницами, болиголовом, белыми и желтыми соснами.

Мы продирались вверх сквозь ущелья перевала Гэрровэй, когда Подд резко остановился; ощупью, не видя ничего в темноте, я нашел его и обнаружил, что он застыл, прислонившись лбом к скале.

На мой вопрос «Что-то не так?» он ответил:

— Погодите — у меня кровь на губах.

И после добавил:

— Думаю, у меня начинается кровотечение.

— Тогда нам лучше вернуться, — сказал я.

Но он сразу оживился и сказал:

— Все будет хорошо. Пойдемте.

Мы продолжили наш трудный путь.

Примерно через полчаса мы вышли на небольшое плато площадью с восемьсот квадратных ярдов; с трех сторон его окружали поросшие соснами утесы. С утеса позади нас струился поток воды, который растекался по платформе довольно широкой рекой, прокладывал себе дорогу между скалами и ниспадал пенистым водопадом с переднего края плато.

— Вот мы и на месте, — промолвил Подд, сев на скалу и склонив голову к коленям.

— Подд, вы в беде, — сказал я, остановившись рядом с ним.

Он не отвечал, но с трудом приподнял голову и поглядел на Луну глазами, которые сами были подобны ночному светилу — земной спутник уменьшился до половинного размера и переходил в убывающую четверть.

— Теперь смотрите, — сказал Подд с одышкой и дрожью

в голосе, так что я был вынужден наклониться, чтобы расслышать его сквозь шум воды. — Я привел вас сюда, потому что вы мне очень дóроги. Вскоре вы увидите то, над чем глаза ни единого смертного, кроме моих, не исторгали соленую влагу слез...

Когда он произносил эти слова, я впервые с некоторым потрясением осознал, что и впрямь приблизился к созерцанию чего-то беспредельного. Я более не сомневался в том, что его задыхающаяся речь содержала зерно истины; в сущности, я внезапно понял, что Подд говорил правду, и мое сердце забилось быстрее.

— Но как вы примете это зрелище? — продолжал он. — Действительно ли я окажу вам услугу? Вы видите, как это сказалось на мне — мысль о том, что создавшее нас — самая наша сущность — породила такую горечь! Нет, вам нельзя увидеть все, узреть самое худшее: там я остановлюсь. Видите водопад, что падает к нашим ногам? Я могу, погрузив некий камень в определенное место реки, превратить скопище воды и пены в стекловидную массу — две массы стекла — две огромные двояковыпуклые линзы. Я случайно обнаружил это однажды ночью, пять лет назад — в черную ночь моей жизни. Нет, что-то мне нездоровится нынче вечером. Не имеет значения. Спускайтесь прямо по этой стороне скалы — это нетрудно — пока не достигнете пещеры. Войдите в нее; затем заберитесь наверх по выемкам на стене. Вы окажетесь на уступе, край которого находится приблизительно на два фута позади внутреннего окуляра. Через четыре минуты, начиная с данного мгновения, Луна покажется перед вами; и я дам вам пять минут созерцания — не более. Вы увидите ее примерно в трехстах ярдах от себя, и она будет терзать ваш мозг, словно десять триллионов поездов. Но никогда не рассказывайте ни одной живой душе, что вы видели на ней. Ступайте, ступайте! Да, не очень-то хороший выдался вечер...

Он встал с таким болезненным усилием, что я сказал:

— Вы еще не вошли в реку, Подд, и уже дрожите? Почему вы не покажете мне, как разместить камень?

— Нет, — пробормотал он, — вы не должны знать, не

должны! все в порядке, я справлюсь, идите. Поначалу продолжайте двигать глазами, пока не поймаете фокусное расстояние. Там много призматических и сферических искажений, радужных граней, и повсюду вторгается желтая спектральная линия натрия – объектив столь велик и тонок, что, кажется, еле улавливает свет. Не имеет значения, вы сами все прекрасно увидите — в перевернутом виде, конечно. Диоптрические картины, как в телескопе. Ступайте, идите, не теряйте времени зря; я управлюсь с камнем. И вы должны всегда помнить — что я воздал вам — в полной мере — за всю вашу любовь.

Произнося эту речь, он то и дело корчился в приступах удушья, а дикий блеск глаз выдавал сильное беспокойство или лихорадочный жар. Он подталкивал и вел меня к тому месту, где я должен был спуститься. Кивнув на Луну, он заплетающимся языком вымолвил: «Вот она» и отбежал от меня, в то время как я ногами нащупывал путь — слева от водопада, вниз по склону утеса; склон был почти отвесным, но настолько неровным и заросшим кустарником, что спуск оказался легким.

Спустившись футов на шесть, я подтянул подбородок к краю утеса и заметил, что Подд наклонился над кустами у подножья утеса слева от меня, где он, очевидно, прятал свой магический камень; я видел, как он поднял камень и, шатаясь под его тяжестью, направился к реке.

Но затем я подумал, что вряд ли было бы честно следить за ним; когда он очутился в нескольких ярдах от реки, я двинулся вниз — долгий спуск — и, наконец, с передней стороны утеса открылась пещера, красивая и просторная полость с увлажненными водной взвесью водопада стенами.

Я взобрался на уступ, о котором говорил Подд; там, в темноте, я лежал в ожидании, насквозь промокший. Должен признаться, я дрожал и слышал, как мое сердце колотится о ребра; биение его не заглушал даже торжественный гимн пенящегося потока, ниспадавшего передо мной. Некоторое время спустя мне показалось, что сквозь пену я вижу какое-то свечение: быть может, там проплывала Луна.

Но долгожданного превращения пены в линзы так и не произошло.

И наконец я громко вскричал: «Быстрее, Подд!» — хотя и сомневался, что он может услышать.

Во всяком случае, ответа не было. Я продолжал ждать.

Должно быть, прошло минут двадцать, прежде чем я решил спуститься вниз с уступа; после я выбрался из пещеры и полез вверх, на плато, раздраженный и злой; не думаю, правда, что я считал тогда, будто Подд умышленно выставил меня дураком. Я полагал, что он по какой-то причине не сумел разместить камень в нужном месте.

Но добравшись до вершины, я увидел, что бедняга был мертв.

Он лежал на берегу реки; ноги погрузились в воду, камень был зажат в его руках. Вес оказался для Подда чрезмерным: камень был залит кровью из его легких.

Два дня спустя я своими силами похоронил его там же, на речном берегу, в шуме песнопения водопада, рядом с его гигантским телескопом — «глазом мира сего».

И затем, в течение трех месяцев, день за днем, я устремлялся в эту уединенную пустошь, пытаясь верно установить камень в реке и превратить пену водопада в чистую воду. Но у меня ни разу не получилось. Тайна зарыта вместе с единственным человеком, которому было предначертано судьбой — возможно, лишь единожды за долгие века — узнать, какие пути проторены и какие узоры вытканы на орбите иного небесного тела.

ВЫСТРЕЛ В СОЛНЦЕ

Расскажу вам кое-что, что видел своими глазами; можете верить или нет – как хотите.

Пишу я уже старческой рукой, а случилась эта история лет сорок назад, в былые дни рабства, далеко на Юге.

Чарльз К. Браунригг владел в те годы двумя сотнями и сорока пятью ниггерами, не говоря о пятнадцати сотнях акров хлопковых плантаций. И его, позвольте заметить, ненавидели и боялись, как никого другого в южных штатах Америки.

Это был громадный краснолицый человек с твердыми безволосыми складками у рта и козлиной бородкой, который всюду разгуливал с винтовкой на плече. Его обширное поместье с разбросанными тут и там строениями располагалось поблизости от Клифтонвилля (в Южной Каролине), главный дом выходил окнами прямо на плантацию. Винтовка, что он всегда носил с собой, в разное время отобрала жизнь не менее чем у пяти ниггеров — в Клифтонвилле никто в этом даже не сомневался; но благодаря какой-то неведомой силе, присущей Браунриггу, он сумел избежать рук правосудия.

Как-то раз — было это в разгар сезона 59 года — в сарай, откуда Браунригг наблюдал за сбором урожая, вбежал марон со словами:

— Масса, масса, Брамс и Джесс-то как есть сбежали!

Брамс был негритянским парнем лет двадцати, а Джесс мулаткой с фигуркой Венеры, и были они рабом и рабыней Браунригга. Несколько месяцев тому Брамс и Джесс с первого же взгляда полюбили друг друга, а теперь, по обоюдному согласию, скрылись в леса и долы в безумной надежде обрести свободу и счастье.

В то утро панама Браунригга была глубоко надвинута на лоб, и задолго до этого известия на лице его сложилась да

так и застыла гримаса, поскольку он испытывал некоторые денежные трудности; хлопок не уродился два года подряд, так что, едва лишь слова о побеге сорвались с губ марона, Браунригг взмахнул короткой рукоятью, длинный кнут воловьей кожи обвился вокруг ног марона с треском пулемета «Максим» и раб затанцевал на месте от боли.

В этом Браунригге было что-то странное — он вовсе не походил на других рабовладельцев. Например, прямо сейчас, когда он отшвырнул кнут, а раб упал, корчась, в высокую траву, было бы естественно ожидать, что Браунригг куда-то побежит, соберет собак и лошадей и ринется в погоню за беглецами. Но ничего подобного он не сделал.

Вместо этого он запустил руку в жилетный карман, достал три маленьких черных камешка, поместил их на левую ладонь и минуты три внимательно на них глядел. То были колдовские камни обеа.

Вслед за тем Браунригг, широко расставив одетые бриджами кривоватые ноги, поднес к губам палец, смочил слюной каждый из камней и перемешал их в левом кулаке. После он разжал кулак, вернул средний камень в карман и двумя пальцами правой руки резко ткнул в оставшиеся камни. Камни выскочили из его руки в противоположных направлениях; Браунригг эти направления отметил и подобрал с земли камни.

И только тогда он отправился в погоню. Он бросился к дому и поднял тревогу. Через десять минут два отряда преследователей помчались туда, куда указали камни, и меньше чем через час Брамс и Джесс были надежно заперты в подвале. Может, поймали их случайно, или благодаря колдовским камням Браунригга; я этого, понятно, не знаю — просто излагаю факты.

Если кого из смертных и надо было жалеть в тот день, то Брамса и Джесс. Я говорю именно «в тот день» в отличие от всех прочих дней, ибо в тот день в Браунригге кипела злоба целого десятка дьяволов. Сейчас объясню, почему. Возможно, вам известно, что во время уборки хлопка бывают три особых дня (иногда четыре или даже пять, но обычно три); в такие дни очень важно, чтобы солнце светило ярко

и непрерывно, на небе не появлялось ни облачка и не выпадало ни капли дождя. Облака означают потерю денег, дождь — катастрофу: только что собранный сырец в это время нуждается в солнечном жаре, чтобы, как говорится, «дозреть». Так вот, тот день, когда Брамс и Джесс бежали и были пойманы, как раз и был вторым из трех важнейших дней того года, а солнце светило не то что бы хо-рошо, и Браунригг на него сердился.

Вам может показаться, что солнце и в грош не ставило ярость Браунригга, но весь Клифтонвилль имел причины в том сомневаться, и не будет преувеличением сказать, что в салунах, на бирже и в лавках заключались сотни пари — — спорили, будет солнце светить как полагается или нет, а если нет, прикажет ли ему Браунригг это сделать, и подчинится ли светило в таком случае его приказанию.

Суть в том, что в минувшем году, во время сбора хлопка, солнце как-то после обеда зашло за облако, и многие видели, как Браунригг выкинул нечто невероятное. Стоя посреди поля, он поспешно зарядил винтовку, взвел затвор, приготовился к стрельбе, а затем взял в левую руку свои тяжелые серебряные часы; и три ниггера, которые были поблизости, услышали, как он, задрав голову к солнцу, произнес следующие странные слова:

— Даю тебе пять минут!

Прошла минута, вторая, третья, а солнце все еще оставалось за облаком; четыре минуты, а оно все прячется; но вот пять минут истекли и оно показало на голубом небе свое ясное, дышащее жаром лицо.

Клифтонвилль, скажу так, был ничуть не более суеверен, чем любой другой город, и если бы на месте Браунригга оказался любой другой человек, его записали бы в законченные глупцы. Но выходка Браунригга отчего-то никому не показалась глупой. Его считали и вправду дьявольским и ужасным созданием. Было достоверно известно, что он, с зачерненным лицом, принимал участие в ритуалах и полуночных оргиях негритянских последователей обеа где-то в глубинах леса. Весь Клифтонвилль знал об этом. К тому же на крыше дома он выстроил что-то вроде

купола, и по ночам там горел свет, и никто не имел ни малейшего понятия, чем занимался там Браунригг — глядел ли на звезды либо вызывал неизвестно кого или что.

Вот почему, как я уже сказал, в Клифтонвилле в тот день люди сделали немало ставок, и весь город так и бурлил; и когда, около двух часов дня, солнце решительно скрылось за пеленой облаков и, похоже, собралось остаться там надолго, погрузив землю в тень, на всех дорогах и тропинках близ плантации Браунригга по двое, трое, а то и группами в пять-десять человек начали появляться зеваки, которые с невинным видом подбирались все ближе, чтобы поглазеть на зрелище.

В тот час Браунригг находился вместе с беглецами в мерзкой яме — и больше никого в подвале не было. Он связал их вместе многочисленными витками канатов, впивавшихся в кожу, и уложил их на земляной пол с протянутыми руками. У его ног стояли два ведра с кипящей водой, на поверхности которой все еще лопались пузыри, а в руке он держал винтовку.

— Эй вы, юные ниггеры! — только и сказал он.

Тремя струями он вылил на оба тела содержимое одного из ведер, и связанная масса заполнила карцер воплями и принялась кататься по полу в судорожных корчах. Затем он поставил ведро, достал из жилетного кармана один из колдовских камней, плюнул на него, бросил камень во второе ведро и громко произнес:

— Отдаю жизни этих двух молодых ниггеров за хороший урожай. Когда вода остынет, пусть они умрут, Бам, пусть умрут, о Бам.

После этого Браунригг вскинул винтовку к плечу и прицелился. Убивать он вовсе не собирался, ибо какое-то правосудие в делах рабовладения все же существовало, а его и так слишком часто подозревали в убийстве. Однако же он прицелился; стрелял он метко и, хотя в подвале было темно, мог рассмотреть цель. Он выбирал мясистые части тихо стонавших тел.

Он пронзил пулей плечо Брамса; минута, затем — бах! — бедро Джесс; еще минута, и — бабах! — попал непонятно

куда, потому что при третьем выстреле винтовка угостила его такой сильной отдачей в плечо, что он отшатнулся. Удара он не ждал. Он поморщился.

— Что это случилось с доброй старой винтовкой? — пробормотал он.

Он покосился на ведро с камнем, надел ремень винтовки на плечо и поднялся по ступеням. Свет упал на его отвратительное, искаженное яростью лицо.

И первым делом он увидел, что солнце светит совсем не так, как надо.

Он тут же поспешил по тропе на плантацию, оглядел ее мрачным взором и заметил, должно быть, что все дорожки и заросли полны людей из Клифтонвилля. Но он не обратил на них никакого внимания. Повсюду трудились надсмотрщики и ниггеры — везде, да только в тени, ведь солнце скрывалось за облаком.

Каждую минуту Браунригг терял семьдесят пять долларов.

Все взгляды были обращены на Браунригга. Вокруг перешептывались. Ставки росли до небес. Браунригг, казалось, ничего не сознавал.

Внезапно он дернулся. Потянулся левой рукой к жилетному карману.

Это послужило сигналом для толпы; по тропинкам или напрямик через поля, все они приблизились, держась, однако, на почтительном расстоянии.

Рядом с Браунриггом имелся камень. Он положил на него свои часы вместе с кожаным ремешком, которым они крепились к жилетке. Часы Браунригг разместил циферблатом вверх, прямо перед глазами, вскинул к плечу винтовку и с дьявольской злобой на лице прицелился в солнце.

Проделывая все это, он произнес такие слова:

— Три минуты — даю тебе три.

Его слова услышал один из зрителей, оказавшийся в тот миг близко от Браунригга. И зритель, прижав мизинец большим пальцем, высоко поднял за спиной Браунригга три пальца, показывая толпе, как обстоят дела.

Мгновенно сотни рук выхватили из карманов сотни часов и положили их на сотни ладоней. Прошла минута. Теперь не раздавалось ни звука, лишь ветер шелестел в листьях хлопка; каждый чувствовал глухое биение сердца в груди.

Миновала вторая минута. Солнце, как и раньше, прячется за облаками, Браунригг твердо держит его на мушке. Каждые пять-шесть секунд он бросает взгляд на часы. В толпе зрителей едва ли найдешь лицо, не залитое мертвенной бледностью волнения.

Внезапно толпа начинает шевелиться — все вне себя от удивления! Солнце в полном порядке — вон там, наверху, какие-то перемены, движение — облака расходятся, как толпа пред Королем! А вот выступает и он — в победоносном сиянии — и мир плавится в его жаре.

Крик огласил поля и тропинки. Браунригг, как заметили некоторые, кивнул головой, словно говоря: «Что ж, тем лучше для тебя!» До исхода отведенных им трех минут оставалось пятнадцать секунд.

Следующие пять минут толпа взволнованно переговаривалась. Выплачивались выигрыши по ставкам, слышались отрывистые замечания, вдалеке кое-кто уже поворачивал к Клифтонвиллю. Вполне можно было ожидать, что в салунах в тот день будет весело, так как из рук в руки перешли довольно значительные суммы.

Браунригг вернул часы в карман. Он о чем-то говорил с подошедшим надсмотрщиком. Не прерывая разговора, он взмахнул рукой, и его длинный кнут воловьей кожи хлестнул по голым ногам негра, который очутился слишком близко.

Тотчас возвращавшиеся уже в город зеваки остановились и, громко крича, бегом бросились назад. С необычайной внезапностью солнце скрылось в облаке, и мир окутала тень.

Напряженность ожидания достигла предела. Новый поворот событий вдесятеро увеличил аппетиты любителей пари; но, сказать по правде, никто не успел сделать и ставки, поскольку Браунригг не оставил зрителям времени. В

ужасающем гневе он вытащил из кармана часы, швырнул их на камень, схватил винтовку и вздернул дуло в небо.

Прилежный наблюдатель, по-прежнему остававшийся рядом, прижал большим пальцем мизинец и безымянный и высоко поднял два пальца за спиной Браунригга, показывая их толпе. Браунригг успел уже сказать:

— Две минуты — даю тебе две.

И вновь сотни часов легли на сотни ладоней. Минута пролетела в молчании.

Должно быть, именно в это время, как утверждали впоследствии горожане, израненный негр Брамс пополз вперед по земляному полу темницы, волоча за собой подругу по несчастью. Он слышал произнесенное Браунриггом проклятие, видел, как колдовской камень упал в кипящую воду. Одним толчком он перевернул ведро и сжал камень в руке. Так он рассказывал позднее.

Какая бы доля истины ни содержалась в словах чернокожего, факт остается фактом: Браунригг стоял, целясь из винтовки в солнце, прошла минута, и солнце продолжало прятаться.

На сей раз — упрямо. Полторы минуты; никто не осмеливался даже вздохнуть; благоговейный страх сжал сердца; в замершем воздухе ощущалось нечто торжественное. Ветер стих, словно и он, затаив дыхание, следил за этим святотатством.

Затем — наконец — с дрожью ужаса все поняли, что две минуты истекли. Солнце продолжало оставаться лишь размытым пятном в вышине.

Бах! Браунригг выстрелил.

Он растворился. Он испарился. Никто не мог такого ожидать. Сказать, что винтовка выстрелила и отправила его прямиком в вечность — значит мягко выразиться: он *исчез*. Винтовка, Браунригг и часы были стерты с лица земли. Люди из Клифтонвилля говорили, что от него не осталось и следа — что его без остатка поглотил гнев небес. Это преувеличение — но умеренное. Кое-какие следы были все-таки найдены — однако *на удивление* малочисленные. Я просто излагаю факты.

НЕВЕСТА

Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком! — Иов.

Они встретились у «Круппа и Мейсона», производителей музыкальных инструментов из Маленькой Британии; Уолтер проработал там два года, а затем появилась Энни, чтобы печатать на машинке и быть полезной.

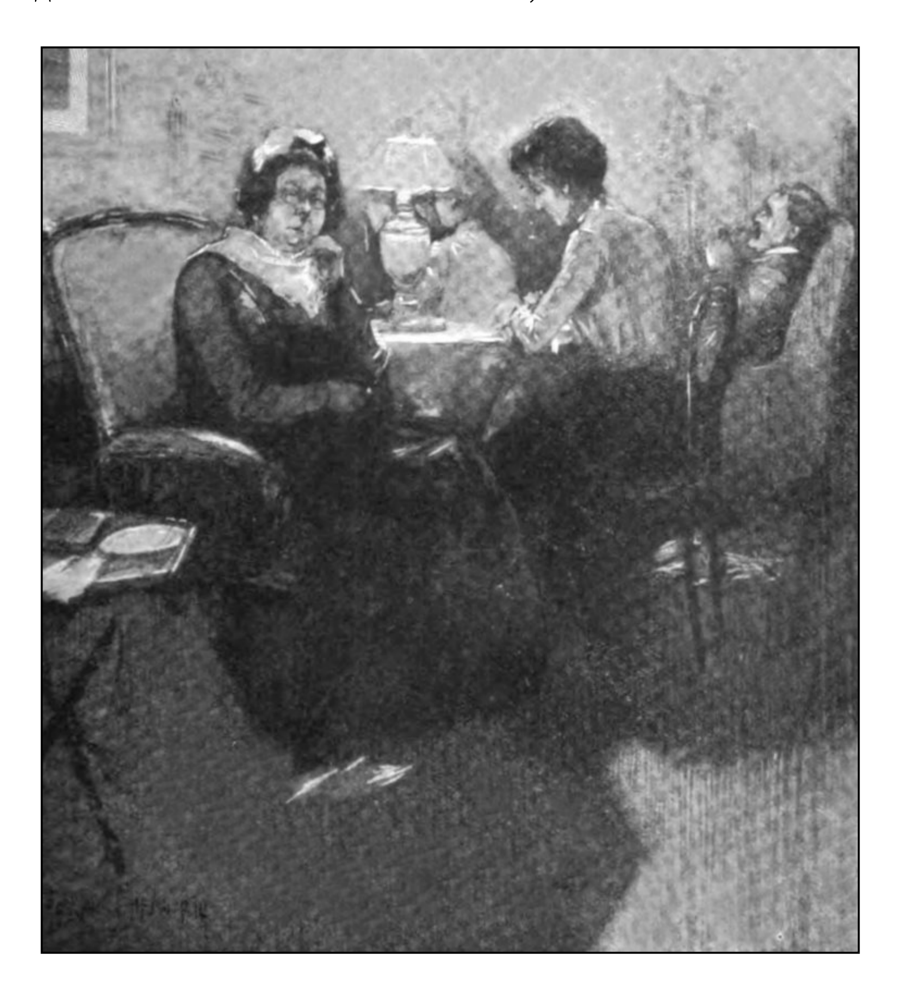
Они начали «гулять» вместе после шести; и когда съехал постоялец миссис Эванс, матери Энни, последняя упомянула об этом, и Уолтер поселился у них, на Калфорд-роуд 13, N. К тому времени Энни и Уолтер, можно сказать, были почти помолвлены. Однако его жалованье составляло всего тридцать шиллингов в неделю.

Он был настоящим кокни, этот Уолтер: хорошо сложенный человек лет тридцати, с сильными плечами, с квадратным лбом, усами и черными пятнами угрей на носу и бледных щеках.

В вечер своего прибытия в номер 13 он впервые увидел Рейчел, младшую сестру Энни. Обеих девушек, на самом деле, звали «Рейчел» — в честь оплакиваемой матери миссис Эванс; но Энни Рейчел в доме называли «Энни», а Мэри Рейчел называли «Рейчел». Рейчел, взявшись за веревку, помогла Уолтеру дотащить коробку с вещами в верхнюю заднюю комнату, и здесь, при свете лампы, он увидел перед собой высокую девушку с почти черными волосами и россыпью веснушек на очень белом, тонком носике, на кончике которого часто выступали капельки пота. У нее было худое лицо, и ее верхние зубы выдавались вперед, так что губы сжимались с трудом; она была не такой хорошенькой, как малышка Энни, вся кровь с молоком, но с первого взгляда можно было догадаться, что Рейчел требовала к себе больше уважения.

— Что ты о нем думаешь? — спросила Энни, встреченная Рейчел по пути вниз.

— Он, кажется, хороший парень, — сказала Рейчел, — довольно симпатичный. И сильный, это точно.



Уолтер провел этот вечер с ними в гостиной, посасывая закопченную короткую трубочку, которая при этом хлюпала и булькала; и миссис Эванс, смуглая пожилая дама без талии, сплошные вздохи и одышка, решила, что он «чело-

век воспитанный и порядочный». Когда пришло время ложиться спать, Уолтер предложил возглавить общую молитву; и они на это согласились, так как Энни предупредила мать и сестру, что Уолтер «христианин». Когда же он направился в свою комнату, преданная девушка нашла предлог, чтобы выскользнуть за ним, и в коридоре первого этажа раздался звук быстрого поцелуя.

— Только один, — сказала Энни, подняв палец..

— А как же его младший братец? — усмехнулся он. Таким смешком сопровождались все его шутки: эдакий гортанный смешок, который спускался или застревал в горле вместо того, чтобы подняться к губам.

— Оставь при себе, — игриво сказала она, погладила его по щеке и побежала вниз.

В ту ночь Уолтер впервые спал в доме миссис Эванс.

В целом он вскоре стал проводить много времени в обществе женщин: театры казался ему отвратительными, и по вечерам он оставался в полутемной гостиной, разделяя семейный ужин из хлеба с сыром и выслушивая вздохи миссис Эванс по поводу ее утраченного положения в мире. Рейчел, вечно молчаливая, шила; Энни, чьи отношения с Уолтером еще оставались в секрете, пусть о них и догадывались, умела играть гимны на стареньком пианино — и играла. В конце вечера Уолтер откладывал свою неизменную мокрую трубку, возглавлял молитву и шел спать. По утрам они с Энни чаще всего вместе отправлялись в Маленькую Британию.

Наступил день, когда он признался Энни в намерении попросить управляющего немного «открутить вентиль», и когда Его Ужасное Величество и вправду пообещало это сделать, радость была на небесах, и радуги озарили будущее, и пошли у них тайные разговоры о кольцах, о свадьбе, о «Доме». Энни почувствовала себя в непосредственной близости от царства Брака и возрадовалась. Но в 13-м номере ничего еще не было сказано вслух: с учетом былого величия миссис Эванс тридцать шиллингов в неделю достатком не считались.

В следующее воскресенье, вскоре после обеда, произошло кое-что странное: Рейчел, молчаливая Рейчел, исчезла. Миссис Эванс звала ее, звала и Энни, но оказалось, что Рейчел в доме нет, хотя уборка со стола после обеда, ее обычная обязанность, была брошена на середине.

Рейчел вернулась только к чаю. Она была холодна, несколько угрюма и немного бледна; ее губы плотно сомкнулись на выступающих зубах. Когда Рейчел несмело допросили — ибо все очень боялись вспышки ее негодования — она ответила, что всего лишь навещала Алис Солусби в нескольких кварталах от дома, решив поболтать с подругой. И это была правда.

Однако это была не вся правда; она также заглянула в «Воскресную школу Черч-лейн», и этот факт она виновато скрыла. В течение получаса она мрачно сидела в заднем углу комнаты, слушая «обращение». С обращением выступал Уолтер. Каждое воскресенье, после обеда, он откладывал в сторону свою любимую трубку и отправлялся в эту школу. Собственно говоря, он был ее «руководителем».

После этого тон и характер маленького домашнего сообщества резко изменились, и в сквозь его заурядность начал проступать истинный оттенок ада. Прежде всего, возник вопрос, могло ли случиться, что Рейчел «обратилась к религии», чего ее мать и Энни никак от нее не ожидали. Рейчел обладала сильным и жестким характером и всегда презирала святош и проповедников. Но теперь по воскресным вечерам она стала выходить одна, холодно объясняя, что идет в «молельню». В *какую* именно молельню, она не уточняла; на самом деле, это был Ньютон-стрит-холл, где Уолтер часто увещевал прихожан и «вел молитвы». В классной комнате Черч-лейн вечером по четвергам проводилось молитвенное собрание; и дважды за один месяц Рейчел вышла в четверг вечером — вскоре после Уолтера. Тайную болезнь, чьей добычей сделалась бедная девушка, теперь едва ли можно было скрыть. Вначале она страдала от горького и одинокого стыда; рыдала в сотнях пароксизмов; надеялась утаить свою немощь. Но ее рана была слишком глубока. В долгие субботние летние вечера Уолтер проповедовал

на уличных углах, и Рейчел, иногда скрытно, иногда открыто, посещала эти собрания, смиренно распевая вместе с другими небожественные гимны современного евангелиста. В другие вечера, когда он сидел в гостиной, она тихо шила и почти все время молчала. Когда в семь вечера она слышала, как в замке входной двери поворачивался ключ Уолтера, ее сердце летело к нему; когда он по утрам уходил на работу, ее мир обращался в пепел.

— Прямо удивительно, что в последнее время происходит с нашей Рейчел, — сказала Энни в поезде по дороге домой. — Ты ей, похоже, всю душу перевернул.

Он хихикнул, мокро втянув слюну с корня языка и моляров.

— Ну, не преувеличивай! — сказал он. — С *ней* все в порядке.

— Я знаю ее лучше, чем ты, понимаешь. Она сильно изменилась — с тех пор, как ты у нас поселился. Похоже, она немного грустит или что-то такое.

— Бедняжка! Ей не хватает заботы, не так ли?

Энни тоже засмеялась: но менее жестоко, с большим беспокойством.

— Она не должна грустить, если вручает свое сердце Господу! Люди, кажется, думают, что христианин должен быть таким и сяким. Христианин, если на то пошло, должен быть самым развеселым парнем!

Это было в четверг, перед вечерним молитвенным собранием на Черч-лейн, и Уолтер еле успел заскочить домой, умыться, схватить свою Библию и уйти. Рейчел, со своей стороны, видимо, теперь действительно сильно страдала любовным помешательством, иначе она бы поняла, что пойти за ним в тот вечер, в третий раз подряд, означало навлечь на себя лишние вопросы. Но это соображение даже не пришло ей в голову: Рейчел была полностью ослеплена и очарована личностью Уолтера. В течение дня, прибираясь в доме, она с нетерпением ждала именно этого момента, и в ту же секунду, когда дверь захлопнулась за ним, она оказалась у зеркала, побледнев и одеваясь в напряженной и трепетной суматохе; и, наводя последние штрихи, она взгля-

нула с горькой ненавистью на выступающую над зубами губу.

В тот вечер она впервые дождалась в молельне конца службы и медленно пошла домой, зная, что Уолтер будет возвращаться той же дорогой; и вот он догнал ее, держа в руке Библию в марокене, в которой почти каждая строка была подчеркнута красными и черными чернилами.

— Как, это вы? — сказал он, взяв в свою ее холодную от пота руку.

— Да, это я, — ответила она жестким церемонным тоном.

— Вы хотите сказать, что были на встрече?

— Да.

— Как, где были мои глаза? *Я* вас не заметил.

— Маловероятно, что вы хотели меня заметить, мистер Теегер.

— О, прекратите! За кого вы меня принимаете? Я только рад! И я вот что скажу вам, мисс Рейчел, я скажу вам то, что Господь Иисус сказал одному молодому человеку: «Недалеко ты от Царствия Божия».

Она *уже* была там! —- рядом с ним, наедине, на темной площади, но все же страдающая, сгорающая в пламени такой неукротимой страсти, что поглощает, возможно, только самые сильные натуры.

Она оперлась на его руку, которую он так и не подумал предложить — и, когда он направил свои шаги прямо к дому, сказала, вся дрожа:

— Я пока не хочу идти домой. Мне хотелось бы немного прогуляться. Вы не возражаете, мистер Теегер?

— Возражаю? Нет. Что ж, пойдемте.

И она стали гулять по путанице улиц и площадей; он говорил о «Служении» и повседневных вещах. Через полчаса она говорила:

— Мне часто хочется быть мужчиной. Мужчина может говорить и делать то, что ему нравится; но с девушкой все по-другому. Вот вы, мистер Теегер, всегда тут и там, люди вас слушают и тому подобное. Мне часто хочется быть всего лишь мужчиной.

— Ну, знаете, все зависит от того, как вы на это смотрите», — сказал он. — И послушайте-ка, вы можете называть меня Уолтером, так будет проще.

— О, я не стала бы этого делать, — отозвалась она. — До тех пор, пока...

Ее рука дрожала на его руке.

— Ну, говорите же. В чем дело?

— До тех пор, пока мы не узнаем что-то более определенное о вас — и Энни.

Он издал влажный смешок. Теперь она быстро вела его вокруг площади, все вокруг и вокруг.

— Ох уж вы, девушки! — воскликнул он. — Небось, сплетничали, как и все девушки? От вас очень сложно что-нибудь скрыть, правда?

— Но в этом случае особо нечего скрывать, насколько я понимаю, — так ведь?

Уолтер рассмеялся, и смешок, как всегда, застрял у него в горле.

— О, бросьте — это было бы слишком откровенно, не так ли?

После минутного молчания Рейчел произнесла предательскую фразу:

— Энни никого не любит, мистер Теегер.

— О, оставьте — довольно громко сказано, о ком бы ни шла речь. С ней все в порядке.

— Нет, *не в порядке*. Конечно, большинство девушек глупенькие и тому подобное, и им нравится выходить замуж...

— Ну, это только естественно, не так ли?

Это была шутка; и снова смех скатился вниз и застрял в его горле, как комок мокроты.

— Да, но они не понимают, что такое любовь, — сказала Рейчел. — У них нет никакого представления. Им нравится быть замужними женщинами, иметь мужа и тому подобное. Но они не знают, что такое любовь, — поверьте мне! Мужчины тоже не знают.

Как она дрожала! — ее тело, ее умирающий голос — она тяжело опиралась на его руку, и луна, с торжеством выгля-

нувшая теперь из-за облаков, на миг ярко осветила безумие ее призрачного лица.

— Ну, я не знаю, — мне кажется, мисс, *я* понимаю, что это, — сказал он.

— Не понимаете, мистер Теегер!

— И что же тогда?

— Потому что, когда это овладевает вами, оно заставляет вас…

— Ну хорошо, выкладывайте. Кажется, вы все об этом знаете.

И Рейчел начала рассказывать ему об «этом» — с бешеными определениями и доселе неведомой ей самой силой выражения. *Это* было безумие, и имя ему было Легион, это была одержимость фуриями; это был спазм в горле, трепет рук и ног, и жажда зрачков, и огнь в костях; это была каталепсия, транс, апокалипсис; это было высоким, как галактика, и низменным, как сточная канава; это был Везувий, северное сияние, закат; это была радуга в выгребной яме, святой Иоанн и Гелиогабал, Беатриче и Мессалина; это было преображение, и проказа, и метемпсихоз, и невроз; это был танец менад, укус тарантула и солнечное крещение. Она изливала дикие определения в простых словах, но с отчаянием человека, сражающегося за свою жизнь. И она не произнесла и половины, когда он понял все до конца; и как только он понял, он был покорен и погиб.

— Вы же не хотите сказать… — он запнулся.

— Ах, мистер Теегер, —- ответила она, —- нет слепых хуже невидящих.

Его рука обвилась вокруг ее дрожащего тела.

Говорят, что у каждого свой недостаток; и этот человек, Уолтер, ни в коем случае не человек с крепким умом, в делах любви безусловно склонялся к импульсивности, распущенности и слабости. И эта тенденция только усиливалась благодаря вполне искренней направленности его ума к «духовным предметам», ибо под влиянием внезапного искушения его существо с еще большей пылкостью возвращалось в свое природное русло. В целом, не будь он пуританином, он был бы Дон Жуаном.



Рейчел мигом повисла у него на шее, и он стал страстно ее целовать.

После этого она сказала ему:

— Но ты делаешь это только из жалости, Уолтер. Скажи правду, ты влюблен в Энни?

Он, как Петр, сразу отрекся.

— Это *ты* так говоришь!

— Нет, влюблен, — настаивала она, наполненная блаженством его отречения.

— Ха! Нет. И никогда не был. *Ты* та самая девушка, что

мне нужна.

Вернувшись, они вошли в дом порознь: он первым, она же еще двадцать минут ждала на улице.

Дом был маленьким, и поэтому сестры спали вместе в комнате на втором этаже; Уолтер в задней комнате на втором этаже; миссис Эванс в задней комнате на первом этаже, а передняя комната первого этажа служила «гостиной».

Девушки обычно ложились спать одновременно, и в тот вечер, когда они раздевались, произошла ссора.

Сперва — долгое молчание. Затем Рейчел, чтобы что-то сказать, указала на новые перчатки Энни и спросила:

— Много дала за них?

— Деньги и благодарность, — ответила Энни.

С этого началось.

— Ну, нет необходимости грубить, — сказала Рейчел. Она была счастлива, она была в раю и презирала Энни в тот вечер.

— А все-таки, — сказала Энни, помолчав минут десять перед зеркалом, — а *все-таки*, я никогда не бегала бы так за мужчиной. Я лучше умру.

— Ума не приложу, о чем ты говоришь, — промолвила Рейчел.

— Не притворяйся. Мне было бы *стыдно* за себя, будь я на твоем месте.

— Что ты болтаешь? Маленькая дура.

— Это *ты* дура. Вешаться на человека, который и знать тебя не желает. Как еще ты можешь назвать себя?

Рейчел рассмеялась — счастливо, но угрожающе.

— Не беспокойся, девочка моя, — сказала она.

— Только подумать, каждый вечер выходить на улицу, чтобы попасться мужчине на глаза! Так знай, девочка моя, это отвратительно!

— Правда?

— Ты же не станешь отрицать, что была сегодня вечером с мистером Теегером?

— Нет, не была.

— Врешь! Любой поймет по твоему радостному лицу.

— Ну, предположим, что была, и что из этого?

— А то, что женщина, я считаю, должна быть приличной; женщина должна уметь управлять своими чувствами, а не выставлять себя напоказ. Поверь, мне противно думать об этом!

— Вот и не думай, и не ревнуй, моя милая.

Нежная Энни вспыхнула!

— Ревновать? К *тебе*?!

— Знаешь, для этого нет никакой причины — *пока что*.

— Я не ревную! И причины никогда не будет! Ты считаешь мистера Теегера сумасшедшим? На твоем месте я бы сперва вставила несколько фальшивых зубов!

Так Энни пала в бездну вульгарности; но она знала, что лишь этим способом сможет добраться до Энни, ткнуть, как раскаленным прутом, в нервный узел ее страданий; и в самом деле, при этих словах лицо Рейчел стало напоминать добела раскаленное железо, и она вскричала:

— Оставь мои зубы! Мужчина смотрит не на зубы! Мужчина смотрит на хорошо сложенную женщину, а не на пухленькую коротышку!

— Спасибо. Ты очень добра, — ответила Энни, испуганная яростью похлеще своей собственной. — Но все же, Рейчел, глупо говорить, что я ревную к *тебе*. Я знала мистера Теегера за шесть месяцев до тебя. И тебе недолго осталось его знать, потому что я не хочу, чтобы здесь позорили мать, и это для него неподходящее место. Я легко могу уговорить его съехать как можно...

Услышав это, Рейчел взвилась и грозно подняла руку, готовая влепить Энни пощечину.

— Только *посмей* заставить его съехать! Я разорву твою маленькую...

Энни заморгала глазами, вздрогнула, всхлипнула: в ней больше не осталось боевого духа.

Так продолжалось две недели. Однако после того вечера враждебность между сестрами настолько усилилась, что Энни перебралась в заднюю комнату первого этажа и спала теперь с миссис Эванс, терявшейся в догадках. Что же до Уолтера, то сердце его было расколото. Он любил Энни; он был очарован и загипнотизирован Рейчел. В другое вре-

мя и в другой стране он женился бы на обеих. Каждый день он приходил к другому решению, не зная, как поступить. Одно было очевидно — без обручального кольца не обойтись, и он купил кольцо, не зная сам, которой из девушек собирается его вручить.

— Послушай, девочка, — сказал он Энни в поезде по дороге домой, — пора с этим кончать. Управляющий, похоже, не торопится откручивать вентиль, так что давай мы просто поженимся, и дело с концом.

— Втайне?

— Ну да. Твоя мама и сестра не должны знать, хотя бы еще какое-то время.

— И ты будешь продолжать жить у нас?

— Ну конечно, пока суть да дело.

Она заглянула ему в лицо и улыбнулась. Все было решено. Но два дня спустя, возвращаясь домой с молитвенного собрания, он встретил Рейчел; поначалу он вел себя искренне и отстраненно; но затем совершил невероятную глупость, поддавшись слабости и отправившись с ней на прогулку по улицам; кончилось тем, что Уолтер получил от нее так же легко дарованное согласие выйти за него — и на тех же условиях, что и в случае Энни.

Когда Уолтер на следующий день вошел в обеденный час в контору регистратора, чтобы подать уведомление о браке, он по-прежнему пребывал в состоянии мучительной нерешительности относительно имени, которое намеревался связать с собственным.

Когда чиновник попросил назвать имя «другой стороны», Уолтер помедлил, переступил с ноги на ногу и ответил:

— Рейчел Эванс.

Только на улице он вспомнил, что «Рейчел» было именем обеих девушек; таким образом, свобода выбора все еще оставалась за ним.

По закону, между «уведомлением» и бракосочетанием должно пройти не менее двадцати одного дня, и Уолтер, хотя и проявил слабохарактерность, сообщив сестрам о своем шаге, был достаточно осторожен, чтобы держать их в неве-

дении относительно точной даты. Между тем, некогда чистая совесть причиняла ему немалые муки, он чувствовал, что барахтается в сетях, боялся говорить с Богом и плыл, точно щепка, по реке случайностей.

И только случайность в конце концов прибила его к берегу. За пять дней до свадьбы наступил неприсутственный день, и он договорился с Рейчел, что они пойдут в этот день в Гайд-парк; она должна была ждать его в два на условленном месте. В два часа дня Рейчел ждала Уолтера на углу, поигрывая своим зонтиком, прохаживаясь туда и сюда и возвращаясь на прежнее место. Но Уолтер не появлялся, и она не могла понять, что произошло. Может быть, они не поняли друг друга или он не заметил ее? Это было невероятно, но больше ей ничего не приходило в голову. В любом случае, в Гайд-парк она отправилась одна, чувствуя себя покинутой, скучая в одиночестве и питая смутную надежду встретить Уолтера там.

Случилось же следующее: Уолтер был на полпути к месту свидания с Рейчел, когда его встретила на улице Энни; та собиралась провести день с замужней подругой в Страуд-Грин, но вернулась, поскольку муж подруги заболел. При виде Уолтера ее лицо осветила улыбка.

— Гарри заболел гриппом, — сказала она, — поэтому я не смогла остаться и развлечь бедную Этель. Куда ты идешь?

Впервые за двенадцать лет, прошедших со дня его «обращения», Уолтер, сильно покраснев, сознательно солгал.

— Просто иду в школу, — сказал он, — посмотреть, как там дела.

— Ну, я открыта для предложений, если какой-нибудь добрый друг будет так добр, — ласково сказала она.

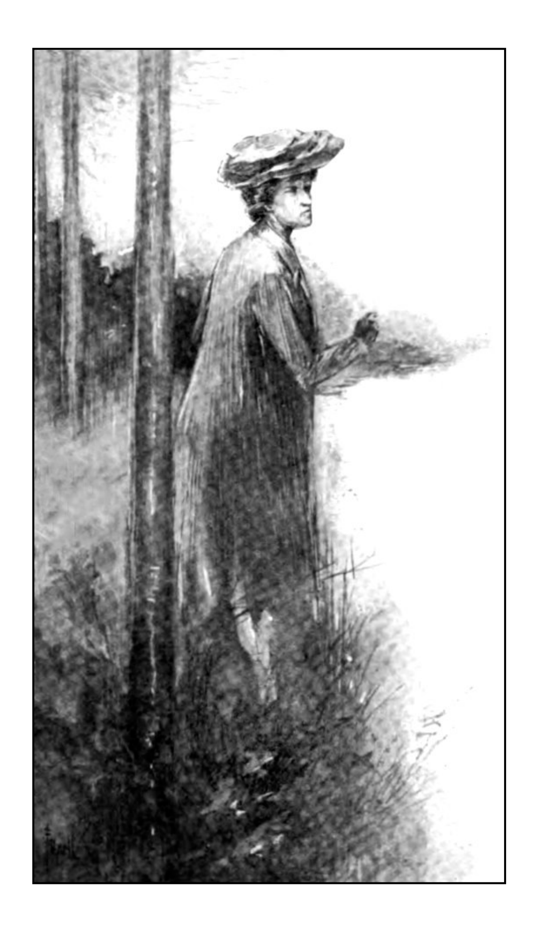
В то утро Уолтер поклялся себе, что женится на Рейчел, и этому обету он поклялся теперь следовать. Тем более была причина в последний раз «погулять» с Энни.

— Тогда давай, старушка, — весело произнес он. — Куда мы пойдем?

— Давай пойдем в Гайд-парк, — сказала Энни. И они пошли в Гайд-парк, причем Уолтер то и дело ощущал укоры совести при горьком воспоминании о напрасно ожидав-

шей его Рейчел.

В пять часов они шли по северному берегу Серпентина на запад, по направлению к двухарочному мосту, третья узкая арка которого перекинута над берегом; под этой узкой



аркой они собирались укрыться, так как начало моросить, и в этот момент Рейчел, наделенная очень острым зрением, заметила их с южного берега. Она сразу же пришла в бешенство. Энни должна была находиться у подруги в Страуд-Грин! *Какое предательство!* Так вот почему... Она, задыхаясь, побежала по берегу к мосту, затем по мосту на север,

и тут услышала — те двое стояли под аркой и обсуждали... свадьбу. К несчастью, выступавший блок каменной кладки мешал Рейчел наклониться прямо над аркой. Тогда она отбежала в сторону и наклонилась над парапетом, свесившись наружу и вбок, ближе к арке, напрягая шею, тело, слух — и любой, кто посмотрел бы в ту минуту в ее расширенные глаза, тотчас бы понял смысл учения о Варварской Душе. Но она была в невыгодном положении, слышала только негромкие голоса и — что это было, поцелуй? Она перегибалась все сильнее, наклонялась все дальше. И вдруг она с криком упала в воду, там, где у берега было совсем неглубоко. В падении Рейчел ударилась головой о покрытый грязью камень.

В течение трех дней она не переставала выкрикивала имя Уолтера, называя его только своим и оглашая криком всю улицу. На третью ночь, в разгар страшных воплей, она внезапно умерла.

— О, Рейчел, не говори, что ты мертва! — воскликнула Энни, склонившись над ней.

Смерть наступила за два дня до дня свадьбы, и на следующий день Уолтер, заметно потрясенный происшедшим, сказал Энни:

— Это, конечно, удар по нашему маленькому плану.

Энни молчала. Затем, надув губы, она сказала:

— Я не понимаю, почему. В конце концов, это целиком ее вина. Почему же *мы* должны страдать?

Вражда между сестрами стала жестокой, как смерть, и пережила смерть: когда дело касалось Рейчел и Уолтера, Энни превращалась из нежной девушки в мраморную статую, не знавшую уважения или жалости.

И вот, несмотря на трепет и нерешительность Уолтера, брак состоялся в то самое время, когда тело Рейчел лежало на кровати на втором этаже № 13.

Церемония, однако, не обошлась без заминки и дурной приметы. Прежде всего, Уолтеру необходимо было предупредить Энни о том, что в уведомлении ее имя было записано с его слов как «Рейчел»; это дикое объяснение чуть не привело к разрыву, и только пылкие мольбы Уолтера помог-

ли его избежать. Как бы то ни было, в конечном счете он женился на «Рейчел», а не на «Энни».

После церемонии, проведенной в обеденное время, они вместе вернулись на работу в Малую Британию.

В десять часов того же вечера, когда Уолтер отправился спать, Энни выскочила за ним, и в коридоре они тайком и надолго слились в поцелуе —- их последнем поцелуе на земле.

— В двенадцать? — волнуясь, прошептал он.

Она подняла указательный палец.

— В час!

— О, скажи — в двенадцать!

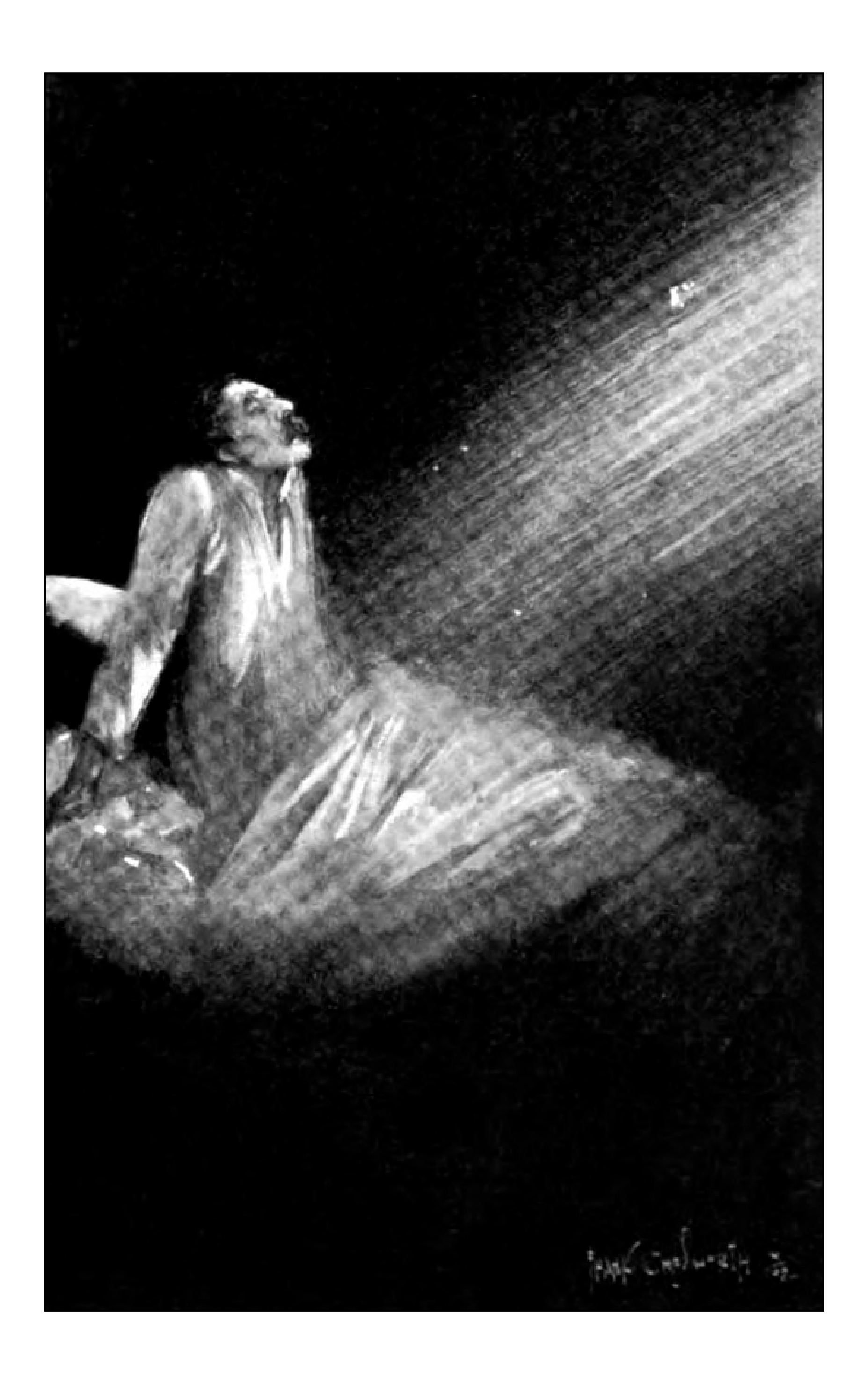
Энни не ответила, но игриво провела ладонью по его щеке, что означало согласие, ибо миссис Эванс спала обычно беспробудным сном. Он пошел наверх. Предусмотрительно оставив свою дверь немного приоткрытой, он погасил свечу и лег в постель. В соседней комнате, белея в темноте — с усталыми, навечно смеженными веками и дремлющим лицом — лежала покойница.

Уолтер не мог не думать об этом соседстве. «Бедняжка! — вздохнул он. — Бедная Рейчел! Ну, что поделаешь. В конце концов, пути Его как море, и тропы его в Великих Глубинах, и шаги Его неисповедимы». Затем он подумал об Энни — своей маленькой женушке! Но вместо Энни перед ним возник образ Рейчел. Две женщины яростно сражались в его мыслях — и мертвая одолевала живую... Вместо Энни была Рейчел — и снова Рейчел.

Наконец он услышал двенадцатый удар с башни и сел на кровати, с нетерпением ожидая, когда откроется дверь или зазвучат шаги по полу.

В комнате тикали маленькие американские часы, и в каминном дымоходе раздавались шорохи и едва слышное пение ветра.

Внезапно она оказалась рядом с ним, заполнив собой всю комнату — из ниоткуда. Он не слышал ни шагов, ни скрипа двери: и тем не менее, она без сомнения оказалась *теперь* с ним, внезапно, близко, над ним, говоря с ним, задыхаясь.



Его первым ощущением было содрогание; дрожь, как прикосновение русского мороза, сотрясла его тело с ног до головы. Она держала его за плечи; затем растянулась на кровати над ним; и комната казалась полной шорохов и шелеста, очень странного — словно бурный ветер развевал накрахмаленный муслин. И она говорила с ним с *бездыханной быстротой*, стеная тайной тарабарщиной, скулящей, как щенок в ожидании ласки — о любви и ее определениях, и о душе, и о червях, и о Вечности, и о страсти в смерти, и о венчании в могиле, и о вожделении в великой пустоте. И он тоже заговорил, шепча сквозь стучащие зубы: «Ш-ш-ш, Рейчел — я хотел сказать, Энни — тише, моя девочка, твоя мама услышит! Рейчел, не надо — ш-ш-ш!» Продолжая шептать свое «ш-ш-ш, моя милая — ш-ш-ш!», он ощущал вторжение странной ярости такой силы, как будто в него вливалась энергия какой-то колоссальной всемогущей сущности. ства. Он едва различал фигуру над собой, в комнате было темно, но чувствовал, как одежда стекала с ее шеи в непрерывном трепетании, с шелестом тысяч накрахмаленных саванов, подобным шуршанию флага на ветру; и трепещущие покровы то раздувались, заполняя комнату, то вновь уменьшались до размеров женского тела. И эта рапсодия любви и смерти все продолжалась под шепот Уолтера: «Ш-ш-ш, Рейчел — я хотел сказать, Энни», продолжалась до тех пор, пока он не ощутил объятие *столь* ужасное, натиск мощи столь невыносимой, что душа обмерла внутри него. Он откинулся назад; мысль пролетела и канула во тьме под чары этой колыбельной; он пробормотал: «Прими дух мой...»

Через два дня Уолтер, не приходя в сознание, скончался. Его изуродованное тело опустили в могилу неподалеку от могилы Рейчел.

МНОГИЕ СЛЕЗЫ

Господь исчисляет женские слезы. — Талмуд

Впервые я услышал имя Маргарет Хиггс в один мрачный день, когда бродил по угодьям Тайденхем-Чейз; Северн вился по затянутой туманом долине далеко внизу и справа от меня. Мой спутник, пожилой священник, указал на груду тряпок и седых волос — это была женщина, сидевшая в одиночестве на камне — и сказал мне:

— Запомните эту женщину; замечательное создание, могу вас заверить; на протяжении шестнадцати лет пребывала она в самых глубинах человеческого горя; и если когда-либо, говорю вам, рука Всевышнего обнажала себя, дабы открыто вторгнуться в дела людские, то случилось это с Маргарет Хиггс. Вон там, подобная сосне, пораженной гневом молнии, сидит она теперь, как живое свидетельство той Силы, что правит миром.

Священник говорил с немалой торжественностью, хотя я должен заметить, что изложенные им далее подробности совершенно не убедили меня во вмешательстве «руки Всевышнего»; надеюсь, что ныне и он питает более благородные мысли в отношении Маргарет Хиггс.

— Я помню ее с той поры, когда она ничуть не походила на существо, которое вы видите там, — сказал он. — Она была стройной девушкой с легкой походкой, нежной речью и нежным взором, с темно-синими глазами и черными волосами — веселая сплетница и «охотница за новостями», как здесь выражаются и, по слухам, любительница «пошататься» с молодыми людьми, но с молитвенником в руке по воскресеньям; одна из приземленных душ этих краев, не ведавшая мира за пределами Северна, исключая разве что Глочестер, поскольку мировые судьи у нас обычно говорят озор-

никам: «Отдохните-ка месяцок в Глочестере». Она происходила из добропорядочной, не слишком богатой фермерской семьи; родители ее умерли практически одновременно, и Маргарет решилась на неравный брак, выйдя за простого каменотеса из соседнего Уайбэнкса, коренастого, довольно молчаливого и нервного вдовца по имени Хиггс, который был лет на пятнадцать старше ее. У Хиггса был сын лет двенадцати или около того; звали его Фред и, мне кажется, я слышал, что в детстве Маргарет нянчила этого мальчика и что именно любовь к Фреду заставила наследницу фермы избрать в мужья вдовца.

В течение нескольких лет Маргарет и Хиггс прекрасно ладили. Я видел, как по выходным они выезжали в Сент-Брайд на рынок, часто навещал их, и они казались счастливой четой. Но однажды летом у них поселился какой-то чужак; говорят, он был моряком, но, так как дом их стоял в отдалении, а незнакомец и носа с фермы не высовывал, о нем мало что было известно. Однако, два или три крестьянина из Воластона, что ниже по склону — а жители Воластона славятся как самые ярые «охотники за новостями» в наших местах — рассказывали, будто тот чужак был красивым парнем и Маргарет отдала ему свое сердце; эта история подтвердилась спустя некоторое время, когда Хиггс во всеуслышание велел постояльцу убираться, и люди видели, как тот покинул дом и пошел своей дорогой по холмам.

Так вот, в этот же вечер, в начале десятого, когда мальчишка Фред Хиггс лег спать, Маргарет — вероятно, из мести — погубила своего мужа, потому что с того вечера Хиггса никто и нигде не видел, а один дурачок по имени Феликс, который часто блуждал по ночам в окрестностях, рассказал, что в три часа видел миссис Хиггс — она, дескать, шла сквозь бурю через поля к Северну, пошатываясь под тяжестью трупа.

Сперва доказательства этим и ограничивались, не считая того странного факта, что Маргарет ни слова никому не сказала об исчезновении мужа; но вскоре обнаружились другие улики и свидетельства, ниспосланные, как я уже говорил вам, самим Небом.

Возможно, в связи с тем, что единственного свидетеля, то есть Феликса, нельзя было привести к присяге, полиция не предприняла никаких открытых розысков по делу. Это восприняли как нерасторопность закона, и последовал невероятный взрыв ярости: каждый лодочник на мили вверх и вниз по обеим рекам высматривал в воде и по топким глинистым берегам тело, а там, где берега были посуше, отряды копателей, организованные деревенскими жителями, рыли почву в поисках захороненной жертвы.

Тело так и не было найдено, но общество, могу вам сказать, нашло способ отомстить, и женщина была наказана. Повозка булочника перестала сворачивать на ферму Вудсайд, мясник перестал отпускать мясо, и даже так далеко, как в Сент-Брайде и Дине, Маргарет Хиггс не могла ни продать отощавшего теленка, ни купить корм для свиньи, ни встретить милосердную улыбку.

«Правильно, так ей и надо, — говорили повсюду, — виселица для нее чересчур хороша, а полиция должна сгореть со стыда».

Однажды утром, оказавшись рядом с фермой, я прошел по садовой дорожке к дому и увидел Маргарет. Ей было теперь не до работы — пасынок ее, как мне показалось, целился в воображаемых кроликов, а молодая женщина, обхватив колено руками, покачивала ногой, сидя на пороге своего белого невысокого дома. Она вскочила и предложила мне стул, а я с грустью сказал ей:

— Вижу, Маргарет Хиггс, дела у вас идут не так хорошо, как прежде.

Услышав это, она мгновенно вспыхнула и воскликнула:

— Эти сплетники, охотники за новостями, невежественные, как ломовые лошади! Мне от них ничего не нужно, мистер Сомерсет! Я им ничем не обязана! Так почему меня должно заботить, что они обо мне говорят?

— Но как, миссис Хиггс, вы собираетесь жить, управляться с фермой? — спросил я.

— Я и раньше как-то жила и добывала хлеб для мальчика, и уж прокормлю его, сэр, — ответила она.

— Но одной нелегко бросить вызов многим, а вы нынче остались без защитника, — заметил я. — Скажите правду, Маргарет, — добавил я, — Хиггс мертв?

Она стояла у стены, глядя в землю и, помолчав, сказала, пожав плечами:

— Если мертв, я полагаю, Бог то ведает, а я нет.

Сами понимаете, как рассердил меня этот бессердечный ответ, и я тотчас ушел.

В следующее воскресенье она осмелилась прийти в церковь; я понимал, что это вызовет возмущение, особенно после того, как она прошла по проходу, надменно вскинув голову, и потому вставил в свою проповедь несколько слов о красоте христианского долготерпения. Но это не возымело никакого действия, и по всей тропе, круто поднимающейся к Вудсайду, хоть день был и ненастный, Маргарет после службы преследовали прихожане, большинство из которых были ее кузенами и кузенами друг друга. Сначала они не трогали ее, но многозначительно покашливали, свистели, визжали; все это она терпела, не оглядываясь, пока им знаками и жестами не удалось заставить ее мальчика отойти от мачехи и присоединиться к врагу; с той минуты начался перекрестный огонь брани и женщина ускорила шаг, испуганная, но с вызывающим огнем в глазах, а люди, не отставая, следовали за ней по пятам и, конечно, не с добрыми намерениями.

— Идите прочь! — крикнула она им с довольно жуткой усмешкой, перекосив рот. — Сплетники, охотники за новостями! Стыд вам и позор!

— Где Хиггс? — взревели все.

— Уходите отсюда! Вы все тупые, как ломовые лошади, с вашими глупыми, дурными вопросами!

Так продолжалось до тех пор, пока они не подошли к ее дому, где толпа окружила ее; и тогда, видя себя в безвыходном положении, женщина внезапно утратила свою вызывающую храбрость, разразилась рыданиями и, упав на колени, воззвала к Всевышнему со страстным упреком:

— Что я сделала, милосердный Боже? Если я в чем-то провинилась, пусть дом мой сгорит дотла, пусть на меня об-

рушатся все несчастья, пусть меня хватит удар и отнимутся руки и ноги!

Видимо, эта клятва показалась жителям деревни столь искренней и ужасной, что они оставили Маргарет в покое и ушли.

Но в ту ночь ее дом сгорел дотла.

Когда толпа рассеялась, Маргарет бросилась на лежанку и пролежала на ней в лихорадке до девяти вечера; когда же она встала и собиралась перебраться в кровать, ее все еще дрожащая рука уронила лампу...

Известие об этом разлетелось в ту ночь, как зловонные болотные испарения, и через несколько минут весь Вуластон был в Вудсайде. Мальчик, Фред Хиггс, еще оставался в пылающем доме: в панике Маргарет сперва выскочила наружу, зовя его, но он в тот момент крепко спал, а теперь кричал у окна своей комнаты, слишком узкого и не позволявшего мальчику выбраться.

Увидев это, некоторые из толпы бросились искать садовую лестницу, но Маргарет, поразив всех, кинулась обратно в огонь и вскоре появилась у окна, ломая раму (половина ее была закреплена намертво, половина же отодвигалась вбок). Она всегда обладала большой силой, и деревянный переплет вскоре уступил ее рывкам, после чего они с мальчиком благополучно спустились на землю.

Бакалейщик Прайс забрал Фреда Хиггса к себе, а Маргарет, чья голова сделалась от пламени совершенно лысой, а лицо наполовину обгорело, спряталась в конюшне рядом с трупом своей лошади, павшей от голода в тот же день.

Но дух женщины еще не был сломлен. На следующее утро Морган, полицейский, призвал ее к себе, требуя рассказать о том, что случилось с Хиггсом; однако она сидела молча, раскачиваясь из стороны в сторону. Она, кажется, продолжала питать безумную надежду сохранить ферму, на которой родилась, но в тот же день мистер Миллингс, управляющий земельный имением Лоребурна, сообщил ей, что она, конечно, должна будет уйти; он предложил, тем не менее, выкупить ее сельскохозяйственные орудия и прочее, которые никто другой, разумеется, купить у нее не согласит-

ся. Ей пришлось принять эти условия; но она выказала прежнюю яростную решимость не покидать родные места и, как паук, чья паутина была разорвана, тотчас безмолвно принялась за работу, чтобы построить свою жизнь заново.

На третий день после пожара она пришла с забинтованным лицом к моей дочери Нине, которая владела коттеджем высоко на холмах, недалеко от Тайденхем-Чейз; и, хотя я предупредил дочь об опасности, та предпочла сдать ей коттедж. Затем женщина поехала в Ньюпорт, купила там кое-какие новые инструменты, перенесла кур и перегнала свинью в свое новое жилище и вновь собралась заняться домашним хозяйством. Но этому не суждено было случиться: когда все было готово и она пришла к Прайсу, бакалейщику, который взял к себе ее мальчика, Фред Хигг наотрез отказался идти с ней, сказав:

— Нет, мать, я больше никогда не хочу видеть твое лицо.

Женщина застыла, как пораженная громом. Повернувшись к толпе и ища в глазах сочувствие, она произнесла, кривя рот и пытаясь улыбнуться:

— Как! Да ведь я для него это сделала, прежде всего!

— Сделала! Слышали ее? Что сделала? — закричали некоторые, а остальные деревенские жители тем временем освистывали ее и осыпали оскорблениями.

— Пойдем с мамой, сердечный, — уговаривала женщина мальчика, — не будь таким жестоким.

— Уходи, — сказал мальчик, ободренный поддержкой толпы. — Ты мне не родная мать, и я никогда никого так не презирал, как презираю тебя, никогда в жизни. Стыд тебе и позор!

Маргарет, казалось, была потрясена этим последним несчастьем. Она больше ничего не сказала, но растерянно протянула к Фреду руку и затем ушла заплетающимися шагами; она казалась сломленной, сдавшейся, забитой и уничтоженной. Я не думаю, что с этого дня она когда-либо противилась тому, что с ней творили, за исключением одного случая, когда она бросила камень в толпу преследовавших ее мальчишек.

Однако Морган, полицейский, да и я считали, что в отношении мальчика с женщиной поступили неподобающе, тем более что она с ранней юности была для него хорошей матерью, а без его помощи новый клочок земли был бы для нее почти бесполезен. После трех недель переговоров бакалейщик формально согласился отдать мальчика; в то же утро Морган, случайно проходя мимо коттеджа, крикнул Маргарет через калитку, что ее мальчик сейчас вернется к ней. После этого она, должно быть, побежала и встала под ясенем в конце тропинки, чтобы увидеть, как мальчик будет подниматься на холм; несколько человек, торопливо проходивших там под дождем, видели, как она стояла под деревом с наброшенной на голову кофтой; и, хотя мальчик не появлялся еще несколько часов, она терпеливо стояла и ждала, пока день не начал клониться к вечеру, а тучи не потемнели, возвещая настоящую бурю. Наконец мальчик пришел. Маргарет беспомощно лежала на правом боку; по-видимому, в нее ударила молния — во всяком случае, ясень был расщеплен, а у нее парализовало половину тела. Еле ворочая непослушным языком, она умоляла мальчика помочь ей, отвести ее в дом и никому ничего не говорить, но он, словно лишившись рассудка, полетел вниз по склону, выкрикивая эту новость на все четыре стороны.

Каким бы страшным ни был грех этой женщины, воспоминание о том, что случилось далее в тот вечер, действительно ужасает, ибо в людей точно вселился легион демонов и на холме разверзлась преисподняя. «Покончим с ней!» — прозвучали слова, ибо любые сомнения, которые могли еще оставаться у кого-либо касательно вины Маргарет, теперь исчезли, поскольку на нее обрушились все беды, что она призвала на себя своей клятвой; не обращая внимания на дождь и темень, толпа в едином порыве двинулась вверх по холму. К счастью, женщина догадалась о приближении толпы и в ужасе, собрав все оставшиеся силы, поползла вперед и чудом сумела заползти под какие-то кусты, прежде чем люди добрались до дерева; а те, обыскав коттедж и не найдя ее, побросали все ее покупки в кучу и случайно или намеренно сожгли дотла дом моей дочери. Только на сле-

дующее утро Маргарет нашли на поле под названием Морплпис; а затем полицейские увезли ее в лазарет в Сент-Брайде.

На женщину снова оказали давление, стремясь добиться от нее хоть какого-то признания, но она оставалась такой же безмолвной, как раньше; и через несколько месяцев ее выписали с той искалеченной тягучей походкой и речью, что посейчас остались при ней. Она снова отважилась, но теперь уже без гроша в кармане и без надежды заработать себе на жизнь, встретиться лицом к лицу с ношей боли, ожидавшей ее в родных краях; и здесь, Бог знает как, продолжала влачить свое существование. Моя дочь Нина, чье сердце всегда глубоко скорбело о ней, порой в ненастные вечера говорила мне: «Эта бедная Маргарет Хиггс, папа — может, она сейчас на пустоши, под дождем и ветром». И я знаю, что Нина выходила тогда с конюхом и фонарем на поиски женщины и, найдя ее в руинах одной из распространенных у нас печей-кильнов, уговаривала несчастную пойти с ней домой. Она брала Маргарет за руку, и та шла за ней, но еще до утра всегда исчезала. Скоро Маргарет стала почти дикаркой, проникнутой духом штормовых ветров и темных ночей, такой же нелюдимой и мрачноглазой, как те косматые кони пустоши, ее единственные товарищи, чьи гривы и громадные хвосты всегда поднимают бури там, наверху; и многие запоздавшие крестьяне по пути домой часто останавливались, заслышав во тьме ее стоны или хохот. Однажды ее посадили в тюрьму — как всегда незадачливая, она бросила камень в толпу мальчишек и случайно поранила одного из них, и судьи велели ей «отдохнуть месяцок в Глочестере». Кстати, одним из этих судей был не кто иной, как ее пасынок Фред Хиггс, которого взял под крыло какой-то таинственный предприниматель из Глазго; говорят, Фред окончил Оксфорд, а ныне стал, можно сказать, одним из наших магнатов. Этот человек просто игнорировал существование своей мачехи.

Однако новый владелец имения Гланна распорядился, чтобы женщину обеспечили крышей над головой и всем необходимым для жизни, а также дал понfive, что любой, кто

причинит ей вред, рискует навлечь на себя его неудовольствие. В самом деле, за те несколько недель, что этот мистер Огден прожил в имении, о его доброте к бедным заговорили все; правда, он кажется несколько странным и живет почти отшельником. Во всяком случае, благодаря ему условия жизни Маргарет вскоре должны измениться, хотя ее не так-то легко спасти: она сопротивляется, проявляет подозрительность, не веря уже, вероятно, что кто-то действительно способен желать ей добра; трудно сказать, удастся ли изменить ее полудикую натуру, ибо уходящие годы сказываются на всех нас, сэр, и оставляют на нас свои следы.

Такова история Маргарет Хиггс, родившейся под мрачной звездой, как изложил ее мне мистер Сомерсет, пожилой священник; два дня спустя я в подробностях узнал, что были приложены все усилия, дабы приручить одичавшую женщину и помочь ей.

Но недобрая судьба продолжала цепко держать ее в своих руках.

Ее новое жилище было уже готово, и бедняжка согласилась там поселиться, радуясь, я полагаю, что наконец-то обретет собственный кров, когда какие-то люди, копая землю под фундамент на берегу Северна, нашли человеческие останки.

Кости были найдены неподалеку от того места, где дурачок Феликс более пятнадцати лет назад видел Маргарет Хиггс в темный предутренний час с трупом на спине; и тотчас пошли пересуды: «Ну вот, наконец, нашлось тело Хиггса».

Маргарет снова посадили в тюрьму, и я, узнав обо всех этих событиях, сел на поезд и отправился в Сент-Брайд, чтобы присутствовать на рассмотрении ее дела в суде малых сессий.

Одним из двух судей был пасынок Маргарет, Фред Хиггс, красивый мужчина не старше тридцати лет, а другим — новый владелец имения Гланна.

Что же касается самой женщины, то она была слишком слаба, чтобы стоять, и все разбирательство безучастно просидела, недвижная, как статуя. Как я понял, во время допро-

са в тюрьме она призналась, что найденные останки были телом ее мужа; это признание было засвидетельствовано неким инспектором Джонасом, который рассказал о заключении коронера и представил всю историю ужасного преступления.

Меня с самого начала поразила нервозность одного из судей, владельца Гланны — коренастого широколицего человека с короткими пальцами, которыми он все время барабанил по своему подбородку, по подлокотнику кресла и прочему, что попадалось под руку.

Вскоре его стремление добиться освобождения обвиняемого стало явным и даже до боли очевидным. Никто и никогда не видал такого беспокойного, взволнованного, не терпящего возражений судьи.

Когда его собрат наклонился к нему — возможно, с каким-то тихим увещеванием — мистер Огден громко закричал: «Вы, закройте свой рот!» В этот миг Маргарет Хиггс внезапно перестала еле заметно раскачиваться, что делала с начала заседания с регулярностью маятника и, как мне показалось, вздрогнула и стала прислушиваться.

Однако улики есть улики, и никакой судья не смог бы спасти женщину от суда присяжных, если бы в самом конце, когда обвинитель подводил итоги, говоря: «Следовательно, не может быть никаких сомнений, что найденные останки действительно принадлежат Барнаби Хиггсу», — мистер Огден не вскочил со своего кресла с криком: «Как вы можете быть в этом уверены, сэр, когда к вам обращается сам Барнаби Хиггс, вполне живой человек?»

Рука, которую старик протянул к нам, дрожала от сильного волнения, а глаза его были полны слез. Я слышал, как мистер Сомерсет, сидевший рядом со мной на скамейке, дважды выдохнул: «Господи Боже!». Груда тряпья на скамье подсудимых резко выпрямилась, глядя безумным взором. Во всем переполненном зале не раздавалось ни звука, и наконец мистер Хиггс, спустившись к свидетельскому месту, заговорил сперва с самой болезненной страстью, но после более спокойно и затем снова с гневным волнением — когда, повернувшись к Фреду Хиггсу, принялся осыпать своего

сына бранью. И всякий раз, глядя на печальную груду лохмотьев на скамье, он протягивал указательный палец и с покрасневшими глазами и стоном любви в сдавленном горле называл Маргарет благословенной, называл ее святой.

Он заявил суду, что является тем самым Барнаби Хиггсом, и выразил свое удивление тем, что многие его не узнали: он ведь постарел всего на шестнадцать лет и, хотя и носил сейчас большой парик и сюртук и сбрил бороду, в остальном мало изменился.

Однажды летом к нему на ферму приехал человек по имени Джон Чейни — моряк, двоюродный брат Хиггса, который угодил в беду в связи с похищением одной девушки. Хиггс согласился приютить беглеца.

Но не прошло и трех дней, как Хиггс начал ревновать.

— Маргарет сказала мне, что между ними ничего нет, но я поверил ей, да и сейчас не верю, потому что своими глазами видел, как Джон Чейни целовал или пытался поцеловать ее за свинарником; и в тот же день, между тремя тридцатью и четырьмя, я прогнал этого парня.

Моряк ушел, но к десяти часам вечера вернулся на ферму, умоляя принять его обратно. Хиггс отказался. Чейни силой протиснулся внутрь, начался ожесточенный спор, затем кулачный бой, во время которого Чейни, страдавший, как видно, болезнью сердца, «упал замертво от правого перекрестного в левый бок и под ребра после того, как сам нанес удар левой». Несколько мгновений спустя Маргарет вернулась домой «с ярмарки» и увидела, над чем сидел на корточках ее муж.

Хиггс рисовал себе всевозможные ужасы; он знал, что людям было известно о его ссоре с моряком, и не ждал от будущего ничего, кроме виселицы; но Маргарет, долго просидевшая в оцепенении, предложила бегство: она закопает труп у реки и через три дня тайно встретится с Хиггсом на пустоши, чтобы сообщить ему, может ли он без опасений вернуться домой.

На этом и остановились. Хиггс скрылся. Маргарет похоронила моряка. Никто не подозревал, что тот был убит, но на свидание в Тайденхем-Чейз, назначенное на третий

день, Хиггс, продолжавший нервничать, так и не явился.

В своем укрытии он подслушал разговоры о том, что Маргарет видели с трупом на спине и в испуге не решился вернуться туда, где ему грозила опасность; вместо этого он добрался до Ливерпуля и сел на корабль.

— Да, — сказал он со скамьи, — я бросил жену, не думая, что ее могут всерьез обвинить в моем убийстве: я-то знал, что я жив и здоров; и все то время, что я провел в Южной Африке, я настолько стыдился своей трусости и презирал себя за это, что не мог заставить себя ей написать; я предпочитал, чтобы она считала меня мертвым. Но я ничего не знал, я был уверен, что она живет так же, как раньше...

Разве я не оставил сына заботиться о ней, друзья? Разве я не заручился согласием делового партнера из Глазго усыновить его? А он ничего не сделал ради нее. Мой собственный сын, этот человек, и пальцем для нее не пошевелил. Ах! все бури, что обрушивались на нее, все морозы, что леденили ее кости, были не так жестоки к ней, как это каменное сердце.

Ради него она это сделала, друзья! Она сердилась на меня в ту ночь. «Скажу тебе прямо, — произнесла она, — я делаю это не для того, чтобы защитить тебя; но что за жизнь будет у Фреда, если все станут называть его сыном убийцы?» И она скрывала от него правду — как долго скрывала? Два месяца? Десять? До тех пор, пока он оставался для нее послушным сыном? Нет, она скрывала правду целых шестнадцать лет, до этой самой минуты, а он обращался с ней, как зверь. И если мы говорим о христианстве, господа, я думаю, что перед нами истинная христианка. А ты, ты, почему ты не сделал для нее даже малости, для нее, которая так много сделала для тебя? Тебе и вправду было так необходимо отправить ее Глочестер? И когда ты видел, что муж трусливо бросил ее, и толпа преследовала ее, и сам всемогущий Бог для нее умер, неужели ничто не дрогнуло в эту минуту в твоем каменном сердце, Фред? Одно ее признание в моем убийстве говорит мне о том, через что она прошла: она призналась потому, что побывала в тюремной камере, которая показалась ей дворцом покоя после развалин, кустов, амба-

ров и бурь; вероятно, она опасалась, что ее выпустят на свободу, если она не признается; а может, она слишком устала и не нашла в себе сил ответить «нет» на ваши вопросы. Ах, многострадальная, истерзанная женщина, тебе пришлось это сделать, не так ли, бедная немая овечка, покрытая ранами и синяками; но теперь наконец-то у тебя есть защитник, Маргарет Хиггс: так после темной ночи наступает утро, так за поворотом открывается длинная ровная дорога, да, теперь у тебя есть защитник... Заключенная освобождена! Офицер, я беру на себя ответственность за непредумышленное убийство моряка Джона Чейни.

В этот миг женщина, что-то бормоча, протянула руки к мужу, но пошатнулась и упала. Ее подняли и вынесли, и я, выбежав с остальными вслед за ее мужем, стал свидетелем напрасных попыток привести ее в чувство и безумных молитв, тщетных призывов несчастного, обращенных к мертвой.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РОЗЫ

«Содружество Розы?» — спросил Э. П. Крукс у Смайта однажды вечером в клубе «Сэвидж». — В Лондоне действительно существуют тайные общества?

И Смайт, с выражением ленивого удивления на лице, ответил:

— Ну конечно. Спросите меня в другой раз. Приходите к нам обедать, если хотите.

Странно, что Крайтон Смайт вообще пригласил Крукса. Будучи редактором «Вестминстерского журнала», он давно знал Крукса как малоизвестного беллетриста и никогда не испытывал такого порыва; но англичане, с их даром открытий, внезапно обнаружили, что у них есть Крукс, и начали платить ему по девять пенни за слово, и тогда Смайт, удивленно подняв брови, пробурчал: «Приходите к нам обедать».

Смайт принадлежал к верхушке среднего класса, той лучшей аристократии, что одаряет Англию ее дамами: стройными, ухоженными, старых кровей — не без доли малокровия — и худыми, но изысканными, как вино Икема.

Крукс, маленький толстячок с пухлыми щеками и щетинистыми, свисающими вниз усами, был сделан из другого теста. И все же в нем было что-то такое или эдакое — какая-то живость и бойкость во взгляде, в вечной пряди волос на лбу — и если в семнадцать лет он ходил от двери к двери, продавая содовую, то в двадцать шесть был уже выпускником, а в тридцать шесть — звездой.

Но он был настоящим Ромео, этот Крукс — в довольно вульгарном духе; а у Смайта была сестра.

Если бы кто-то сказал Смайту, что его сестра, Минна Смайт из семейства Смайтов, способна совершать глупости ради Э. П. Крукса или просто дважды глянуть на него, Смайт вряд ли потрудился бы улыбнуться…

Однако человеческая самка может быть довольно своеобразной и своенравной; и ее сердце подобно слюне на ладони

дикаря, когда тот, гадая, ударяет по руке снизу — никогда не знаешь, куда полетят брызги.

С вечера обеда Минна Смайт стала очень обходительна со знаменитостью; то был шикарный обед с выдержанными винами в вестминстерской квартире — ведь редакторы журналов страшно состоятельные люди, разве вы не знали? Пианино у Смайтов было украшено перламутровыми инкрустациями и, переворачивая ноты мисс Смайт, пальцы Крукса приобрели положительный магнетизм, ее — отрицательный, и они встретились.

Это была высокая, худая девушка лет двадцати пяти, очень похожая на Смайта, очень английская по типу, хорошенькая, но бледная и тонкокостная, со светлыми глазами цвета раствора хинина, который рентгеновские лучи делают «флуоресцентным». Был ли Крукс действительно очарован всем этим? Сомнительно. Кроме того, он был женат. Но она была достойной добычей, а он был человеком, всегда готовым добавить фотографию к своей заветной пачке и перо к шляпе.

Минна Смайт, со своей стороны, с того вечера старательно питала свои мысли пряным мясом книг Крукса, каковой тем временем ответил Смайту банкетом в *National Liberal* и с тех пор часто возвращался вместе с ним из «Сэвиджа». Крукс считал, что покровительствует Смайту, Смайт же думал, что покровительствует Круксу — ибо, будучи знакомым со знаменитым человеком еще в дни «двух фунтов за тысячу слов», трудно питать уважение к его грандиозности, и особенно трудно это было для Смайта, человека самого холодного в обращении, какого когда-либо создавали небеса. Как бы то ни было, они подружились.

Между тем, у Крукса и Минны Смайт вошло в привычку встречаться на частных приемах, лекциях, концертах — встречи, о которых Смайт не знал; они обменивались письмами, которых Смайт не видел; и однажды вечером в его квартире, в тот момент, когда Смайт был в соседней комнате, Минна упомянула в разговоре с Круксом, что по пятничным вечерам ее брат посещает «свое тайное общество» и никогда не возвращается домой ранее четырех утра.

На это Крукс, взяв ее за руку, сказал:

— Я приду в пятницу вечером.

Она поглядела на Крукса исподлобья, словно оценивая его, потом покачала головой из стороны в сторону, и ее губы сложились в «нет».

— Скажите *вслух,* — произнес он. — Надеюсь, вы не будете так безжалостны.

Ее веки теперь прикрывали глаза, а грудь, вздымаясь все выше, испустила вздох и снова опала.

— Это «да»? — шепнул он.

— *Крайтон!* — опасливо выдохнула она с внезапным выражением страха в глазах.

— О, я думаю, Крайтона нам опасаться нечего, — сказал Крукс.

— Вы его не *знаете*! — прошептала она. — У него в ярости нос делается белым...

Вошел Смайт; и, когда Минна покинула комнату, Крукс заметил:

— К слову, вы так и не собрались, Смайт, рассказать мне о вашем замечательном «Содружестве Розы».

И он развалился напротив Смайта в просторном кресле, обитом красным бархатом, по другую сторону камина — дело было в декабре — и сделал глоток из большого и хрупкого стакана.

— Что я могу рассказать, если это тайное общество? — отозвался Смайт, приподняв брови над ленивыми веками; поскольку между бровями и кончиком носа Смайта пролегали обширные взгорья, казалось, что веки его так и норовили закрыться.

— Я имею в виду — оно *настоящее*? Это же *Лондон,* нет? — наседал Крукс, обладавший пытливым интеллектом и, кроме того, всегда искавший новые «истории».

— Много лет назад я написал рассказ о тайном обществе, — добавил он. — Вероятно, вы его помните. Но я ни на секунду не верил, что подобные вещи существуют. Анархизм, да... масонство... ирландцы...

— Это пустышки, — промолвил Смайт, выпуская изо рта струйку густого сигарного дыма, такого же вялого, как и он сам. Крукс посасывал вересковую трубку.

— Что? Масонство — пустышка? — удивился он. — Напротив...

— Сравнительно, конечно, я хотел сказать. Я не могу назвать тайными организации, о существовании и целях которых известно всем. В чем же тут тайна?.. Но есть и другие.

Крукс наклонился вперед. Он знал, что Смайт был кокни, таким же олицетворением Лондона, как Чарльз Лэм, и что порой он окапывался в каком-нибудь славянском ночном клубе в доках или проводил время среди веселых гуляк, якобы находясь на отдыхе в Гомбурге; Смайт был глубоко посвящен в лондонские традиции и его чуть приподнятые в удивлении брови прятали куда больше, чем он приоткрывал в застольных беседах; отсюда и интерес Крукса — а интерес свой, как и прочие эмоции, он обычно не скрывал.

— Но в Лондоне? — сказал он. — В наши дни? В самом деле? Почему я никогда не сталкивался с такими обществами? В Париже, да...

Смайт иногда становился разговорчивей, когда речь заходила о Лондоне; и теперь он ответил:

— Париж в сравнении с Лондоном — как дешевый словарь за шиллинг рядом с «Британской энциклопедией». В Лондоне есть все.

— Кроме Парижа, — вставил Крукс.

— И Париж тоже: я мог бы показать вам «Бал Булье» в полумиле отсюда. Только в Париже это заведение пользуется известностью и славой, а в Лондоне никто о нем не ведает.

— А «Роза»... тайные общества... вы утверждаете, что они реальны?

— Я сам состою в двух, знаю о третьем и подозреваю о существовании четвертого, — с негромким смешком ответил Смайт.

— А скажите, эти три, — взгляд Крукса оживился, — как я могу в них вступить?

Смайт усмехнулся про себя при виде грубого энтузиазма Крукса и сказал:

— Вы, кажется, не совсем понимаете — это *тайные* общества. На свете больше мультимиллионеров или специалистов по лучам Беккереля, чем их членов. Присоединиться к тем,

что известны мне, так же сложно, как увидеть парад четырех планет, и для этого требуется длительная подготовка. Невозможно просто так «вступить». Одно из этих обществ со времен Эдуарда II состоит лишь из шестнадцати членов, другое из двадцати трех...

— Но *для чего* они существуют? — раздраженно вскричал Крукс. — Какие у них... какие у них *мотивы*, какая *идея*?

— *Мотивы* разные. В большинстве своем благородные, я думаю. И все мистические.

— Тогда почему же они тайные, если они так благородны? — Крукс пристально вглядывался в собеседника с любопытством назойливого человека, поставленного в тупик. — Сам факт их добросердечных устремлений...

— Причины секретности различны. Некоторые общества являются тайными во избежание... виселицы, — Смайт обнажил зубы в беззвучном смехе.

— Ничего не понимаю, — сказал Крукс. — Если цели у них благородные, при чем здесь виселица?

— Мне кажется вполне очевидным, — заметил Смайт, полуприкрыв за стеклами пенсне тяжелые веки, — что существуют три типа действительно тайных обществ — абсурдные, непристойные и человеколюбивые; и общества, преследующие благородные цели, могут создаваться только по одной причине — потому что правительство остается пока что незрелым и ущербным. Они помогают правительству, беря закон в свои руки, осуществляя правосудие, творя добро в тех случаях, когда правительство не может или не хочет этого делать, и в мистическом духе призывают Бога в свои свидетели.

— Ага! Так вот оно что? Тогда я всецело одобряю. А что касается этого «Содружества Розы», то не могли бы вы сказать мне конкретно...

— Как я жалею, — прервал его Смайт, — что упомянул при вас о «Содружестве Розы»! С того дня вы не оставляете меня в покое. Какое вам до этого дело? И что вы ожидаете от меня услышать? Неужели великий Крукс считает само собой разумеющимся, что тайны, охраняемые шесть столетий, будут разболтаны ему по первому требованию? Вы можете быть, к

примеру, совершенно уверены, что «Содружество Розы» — не настоящее название общества, хотя настоящее не так уж и отличается. Что я могу вам рассказать? Возможно, то, что число членов общества всегда было ограничено шестнадцатью; что есть определенное место в Лондоне, о существовании которого на протяжении пятисот лет всякий раз знал лишь один человек, самое большее, двое...

Крукс быстро замигал, услышав это, потом заворочал головой, забеспокоился, почти обиделся — он очень не любил находиться «вне» чего бы то ни было.

— Место, — пробормотал он. — И кто же этот один, который о нем знает?

— Предстоятель общества.

— Предстоятель... — Крукс задумался, глядя в огонь, затем оживленно поднял глаза и спросил: — И где же это место?

Смайт, развеселившись, выдавил из себя смешок.

— Что, хотите сходить туда с дамой? Сожалею, но не могу вам сказать, так как и сам не имею понятия. Но когда предстоятель умрет — он глубокий старик и живет в Кэмден-Тауне — я узнаю.

— Ах, так вы станете тогда предстоятелем?

Глаза Смайта были закрыты. Он ничего не ответил.

— Хотел бы я полчасика побеседовать с этим стариком из Кэмден-Тауна, — сказал Крукс.

— Если бы вы увидели, как он ковыляет по Грейз-Инн-роуд, вам бы и в голову не пришло вторично взглянуть на него. Таков Лондон. Мы сталкиваемся с ангелами на Чаринг-Кросс, даже не догадываясь о глубинах, которые постиг какой-нибудь заурядный на вид человек, о странности его судьбы, его познаниях, одаренности или достоинстве. Я знаю одного лекальщика из Уоппинга...

Но в этот момент вошла Минна, Крукс отвлекся, и Смайт внезапно прервал свою речь.

Это было в среду.

По пятницам Смайт неизменно уходил из редакции на час раньше обычного, обедал дома, запирался на два часа в библиотеке, а потом безмолвно, как монах, покидал дом и

возвращался лишь ранним утром.

Многие годы пятничный распорядок ничем не нарушался, но в эту пятницу Смайт изменил себе и по какой-то причине вернулся до одиннадцати.

На Виктория-стрит он взглянул на окна второго этажа, отметил приглушенный свет за шторами гостиной и что-то пробормотал себе под нос.

Затем Смайт поднялся на лифте, открыл дверь квартиры своим ключом — открыл бесшумно, украдкой, хотя был *далек* от того, чтобы признаться в этом самому себе. Он заглянул в кухню и брови его поползли вверх: там было темно. Он прошел по мягкому ковру в две другие комнаты — и там никого не было: слуги, вероятно, ушли в театр. Потом он прошел по коридору к двери гостиной и, по-прежнему бесшумно, повернул ручку. Но эта дверь оказалась заперта, и его брови поднялись еще выше.

Стоя перед дверью, он, казалось, внезапно принял какое-то решение и быстро, тихо вышел из квартиры.

Внизу он нырнул в переулок, где стояла карета полицейской скорой помощи и, укрывшись в ее тени и поглядывая на Виктория-стрит, стал ждать.

Через полчаса Смайт увидел, как Крукс вышел из его «особняка» и удалился с весьма самодовольным видом, а окна гостиной ярко вспыхнули.

Ту ночь он провел в отеле «Виктория» и на следующее утро явился в Ковент-Хаус все тем же холодным Смайтом. Поднимаясь к себе в кабинет, он бросил лифтеру какую-то шутку, и заместитель редактора в тот день даже не заподозрил, что именно бушевало в Смайте — и что имя ему было Легион.

Но ближе к вечеру Минна, которая провела весь день в изумлении и трепете, получила от Смайта написанную от руки записку:

«Дорогая Минна,

К сожалению, возникли обстоятельства, делающие невозможным наше дальнейшее совместное проживание. По-

жалуйста, сообщи мне к завтрашнему дню, желаешь ли ты остаться в квартире или мне лучше будет снять для тебя другую.

Твой,
Крайтон».

И они расстались...

Зная, как привязан он был к квартире, она перебралась в другую, в Майда-Вэйл; Смайт выделил ей постоянное содержание. С той ночи притушенных огней он не встречался с ней — ни на секунду. Ее просьбы объясниться он оставил без ответа.

Но боль оказалась сильнее, чем Смайт ожидал, и он предпочел бы покинуть комнаты, где она когда-то жила. Хотя это было не очень заметно для других, их соединяли священные и нежные узы дружбы, и довольно скоро Смайт понял, что, отослав Минну, он словно вырвал себе правый глаз. Порой он по целым днями отсутствовал в конторе; его худое, бледное лицо выглядело все измученней и бледнее; в волосах начала проглядывать седина; молчаливость его сменилась чем-то вроде немоты.

Но он не желал сменить гнев на милость, пока шесть месяцев спустя не узнал от врача, что Минна больна и находится в трагическом положении. Тогда он написал ей:

«Дорогая Минна,

Я все знаю, и все, что нуждается в прощении, я прощаю. Прошу тебя, дорогая, вернись в мои объятия.

Твой,
Крайтон».

Сперва она отказывалась, но любовь пересилила все колебания, и она вернулась в старую квартиру.

Она вернулась больной, ибо в свою очередь раскаивалась, мучилась и скрежетала зубами, пережевывая пепел,

оставшийся от огня страсти; и каждый день Смайт видел, как она постепенно угасала и исчезала, словно тень; через месяц Минна тихо вздохнула и умерла, оставив его с грудной девочкой на руках.

Что касается Крукса, то он был в Неаполе и только через три месяца узнал о рождении ребенка и смерти матери. Затем он заявил о себе. С той пятничной ночи, когда Смайт вернулся домой раньше обычного, Крукс не обменялся с ним ни словом, так как Минна на коленях умоляла его: «Пожалуйста, прошу тебя, держись подальше от Крайтона!» Но теперь, как сказано, Крукс заявил о себе.

Однажды вечером он разыскал Смайта в «Сэвидже» и, стоя перед его креслом, заявил:

— Смайт, мне нужен ребенок.

Смайт перевел несколько удивленный взгляд с новости в «Стандарте» на предмет, возникший перед ним, и сказал:

— Нет.

— Тогда я хочу иногда с ней видеться: это будет справедливо.

— Если желаете, — пробормотал Смайт. — Она в моей квартире. Постарайтесь не видеться с ней слишком часто.

И он вернулся к чтению.

Крукс пришел и углубился в философические размышления, узрев крошечный комок женственности, который можно было при желании засунуть в кувшин; а девочка загугукала, увидев толстое лицо с торчащими из него волосами.

Затем он стал приходить дважды в месяц и как-то, встретив в холле Смайта, протянул ему руку; Смайт, высоко подняв брови, позволил пожать свои длинные пальцы (Смайт, на самом деле, никогда не участвовал в рукопожатии с любым сыном Адама — просто дозволял это, взирая на процесс с удивлением).

Так произошло несколько раз в течение года, и однажды Крукс оказался у камина с ребенком на коленях; он сидел напротив Смайта, как в старые времена. Не особенно задумываясь над этим, он снова подружился со Смайтом, подружился покровительственно — и потому не обращая внимания на удивление Смайта; по правде говоря, он не мог быть уверен,

что Смайт был удивлен больше обычного, так как Смайт всегда казался удивленным. Более того, слава Крукса в последнее время созрела и достигла истинной спелости; если у него появлялось мнение по тому или иному вопросу, об этом писали в газетах; и он возгордился, поскольку у мелких людей его профессии и происхождения нет ни твердого «я», ни нерушимой самооценки, которая не может быть ни завышена рукоплесканиями, ни принижена критикой; когда дует попутный ветер, они раздувают паруса, но стоит ветру стихнуть, и они впадают в ничтожность. Что же до Крукса, то он в то время был убежден, что одним своим присутствием оказывает честь и поклонникам, и скептикам.

— Ко-ко-ко, — говорил он, подбрасывая своего цыпленочка на колене, цокая и хихикая. — Послушайте-ка, Смайт, вы все-таки стали предстоятелем этого общества Розы?

— Да, — удивленно ответил Смайт.

— Вот как. Итак, теперь *вы* — хранитель секрета таинственного места?

— Да, — удивленно ответил Смайт.

«Значит, — сказал себе Крукс, — рано или поздно я *увижу* это место» — и просидел час со Смайтом.

В таких отношениях они и сосуществовали; маленькая Минна, белокурая и хрупкая, как ее мать, научилась ползать, потом ходить; месяцы траура давно миновали, хотя Крайтон Смайт все еще носил одежду цвета воронова крыла и креповая повязка никогда больше не покидала его рукава. Каждое воскресенье закат заставал Смайта на Бромптонском кладбище, где он грустил над могилой; большинство видевших Смайта там считали, что он держался холодно, хотя некоторые были противоположного мнения. Тем временем, Крукс появлялся достаточно регулярно и однажды вечером, сидя у камина, сказал:

— Я перестану приходить сюда, Смайт, если вы не поговорите со мной. Я полагал, что вы не можете больше испытывать чувства негодования и обиды, поскольку осознали, что я любил Минну.

Губы Смайта с минуту выпускали дым; потом он спросил:

— Скольких еще вы любили в тот год?

— Возможно, нескольких. Я считаю, что вопрос неуместен...

— И скольких любили с тех пор?

— Нескольких — может быть, многих. Но это не имеет никакого...

— Вы женаты.

— Да, но я не желаю спорить на эту тему, Смайт. Это просто означает, что ваши взгляды на сексуальные отношения отличаются от моих; и, так как мои являются продуктом мысли...

— Я не «спорю», — возразил Смайт, сонно прищурив глаза, — и это не вопрос чьих-то «взглядов». Я просто говорю, что вы женаты, факт же в том, что женатый человек, позволяя себе любить девушку из среднего класса, рискует навлечь на нее гибель от позора. Я не говорю, что это непременно должно быть так — я ни с кем не спорю — я только утверждаю, что *так* обстоит дело в настоящее время; и когда случается подобная смерть, речь идет об убийстве. Конечно, против этого нет закона, но... — он замолчал и лениво провел ладонью по высокому лбу, силясь открыть смыкающиеся глаза.

— Люди в общем-то не совсем ангелы, — заметил Крукс.

— Некоторые больше похожи на дьяволов, — послышалось бормотание.

— Вы не имеете в виду меня, грешного?

— Ваше существование, похоже, приносит много вреда. Какую пользу вы приносите, я не знаю.

— Не знаете, приносят ли пользу мои книги?

— Нет, не знаю. Я знаю, что мужчинам уже надоели бесконечные «романы», и как только женщины перестанут быть в душе детьми, будет написан последний «роман». Ваши забавны, я полагаю...

— Но они не пророческие? Не жизненно важные?

Это позабавило Смайта, и он с презрением выдохнул:

— Как же вы еще наивны!

Крукс слегка покраснел.

— Так его, Смайт! Ну, говорите же.

— Что ж, возможно, вы и делаете что-то полезное, — сонно пробормотал Смайт. — Помню, я прочитал одну вашу страницу и сказал себе: «Это благородно». Допустим, ваши побуждения благородны, и поскольку грубость исполнения устраивает публику, вы можете сделать что-то хорошее. Но побуждения без интеллекта мало на что годятся, а интеллектом вы не блещете — ни одной новой и истинной мысли, а те представления, которые можно назвать вашими собственными, смехотворны. Вы немного, на любительском уровне, разбираетесь в науке — возможно, знаете половину того, что знаю я, а это едва ли существенные познания — и ваш мозг никак не приучен к упорядоченности и остроте. А ваша манера изъясняться, этот цветистый поток красноречия — меня все время не покидает чувство, что вы никак не можете преодолеть приступ ликования, неожиданно обнаружив себя писателем, а не продавцом имбирного пива. Не скажу, что вы действительно писатель...

— Ах, Смайт, так теперь старина Э. П. уже и не писатель? — с издевкой воскликнул Крукс.

— Конечно, нет, — сонно ответил Смайт. — Писатель — это литератор, человек литер, то есть букв, а не слов. Держу пари, что вы даже не сможете определить, что есть писательство, что есть искусство, дать любое определение, не отклоняясь при этом далеко в сторону от простой истины. Неужели вы не понимаете? У нас имеется два способа самовыражения — язык и перо; и эти два способа легко обмениваются функциями: мы можем писать языком, как делал Демосфен, произнося свои речи, или говорить пером — как вы. Вы рассказываете свои истории — но не пишете их. Ваши книги похожи на стенографическую запись этого обращенного к аудитории рассказа, и любое из тысяч и тысяч других скоплений слов окажется таким же сносным, как ваше. Писатель — дело иное: он пишет не ради денег (чтобы получать каким-то образом деньги, он должен быть очень ловким и удачливым малым), не ради каких-то выгод, а для того, чтобы отдать себя и немного избавиться от богатых жировых накоплений своего гения; *его* перо — не язык, а резец, он высекает в граните, и каждое слово, каждая буква несут рифму и

разум, пение и образ. Доказательство того, что вы *не* писатель — объем извергнутого вами, популярность ваших творений — ибо вы удовлетворяете спрос публики на некую общность вкусов и приказчицкую фамильярность, едва ли возможную для любого, чей отец был джентльменом — и ваше словесное наводнение. Сравните две полки ваших так называемых «книг» с одним или двумя томами Гомера, с Мильтоном, Флобером, Патером, Платоном, Рене Мараном: совершенно невозможно было бы *написать* за одну жизнь и четверть вашей пивной пены. Вы по-прежнему торговец имбирным пивом, а не писатель, потому что...

Но при этом утверждении маленькая девица запричитала, и Крукс, поцеловав ее в темя и передав кормилице, пробормотал:

— Я пойду.

На полпути к двери он обернулся и спросил:

— Так что насчет вашего «места», Смайт? Я все-таки хотел бы там побывать. Вы сказали, что подумаете.

Ответ Смайта был немного странным.

— О, продолжайте в том же духе! — сказал он, слегка раздраженно, но в то же время с улыбкой шевеля губами.

Крукс спрашивал уже в *шестой* раз — Смайт все хорошо помнил. Первая просьба заставила лицо Смайта покраснеть от негодования, вызванного дерзкой настойчивостью Крукса; но с тех пор Смайт начал отвечать с некоторой неуверенностью, с кокетливой неохотой, как девушка, которая шепчет «нет», но вспыхивает румянцем «да».

— *О, продолжайте в том же духе...*

— Какой от этого может быть вред? — спросил Крукс во время своего следующего визита. — Вы можете полностью рассчитывать на мое пожизненное молчание. Мое любопытство, разумеется, исключительно *литературное*. Возбудите мое воображение реальной картиной этого места, и я... я скажу вам, что сделаю — я напишу серию детективов, и «Вестминстерский журнал» их получит.

И Смайт, прикрыв веки и оставив одну устремленную на Крукса щель, ответил:

— Ах, Крукс, не искушайте меня.

Значит, теперь речь шла об искушении? Крукс ощутил ликование. Разве сестра не поддалась его искушениям? Брат тоже должен стать его добычей...

Но во время следующего сеанса искушения Смайт со смехом сказал:

— Кажется, вас не беспокоит, что вы уговариваете меня нарушить обет служения! И делаете вы это с той же легкомысленной бессердечностью, с какой нарушаете собственный брачный обет.

— Смайт, вы не похожи на совесть — вы слишком бледны, — ответил на это Крукс. — Прошу вас, оставим в стороне мои порочные брачные привычки. Что же касается вашего «служебного обета», то не вы ли сами говорили, что бывали времена, когда о «месте» знали *двое*?

— Да, кажется, я так и сказал. И вы полагаете, что имеете право быть одним из них? Ну, может быть, и так — я займусь этим вопросом. Но если я когда-нибудь возьму вас туда, нервы у вас должны быть крепкие.

— Представьте себе нервного Э. П. Крукса! Что же я там увижу?

— Это несколько... смертельно.

— Тогда я тот, кто вам нужен. Но когда?

— Я еще не сказал «да». Дайте мне время. Я должен заручиться согласием остальных...

Только через три недели Смайт сдался.

— Хорошо, — сказал он, — вы все увидите; дело улажено; ваше воображение будет «возбуждено», как вы это называете. Но вам не разрешается знать, где находится тайное место; вы должны будете войти с завязанными глазами. Да, кстати, вам необходимо будет замаскироваться — просто подвяжите бороду, это сойдет. Ждите во вторник вечером у церкви Темпл, когда часы Королевского суда пробьют одиннадцать.

— *Fiat!* — вскричал Крукс.

В тот октябрьский вечер вторника дул сильный ветер. В свете луны, вышедшей навстречу летучему воинству облаков, Крукс стоял, глядя на восемь старинных гробниц и округлый западный притвор церкви. Бурная река Стрэнда преврати-

лась в ручеек редких шагов, здесь же, в тенях, не звучало и шага, и Крукс ощутил в себе дух приключений: Лондон виделся ему немного Багдадом, и эта ночь была одной из тысячи и одной ночей; когда-нибудь, думал Крукс, он передаст это настроение в книге. Грим тоже был для него в новинку; вскоре он с насмешливой помпезностью расчесал свою фальшивую бороду; потом ему пришла в голову мысль: «Но к чему, собственно, этот маскарад?» — и тут пробило одиннадцать.

С последним ударом на брусчатке зазвучали шаги, и появился Крайтон Смайт со своей креповой лентой, в платье цвета воронова крыла. Он приложил палец к губам, когда Крукс начал что-то говорить, поманил его за собой, и Крукс последовал за ним через Хэйр-Корт, по Миддл-Темпл-лейн, мимо привратницкой; у Гриффина Смайт сел в ожидавшую их закрытую карету и Крукс последовал его примеру.

— Теперь я должен завязать вам глаза, — шепнул Смайт ему на ухо.

— Остается внутреннее зрение, — отозвался Крукс. — Давайте вашу повязку.

Смайт тут же достал две черные хлопчатобумажные подушечки и широкую черную ленту с узенькими ленточками по краям; подушечки он поместил на глаза Крукса и обвязал все поверх его носа широкой лентой; теперь можно было видеть малиновую кайму и три вышитые на ленте розы.

Закрепив повязку, Смайт незаметно для Крукса сунул за ленту котелка последнего латунную пластинку с выгравированной надписью «Эдгар Крайтон Смайт, П.». После этого кучер, не дожидаясь его приказаний, тронулся с места.

Крукс понял, что они едут на восток. Он услышал, как часы Беннета совсем рядом и где-то наверху пробили четверть. И вскоре в экипаже прозвучали следующие слова:

КРУКС: Поговорите со мной. Я затерян в темноте. Тишина, должно быть, ужасна для слепых.

СМАЙТ: Я не хочу говорить. Эта ночь для нас с вами не похожа на все другие ночи.

КРУКС: Да уж, вы высокого мнения о своей квартирке!

СМАЙТ: Там нет на окне таблички «Сдается». Там вооб-

ще нет окон. Надеюсь, вы успели помолиться.

КРУКС: Людям моего толка не к чему молиться, Смайт. За нашим фасадом мы по существу религиозны; и само наше бытие, правильно понятое, является молитвой.

СМАЙТ: Рад слышать, что вы по существу религиозны.

КРУКС: Разве вы этого *не знали*?

СМАЙТ: Нет, откуда мне было знать? Вы не тот, кем кажетесь.

КРУКС: Смайт, вы самый...

СМАЙТ: Не болтайте.

В эту минуту Крукс расслышал сквозь монотонный топот копыт их лошади по асфальту отдаленный гул трамвая и подумал: «Мы, должно быть, где-то в Уайтчепеле». Вскоре они снова заговорили:

КРУКС: Далеко еще?

СМАЙТ: Десять минут.

КРУКС: Мне не нравится повязка на глазах — и, кстати, для чего маскарад? Я могу понять, для чего нужна повязка, но фальшивая борода — *зачем*?

СМАЙТ: Вы скоро догадаетесь.

КРУКС: Ваш маскарад — тайна, а повязка на глазах — истинная чума. Ах, как грустно быть слепым!

СМАЙТ: Как насчет мертвым?

КРУКС: Мертвые не ведают, что они слепы, но слепые знают, что мертвы. О, как прекрасно видеть солнце! быть живым и видеть его. Люди не понимают этого, потому что Вселенная предназначена не для того, чтобы люди ее видели, а для того, чтобы владыки более старых сфер, нежели эта, снимали пред ней свои короны. Завтра утром, когда я вновь обрету зрение, я построю жертвенник.

СМАЙТ: Не клянитесь в этом.

КРУКС: Знаете, Смайт, вы самый угрюмый и циничный...

СМАЙТ: Мы выйдем здесь.

Кучер, вновь без всяких приказаний, остановил карету; Смайт вышел и вывел Крукса; и карета без всяких приказа-

ний укатила.

По пути они несколько раз сворачивали, и Крукс не понимал, в какой части Лондона теперь находился — знал только, что где-то на востоке. Здесь не было слышно отзвука шагов, лишь доносилось откуда-то гудение машин.

— Это альтернаторы, приводимые в движение паровой турбиной, — сказал Крукс. — Мы на улице?

— Тише, не разговаривайте, — сказал Смайт.

Затем Крукс почувствовал, что его ведут за руку по чему-то, похожему на булыжную мостовую; шаги отдавались эхом, чувствовался сквозняк, и он заключил, что они шли по какому-то туннелю или сводчатому проходу. После он ощутил, что они вновь оказались на открытом месте; под ногами был тот же старый булыжник, и откуда-то по-прежнему доносился грохот машин. Что же касается Смайта, то он не произносил ни слова и не желал ни слова слышать.

Далее последовала остановка; Крукс понял, что Смайт отпер дверь; они поднялись на две ступеньки, и дверь снова была заперта. Услышав близ уха щелчок, Крукс догадался, что Смайт зажег фонарик.

Затем они прошли по голым доскам в какое-то место, где пахло мылом и свечами, смолой и бензолином; Крукс дважды спотыкался, наступая на что-то, похожее на пустые мешки. После его медленно повели вниз по дощатым ступеням, у подножия которых Смайт наклонился, чтобы открыть что-то — очевидно, люк в полу.

Он повел Крукса вниз через люк, сказав: «Держитесь за мой рукав, эти ступеньки узкие» — и Крукс спустился по нескольким каменным ступеням, вздрагивая на каждой, и внизу перестал слышать стук машин.

Затем они углубились в проход, проделанный, по всей видимости, в затвердевшем мергеле, влажный и промозглый, с заметными неровностями под ногами; даже незрячие глаза могли увидеть и ощутить здесь толщу темноты; в конце прохода Смайт снова отпер какую-то дверь — очевидно, очень тяжелую: ключ заскрежетал в замке, петли заскрипели. После этого Крукса повели вверх по ступенькам, таким узким, что он задевал за стены по обе стороны от себя; они шли те-

перь друг за другом.

Ступени, казалось, тянулись бесконечно, все выше и выше, и вскоре Крукс вновь услышал биение и грохот паровых машин, смешанные с гулом генераторов, издававших свою варганную музыку; этот деловитый шум словно усилился, а затем, когда они стали подниматься выше, начал постепенно затихать. Всякий раз, когда они останавливались на площадке или в коридоре, Крукс, тучный и задыхающийся, говорил себе: «Ну, наконец-то», но несколько раз ему пришлось снова подниматься, и он раздумывал: «Может быть, это Тауэр? Мы в какой-то башне, за толстыми стенами». Но он ничего не сказал — он впал в состояние полной немоты.

Наконец, идя впереди Смайта по каменному полу коридора, Крукс споткнулся о кучу пыли и мусора и в следующий момент остановился, ударившись о стену.

— Эй! — сказал он. — Что это?

Ответа не было...

Прислонившись к стене в ожидании указаний, Крукс внезапно услышал позади себя лязг, как будто захлопнулась массивная дверь, и скрип ключа в ржавом замке. Затем раздался скрежет; по коридору будто протащили какой-то тяжелый предмет, и одновременно Крукс ощутил запах.

— Смайт! — крикнул он. — Мы пришли?

Ответа не было...

Крукс услышал, как чиркнула спичка, другая, третья. К этому времени его кости стали такими же холодными, как и окружавшие его камни.

Он вдруг закричал:

— Смайт! Я собираюсь снять повязку!

Ответа по-прежнему не было; но несколько мгновений спустя его испуганное сердце вздрогнуло от странного звука — не то бормотания, не то лепета, наполовину речитатива, наполовину напева на незнакомом языке. В следующий миг повязка была сорвана с глаз Крукса.

Он увидел свет — розовый свет — поначалу ослепляюще яркий, и в этом свете он сразу увидел и понял, что находится в заточении. Он стоял в комнате размером примерно четырнадцать на четырнадцать футов, выложенной необрабо-

танным камнем; дверной проем шириной в три фута выходил в коридор такой же ширины. Дверь, ведущая в этот коридор, и была ранее заперта; но Крукс все же мог выглянуть наружу, так как в железном полотне двери было прорезано большое фигурное отверстие — готической формы, как и сама дверь; за дверью стоял старинный железный канделябр с семью насаженными на острия свечами; и все они горели выше головы человека, занимая всю ширину коридора.

Крукс понял, что скрежет, который он слышал, был вызван установкой канделябра на предназначенное ему место, а чирканье спичек — необходимостью зажечь семь свечей; позади и перед каждой из них располагался розовый фарфоровый экран с узором из роз — двумя перпендикулярными рядами роз, так что, сгорая и сокращаясь, свечи все равно светили сквозь розы.

Все это он успел заметить за несколько секунд; он также увидел, что на полу лежала открытая сумка, откуда, как он предположил, Смайт достал льняной амикт, усыпанный розами и прикрывавший теперь его плечи; более того, вскоре в сознании Крукса промелькнула мысль, что куча пыли и мусора, о которую он споткнулся, состояла из рассыпавшихся в прах костей и одежды людей, окончивших здесь свои дни; и более того, он заметил, что перед отверстием в двери висел старинный толедский пуньял дамасской стали, и понял, что клинок милосердно предназначался для него — если он пожелает обратить его на себя. И если он еще сомневался в этом — если питал какие-то надежды — они исчезли, когда он увидел то, что висело на стержне канделябра — прямоугольную табличку из черного дерева или черного мрамора; на ней красным карандашом было нацарапано:

МИННА И ЧЕТВЕРО ДРУГИХ

Но чудовищней всего было другое — и ток крови Крукса застыл при виде ужасной комедии, зрелища Смайта, распе-

вавшего гимны и танцевавшего в своем амикте в ярде позади свечей, словно творя чары «простертых рук, шагов переплетенных» с запрокинутой головой и взором, устремленным в небеса — и с пенсне на носу! На каком оккультном халдейском возносил его блеющий и мычащий язык это блеянье Молоху и Ваалу? Крукс знал несколько языков, но этот речитатив не имел ничего общего с какой-либо знакомой ему человеческой речью; и это кривляющееся спутанное фанданго сплетающихся рук и извивающихся бедер, сопровождавшее пение — точно какое-то зачарованное существо неуклонно вращало мельницу танца в стране тарантула: акт колдовства столь же древнего и первобытного, как освещенные факелами оргии Савы и Египта...

Просунув шею в отверстие, с глазами, вылезающими из орбит, Крукс шептал этому жуткому танцору:

— *Смайт, не делайте этого, Смайт...*

Через три минуты ритуал был завершен; Смайт постоял еще минуту, склонив голову и бормоча что-то себе под нос; затем снял и положил амикт в сумку, поднял и надел шляпу и, не говоря ни слова, ушел, оставив свечи гореть, как на поминках.



I

Я собрался было поохотиться в болотных зарослях нижней Камарг, но северный ветер прогнал всю дичь дальше на юг, к виноградникам Сен-Лорана, и мне телеграфировали оттуда: «Приезжайте скорее, множество куликов». Я тотчас же сел в тележку моего егеря Проспера, и мы с ним пустились в путь. Время от времени его бодрая лошадка без понуканий скакала в галоп, точно ее подгонял северо-западный ветер, который бил нам в лицо и покрывал наши усы ледяной коркой.

Тянулась однообразная, совершенно плоская равнина; виноградники чередовались на ней с сосновыми лесами и со спокойными тростниками, которые наклоняли свои мохнатые головки, точно кланяясь налетавшему ветру.

До Сен-Лорана было около двадцати пяти миль; ничто не нарушало однообразия равнины, и на длинной белой ленте жесткой дороги не виднелось ни одного встречного. Я опустил веки, посильнее надвинул на голову капюшон моего плаща и спрятал под него руки, не отирая слез, которые, время от времени, от холода катились у меня из глаз и замерзали на щеках.

Вдруг я вздрогнул от голоса Проспера, сказавшего:

— Что там за вагон? Вероятно, цыгане.

Мы уже проехали дорогу к городу Эг Морг и повернули направо к Сен-Лорану... В нескольких саженях от нас стояла

фура с запряженной в нее белой лошадью, спина и ноги которой напоминали скелет; ее помощницей служила крошечная африканская ослица с безволосым хвостом и низко опущенной головой. Человек в полинявшем коричнево-рыжем пальто и в фуражке, сдвинутой на затылок, суетился около бедной клячи. Это был толстый малый с остроконечными усами и налитым кровью носом. Он сердито дергал взад и вперед сбрую, оголовок которой испортился. Позади него стояла маленькая девочка лет девяти-десяти; она сильно дрожала в своем тоненьком бумажном платье и напрасно куталась от холода в старый лоскут синего шерстяного шарфа, стараясь удержать его на груди своими посиневшими от холода ручками.

Проспер остановился и спросил человека в рыжем пальто, что случилось. Тот в коротких словах объяснил, что его сбруя испортилась, и что он ехал из Эг Морт в Сен-Лоран, чтобы встретить там свой зверинец, который был отправлен по железной дороге.

Я тоже вышел из экипажа и, пока Проспер помогал «директору зверинца» поправлять оголовок, я подошел к маленькой девочке и заговорил с ней. Она подняла на меня свои черные блестящие глаза, вероятно, наследство матери — испанки, итальянки, или цыганки.

— Это твой папа? — спросил я.

— Да, месье, — ответила она.

— Как его зовут?

— Брискар.

— А тебя?

Она улыбнулась.

— Мишлет или Миш.

Она совсем не была застенчива, и чувствовалось, что легко разговориться с нею. Я продолжал:

— Вас только двое?

— Да, месье... Мама умерла. Она лежала в Арле, в больнице.

— Давно?

Миш пожала плечами:

— Не знаю хорошенько.



— Вас только двое?

— С нами еще Бастьен, клоун, но он едет со зверями по железной дороге.

— Этот клоун добрый?

— О, он никогда не говорит... И потом... они часто меняются...

— У вас славный домик на колесах. Верно, у тебя есть там хорошая постелька?

— У меня только тюфяк.

Я подошел к фуре и увидел ее внутренность через дверь, которую Брискар открыл, чтобы взять оттуда инструменты. Она походила на грязную нору с пятнами от табака и сала; в ней стояли разбитые тарелки, два продавленных стула, валялся ужасный матрас; в углу виднелся сундук без крышки и из него выглядывал красный лиф и какие-то блестки; на гвозде висел бич укротителя и пара башмаков со шнуровкой.

Мишлет молчала.

— А сколько у вас зверей? — спросил я опять.

— Две обезьянки, «Кокен» и «Риголо», гиена «Фатьма», шакал «Зефир»... А потом «Мистигри».

Когда она произнесла последнее имя, ее глаза ярко заблестели.

— Кто этот «Мистигри»? — спросил я; и она ответила с гордостью:

— Лев!

— Больше у вас ничего нет?

— О, есть еще констриктор... Огромный боа... Он тут с нами, лежит в ящике с ватой. Его не посылают по железной дороге. Он ездит с нами в фуре.

— Зачем?

— Чтобы ему было теплее.

— Ты любишь боа?

— Нет.

— Какого же из зверей ты любишь больше всех других?

— Мистигри. Я называю его Мисти.

— А он тебя знает?

— Ну конечно, да.

— Ты входишь в его клетку?

— Да, с нового года... вместе с папой. За это-то ему дают денег.

Я с жалостью посмотрел на нее. Десять лет! Без матери! Вместо дома — фура с матрасом; единственный друг — дикий зверь; единственная цель жизни — приносить папе деньги. И, надеясь узнать что-нибудь утешительное в ее судьбе, я спросил:

— Ты любишь твоего папу?

— Д-да... — еле слышно ответила она и в первый раз, казалось, смутилась.

— А он тоже любит тебя? Он добрый?

Миш не ответила, но взгляд, который она украдкой бросила на отца был красноречивее всякого ответа.

Я молчал; она скрестила шарф у себя на груди и концом пальцев запрятала под него локон, растрепавшийся от ветра.

В это время грубый голос крикнул:

— Миш!

Благодаря Просперу оголовок был поправлен.

— Скорей на место, — прибавил Брискар.

Миш прыгнула в фуру, но раньше, чем они уехали, я спросил Брискара, где он остановится, и содержатель зверинца сказал, что он собирается «работать» в Сен-Лоране, останется там, по меньшей мере, два дня, а на третий уедет.

— Значит, мы еще увидимся, — сказал я Мишлете, которая только беззвучно пошевелила губами и улыбнулась мне в ответ.

Проспер взялся за вожжи; Брискар остался позади нас. Я обернулся и увидел, что белая кляча тащит фуру, что маленький ослик, напрягая все свои силы помогает ей, быстро перебирая тоненькими ножками. За козлами, на которых сидел Брискар, щелкая бичом, я скорее угадал, чем увидел мою новую маленькую знакомую — Миш.

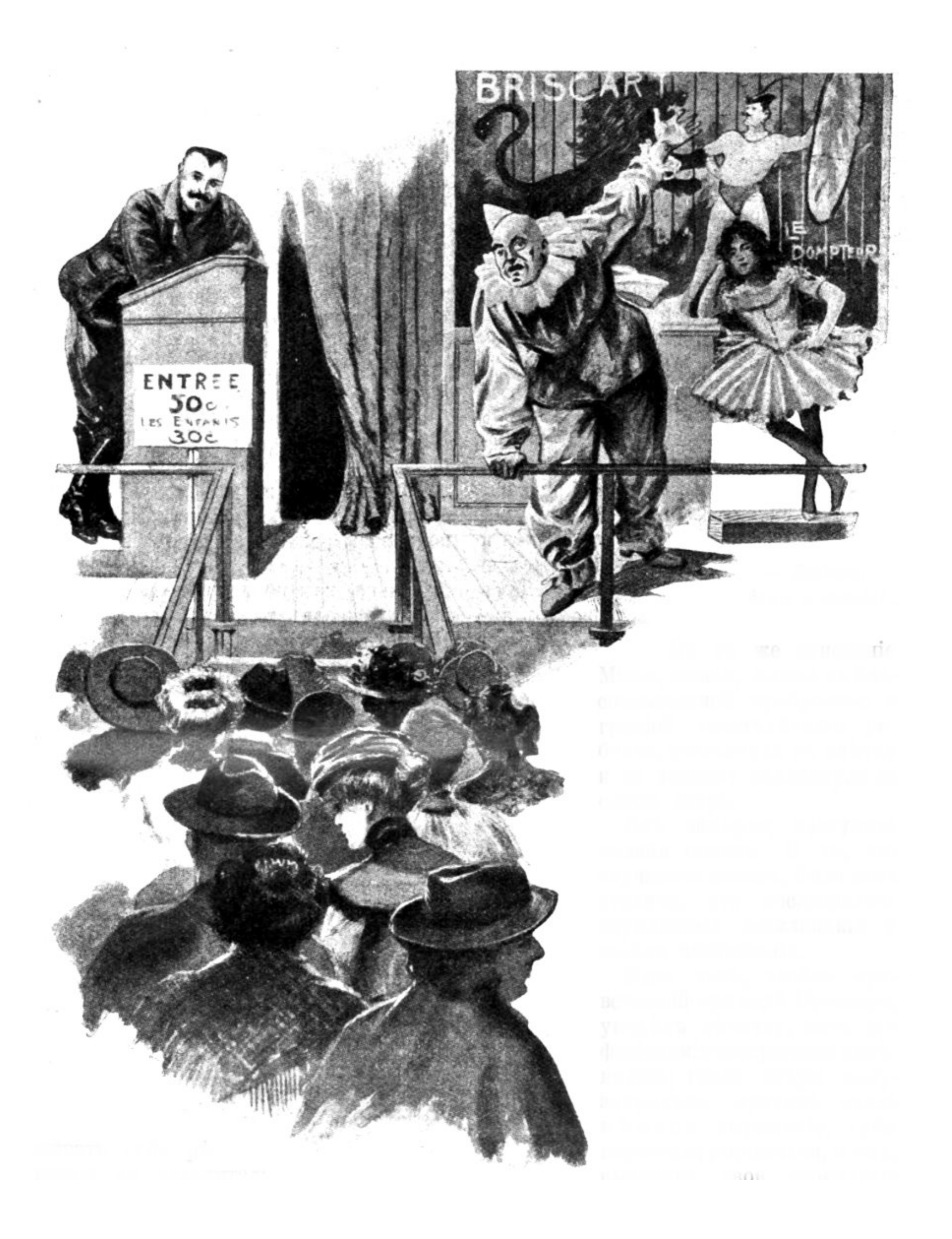
II

— Входите, дамы и господа! Входите и вы увидите Брискара, знаменитого укротителя зверей! — и так далее и так далее.

Так кричал клоун в зеленом парике, стоя подле раскинутой палатки, из которой слышался хохот шакала. Сам Брискар, дежуривший подле выручки, получал со взрослых по пятидесяти сантимов, а с детей по тридцати.

Вечерело. Мало-помалу палатка наполнялась; барабан замолк, клоун тоже, и Брискар, отвесив низкий поклон, начал «работу».

Не особенно красивый вид был у этого укротителя в его телесном трико, мефистофельской шапочке и зашнурованных сапогах! В руках он держал бич и щелкал им перед носом гиены и двух обезьян, как бы насмешливо смотревших на него. Но я пришел не для него. Какое удовольствие могло мне доставить созерцание жалких, худых животных или громадного боа, которым Брискар вскоре обвил себе шею?


BRISCART
LE DOMPTEUR
ENTREE
50c
LES ENFANTS
30c

Мне хотелось увидеть Мишлет в привычной для нее обстановке и в то же время взглянуть на ее друга Мистигри, имя которого она произнесла с лаской в голосе и с блеском в глазах.

Лев был страшно худ; его шерсть и грива на голове сильно пострадали от постоянного трения о перекладины клетки; теперь язык крупного зверя свешивался между его страшными зубами, и он лежал, подняв голову, неподвижный, точно угадывая приближение своего тюремщика, существа с бичом и палкой, окованной железом... Он чувствовал приближение своего господина, который поработил, унизил и победил его в ранней юности, хотя, конечно, не без борьбы. Удары, усталость, уныние вечной тюрьмы мало-помалу заставили громадного зверя сделаться равнодушным; тем не менее, он все еще иногда сердился, отказывался прыгать через окованную железом палку, страшно рычал, и в глазах сверженного с трона царя зажигался гордый блеск.

Когда в этот вечер Брискар вошел в клетку льва, все сразу заметили, что Мистигри в дурном настроении; скоро зрители стали спрашивать себя, решится ли укротитель продолжать со львом свои опыты.

Мистигри забился в угол, не хотел двигаться и даже показывал Брискару, что он не позволит ему подойти к себе. Укротитель не настаивал: он отошел к задней стенке клетки, свистнул и полуоткрыл дверь.

В то же мгновение Миш, живая, легкая, с бессознательной храбростью и грацией десятилетнего ребенка скользнула в клетку и со звоном захлопнула за собой дверь.

Все замерли; наступила полная тишина. И то, что случилось потом, было так странно, что послышались изумленные восклицания и вздохи восхищения.

Едва лев, злобно привставший при виде Брискара, увидел девочку, как его физиономия совершенно изменилась: глаза зверя полузакрылись, приняв очень нежное выражение, губы перестали морщиться, и он, вытянув свои громадные лапы, лег на пол, но успокоился и сладко зевнул. Мишлет подошла к нему и обеими ручками вцепилась ему в гриву; Мистигри слегка открыл глаза и быстро взглянул на нее.

Толпа содрогнулась; немногие зааплодировали...

III

Брискар, может быть, позавидовавший дочери, резко ударил палкой по полу; казалось, он велел двоим друзьям обратить на него внимание. Представление продолжалось. Мистигри перестал капризничать. Можно было подумать, что он не захотел ссориться с укротителем при маленькой девочке и легко перескочил через палку. Миш кричала своим тонким голоском:

— Гоп, гоп!

После каждого прыжка укротитель поднимал палку все выше, Мистигри продолжал ему повиноваться. Вдруг, вероятно, из фанфаронства, Брискар хлестнул бичом перед самым носом льва. Зверь сразу остановился и заревел. Человек схватил тяжелую палку и с угрозой поднял ее. Тут начался странный спорт: Брискар потрясал палкой, лев бил по ней своей могучей лапой. Наконец, он схватил ее зубами и с яростью сжал челюсти, стараясь вырвать ее из рук человека.

Это было страшно, но зрители едва успели испугаться.

Миш бросилась вперед с криком:

— Мистигри, Мистигри! Да отпусти же!

И ее маленькая ручка два раза ударила по носу льва. Мистигри, сильно моргая глазами, замер, хотя легкие удары, вероятно, показались ему лаской. Когда же рассерженный Брискар снова поднял свой бич, чтобы наказать льва, Мишлет обняла руками шею своего Мистигри и, заслоняя собой зверя, крикнула:

— Нет, нет, не бей его!

Она вся дрожала, кажется, ожидая, что удары упадут и на нее. Она боялась не дикого зверя, а зверя-человека, своего отца.

Теперь толпу охватило чувство жалости:

— Довольно, довольно! — кричали все.



Брискар поклонился. Миш оторвалась от своего друга; дверь открылась и закрылась; лев остался один. Он лежал перекинув одну переднюю лапу через другую и застыв в живописной позе.

Уходя, я увидел Миш, которая стояла, прислонясь к полотну палатки с непокрытой головой и закрыв лицо руками.

Я услышал звук рыдания, хотел подойти к ней, но она убежала, немного прихрамывая, направилась к фуре и исчезла в ее глубине.

IV

Три дня оставался я в Сен-Лоране, но не видел больше ни Мишлет, ни Мистигри, а потому не знал о мрачной драме, которая на третью ночь разыгралась в фуре и в палатке.

Только из полицейских отчетов, из рассказов горожан и из слов Бастьена, клоуна в зеленом парике, я узнал о ней.

По-видимому, в течение следующих двух дней представления проходили без всяких приключений. Мистигри не раздражался; Мишлет была очаровательна; публика вызывала ее, и су дождем падали в деревянное блюдечко, когда она обходила зрителей, повторяя своим тонким голоском заученную ложь: «Прошу вас, милостивые государыни и государи, не забудьте дать что-нибудь лично мне». Но эти «личные доходы» маленькой Миш употреблялись на покупку водки.

Брискар был, что называется, настоящим горьким пьяницей; пил водку один до пресыщения. В Сен-Лоране часто видали, как после представления он шел в кафе «Мюж» и выпивал один стакан за другим, заканчивая чистой полынной настойкой.

Многие свидетели видели, что в третий вечер он ушел из кафе рано, но уже пьяный, сказав при этом, что устал и что ему будет лучше дома, где он выпьет большую бутылку водки, купленную им еще утром. Тем не менее, Брискар через полчаса вернулся в кафе не более пьяный, чем раньше, и на что-то сильно рассерженный. Уверяли, что он шипел, как змея.

Укротитель сел за стол и пил не переставая, пока кафе не закрыли, ушел же, так сильно качаясь, что содержатель кабачка, вытолкнув его на улицу, мысленно спросил себя, дойдет ли он до дому.

Никто не знает, тотчас ли вернулся Брискар в фуру или пришел только на заре, проспав где-нибудь несколько часов.

Верно лишь одно: после представления маленькая Мишлет осталась в фуре совсем одна, поужинала заплесневелым куском тушеного мяса и коркой хлеба. Потом, видя, что огарок свечи очень мал, она не решилась жечь его и затушила. Она и разделась в темноте; вот почему, поворачиваясь в узком пространстве, бедная девочка натолкнулась на бутылку с водкой, которая упала и разбилась. Легко угадать, что случилось потом: отец вернулся, зажег свечку, стал отыскивать бутылку, заметил беду и понял, кто виноват... Миш

дрожала, ежилась и молила пьяного. Дальше — пьяное бешенство, крик, удары, брань, страшная сцена побоев...

Брискар вернулся в кафе, даже не захлопнув за собой двери фуры. Мишлет осталась в обмороке на полу среди осколков стекла, вся избитая, измученная.

Сколько времени пролежала она так? Вероятно, до тех пор, пока холод не заставил ее очнуться. Тогда под влиянием ужасных воспоминаний, испуганная одиночеством и холодной темнотой, она нарисовала себе картину вторичного возвращения опьяневшего отца. Ей кое-как удалось подняться и выползти из фуры, порезав себе руки и колени осколками стекла.

Ветер свистел, она дрожала в своем коротком платьице, но готова была на все, чтобы только не возвращаться назад... И вот, двигаясь, как в кошмаре и боясь умереть среди холодного воздуха, она вспомнила, что рядом в палатке живут существа, которые ее не ненавидят, что подле их клеток ей будет не так холодно, что больной лев Мистигри очень привязан к ней.

Она пробралась в зверинец. Вероятно, звери узнали ее, несмотря на темноту, и не пошевелились. Она подошла к клетке Мистигри, прижалась к ее решетке и заговорила со львом. Но ей было холодно, ужасно холодно. Миш собрала все свои силы, отодвинула тяжелый засов и скоро улеглась рядом со зверем, надеясь, что он немного согреет ее бедное избитое тельце и позволит прислонить к нему усталую голову.

Тут, среди опилок, окруженная едким запахом животных, под взглядом полузакрытых глаз своего покровителя, старого льва, она впала в полуобморочное состояние. Потом пришла смерть...

Когда на следующее утро Брискар стал отыскивать дочь, он нашел ее в клетке подле Мистигри. Она не двигалась.

Он сразу отрезвел, взял палку и вошел в клетку, но лев, положив одну лапу на тело ребенка, страшно заревел и посмотрел на укротителя таким взглядом, что Брискар выскочил обратно.

Он побежал за помощью; пришли люди и сразу поняли, что Миш умерла. Она лежала вся в крови, с безжизненным белым лицом. Сначала они подумали, что ее убил лев, но он время от времени лизал ей лицо и смотрел на нее печальными глазами. Отогнать его от тела было невозможно, и они решили убить зверя. Позвали жандармов — и те застрелили бедное и невинное животное.

V

В этот день, вернувшись с охоты, я услышал рассказ о печальной драме и повидался с доктором, который должен был дать установленное законом медицинское свидетельство. По его заключению, смерть последовала от множества ран и кровотечения; он был уверен, что во всем виноват Брискар. Однако, не хватало улик.

Брискара оставили на свободе. Он «хорошо» похоронил дочку; Миш зарыли в могилу и поставили над ней деревянный крест.

За похороны заплатили деньгами, вырученными от продажи шкуры Мистигри.

НОЧЬ В ВЕНЕЦИИ

Гарольд Бранд был британцем двадцати четырех лет, богатым и космополичным. Его вполне характеризовал нетерпеливый жест, каким он откидывал назад волосы, свисавшие с пробора; его голубые глаза смотрели с живостью, свежая кровь кипела. Но Женщина, как ни странно, до сих пор занимала мало места в его свободном мужском существовании. Со временем, думал Бранд, она появится; пока же бурлящий мир вокруг пробуждал в нем острое любопытство и служил для него первейшим источником наслаждений. Так продолжалось, пока на третий день карнавала он не заметил полускрытое занавесками каютки гондолы бледное личико; за ним он и последовал.

Ах, таинственная Венеция! К *Martredi Grasso*, Покаянному дню, он уже поцеловал губы на этом личике и услышал, что сделал это с опасностью для своей жизни. Была последняя ночь карнавала, и венецианцы веселились без памяти. Скользя в гондоле на восток, он слышал звуки празднества на площади Сан-Марко. К одиннадцати он был в старом прокураторском дворце, где шумел и кружился городской бал-маскарад. К двенадцати покинул зал рулетки и прошел по ворсистому ковру тускло освещенного коридора. Он оказался наедине с нею.

Ее грудь вздымалась. Глаза в прорезях маски казались яркими черными лунами.

— Послушайте!.. Я сделала *глупость*, понимаете? Мы не можем говорить здесь. У этих портьер могут быть уши... *поверьте* мне...

Бранду это показалась невероятным. Он не мог разделить ее волнения. Но это лицо, этот голос, говоривший сейчас подчеркнуто серьезно, едва ли могли принадлежать женщине, склонной к фантазиям. Она выставила вперед туфельку, прижимая ладонь к другому бедру. Он стоял, любуясь грациозными изгибами ее молодой полной фигуры, обтянутой ян-

тарным шелковым платьем без шлейфа. На голове у нее трепетала *tabura*, или мантилья из черных кружев.

— Не волнуйтесь понапрасну, Бельведера, — с нежностью, новой для его голоса. — Я должен вам сказать вот что: меня вызывают обратно в Англию... скоро. Поеду ли я один? Если вам, как вы говорите, грозит опасность, тем более имеются все причины...

— Опасность? — ее веер коснулся его руки. — Но не *мне*... Гарольд. Я боюсь за *вас*... дорогой. Он не *посмеет* причинить мне зло, *понимаете*? Слишком *очевидны* мотивы, по каким он может желать мне смерти, и существует *закон*, не так ли?.. Но *вы*! вы даже не *догадываетесь,* каково могущество Мауро Беллини... сколько у него верных лазутчиков...

— Любимая! каких лазутчиков? У него нет и не может быть власти надо *мной*.

Она прошептала:

— Это люди *Лиги*! Беллини видит себя последним представителем старой *знати*, и смысл его жизни — взойти на престол в возрожденном величии дожей. Сейчас же он главный магистрат. Его *Лига*... объединяет все сословия; ему известно, что я знаю о Лиге, и он втайне страшится меня. Догадывается, что у меня тоже есть друзья... слуги... Вы не должны считать, что он, дожив до старости... так легко откажется от дела всей своей жизни... из-за ничтожного препятствия... каприза, каким он несомненно считает нашу любовь... Гарольд...

— Но я и не думал в чем-либо препятствовать этому старику! Лично мне совершенно все равно...

— Все дело в деньгах! *понимаете*? Вам известно, что я несметно богата? Ах, вы не знали! И все это богатство лишь мое... Но оно в его руках, дорогой — пока я не выйду замуж. Таково было завещание моего отца, понимаете? Пока же я остаюсь его племянницей, а он моим опекуном. Мои деньги составляют его *могущество* — могущество *Лиги*. Для него мой возлюбленный — самый смертельный враг Венеции. Он уничтожит *тысячу* жизней, если они встанут между ним и его мечтой, и он *в силах* это сделать...

— Дело в ином, Бельведера: через неделю, десять дней,

покинете ли вы Венецию — с согласия этого старого господина или без такового?

— О *да*, если это только *возможно*, не *жертвуя* вами! Поглядите! там! вы видели, как зашевелилась портьера? Мне нужно многое вам сказать… в час… ждите меня — вы знаете арку у портика Санта-Мария-делла-Салюте…

Портьера раздвинулась, и к ним неторопливо подошел незнакомый синьор в вечернем наряде. Он отвесил глубокий поклон. Бельведера подняла пальчик, шепнула Бранду: «В час» — и пошла за незнакомцем. Бранд вновь поднялся в зал; здесь толпа раздвинулась в обе стороны, образовав проход, по которому шествовал старик в великолепном малиновом бархате. Двойная линия голов колыхалась при его приближении, как листва на ветру. «Сам Мауро Беллини», — шепнул Бранду сосед. В огнях свечей рельефно выделялись тысячи морщинок на худом лице Беллини; губы его запали внутрь, в щель рта; но высокий, с залысинами лоб говорил о величии души. Он казался скорее неким первосвященником, чем гражданским сановником. Проходя мимо, Беллини намеренно повернул голову и направил предостерегающий взгляд на цветущее лицо Бранда. Тот с удивлением нахмурился и ответил взглядом холодным и дерзким. Это был вызов — и ответ на вызов.

Незадолго до часа ночи за портиком Санта-Марии притаились двое. Одним был мавр по имени Али, приземистый бык с веревками жил на горле и огромной нижней челюстью; другим — Рональдо, синьор, низко кланявшийся в коридоре.

Бельведера успела вновь очутиться в том же коридоре, пока в зале наверху Беллини и Бранд обменивались вызывающими взглядами; она в мучительной тревоге разыскивала Бранда. Отчаявшись его найти, она выбежала на площадь. Достигнув Мерчерии, она торопливо углубилась в переплетение улиц. В одном из переулков она издала нечто вроде йодля; открылась дверь, и на пороге, заслоняя свет лампы, показалась высокая старуха с растрепанными волосами. Несмотря на бедную одежду, на ее пальце сверкал бриллиант — подарок Бельведеры.

— Брешия! Быстрее — погаси эту *лампу*! Ты должна до ча-

са ночи быть у Санта-Марии!

— Да, синьорина.

— Англичанин... ты знаешь, о ком я... *в опасности*. Я просила его ждать меня там... и оказалось... Рональдо услышал. Что-то готовится, я знаю; какой-то заговор. Ты должна быть там и опередить англичанина. *Жди* его появления. Скажешь, что я не могу встретиться с ним этой ночью. Предупреди его... заставь его уйти, добрая Брешия... иди с ним... и смотри *в оба*, хорошо? Ступай! И, Брешия, возвращайся к двум с новостями. Я буду ждать тебя здесь.

Брешия погасила лампу, набросила на голову шаль и поспешно удалилась. Путь ее пролегал через лабиринты узких *calli*, по бесчисленным маленьким мостикам, мимо домов с нависающими балконами. Она пересекла пустынные улицы к северу от Риальто, повернула на запад, потом на юг. И на всем протяжении этого замысловатого пути она не переставала бормотать; часто с ее губ срывалось имя: «Мауро Беллини». Около часа ночи она добралась до Санта-Марии и затаилась в глубине арки.

— Он пришел! — прошептал черный, забегая за угол.

— Пешком? — спросил Рональдо.

— Да, синьор, я слышал шаги.

— Уверен?

— Это англичанин, синьор; я слышал шаги — шаги молодого человека.

— Тогда дай мне это.

Он взял из рук мавра кинжал и скользнул к арке. Брешия не успела даже осознать, что пришла смерть, как высокий, закутанный в плащ призрак вырос в проеме. Внезапно, в ночи — крик. Рональдо, видевший в полумраке лишь смутные очертания человеческой фигуры, заторопился прочь. За поворотом набережной ждала гондола. Он нырнул в каюту, свистнул, и Али оказался у весла.

Через две минуты прибыл Бранд и велел своим двум *barcaroli* ждать. Пришла ли она? Он заглянул в арку и ничего не увидел; однако услышал стон и, споткнувшись о тело, упал на руки над Брешией.

— Что еще за беда... — начал он; затем, осознав, что ле-

жавшая нуждается в его помощи, приподнял ее и подтащил ближе к проему. Луны не было, но он сумел разглядеть в полумраке перерезанное горло; старуха, тяжело навалившись на него, начала что-то бормотать. Он наклонился, стараясь расслышать то, что принял за предсмертный бред.

— Мауро Беллини... он уничтожил мою жизнь... девушка... молодая, невинная бедняжка... Потом он запер меня в тюремной камере... ах, долгие годы... Теперь он убил меня... Скажи ему... кто ты?.. ах, если бы могла я стать его смертью... но не все потеряно... я, Брешия, не оставлю его... покончу с ним... как-нибудь...ах!

Она вдруг напряглась.

— Полагаю, она умерла, — сказал вслух Бранд и вдруг заметил, что его грудь и руки были в крови. Мерный звук шагов испугал его. Он поднял голову и увидел приближающийся патруль: городские сбиры вышли на свой ночной обход. Промелькнула мысль о кровавых пятнах, чрезмерном рвении континентальных чиновников, ночи в каком-нибудь подземелье и, бросив: «Ну уж нет, благодарю вас!» — Бранд осторожно опустил тело и побежал. Сперва это даже немного забавляло его, но спустя две минуты дело приняло серьезный оборот. Сбиры гнались за ним. Бранд не представлял, куда бежал. Узкие улочки Венеции вымощены плитами и лишены тротуара; эхо бегущих ног направляет преследователя. Улочки эти бесконечно извиваются и разветвляются; повсюду нависают над каналами крошечные мостики. Каблуки Бранда стучали по плитам, не замедляясь на поворотах; отчаянное желание сохранить свободу вылилось в настоящее исступление бегства. Но преследователи, хорошо знавшие этот лабиринт, не отставали. Один из них уверенно настигал его. Наконец Бранд очутился на низкой пристани и, слыша за углом близящийся топот, спустился по трем ступенькам, схватился за железное кольцо в стене и погрузился в воду по самую шею. Здесь на воде лежала глубокая тень. Один из сбиров, подскочив к берегу канала, в изумлении остановился и принялся озираться в поисках Бранда.

За полчаса до этого Марио Беллини в одиночестве расхаживал по большому овальному залу своего палаццо. Вели-

чественный зал с колоннами был украшен классической лепниной. Руки Беллини были заложены за спину, широкие рукава, присобранные к запястьям, заканчивались тонкой кружевной оторочкой под названием *merletu*. Снаружи, у каждой из семи двери, за портьерами стоял человек. Вскоре один из стражников вошел, и слезящиеся, затуманенные глаза прочитали записку: «С делом Бранда покончено. В настоящее время тело лежит в известном вам месте».

— Где леди Бельведера? — низкий и сильный голос Беллини контрастировал с дряблостью впалых щек.

— Ее нет во дворце, ваше превосходительство.

— Я это знаю. Но *где* она?

— Не могу сказать, ваше превосходительство.

— Пришлите ко мне Дандоло.

Он продолжал расхаживать по залу, пока не появился Дандоло, высокий и крепкий, чванливый на вид человек в бархатной куртке, однорукий и кудрявый.

— Кто следит за синьориной Бельведерой?

— Орсеоло, Себастьян и Марко, господин.

— И где она?

— Не могу сказать. Себастьян получил указание спешить сюда, как только что-то узнает.

— Пришлите ко мне Антонелло.

Он снова стал расхаживать по залу; маленький Антонелло, жалкий лодочник с крысиным лицом, робко вошел и приблизился к нему. Беллини подошел к столу, стоявшему под тусклой лампой в центре зала, извлек из пачки официальных бланков бумагу и поднял лист, читая написанное через увеличительное стекло.

— Кажется, Антонелло, — сказал он, подчеркивая слова, — недавно в приюте Сан-Джорджо умер сумасшедший нищий. Понимаешь?

Антонелло нервно и подобострастно закивал.

— Судя по этому документу, родственника усопшего уговорили взять на себя погребение, а город предоставил, как обычно, свинцовый гроб. Здесь нет ни имени, ни адреса; несомненно, человек этот был последним отребьем; но все это можно узнать в приюте. Надеюсь, Антонелло, ты следишь за

нитью моей мысли? Безумцу был присвоен номер Л-385. Повтори: Л, 3, 8. 5.

— Л, 3, 8, 5, — повторил Антонелло.

— Очень хорошо. Есть ли сейчас у шлюзовых ворот свободная быстрая гондола?

— Только одна, ваше превосходительство — гондола синьорины Бельведеры.

— Годится. Возьми ее и не забудь это подписанное мною приказание о передаче тела покойника за номером Л-385. Узнай адрес родственника и доставь тело по этому адресу.

Антонелло начал пятиться.

— Стой! Правильно ли я помню, Антонелло, что ты работаешь в лодочной мастерской?

— Да, ваше превосходительство.

— Значит, я правильно понимаю, что ты вполне способен вбить в дерево гвоздь — ровно и прямо?

— О, да, господин.

— Тогда, как спустишься, ступай к Джеронимо, он даст тебе острые длинные гвозди и молоток, а также свинцовый груз и веревку. Все это ты возьмешь с собой. Гроб будет, как принято, закрыт скользящей крышкой, которую, я думаю, ты найдешь лишь слабо завинченной. Посреди Джудекки ты откроешь крышку, надежно прикрепишь к телу груз и опустишь тело в воду. Полагаю, ты меня понимаешь.

— Да, ваше превосходительство!

— Я могу, пожалуй, кое-что пояснить, Антонелло, — сказал Беллини, чуть дернув рукой. — Один бедный юноша... был убит... в стычке, и в интересах Лиги тело его должно быть скрыто навсегда. Если бросить тело в канал, останется небольшой шанс, что в один прекрасный день оно будет найдено и явит всем свои раны. У номера 385 ран на теле нет и, даже если тело найдут, он останется неопознанным. Поэтому я и решил похоронить убитого юношу как подобает. Его труп ты найдешь под аркой у Санта-Мария-делла-Салюте; положишь его в гроб сумасшедшего, крышку *заколотишь гвоздями* и доставишь гроб в дом родственника, взявшего на себя погребение. Я думаю, человеку его круга едва ли захочется осматривать тело давно позабытого безумца;

а если даже так, твои гвозди помешают этому проявлению излишнего любопытства. Сделай все как следует, Антонелло — и побыстрее.

Через десять минут Антонелло уже мчался к островку Сан-Джорджо; через тридцать, посреди Джудекки, он вытащил тело из гроба — простого продолговатого ящика, не напоминавшего по форме обычный гроб. Стоя в темной каютке, он уставился на труп.

— Пресвятая Мадонна! Да он чернее распятия из черного дерева! — прошептал Антонелло.

Потом ему пришла в голову занятная мысль.

— Так это же тот пес, папаша Али! ха! Помнится, отец у черного и вправду сидел в сумасшедшем доме. Значит, мне в Красный дворец его превосходительства!

Он чиркнул спичкой и сверился с бумагой, полученной у ворот приюта. И верно: на ней значилось имя Али и адрес Красного дворца. Это был один из трех палаццо Беллини — весьма старинный и выстроенный в ориентально-готическом стиле; дворец давно уже стоял темным и пустым, и лишь Али и кучка других подручных Беллини занимали несколько комнат.

Через две-три минуты тяжелое тело, как округлая колонна, перевернулось и исчезло в воде; глубины изрыгнули светящиеся пузыри; еще через несколько минут Антонелло склонился над трупом Брешии.

— *Это ли* бедный юноша, о котором говорил его превосходительство? — удивленно пробормотал он. — А может, его превосходительство так шутил? О да, он осторожен! — Антонелло со знающим видом приложил палец к своему подвижному носу. — Его превосходительство не станет болтать впустую. Уж он-то слов на ветер не бросает; нужно понимать его намеки — и повиноваться!

Антонелло, однако, принял меры предосторожности и обыскал нишу; ничего не обнаружив, он понес тело к гондоле. Бриллиант на пальце привлек его взгляд; он наклонился, нервно помедлил — и закрыл крышку. На носу раздался смех, когда он рассказал гондольерам о белой женщине — папаше Али; и они отплыли. За поворотом канала покачи-

валась на воде гондола Бранда, а в нескольких ярдах от нее пустая гондола сбиров.

В это самое время Бранд вновь спасался бегством. Сбиры, стоя на пристани, не заметили его и побежали дальше. Он цеплялся за кольцо до тех пор, пока все тело его не охватила дрожь; тогда он выбрался из воды и вновь бросился бежать, пытаясь наугад добраться до своей гондолы. Так он очутился у берега канала и, едва узнав свою гондолу, услышал позади и совсем близко крик: «Вот он!». Бранд отчаянно рванулся вперед, прыгнул в гондолу, велел своим людям грести изо всех сил и нырнул в каюту. Он заметил, однако, что сбиры отплыли вслед за ними и теперь бешено гребли, стараясь догнать гондолу.

Антонелло, приоткрыв занавеску каюты, склонился над гробом; он был всего в десяти ярдах впереди. Он уже приладил крышку на место; молоток и гвозди были наготове, но при воспоминании о бриллианте его вновь одолело искушение. Он боялся и помаргивал крысиными глазками. Он был человеком очень нервным, этот Антонелло, вечно дрожал и верил во всеведение его превосходительства — а в приказаниях его превосходительства ни слова не было сказано о бриллианте. Что будет, если узнают о его самоуправстве? Антонелло с крайней осторожностью сдвинул крышку. Затем ему пришла в голову мысль, что тело можно бросить в воду, скрыв тем самым все следы кражи; подхватив труп под мышки, он установил его в полусидячем положении и задумался. В это мгновение его лодка прошла под фонарем и Бранд, находившийся достаточно близко, узнал роскошную гондолу Бельведеры и обитую бархатом каюту с золотыми инкрустациями. Антонелло, сжимая бриллиант в руке, в свою очередь выглянул из каюты и увидел две гондолы; решив, что это преследователи, он с виноватым трепетом бросился к гондольерам, приказывая им грести во всю мочь ради его превосходительства. Сердце Бранда тем временем терзали тысячи сомнений. Неужели она там? в беде, в опасности? от кого она спасается? что делает здесь — и сейчас? И если он тайком проберется на ее гондолу, не подвергнет ли он опасности *себя*? Он кинулся на корму и, осыпая своих

людей щедрыми посулами, стал уговаривать их догнать плывущую впереди гондолу, испытывая двойственную дрожь нетерпения от сознания угрозы позади и обещания встречи впереди. Три изящных гондолы, легких, как жизнь, неслись словно стрижи над потревоженными водами.

О, Венеция! Безмолвная Сахара красоты! Каналаццо был пуст; лишь где-то далеко изредка вспыхивала на миг лампа гондолы, исчезая в пространстве воздуха и воды, как метеор в космической пустоте. Они мчались мимо бледных старинных дворцов, мавзолеев восточной славы с золочеными и крашеными фасадами, с башенками, арками и куполами; фонари отбрасывали на воду длинные темно-малиновые потоки света, а фосфорические взмахи весел далеко позади расходились по воде кругами, лениво разбивавшимися о мрамор лестниц, колонн и стен; повсюду вокруг, до древних звезд небосвода, царило полнейшее одиночество, тишина мрака, и только странные заунывные вопли гондольеров, извещавших на поворотах встречных о своем приближении, нарушали молчание. Первая гондола словно изогнулась, как живое существо, сворачивая в паутину узких и совершенно темных каналов; лишь здесь и там струились по воде отблески редких угловых фонарей. У одного из них Бранд, пригнувшийся на носу, легко перепрыгнул на корму передней гондолы, в то время как Антонелло, прятавшийся за каютой, ощутил легкое сотрясение и тотчас в смертельном страхе соскользнул в воду с бриллиантом в руке. Каюта в форме катафалка скрывала Бранда от гондольеров Антонелло, но его собственные люди в ожидании прыжка перестали грести — и сбиры уже их настигали. Он проскользнул в каюту Бельвидеры и, едва различая в темноте полулежащую фигуру, забормотал: «Любимая, во имя всего свято...» и порывисто наклонился вперед. Тут же он отпрянул и ахнул. Опять это тело — и здесь, в гондоле Бельведеры! Мысль о том, что она может быть хоть как-то замешана в темных делах своего дяди, вызывала у него тошноту; усилием воли он подавил подозрение. Но как оказался *здесь* этот труп? Много времени на раздумья ему не представилось: гондола пронеслась мимо коричневого, мавританского по виду здания с глухими стена-

ми, за исключением одного ряда окон у самой крыши, стоявшего на пересечении двух каналов, повернула и остановилась у бокового причала. Бранд вскочил и увидел трех человек в освещенном дверном проеме; к каюте приближались два гондольера, собиравшиеся помочь Антонелло выгрузить гроб. Они в изумлении уставились на Бранда. Один из гондольеров закричал:

— Да ведь это иностранец! Он убил малыша Антонелло и бросил тело в воду — видите, на нем кровь!

— Вы, идиоты! — начал было Бранд, но остановился, заметив в дверях знакомого ему синьора. Это был Рональдо, явившийся во дворец после убийства Брешии. Рональдо вздрогнул, внезапно увидев перед собой Бранда, но сразу успокоился и что-то шепнул остальным. Они двинулись вперед и быстро вытащили Бранда на причал. Его британские кулаки замелькали в воздухе, но к тому времени, когда сражающиеся достигли дверного проема, он уже лежал лицом вниз, а руки его были по локоть связаны за спиной веревкой, которую раздобыл Рональдо. Бранда затащили в ближайшее помещение и заперли за ним дверь.

Тем временем оба гондольера вошли в каюту, вернули труп за место, поспешно задвинули крышку и с трудом понесли эту ношу в комнату Али, расположенную на верхнем этаже. Когда они вернулись к гондоле, Рональдо протянул им записку.

В половине третьего Мауро Беллини, все еще расхаживавший взад и вперед по залу, прочитал записку Рональдо. Бранд был жив, но находился под замком в Красном дворце; Рональдо ждал указаний. Увядшее лицо Беллини вспыхнуло от ярости.

— Эти тупые рабы! — пробормотал он. Произошла ошибка — и рухнул весь замысел. Не помня себя от гнева и презрения, охваченный злобой, он написал в ответ: «Пытка страхом до четырех; после я лично прибуду во дворец».

Половина третьего! Бельведера, бледная, с плотно сжатыми губами, сидела и ждала в комнате Брешии, положив ладонь на гибкое бедро. «Брешия не пришла», — сказала себе она. Затем, полная энергии и воли, она выскользнула нару-

жу, побежала и на темном берегу канала села в наемную гондолу. Она добралась до арки близ Санта-Марии и увидела кровь. Ее или *его*? Она чуть не упала в обморок; затем, решительно повернувшись на высоких каблучках, вернулась в гондолу и назвала гостиницу Бранда. И там его не было!

— Я должна найти его, — сказала она.

Вскоре Бельведера стояла в убогой квартирке, а перед ней стоял горбун.

— Ты должен *найти* его, Паоло. Мне кажется, ты для этого достаточно *умен*.

Склонив голову, горбун кивнул. В глазах его светилось преклонение — преклонение влюбленного.

— Понимаешь, Паоло, он *мертв* или находится в большой *опасности*. Разошли по городу моих друзей — и своих; пусть ищут везде, пусть обыщут все *потайные* места. Я буду ждать одна в Палаццо Кальво. Пусть сразу же докладывают мне любые *новости*. Я все для тебя сделаю — все, что угодно, обещаю, Паоло — если ты добьешься успеха.

Через двадцать минут двадцать человек проворно прочесывали Венецию в поисках Бранда.

И однако, пытка страхом! это было достаточно тяжелое испытание. Бранд, видя, что сопротивление бесполезно, с совершенным презрением вышел из своей темницы и зашагал перед тремя тюремщиками на верхний этаж. Его заперли в просторной круглой комнате, освещенной скупым светом лампы. В комнате размещалось одно из фасадных окон, выходившее на канал и застекленное сплошным стеклом заподлицо со стеной. Стена, казалось, была обита потускневшей медью. На грязном полу валялись три старых сапога и бутылка из-под вина. Рядом с дверью — единственное подобие мебели — матрас; а на нем снова гроб Брешии. Это была комната Али, одна из старых пыточных камер инквизиции.

Откуда-то — казалось, сверху — донеслось щелканье; подняв голову, Бранд увидел, что весь куполообразный потолок был усеян множеством продолговатых щелей, маленьких черных отверстий, прорезанных во всех направлениях; и некие предметы, подвешенные на струнах в каждом из этих отверстий, медленно раскачивались из стороны в сторону, как

маятники. Его, неведомо почему, пронзил острый страх. Спустя десять минут он понял причину своего страха: воздух наполнился слабым *свистом*. Бранд заметил, что качающиеся струны начали удлиняться и что на концах их были подвешены массивные свинцовые шары. Кровь застыла в его жилах: это была ужасная и медленная смерть. Он стоял, запрокинув голову, и с восторгом ужаса глядел на приближающиеся шары, неотвратимые, как судьба, на их все усиливающийся размах и стремительность; казалось, их были тысячи, и они быстро рассекали воздух во всех направлениях — но адское устройство было так хорошо продумано, что они ни разу не столкнулись друг с другом. Бранд словно пережил целый век страданий, прежде чем уклонился от первого шара; комната превратилась в бедлам шипящей смерти; и через минуту Бранд уже нырял, метался, увертывался со связанными руками, с ловкостью клоуна и глазами безумца, от сложного полета и вездесущего бедствия мчащегося свинца.

Гонцы, один за другим, прибывали к Бельведере в Палаццо Кальво, сообщая, что поиски были безуспешны.

Бранд споткнулся и упал лицом вниз в ожидании смертельного удара, но внезапно шипение прекратилось, раздался грохочущий звук, и шары быстро ушли в потолок. Некоторое время он лежал, задыхаясь, но вскоре в удивлении вскочил. Теперь он заметил, что нижняя часть медной стены состояла из многочисленных арок и что под каждой из них, глубоко в толще стены, стоял на низкой медной платформе медный пес. Услышав вокруг себя какой-то шум — будто кто-то заводил тысячу часовых механизмов — Бранд прыгнул вперед; в следующую минуту его окружило низкое рычание разъяренных собак. Из каждой арки, кроме трех у постели Али, выскочил на конце медного прута лязгающий зубами пес. Крошечные колесики, на которых покоились их основания, были искусно приспособлены к материалу пола и в точности имитировали волчье рычание. Псы рванулись вперед, затем назад, после еще дальше вперед, снова отступили с непрерывным глухим рычанием, щелкая косо поставленными медными зубами. Эта старинная и некогда излюбленная пытка инквизиторов была известна Бранду; прочитанное в кни-

гах заставило его вспомнить о центре комнаты — в надежде, что *там* он может оказаться в безопасности; однако собаки, как он теперь видел, не бросались симметрично к центру помещения, а носились по всей комнате в исчисленном хаосе невообразимо спутанных траекторий. Псы были разных размеров, и зубы некоторых щелкали у его пояса; если бы им удалось вцепиться ему в ноги, они разорвали бы их на куски. Бранд решил было лечь на пол, но тотчас сообразил, что будет мгновенно раздавлен обезумевшими механизмами. С последней надеждой он повернулся к постели, но путь к отступлению был уже отрезан; тяжело дыша открытым ртом, безрукий, он метался и прыгал, теряя рассудок, среди них, над ними, вокруг них. Мир, казалось, был полон слепых и ужасных зубов, грохота и рева этого жуткого бешенства. Он прыгнул влево, в левую ногу его впились зубы, и он упал без чувств среди собак.

В половине четвертого Бельведера уже мчалась от Кальво к жилому дворцу; за ее гондолой следовала еще одна — в ней сидели семеро вооруженных людей. Ее посланцам не удалось найти Бранда. В передней она потребовала встречи с Беллини.

Старик вызвал Дандоло, что-то торопливо шепнул ему и громко велел впустить синьорину.

Она, в янтарном платье и все еще в маске, быстрым шагом подошла к столу, положила на него ладонь, другой уперлась в безупречный изгиб своей талии и произнесла:

— Мауро Беллини! Англичанин, Бранд!

Бесформенные глаза взглянули на нее с мягким отеческим выражением.

— Должен ли я должен воспринимать это как открытое неповиновение?— спросил Беллини.

— Как хотите.

— Такое с тобой впервые, Бельведера.

— Разве для этого нет *причины*?

— Ты не должна думать, дитя мое, что можешь безнаказанно бросить мне вызов.

— Считаете, я *испугалась*? Англичанин, Бранд — скажите мне, где он, или завтра же до заката весь мир узнает о *Лиге*.

— Это пустая угроза, дитя мое. Но я скажу тебе, если хочешь.

— О, я *хотела бы* это знать.

— Ты, однако, можешь пожалеть, если я скажу тебе.

— Вы думаете, мне не все равно, дядя? Во всем мире для меня нет *ничего*, кроме него. Теперь вы *знаете*. Я уничтожу и вас, и Венецию, и все, что угодно, если вы посмеете расправиться с ним. А сейчас скажите мне, *где* он.

Рука со стола переместилась на талию, рука с талии — на стол.

— Ты вправду хочешь знать?

— Безусловно.

— Хорошо, я скажу тебе, но можешь мне поверить, что ты пожалеешь об этом.

— Вы ведь не собираетесь со мной *шутить*? Говорите *сейчас же*!

— Он в Палаццо Россо, в камере пытки страхом.

Она заломила руки.

— Клянетесь честью?

— Да.

Не говоря ни слова, она повернулась и направилась к двери, через которую вошла. Беллини дважды позвонил в стоявший рядом с ним на столе колокольчик. Бельведера нашла дверь запертой. Пять из оставшихся шести дверей также оказались запертыми; шестая дверь выходила в коридор, ведущий в спальню Беллини, откуда другого выхода не было.

— Значит, я стала *пленницей*? — воскликнула она.

Беллини, просматривая какой-то документ, не ответил. Вскоре он удалился в свои покои, чтобы подготовиться к визиту в Красный дворец. Было почти четыре утра. Бельведера, рыдая, бросилась на кушетку.

Бранд очнулся, истекая кровью, одежда висела на нем лохмотьями. Хотя псы благополучно удалились в свои конуры, какой-то новый звук вторгся в его сознание, наполнив его новым страхом. Он был измучен долгими испытаниями, но с беспокойством старого скряги, ловящего слухом скрип пола под ногами полуночного вора, стал прислушиваться к

этому лязгающему звуку, доносящемуся снизу — и одновременно заметил открывшееся в полу черное пространство. Он в ужасе вскочил. Весь пол, как он теперь видел, состоял не из прямых половиц, а из широких колец, каждое из которых делилось на несколько частей. Именно эти участки сейчас один за другим быстро проваливались, исчезая из виду, а затем снова поднимались, поворачиваясь на скрытых петлях. Мало-помалу их движение стало быстрым, неисчислимым: то здесь, то там, то снова здесь, в бесконечных перестановках, внезапно начинали зиять черные провалы — и он пустился в безумный танец от кольца к кольцу, от люка к люку. Под ногами был ужас, каждый нерв напрягался в попытке уловить любые признаки ловушки, на мокром лбу Бранда выступили вены. Гроб! Внезапно он подумал, что постель и гроб, вероятно, прочно установлены на безопасном участке пола, отчаянно рванулся туда и в конвульсиях упал на крышку.

Здесь, спустя некоторое время, он начал размышлять. Были ли эти ужасы только пыткой или казнью? Убить его можно было уже давно; вероятно, это лишь пытка, за которой последует смерть. Кого винить? Он вспомнил взгляд Беллини на маскараде в прокураторском палаццо; интуиция подсказывала Бранду, что Беллини, наслаждаясь своим зловещим торжеством, не преминет нанести ему визит. Затем, прижав лоб к крышке, он начал вспоминать последние слова Брешии о том, как Беллини «убил» ее и как ей хотелось бы «стать смертью» старика и «покончить» с ним. Приподнявшись, он увидел, что движение пола прекратилось и только в одном месте у самой двери, вероятно, из-за какой-то поломки, открывался темный провал. Это подарило Бранду последнюю, полусуеверную надежду; стоя теперь спиной к гробу, он нащупал пальцами связанных рук углубление на крышке и немного сдвинул ее. Бранд отчаянно надеялся, что немощный старик, узрев внезапно свою жертву, отшатнется назад, навстречу гибели. Он отбежал в самый дальний угол комнаты и стал ждать.

Была половина пятого. Бельведера недолго пролежала в рыданиях. Она подняла глаза, увидела, что вокруг пусто,

и начала расхаживать по комнате. «Неужели я так *глупа*? — говорила она себе. — Неужели я *ничего* не могу сделать?» Внезапно, заметив на стуле сброшенную красную мантию Беллини и его четырехугольную камилавку, она превратилась в стремительную косулю. Подскочив к столу, она нашла ножницы и мигом обрезала бахрому скатерти, а затем, стоя перед зеркалом, надела головной убор и искусно и быстро создала под ним иллюзию седых волос. Завернувшись в мантию, она позвонила и отступила в густую тень. Кто-то вошел. Чуть повернув голову, она небрежно произнесла, подражая голосу Беллини:

— Синьорина удалилась в мои покои; теперь ты можешь отпереть дверь, Дандоло.

Через минуту она уже летела через дворец к водному шлюзу; еще через минуту Беллини, возвратившись, обнаружил ее уловку и, в ярости топая ногами, велел пяти своим приспешникам следовать за ним. Когда часы на башнях Венеции пробили без четверти пять, три гондолы — нанятая Бельведерой впереди, за ней семеро вооруженных людей, позади Беллини, подгоняемый гневом — понеслись в бешеной гонке, вздымая пену, по посветлевшему Каналаццо.

Бранд, притаившись в темноте, услышал шаги за дверью. Беллини? Его зубы застучали. Кто-то отодвинул массивный засов; кто-то вошел, споткнулся, зашатался на краю провала и упал, но сумел спасти свою жизнь, вцепившись в противоположный край. Вошедший подтянулся и вылез, глядя с тупым изумлением на дыру в полу.

— Что все это значит? — прорычал он.

Бранд увидел огромную кучерявую голову, черное лицо: пьяный мавр вернулся домой из винной лавки. Он стоял приземистой тушей, покачиваясь на кривых ногах, и силился удержать глаза открытыми.

Вскоре Али заметил гроб с приоткрытой крышкой.

— Ну, здравствуй! — проворчал он. — Ты, значит, там, мой проклятый отец? Прекрасно!

Затем, поразмыслив, он ткнул в гроб указательным пальцем:

— Но ты не мой проклятый отец! Неужто покойники так

бледнеют? И волосы длинные...

Али подошел ближе и заглянул в гроб. Подбоченясь, он затрясся от хохота.

— О, хо, хо! — он белый! Бедный мальчик весь побелел! Значит, вот что получается...

Внезапно он посерьезнел и мало-помалу начал сердиться.

— Послушай-ка, — сказал он трупу Брешии, — не нужны мне здесь никакие отцы. Кроме того, *ты* уж точно не мой треклятый отец...

Нижняя челюсть Али кровожадно выпятилась под верхней губой.

— Эй! А мне где прикажешь спать?.. — закричал он. — Убирайся отсюда, ты!..

Мавр рывком наклонился и схватил гроб.

— Вон, говорю тебе...

Пошатываясь, он добрался до окна; его ноша с грохотом проломила стекло и рухнула вниз. Вместе с гробом исчезла и последняя надежда Бранда.

В тот же миг в комнату ворвалась Бельведера, поспешно озираясь по сторонам. Увидев Бранда, она бросилась к нему и потащила его за руку.

— Быстрее!.. О, вы так *ослабели*? Он сейчас будет здесь, и с ним придет смерть!

Из коридоров доносился шум — эхо восклицаний, звуки торопливых шагов.

— Нас преследуют — слышите?.. О, ради всего святого...

Он бежал за ней быстро, как только мог, оборванный и окровавленный, со все еще связанными руками, пересекая множество темных коридоров, вниз по лестницам, задыхаясь. Бельведера, казалось, прекрасно знала дворец и выбирала задние лестницы и боковые переходы, удачно избегая преследователей; но в одном из коридоров они услышали прямо на пути топот ног. Она остановилась, сбитая с толку; повернула назад; побежала в затравленном страхе по боковому коридору, другому, третьему — и заблудилась. Преследователи не отставали. «Скорее! сюда!» — выдохнула она. Они проскользнули через открытую дверь в комнату и, сами того не зная,

оказались в дворцовой спальне; здесь стояла кровать под балдахином, на которой некогда спали венецианские дожи. Бельведера подскочила к двери, ощутила под пальцами металл и заперла засов. Шаги приближались, приближались... остановились у двери. «О, я умру вместе с тобой!» — прошептала Бельведера. Снаружи подергали ручку — враги, казалось, совещались — и несколько человек разом ударили плечами в дверь. Косяки прогнулись, дверь слетела с петель и упала на пол, комнату залил яркий свет лампы. Бранд и Бельведера в страхе стояли посреди спальни.

Но ворвавшаяся толпа не обратила на них внимания, удостоив лишь беглым взглядом. Лица у всех были мрачные.

— Положите его на кровать, — приказал Рональдо. — Это единственная приличная кровать в доме.

Три человека подошли к кровати, неся тело. Лицо и голова были раздавлены и превратились в кровавое месиво. То был Мауро Беллини: когда его гондола в пылу погони мчалась под окнами дворца, гроб с трупом Брешии обрушился на старика сверху, проломив крышу каюты.

Бельведера спрятала лицо на груди Бранда. Затем они вместе вышли из Красного дворца — и утро было на небе и на воде.

ДЕЛО ЕВФИМИИ РАПХАШ

От Господа направляются шаги человека;
человеку же как узнать путь свой? — Притчи.

О, он наконец-то здесь, мистер Паркер!

— Святые небеса! Вы говорите о докторе?

— О докторе, сэр — своими глазами его видела — пришел пешком — должно быть, вошел через северные ворота парка, а теперь он уже на дорожке!

Я выбежал на лужайку; он медленно приближался, в старом тонком сюртуке, глаза опущены долу.

— А, Паркер, — он поднял голову и протянул вялую руку, — это вы? Все хорошо, надеюсь?

— У *меня* все хорошо, благодарю вас, доктор.

— И почему вы выделили «меня»? Что-то с моей сестрой, Паркер?

Я был просто поражен.

— Вы не слыхали?

— Слыхал? Нет, ничего не слыхал.

— Господь милосердный! где вы только скитались?

— В дальних странах, Паркер.

Я не произнес больше ни слова, как и он. Впервые в жизни доктор ощутил страх — страх задать вопрос, на который я боялся ответить.

Мы вошли в мрачное, полуразрушенное строение, старинное здание, дом древнейшей расы. В небольшой комнате, именуемой нами «кабинетом», он уселся на диван и с завидным самообладанием сказал:

— Итак, Паркер — моя сестра.

— Мисс Евфимии, доктор, больше нет.

Его лицо оставалось каменным; но он побледнел. Через некоторое время я расслышал его бормотание:

— Так я и думал — такое уже как-то случалось.

Что именно? гадал я, но только добавил:

— Три недели назад, доктор.

— Отчего?

— Ее...

— Продолжайте.

— Доктор, ее...

— Скажите прямо, в конце концов — ее убили.

— Она была убита, доктор.

Я отчетливо вспоминаю его в ту минуту: худой, невысокий, с мощным лбом, переходящим в редкую, коротко остриженную поросль серо-стальных волос; толстые, плотно сжатые губы; бледное бритое лицо; и эти глаза, серые, такие беспокойные, вопрошающие, не замирающие ни на миг, переходящие с предмета на предмет, вверх, низ, по сторонам.

Имя его было прославлено в мире — апостол науки, иерофант средь архипастырей знания. За те пятнадцать лет, что я прослужил у него секретарем, он написал девять книг, и каждая их них была в своем духе основополагающей. Его заслуги в области научной мысли были действительно неизмеримы — хотя не скажу, что постоянны; по крайней мере, насколько я мог судить, так как доктор время от времени покидал меня, нередко занятого какой-либо работой, и на долгие недели исчезал из Рапхаш-Тауэрс; не сумел я и определить, влекли ли его за моря саркофаги древних египетских династий, раскопки в Микенах или соблазны Хорсабада и Баальбека. Я лишь знал, что он порой бесшумно и таинственно исчезает и так же тихо возвращается в положенное время к своим трудам; немногословие так глубоко укоренилось в нем, что могло показаться грубостью.

Старая экономка и я, не считая доктора и мисс Евфимии, были единственными обитателями ветхого особняка. Мы занимали малую часть первого этажа в одном из громадных крыльев здания. Ни единый посетитель не нарушал нашего одиночества, помимо джентльмена, чьи визиты всегда приходились на периоды отсутствия доктора. Он надолго уединялся с мисс Евфимией, и я подозревал, что здесь имело место давнее увлечение; доктор не высказывал по этому

поводу никаких возражений.

Мисс Евфимия, дама сорока пяти лет, ростом была повыше брата, но в остальном внешне очень походила на него. Чтение книг из библиотеки доктора дало ей хорошее образование. Ни за что не смог бы сказать, почему — ибо они едва обменивались и словом — но постепенно я пришел к убеждению, что каждая из этих жизней была необходима другой, как воздух, которым они дышали.

Вот уже три недели газеты обсуждали невероятное исчезновение мисс Евфимии, и он, единственный из всех людей, ничего об этом не знал! Он взглянул на меня сквозь полуприкрытые веки и произнес с привычной равнодушной сухостью:

— Изложите обстоятельства.

Я отвечал:

— Я был в Лондоне по делам, связанным с вашим имением в Шропшире, и могу лишь повторить показания старой миссис Грант. Мисс Евфимию, как ни странно это звучит, убедили принять участие в похоронах одной леди в Рингльторпе, знакомой ей с юности; она оставалась с друзьями покойной и сюда возвратилась лишь к полуночи. На ней были, похоже, кое-какие старинные фамильные украшения. К часу ночи дом погрузился во тьму; час спустя ночную тишину разорвал пронзительный крик. Миссис Грант ощупью зажгла свечу, выглянула в коридор и увидела смутные очертания человека, бегущего к ней с каким-то необычным оружием, ярко блеснувшим в полутьме — это был, как ей показалось, маленький, жилистый мужчина. Мисс Грант успела захлопнуть дверь, и он тут же принялся яростно в нее колотиться; при этом, как ей почудилось, чей-то голос начал со злобой отчитывать нападавшего. Но здесь ее свидетельство становится совсем запутанным; через несколько часов она пришла в себя, поспешила в спальню госпожи и нашла комнату пустой.

— Иными словами, бриллианты исчезли?

— Исчезла сама мисс Рапхаш.

— А бриллианты?

— Украшения лежали на туалетном столике, там же, где

она их оставила. К ним никто не прикасался.

— Очевидно, убийца явился не ради грабежа.

— Безусловно. Он или они, правда, взяли некоторые ценности из вашей комнаты и из моей, на общую сумму в четыреста фунтов.

— Но хоть что-то удалось отследить?

— Нет. Кое-что из пропавшего было найдено, но не «отслежено».

— Найдено где?

— В кустах прямо под балконом южного крыла.

— Странные грабители. И тело сестры нашли...

— Нигде не нашли.

— Тело зарыли в парке.

— Определенно, нет. Парк самым тщательным образом обыскали.

— Значит, сожгли.

— Не в доме, и опять же не в парке. По какой-то жуткой причине тело унесли.

— И его нет *сейчас* в доме, к примеру?

— Нет — если только можно доверять скрупулезнейшим поискам в самых темных закоулках.

— Пятна крови были?

— Несколько, на кровати.

— И никакой зацепки?

— Только одна. Судя по всему, убийца или один из убийц снял ботинки перед тем, как войти в дом, а после, убегая, позабыл о них, что само по себе довольно загадочно.

— Все очень просто. Он надел ваши или мои.

— Нет. Ботинки были огромного размера; будь его нога и втрое меньше, он не влез бы в вашу либо мою обувь.

— И все же миссис Грант утверждает, что видела человека маленького роста; странно, что у него были такие громадные ступни.

— В таком случае, вполне понятно, что нападавших было несколько.

— Однако я склоняюсь к гипотезе, что убийца действовал в одиночку; если мужество или память изменили одному, он мог еще бросить бриллианты, но двое — вряд ли. Мис-

сис Грант, в расстройстве чувств, могла ошибиться в оценке его роста; и в ходе моих собственных антропологических исследований я сталкивался с подобным несоответствием роста и размера ступней — ведь у человеческих существ иногда сохраняются обезьяньи черты.

— Есть еще кое-что, — сказал я. — Ботинки оказались непарными.

— Но это же зацепка! — воскликнул доктор. — Убийца у меня в руках. Теперь вы рассказали все?

— Я не упомянул о джентльмене, который в тот день приходил к мисс Рапхаш.

— Ах, вот оно что. И как он выглядел?

— Высокий, одетый в черное, среднего возраста, с бакенбардами. Он бывал здесь в ваше отсутствие. Миссис Грант уверяет, что мисс Рапхаш несколько злилась, беседуя с ним, но слов ее она не разобрала.

— Вот как! — произнес доктор и снова начал без остановки расхаживать по кабинету.

— Возможно, — продолжал он, помолчав, — что темные глубины, видящиеся полисмену непроглядно черными, покажутся на взгляд мыслителя прозрачными. Приступим к осмотру дома.

Наука научила доктора трудиться, не ожидая быстрого результата. Мы провели немало часов в бесплодном обыске затхлой громады дома; в торжественной тишине его крыльев эпохи Тюдоров, где поступь человека, возможно, веками не пробуждала отклика эха; в глубоких подвалах с коркой селитры на стенах. Наконец мы оказались в древних покоях на втором этаже, окна которых выходили на участок сада, поросший кустами. Помещение было очень сырым и сумрачным, висевшие на стенах аррасские гобелены превратились в серые тряпки. Доктор использовал его как своеобразную кладовую: здесь громоздились кости мамонтов, зародыши в стеклянных бутылях, окаменелости, образчики морских губок, а также каменные, железные и бронзовые орудия. У одной из стен стоял массивный дубовый сундук, резной, почерневший от старости. В нем, как и в тайной нише, скрытой за панелью, хранились груды ко-

стей, снабженные аккуратными этикетками.

Замок на двери имел необычную конструкцию, и доктор всегда носил с собой ключ. Поэтому, войдя в комнату, я не смог сдержать улыбки и заметил:

— Уж тут, по меньшей мере, поиски будут напрасны.

Он посмотрел на меня и с упрямым видом вошел внутрь. Свет едва проникал сквозь въевшуюся в оконное стекло сажу. То тут, то там старинные доспехи или погребальная урна из Этрурии отсвечивали в полутьме серым налетом плесени; повсюду лежал слой влажной пыли.

— Здесь кто-то побывал, — сказал доктор.

— Доктор!

— Оконная защелка, похоже, сорвана; и поглядите на пыль на полу — разве не выглядит она...

— Но это невозможно, никак невозможно. Всему есть предел, — ответил я.

Он открыл окно. Под ним находился каменный балкон первого этажа, откуда по стене у самого окна тянулась вверх оловянная водосточная труба. В садовых кустах под этим балконом и были найдены похищенные ценности.

— Он взобрался, как видите, по водосточной трубе, — сказал доктор. — Может показаться, что человеку подобное не под силу, и тем не менее, вот труба, а вот покосившаяся защелка. Мы должны оценивать факты по мере их обнаружения.

— Но по крайней мере, доктор, не забрался же он сюда с мертвым телом в руках?

— Нет. В этом вы правы.

— И через дверь не входил.

— Нет.

— Тогда искать здесь бессмысленно.

— Без сомнений. Загляните-ка за панель.

Я заглянул и увидел лишь пыльные кости допотопных чудовищ.

— Думаю, *здесь* ее нет? — сказал он, постучав костяшками пальцев по сундуку.

Я улыбнулся.

— Нет, доктор, в сундуке тела нет. Не родился еще чело-

век, который разгадал бы древний секрет *этого* замка.

— Идемте отсюда, Паркер. За мной — мы найдем ее.

Мы вышли, и он снова запер в комнате вековую тишину и уединение. Великие умы обращаются к задачам, которые уже в силу своей огромности видятся обычным людям полнейшей глупостью. Область невозможного есть истинное поле деятельности гения. Но, с другой стороны, толпу можно понять, если при виде гения она испытывает недоверие или возмущение, а то и разражается гомерическим хохотом.

И, должен признаться, я с некоторым раздражением выслушал доктора, заявившего:

— Мы должны найти *его*, Паркер — убийцу моей сестры — похитителя ее тела. Это дело мы не можем оставить на произвол неотесанного интеллекта властей. Выследим *его* — и *после* благополучно вернемся к рассмотрению научных вопросов, связанных со сравнительной мифологией.

Его метод, однако, отличался своими странностями. Близко познакомиться со всем криминальным сословием Лондона — предприятие сложное, если не вовсе непредставимое. Но именно это он вознамерился сделать. В течение нескольких месяцев мы изучили новый язык и стали своими в новом мире. Да, мы познали язык и мир Восточного Лондона, оделись как «работяги» и приобрели манеры пропащего отребья.

Только тогда передо мной раскрылись пугающие глубины души доктора Рапхаша. Его ненависть к неизвестному убийце казалась мне дьявольской. «Выследим *его*». Вся его жизнь стала воплощением этой фразы. Человек науки превратился в хищного зверя, сохраняя в то же время совершенное хладнокровие ученого; накал страсти, граничивший с безумием, скрывался под безмятежностью океанских вод; ангел мщения *без* взора горящего и меча пламенеющего.

Дни и ночи мы проводили в тавернах, игорных притонах, каморках ростовщиков, бродили с головорезами по улицам трущоб и расталкивали буйные толпы у дверей мюзик-холлов. Мы стали закадычными друзьями людей, открыто и не краснея хваставшихся своими разнообразными подвигами на ниве преступности. По утрам мы разделялись, ве-

черами рассказывали друг другу события дня. И затем я до поздней ночи слышал в соседней комнате размеренные тихие шаги этого божественного терпения. Только они, да еще блеск в глазах, выдавали терзавшую сердце доктора манию.

В один прекрасный день я кое-что услышал.

Две женщины с развратными лицами стояли у стойки пропахшей джином забегаловки.

— Ну как твой старик? — услышал я.

— А ну его ко всем чертям, вот что. Утром отнесла в ломбард его ботинки — последнее, что еще осталось. А там их и не взяли.

— Дырявые, что ли?

— Да нет, прочные, вот разве непарные.

— Да ну!

— Богом клянусь... Чуть ему зенки не выцарапала за эти ботинки. Покупаю милорду летом отличную пару и он в них вышивает на уборке хмеля, что твой король; а два месяца назад заявился — на правой ноге свой ботинок, а на левой чужой.

— И чего он имел сказать в свое оправдание?

— Тут-то самая и заковыка. Всякий раз, как спрашиваю, он заводит: «Отвали, женщина» да «Отстань, говорю тебе». Бьюсь об заклад, был он на деле, угодил в передрягу, а теперь ничего говорить не хочет.

Не стоит и упоминать, какими путями я полчаса спустя сделался сердечным приятелем обеих женщин. Время, место и обстоятельства, о которых шла речь, глубоко впечатлили меня, и по расставании с женщинами я был убежден, что полученные мною имя и адрес были именем и адресом нашего убийцы. Когда доктор Рапхаш, изможденный и бледный, как покойник, вернулся тем вечером в нашу маленькую мансарду, я крепко пожал ему руку.

— У вас для меня новости, Паркер.

— Слышал кое-что, что может иметь отношение к делу.

И я рассказал ему о встрече с женщинами.

— Несомненно, отношение самое прямое. Пойдемте.

— Вы выглядите усталым. Может быть, завтра...

— Ни за что! Сегодня, слышите, сейчас же — *сейчас же* — пришло время найти искомое... — и он топнул ногой по полу.

Я в изумлении посмотрел на него. Впервые, казалось, свойственное доктору божественное спокойствие покинуло его.

Мы вышли; предосторожности ради я вооружился револьвером Кольта. Когда мы, блуждая в бесконечных лабиринтах, нашли нужный дом, доктор наконец заговорил:

— Света нет, как видите; не иначе, он еще не вернулся домой. Сделаем так: подождите здесь, затем заговорите с ним, подведите его сюда, под фонарь, рассмотрите хорошенько ботинки и пригласите его выпить. Я буду ждать на другом углу и присоединюсь к вам.

С неба плавно падали хлопья снега. Я ходил взад и вперед, как часовой, пытаясь согреться; доктор застыл в неподвижности. Часы на шведской церквушке пробили полночь, и в тот же миг я увидел рядом чернорабочего.

— Холодно нынче, приятель, — дружески заметил я.

— Да уж, — отозвался он.

Его зубы стучали, лицо посинело. Поднятый воротник пальто, засунутые глубоко в карманы руки и согбенная поза без слов говорили о муках холода.

— Ты весь замерз, кажись. Пойдем, выпьешь со мной.

— Стаканчик мне не повредит, приятель. Целый день во рту и крошки не было.

— Что — на мели?

— Не то слово!

— Пошли тогда в «Коричневый медведь».

Он последовал за мной. Под фонарем я остановился.

— Тебе нравится «Коричневый медведь»? Если нет...

Свет упал на него. При виде его слабовольного лица и робких голубых глаз меня охватило чувство презрения и разочарования. Но ботинки на его ногах, во всяком случае, были парными к тем, что я передал властям.

Доктор неторопливо приближался к нам и был уже на середине улицы, когда Харди поднял голову и заметил его.

Лицо его стремительно и непередаваемо изменилось.

Глаза вспыхнули, лицо залила синюшная бледность; он пошатнулся, оперся об ограду и затем внезапно бросился наутек, за угол, точно спасаясь от смертельной опасности.

Доктор кинулся за ним; я бежал следом. Теперь мне стало ясно, что друг мой, помимо неизведанных душевных глубин, обладал и значительной физической силой. Расстояние между нами все увеличивалось. На ногах у него выросли крылья. Харди, конечно, лучше нас знал запутанные и мрачные проулки, где искал теперь спасение. Порой он на мгновение исчезал из глаз. Но доктор постепенно нагонял его, «выслеживал», как охотник дичь. Улицы были пустынны.

Харди вдруг метнулся в глухой переулок. Дом в конце его стоял в запустении, все окна были разбиты. Проникни беглец в дом, и он скрылся бы от нас через черный ход. Я понял, что Харди с самого начала направлялся сюда. Подбежав к дому, он поспешно скатился по наружной лестнице в подвальный этаж, находившийся ниже уровня улицы.

— Стреляйте! — закричал доктор, оглядываясь. — Достаньте револьвер — стреляйте!

Я был далек от такой мысли, да и стрелять было слишком поздно, так как Харди исчез. Минуту спустя мы вслед за ним сбежали по ступенькам, миновали металлическую решетчатую дверь и очутились в широком и сыром подвале с низким потолком; наши ноги глубоко ушли в слой мягкой и рыхлой земли, служившей полом. Другого выхода из подвала не было; я начал было осматриваться в поисках Харди, когда дверь позади нас неожиданно захлопнулась. Засов с лязгом опустился в скобу на наружной стене.

Итак, мы превратились в пленников. Было ясно, что беглец спустился в подвал и как-то сумел покинуть его, не выходя через дверь. Но этим наши умозаключения исчерпывались. Темнота была непроглядна, как сам Эреб; каждый шаг вздымал целые облака душившей нас пыли; но сырой холод, что охватил нас после горячки погони, не позволял произнести ни слова. Я ощупал стены, выстрелил из револьвера, но вспышка осветила лишь участок нештукатуреной стены и низкий потолок; я бился и кричал у двери, но дома

вокруг лежали в развалинах, и мне ответило только эхо.

Ранним утром меня донельзя ужаснул, признаюсь, доктор Рапхаш. Я со всей ясностью осознал, что он не в себе и страдает гораздо больше, чем я. За всю ночь он выдавил из себя не более одного-двух слов. Он сидел скорчившись в углу, в пыли, согнув колени и закрыв руками голову. Я на ощупь нашел его.

В какой-то момент я в тревоге сказал:

— Доктор, не спите! От холода вы...

— Нет, нет, — с горечью произнес он, — этой ночью сон мне не грозит.

Я стал расхаживать по подвалу, волоча ноги в пыли и пытаясь согреться. Тихий стон привлек меня к нему, и мои холодные пальцы прикоснулись к его лбу, словно к раскаленной плите.

— Вы очень страдаете, — сказал я.

— Оставьте меня, Паркер! Ступайте прочь!

Миновал еще час, и я понял, что он теперь быстро меряет шагами всю длину подвала; быстро! — наполняя подвал постоянной невыносимой вонью коричневых частичек пыли. Я долго стоял неподвижно: негромкие звуки то приближались, когда он оказывался рядом, то стихали, и я мысленно следил за его передвижениями в облаках пыли, определяя для себя — вот он здесь, там, сейчас вон там. Мне помогало его невнятное бормотание. Казалось, он не сознавал, что я был рядом.

Когда дышать стало почти невозможно, я направился к нему. Мою голову что-то задело; я нащупал рукой веревку, свисавшую с потолка. Не понимая ее назначения, я в конце концов с немалыми усилиями забрался по веревке наверх. Моя голова ударилась о потолок. Я повел рукой и наткнулся на что-то, показавшееся мне внутренней стороной люка. Сразу же стало понятно, как Харди удалось бежать из подвала. Я надавил кулаком, и в подвал проник тонкий луч света. Минуту спустя я оказался на свободе — снаружи уже начинался день.

Незнакомое, иссиня-бледное лицо глянуло на меня снизу, дико вращая глазами. Я помог доктору забраться наверх и

мы вместе вышли на улицу.

Здесь он вдруг схватил меня за руку.

— Паркер! — он дышал с судорожными всхлипами, — будьте цепки, как пиявка! Ради меня, друг мой! Выследите его! Прощайте... Безумец! не вздумайте следовать... Прощайте!

И прежде чем я всплыл на поверхность из глубин удивления и оцепенения, в которое повергли меня его слова, точнее шипение, он бешено рванулся вниз по улице, остановил проезжавший кэб и исчез.

После таинственного бегства доктора Рапхаша, бросившего наши поиски накануне их успешного завершения, мне оставалось лишь вернуться в имение и ждать. Я рассказал полиции о работнике с непарными ботинками (с тех пор он благополучно скрывался), и долг свой, собственно говоря, счел таким образом исполненным.

Месяц спустя я заметил как-то вечером подозрительного человека; заслышав мои шаги, он нырнул в кусты — те самые кусты, где были найдены украденные в доме ценности.

Меня сопровождал рослый мастиф. Я подошел ближе и громко произнес:

— Не пытайтесь бежать. Встаньте и поднимите руки над головой. Я вооружен — а собаку вы и сами видите.

Меня меньше удивил бы звук выстрела, чем пристыженный вид, с каким беглец поднялся на ноги. Я тотчас узнал вялую физиономию Харди.

— Я никого не хотел обидеть, хозяин, — сказал он, приподнимая шляпу и дрожа, как осиновый лист.

— Так-так. Мы с тобой уже встречались, Харди.

Он внимательно оглядел меня и покачал головой.

— Стало быть, вы меня получше знаете, чем я вас, сэр.

— Тебе придется пройти со мной, Чарльз.

Я взял его за руку и провел в дом; когда мы вошли, я велел миссис Грант послать за парочкой обретавшихся вдалеке от нас местных полисменов. Затем я запер дверь и об-

ратил взгляд на своего пленника. Подумать только, это существо разразилось слезами!

— Ну хватит, Чарльз, — сказал я, — прекрати рыдать и расскажи мне, что ты делал в тех кустах.

— Искал кольца и другие вещи. Меня погнал голод — весь последний месяц за мной охотились, как за зверем, я и не выдержал.

— Какие кольца?

— Которые я бросил в тех кустах. Думал, может, одно куда-нибудь завалилось да так и лежит.

— Так ты признаешься в ограблении?

— Признаюсь, хозяин. В первый раз со мной такое и, надеюсь, в последний. Ни минуты покоя с тех пор не знал. Я даже веревку приладил в старом подвале, хотел повеситься, да только боязно мне стало...

— И в убийстве признаешься?

— Убийстве, хозяин? — испуганно вскричал он. — Убийстве! *Я-то* никого не убивал, хозяин, это один из тех двоих. Кто же, как не я, чуть не окочурился, когда увидел, что он сделал?

— Говоришь, с тобой были еще двое?

— Да, сэр. Один работник вроде меня и еще старик.

— Рассказывай.

— Мы с приятелем, сэр, отправились на уборку хмеля. А он парень дикий, работать в поле ему скучно, вот он и говорит мне, что в эти сельские дома забраться легко, пожива там есть и совсем не опасно. А парень он из таких, что слова «нет» напрочь не понимают, и вот раз ночью стоим мы за старым сараем с той стороны и ждем, покуда старуха заснет, и вдруг как из-под земли выскакивает между нами тот старик. Я давай бежать, он ведь показался мне как призрак, а Джим, он посмелее будет, стоит на месте; а вскоре он мне свистит и, когда я подхожу, говорит: «Вот так штука, Чарли», говорит он, «старик-то и сам вышел на дело». «От напарников одни беды, Джим», говорю я, а он говорит: «Да ладно тебе, живи и дай жить другим». В общем, тут мы с Джимом снимаем ботинки и залезаем в дом. И только мы все оказались в доме, как старик начинает командовать, гово-

рит нам, куда идти и что делать, а мы с Джимом все делаем, как он велит, будто так и нужно. А он каждый угол там знает, и перво-наперво он ведет нас в комнату и говорит, точно ошалелый: «Грабьте теперь! разоряйте и опустошайте! Сколько вашей душе угодно!» После лезет на полку, и достает из ящика такой необычный блестящий нож, закрывает ящик — я так думаю, у него были ключи ко всем замкам в доме — выскакивает и бежит в комнату напротив. «Чудной он какой-то», говорит Джим и сам глядит как ошалелый, «прям дрожь пробирает», говорит, и не успел я ему сказать, что это сам дьявол или привидение какое, слышим мы в другой комнате, будто драка, и будто кто задыхается, а после долгий такой крик, какой я до смерти не забуду. И тут же выскакивает старик с горящими глазами и бросается на дверь другой старухи чуток поодаль. Джима прошиб холодный пот, но он набрался храбрости и попробовал его успокоить, и наконец тот старик бежит к убитой леди и снова выскакивает, несет ее на руках, будто перышко, а прямо в груди у ней рана и седые волосы волочатся по полу. И тут он подходит к нам и благородно так говорит: «Построиться предо мною! шагом марш! марш! я покажу вам добычу и приведу вас к грудам сокровищ, что созрели для вашей жатвы!» Я прямо запомнил эти его слова. И он заставляет нас идти впереди, мы проходим весь дом и идем в другое крыло и там поднимаемся на второй этаж, и тут приходим в пыльную комнату с кучей костей мертвецов и — там, о Господи! спрячьте меня! там — там — *вон он*! Он зарежет меня, как пришил моего приятеля — он и вас прирежет...

Он резко вскочил и спрятался за моим креслом, присев на корточки. В ушах у меня еще звучал панический крик Харди, когда внушительная дверь медленно распахнулась и в комнату вступил доктор Рапхаш. Я застыл, вцепившись руками в подлокотники кресла.

— Итак, Паркер, — по обыкновению равнодушно и сухо произнес он, — это снова я, как видите. Но кто это тут у нас... убийца наконец пойман, не сомневаюсь!

Его взгляд зажегся торжеством, упав на Харди, который,

побледнев как полотно и тяжело дыша, стоял теперь у стены.

— Да, убийца! — выдохнул Харди. — Да только это не я! О, у меня доказательств хватит! Вы были в этом самом сюртуке — а пятно крови на рукаве уже замыли?

Доктор Рапхаш уселся, еле заметно улыбаясь и не спуская глаз с Харди. Затем он осмотрел свой рукав.

— Удивительное дело, — вполголоса заметил он, словно размышляя вслух. — Я заметил пятно на рукаве; это никак не может быть кровь; поглядите, Паркер, это ведь не похоже на кровь, а?

Но мои глаза заволоклись густым красным туманом; я ничего не видел.

— Самая настоящая кровь, — продолжал Харди; спокойный тон доктора придал ему мужества. — Вы и сами это знаете, а может, совсем обезумели той ночью и не знаете ничего. Только умалишенный мог тащить тело этой леди так далеко, чтобы запихнуть его в старый сундук; а там, разве не вы гнались за Джимом по всей комнате и резали его ножом, как собаку, и приговаривали, что один труп сундук не заполнит? И если бы я не слез с балкона по трубе, разве вы не убили бы и меня? Не вы ли выглянули из окна и велели мне готовиться, потому как вы уже идете, так что мне пришлось прыгнуть, и покатиться по земле, и растерять все ценное, а потом схватить два первых попавшихся ботинка, когда вы спустились и погнались за мной?

Я глядел на доктора Рапхаша; пока Харди произносил эти недвусмысленные обвинения, он не издал ни звука; постепенно желтоватая смертная бледность разлилась по его лицу, оно застыло и напряглось; голова его свесилась на грудь, ноги и руки выпрямились как палки и недвижно торчали из туловища; в глазах появилось поистине жуткое, холодное, каменное выражение, придававшее ему вид непреклонно-сурового Радаманта.

Я подбежал и сжал его холодные и влажные пальцы в своих; но он не узнал меня. Так он сидел в течение нескольких минут, и ни единый звук не нарушал тишину комнаты.

Затем, не пошевелив окаменевшими конечностями, он

поднял голову и с трудом откинул ее на спинку кресла; и с этим движением из его побелевших губ — все более высокий, раскат за раскатом, в ужасающей членораздельности, пронзительным стаккато — вырвался перезвон маниакального смеха. И когда он стих, на лице доктора медленно проявилась бессмысленная улыбка идиота.

Весь дрожа, я схватил Харди за руку, неверными шагами выбежал из комнаты, захлопнул дверь и запер внутри человеческую развалину.

Так доктор Арнот Рапхаш выследил убийцу своей сестры; и так, вместе с ним, пал, как иудейский храм, Дом Рапхашей в графстве Кент.

Спустя несколько дней я получил письмо; привожу некоторые отрывки:

«Когда я сообщу вам, что являюсь владельцем частной клиники для душевнобольных, названием которой помечено это письмо, и кузеном доктора Рапхаша, вы тотчас сделаете вывод, что периоды его необъяснимого (для вас) отсутствия всегда совпадали со временем его добровольного пребывания в моем заведении. Он хорошо изучил первые симптомы — головная боль, высокая температура и т.п. — и обычно располагал двумя-тремя днями отсрочки до полноценного приступа болезни. Случалось, однако, что недуг нападал на него внезапно, особенно в тех случаях, когда приступу предшествовало любое волнение; например, месяц назад он поступил в мое заведение уже в совершенно безумном состоянии, и я немедленно заключил, что в этом повинно какое-то сильное потрясение... Первый пароксизм наступил у него в возрасте тридцати лет: только что женившись, он убил свою молодую супругу, заперев ее в комнате, наполненной ядовитым газом. Пребывая в здравом уме, он ничего не помнил о своих безумных деяниях, отличавшихся большой хитростью и ярко выраженной манией человекоубийства, направленной в основном на самых близких людей. О судьбе жены он так и не узнал, поскольку был немедленно помещен под мою опеку, а по возвращении домой нашел лишь ее могилу... Когда он покидал клинику, «излечившись» после

гибели сестры, я посчитал благоразумным ничего не рассказывать ему о трагедии, решив, что для него предпочтительней вернуться в Тауэрс, прежде чем тяжкий груз этого известия падет на его едва окрепшие плечи; именно поэтому он ничего не знал о происшедшем... Вероятно, я попадался вам на глаза, когда посещал мисс Рапхаш во время пребывания доктора в клинике; целью моих визитов были подробнейшие отчеты о состоянии ее брата, каких требовала от меня мисс Рапхаш. В день трагедии у нас произошел довольно острый спор относительно необходимости заковать ее брата в кандалы; она резко возражала, я настаивал. К несчастью, я поддался ее влиянию, последствием же стала ее смерть... Теперь не остается никаких сомнений, что доктор в ту ночь бежал из моего заведения; понятия не имею, как ему удалось незамеченным покинуть клинику и прилегающий участок и вернуться обратно; однако хитроумие его, как я уже намекал, воистину не знает границ... Должен лишь прибавить, что в скором времени буду иметь — готов почти сказать, удовольствие — сообщить вам о смерти доктора Рапхаша. Он может протянуть еще несколько недель, но конец, как бы то ни было, уже близок.

ОН ПРОБУЖДАЕТ ЭХО

Кажется невероятным, но следует помнить,
что то был василиск — Плиний.

Мы обитали в Эбби-Хоу, доме Монка в Котсуолдсе; глазная болезнь Монка — для облегчения которой он носил в одном ухе золотую затычку — обострилась, и он тихо сидел целыми днями у камина в библиотеке, надвинув на глаза зеленый козырек; огонь рельефно высвечивал его профиль. Собственно говоря, мы и жили в библиотеке, где все окна были наглухо закрыты ставнями, так что в полдень мы были столь же скрыты от солнца, как и в полночь; возможно, сознание того, что снаружи особняк казался воплощением многовекового запустения, усиливало нашу склонность к праздности; Монк не подавал никаких признаков жизни, лишь иногда вздрагивал от порывов осеннего ветра, завывавшего среди холмов.

Но в случае Монка можно было не сомневаться, что перемена не заставит себя ждать. Пришла минута, когда он пошевелился и потянулся; после на несколько минут вновь наступил рецидив мертвой неподвижности; затем он задумчиво подался вперед, нахмурив лоб, и вдруг вскочил, засмеялся и пробормотал:

— Боже мой, как я голоден!

Его терзал голод по многим вещам: городам, жизненным бурям, гуще битвы. Подняв над глазами козырек, он произнес:

— Знаете, о чем я думал? О том, что нас может пробудить к жизни какое-нибудь значительное преступление.

— В этом нет сомнения, — отозвался я. — Но кто же станет целью нашего преступления?

— О, бросьте, нам незачем совершать преступление самим, — сказал он. — Я хочу сказать, что сначала мы долж-

ны придумать преступление, выстроить его, потом найти того, кто где-либо это преступление совершает. А затем мы постараемся ввязаться в неприятности.

— Но каким образом? — спросил я. — И каков же, объясните, будет наш мотив?

— Разве преступление, будучи делом человеческих рук, не является тем самым и моим делом?— сказал он.

— Но... послушайте, Монк: о каком преступлении вы говорите?

— Преступления — вот о чем я размышлял — бывают трех видов: мелкие — они обычно становятся известны, и за них наказывают; средние — хоть они и известны, наказание, как правило, за ними не следует; и значительные — такие обыкновенно остаются неизвестными.

— Но что вы называете «значительными» преступлениями?

— Преступления, подобные деяниям Борджиа или Жиля де Ре, величественные и мрачные по своему характеру. «Мелким» же преступлениям — к примеру, убийствам, совершенным во время грабежа — свойственны отталкивающие черты.

— Предположим, однако, что в настоящее время не совершается никаких «значительных преступлений», в которые мы могли бы «ввязаться». Что тогда?

— Но разве все, что было, есть и будет, не движется вперед: светопреставления, лунные циклы, крики распятых Христов, шум нильских порогов, рождение вращающихся миров? Что же до нашего собственного Солнца, то никогда еще, поверьте мне, оно не пылало таким безумно красным цветом и не ревело так ужасно на своем пути — истинный страх и трепет! Значительных преступлений среди всего этого предостаточно, я полагаю.

— Ну что ж, я согласен, — сказал я, — хотя мне нравится свет дня и красивые светлячки, которые по ночам украшают небо, и я не хотел бы получить пулю. Но как же... мне даже трудно вообразить...

— Подождем и увидим; прежде всего, давайте-ка пообедаем.

Итак, мы пообедали, а после обеда вернулись в библиотеку, где Монк сразу же, как он сказал, «принялся за работу», предварительно заверив меня, что нет никаких сомнений в положительном результате, поскольку он собирался применить несколько методов, и если один из них не сработает, то не могут же не сработать все. Следующие три часа он провел в лихорадочной деятельности, взбираясь на лесенки и жадно просматривая страницы — то ворча, то пожимая плечами, то бормоча, охотясь за радугой, дабы «даровать воздушным теням и обитель, и названье».

Я видел, как Монк рылся в словарях, в грудах военных карт, в старых гроссбухах, относящихся к страховым делам его предков, в кипах газет, в научных монографиях. Наконец он закурил сигару, опустился на кушетку, закинув руки за голову, и засмеялся. Было уже десять часов.

— Поделитесь со мной, — сказал я. — Вы что-то обнаружили.

— Что ж, слушайте, — ответил Монк. — Поскольку современные люди наследственно и морально настроены против «греха», они постоянно испытывают непреодолимое искушение совершить грех. Но в искушении есть два элемента — желание и возможность; поэтому, если я представляю себе «грех» и желаю узнать, кто его совершает, я в первую очередь стараюсь обнаружить тех, у кого имеется для этого прекрасная возможность. Допустим, я предполагаю, что кто-то, по какой бы то ни было причине, хочет заманить какого-то незнакомца в свое логово; каковы будут тогда идеальные условия для «возможности», которые я должен искать? Такие условия возникают у человека, живущего вблизи одной из двух весьма малоизвестных железнодорожных станций с почти сходными названиями; я нашел в Европе шестнадцать подобных пар и составил их список; одной такой парой, могу вам сказать сразу, являются Стрэттон-Истерн и Стрэттон-Вестерн в Шотландии. Отлично. Допустим далее, что, установив этот факт, я также обнаружил постоянно повторяющееся рекламное объявление: «Ферма Саммердейл. Принимаются постояльцы. Настоящий домашний уют. Климат очень рекомендуется докторами. Оплата умеренная.

Близ Стрэттон-Вестерна, Кинкардин. — Писать Д. П., “Телеграф”, ящик № 3у5». Но что, если я вдобавок обнаружу, во-первых, что этот климат, якобы столь рекомендованный медиками, подразумевает истерзанное нескончаемыми штормами и почти необитаемое побережье, а во-вторых, что нигде в Кинкардине не значится ферма Саммердейл?

— Это звучит некрасиво, — согласился я.

— Вы понимаете, конечно, — продолжал он, — что вполне может случиться с «постояльцем», который отправится на ферму Саммердейл. Его друзья, если они у него есть, знают, что он уехал в Стрэттон-Вестерн; его поезд прибывает, скажем, однажды вечером в Стрэттон-Вестерн; его багаж размещается в местном кэбе, если таковой имеется, — в общем, в каком-то приспособлении на колесах, — и он велит кучеру везти себя на «ферму Саммердейл». Но кучер и не слыхивал ни о какой ферме Саммердейл — и никто о ней ровно ничего не ведает, ибо такой фермы на самом деле не существует. В конце концов кому-то неизбежно приходит в голову мысль, что приезжий ошибся, что ферма должна находиться поблизости от Стрэттон-Истерна, а не Стрэттон-Вестерна; и, хотя наш приезжий поначалу уверен, что речь шла о Стрэттон-Вестерне, он, будучи в растерянности и, возможно, основательно проголодавшись, решает попытать счастья в Стрэттон-Истерне, куда едет на следующем поезде. Здесь кто-то, вероятно, загримированный, уже раскинул сеть. «Не вы ли постоялец, которого ждут на ферме Саммердейл?» Он самый. И он попадает в сеть, и ему уже не выбраться из западни. Его, надо полагать, везут куда-то далеко, в какое-то место, не имеющее ничего общего с фермой Саммердейл, и с той минуты от этого человека не остается в мире и следа.

— Ну и ну! — воскликнул я.

— Если, конечно, злоумышленник по неосторожности не скомпрометирует себя, получив выплаты по довольно необычному количеству страховых полисов.

— О нет! И в Стрэттон-Истерне имеется такой человек?

— Неподалеку от Стрэттон-Истерна — некий сэр Саул Инграм; здесь значится, что он проживает в Фединг-мэнор, в округе. Я далек от того, чтобы утверждать, будто этот добрый

сэр Саул, получивший страховые выплаты, и человек, поместивший объявление о фиктивной ферме, являются одним и тем же лицом. И все же мне не терпится увидеть поместье Фединг-мэнор, и я намерен туда отправиться.

— Не в одиночку же?

— Я поеду один: мне кажется, сэр Саул Инграм может оказаться беспокойным деревенским сквайром, а вы сказали, что любите солнце.

Его глаза блеснули, тон был решительным. Я не знал, что и сказать; когда я проснулся на следующее утро, мой друг уже ехал в поезде на север. В девять часов вечера (как мне потом рассказывали) он прибыл в Стрэттон-Истерн.

Там, после долгих расспросов, он кое-что разузнал о местоположении Фединг-Мэнора, находившегося в нескольких милях от станции, и отправился пешком через полосу «звеньев» — песчаных дюн вперемешку с кустарником, — где царила полная заброшенность. Громадные орудия ветра с ревом гнали к берегу волны темного холодного моря, куда втекали ледяные воды Северного полюса, и что-то в голосе ветра подсказало Монку, что шторм был не случайным гостем, а извечным хозяином этого побережья. Предупрежденный о зыбучих песках близ морской оконечности «звеньев», Монк, услышав нарастающий рев прибоя, отклонился на запад; он шел сквозь бурю, наклонив голову, когда сильный порыв ветра вдруг сорвал с его головы шляпу и унес ее в темноту. Ветер задувал теперь справа, и Монк минут сорок продолжал идти с обнаженной головой, пока не почувствовал, что почва под ногами начала твердеть; вскоре он уже шел по тропинке через ольховый лес; мало-помалу лес превратился в густую чащу, где он не мог разглядеть собственной руки, после снова поредел; по той же тропинке Монк спустился вниз и оказался в долине, окруженной холмами и утесами; перед ним раскинулось озеро.

Он подумал, что это, должно быть, и есть Фединг-Мэнор, но был не в состоянии разглядеть никаких строений и немного постоял в раздумье, пока над утесом не загорелся край лунного диска; теперь он мог различить в низине очерта-

ния дома, темного, низкого и просторного, выстроенного на озерном островке.

Хотя в окнах не видно было ни единого проблеска света, Монк, не колеблясь, спустился к берегу озера, нашел вымощенную камнем подъездную дорогу и направился по ней к островку; миновав в конце ее две скалы, похожие на друидические «стоячие камни» или менгиры, он распугал отару черномордых овец, с блеяньем убежавших в папоротники, и стал осматривать дом и прилегающий участок.

Почва оказалась очень неровной, без всяких видимых дорожек и троп; ольха и ивы жались друг к другу, склонившись в одну сторону из-за непрестанных морских ветров; что же касается дома, то он отличался самой замысловатой и причудливой архитектурой: крыши разной ширины, ощетинившиеся водосточными желобами, тут и там различные флигели и пристройки. Но больше всего Монка поразил явно почтенный возраст здания: балки, подпиравшие стены, сами по себе были влажными и мягкими от гнили; кое-где громоздились обломки рухнувшей каменной кладки и балок. Все окна на обоих этажах были заколочены досками; и хотя Монк снова и снова впивался глазами в доски, он не мог разглядеть ни малейшего лучика света. Внезапно из дома донесся приглушенный, но дикий вой.

У Монка еще не сложился план действий, но он все же решил действовать; раздумывая, как поступить, он услышал лошадиное ржание, двинулся на звук и набрел на строение, стоявшее в ольховой роще. Оно оказалось конюшней; у двери стояли грабли, лопата и лом.

Монк взял лом и вернулся с ним к дому, где, взобравшись на крышу низкой пристройки, занялся окном, находившимся прямо над крышей и закрытым железным листом; громкий рев ветра заглушал звуки его работы. Замшелая крыша была очень скользкой; но, растянувшись на ней, Монк вскоре сумел отогнуть железный лист, который с треском поддался; как оказалось, однако, защелка осталась целой; ручки не было, и когда Монк, преодолевая натиск бури, потянул на себя раму и прыгнул в комнату, ветер мигом

захлопнул окно, защелка лязгнула и Монк понял, что очутился в плену.

Монк опустился на ноги почти беззвучно, но дом затрясся от его прыжка, как сотрясался от каждого порыва ветра; здесь, почувствовал Монк, все гнило и распадалось. Стоя в темноте, он услышал где-то вдалеке крик, похожий на вопль человека, раздираемого болью; Монк чиркнул спичкой и увидел у своих ног стоявшего на коленях мужчину с испуганным лицом, совсем молодого, едва ли не юношу, но с длинными седыми волосами, одетого в продранный до дыр халат.

Монк, чиркнув еще одной спичкой, положил левую руку на голову парня и шепнул ему: «Я не причиню тебе вреда; разве я выгляжу так, словно способен на это? Скажи мне, кто ты». В ответ из горла незнакомца вырвалось лишь какое-то невнятное бормотание, и он, широко раскрыв рот, указал на него. «А!» — сказал Монк, увидев, что у незнакомца вырезан язык. И он стал снова зажигать спички, рассматривая эту коленопреклоненную фигуру и обстановку комнаты.

Он увидел две раскладных кровати; с одной из них, по-видимому, только что встал обитатель комнаты; другая была застелена, а рядом с ней на полу стоял кассовый ящик; Монк собрался было его исследовать, но немой вдруг остановил его, бросив предостерегающий взгляд — взгляд, отразивший ужас, когда за дверью послышались шаги. Монк поспешно чиркнул еще одной спичкой, втолкнул немого в большой шкаф без полок, стоявший в углу, закрыл за ним дверцу и запер дверцу на ключ; затем, подскочив к кровати пленника с той молниеносной ловкостью, в какой он превосходил всех прочих смертных, Монк быстро соорудил из одеяла подобие спящего. Через мгновение в замке повернулся ключ и в комнату вошел очень грузный человек, неся в руке подсвечник с воткнутой в него сальной свечой. Монк, хоть и был без оружия, смело глянул ему в лицо.

Вошедший, одетый в свободную и встопорщенную у пояса красную рубаху, был, очевидно, слугой; на его лице застыло тупое и мрачное выражение, громадная веерная борода свисала на грудь, глаза скрывались под полуприкрытыми ве-

ками, напоминавшими маленькие кожистые складки. При виде Монка он повел себя довольно необычно: просто уронил подсвечник и свечу, бросился к кассовому ящику и, обхватив его обеими руками, завопил: «Помогите!» Но через полминуты испуг скряги сменился ненавистью; он метнулся к табурету, схватил его и замахнулся, собираясь вышибить Монку мозги; тот увернулся и сделал вид, что хочет схватить кассовый ящик; слуга, заметив это при свете все еще горящей свечи, кинулся ему наперерез, после чего Монк нырнул под его руку и выбежал из комнаты.

Бросив лом в угол и постаравшись запомнить это место, Монк помчался вперед, сам не зная куда; он несся по самому любопытному старинному дому, какой ему когда-либо приходилось видеть: каждая комната располагалась на три или четыре ступеньки выше или ниже соседней, все двери висели криво и даже полы были наклонными. Он пробирался по треугольным комнатам, древним закоулкам, попадал в самые причудливые каморки и наконец, завидев впереди проблеск света, смело двинулся к нему, открыл дверь и вошел в комнату.

Навстречу ему поспешил какой-то человек; после оба застыли в неподвижности, глядя друг на друга.

Хозяин комнаты — могучий господин среднего роста — с вызовом выставил вперед правую ногу; левую руку он держал в кармане халата, повязанного на поясе шнуром. Глаза на широком лице были прикрыты очками, густая жесткая борода окаймляла широкий рот; обильная растительность вторгалась даже на жирные щеки.

Наконец он холодно заговорил:

— Ну, глупое вы существо, что вы здесь делаете?

Его речь была похожа на быстрое бормотание; произнося слова, он не переставал высовывать язык, облизывая и прикусывая кончик усов.

— Я ищу своего брата, — ответил Монк.

— Как его зовут?

— Его имя не имеет значения. Это молодой человек, которому вы отрезали язык, сэр Саул Инграм.

— Тот же отец? Та же мать?

— Адам и Ева, знаете ли.

— Глупый дьявол! — задумчиво пробормотал баронет. Во время этого разговора Монк стоял, упершись ладонями в круглый стол посередине комнаты, спиной к единственной двери, а баронет, стоявший дальше от двери, двигался к ней — движение, которое Монк не преминул заметить, хотя и не пытался остановить. Внезапно Инграм подбежал к двери, закрыл ее и запер на ключ. Затем он подошел к небольшому комоду, достал из одного из ящиков револьвер и снова повернулся к своему пленнику; рот его растянулся теперь в подобии рычания, похожего на смех.

— Зачем вы это делаете? — спросил он Монка, стоявшего по другую сторону стола. В его смехе было что-то напряженное, жестокое и мучительное, как если бы этот смех издавала несмазанная машина.

— Вы собираетесь застрелить меня, — спросил Монк, — безоружного и беспомощного человека?

— Глупый дьявол! — буркнул Инграм, чуть не расхохотавшись во весь голос. — Ну конечно, собираюсь! Зачем вы это делаете?

— Я пришел не один. У меня есть поблизости помощники. Стреляйте, если вам так угодно.

— Ха! Ложь!

— Есть!

— Ложь! Берегитесь! — Инграм поднял револьвер и прицелился, его палец лежал на спусковом крючке. Весь дом задрожал от усталого скрипа, вызванного натиском бури; так прошло четыре или пять секунд, в течение которых баронет, казалось, наслаждался сознанием своей власти, прежде чем выстрелить. Однако выстрел так и не раздался. Вместо него прозвучал крик — по-видимому, снаружи дома — яростный крик в ночи:

— Монк! Монк! Я буду здесь в два часа с полицией!

Могло показаться, что выстрелил Монк, а пуля угодила в баронета. Инграм отступил на несколько шагов, бесцельно бросился к двери, бесцельно вернулся назад, разинув рот в откровенном испуге: он понимал, что если кому-то снаружи известно о присутствии Монка в доме, смерть незваного

гостя и причина ее неизбежно вызовут вопросы. Спустя минуту Инграм несколько успокоился, услышав признание Монка:

— Послушайте, вы были правы; со мной нет никого, и этот крик звучал не снаружи; его издал *я сам*, так как случайно оказался человеком, умеющим делать подобные вещи. Но теперь вы понимаете, Инграм, если только вы не последний болван, что я вовсе не предназначен быть застреленным таким клоуном, как вы? Да вы и не могли бы меня застрелить, по правде говоря. Можете попробовать еще раз. У меня имеется пять других способов вас остановить, и некоторые из них далеко не так приятны. Лучше ведите себя тихо.

Инграм смотрел на Монка с мрачным недоумением: он был совершенно не в силах определить — без сомнения, как того и хотел Монк — раздался ли крик снаружи или исходил от Монка, что было правдой, а что нет. После минутного раздумья он отвернулся, решив, возможно, подождать до двух часов, о которых прокричал голос. После двух — будет видно.

В этот момент раздался стук в запертую дверь; Инграм открыл и в комнату тяжелой поступью вошел рослый слуга в красной рубашке, с которым Монк уже встречался; в обеих руках он нес тарелки, а за ним следовала высокая женщина с очень белым и худым лицом и желтушными белками глаз, одетая в ржавчато-черное платье; она несла на подносе бутылку, тарелку и скатерть.

Слуга не обратил на Монка ни малейшего внимания, но женщина смотрела на него с любопытством и злобой. Никто не произнес ни слова. Женщина накрыла стол скатертью, мужчина расставил приборы. Однако, повернувшись и собираясь уйти, женщина подняла палец и сказала Инграму:

— Саул, мон Саул, бергись! Опасность грозить этой ничью!

Баронет ничего не ответил, запер за ними дверь, сел за стол и жадно принялся поглощать картофель, вареную треску, черный, как уголь, хлеб и виски с водой.

Через несколько минут он взглянул на Монка, который стоял, скрестив руки на груди, и сказал:

— Можете сесть, если хотите.

Монк опустился на стул и некоторое время наблюдал за тем, как Инграм жадно ел и пил большими глотками виски, следил за револьвером в его правой руке, лежащей на столе; этот человек трапезничал скорее как деревенщина, чем как джентльмен. Наконец, третья порция виски, как видно, развязала ему язык, и Инграм внезапно произнес:

— Глупый дьявол! Зачем вы это делаете?

— Что делаю? — перепросил Монк.

— Зачем вы сюда явились?

— Я узнал, что вы замышляете какую-то пакость, и пришел вас остановить.

— Пакость, а? Да вы знаете, кто я?

— Нет. Расскажите мне.

— Я единственный в мире представитель точной науки.

— Да ладно вам, не единственный.

— Видите те три большие книги на полке? Это все переплетенные рукописи. Мои рукописи. Собираюсь сжечь их, прежде чем умру. В них содержатся почти все тайны души и тела — тайны жизни.

— Клянусь Юпитером! И каковы ваши методы?

— Есть только один метод — постоянная вивисекция человека.

— Господи Боже!

Слова баронета, казалось, на миг обожгли сознание Монка, хоть он и сталкивался прежде с ужасным; но здесь было что-то новое для него, и он не без некоторого подобия благоговения уставился на это лоснящееся, пухлое лицо. Инграм осушил еще один стакан.

— Знаете, что я, вероятно, сделаю с вами? — сказал баронет. — Хорошо, что вы появились. Я заражу вас, пожалуй, культурой микробов бешенства, которые у меня имеются под рукой, а затем, возможно, подвергну вивисекции, если у меня будет время. Тот тупица, которого вы видели — молодой пастор из Кембриджа; я свожу его с ума ради живого мозга. Врачи говорят, знаете ли, что не находят в мозгу сумасшедших никаких патологических отклонений. Глупые существа! Никаких патологических отклонений! Господь всемогущий! Глупые дьяволы!

Инграм весело усмехнулся, произнеся это, и склонился с полным ртом над тарелкой с едой.

— Но как вам удается сводить людей с ума?— спросил Монк.

— Страх, пытка, ужас, главным образом. И другие вещи. У меня в доме восемьдесят восемь змей, один ягуар и чудовищный тетерев с четырьмя лапами. А иногда — просто одиночное заключение. Все зависит от предрасположенности пациента.

— Что ж, вы достаточно откровенны, — сказал Монк. — А что, если в два часа друзья действительно явятся меня спасать? Естественно, я расскажу обо всем.

— Нет, не расскажете, будь там ваши друзья или нет. Допустим, мне захочется спрятать вас от них в доме, при этом сохранив вам жизнь. Думаете, я не смог бы? Здесь у меня сейчас семнадцать пациентов, которые подвергаются различным опытам. Можете искать, сколько хотите — вы ни одного не найдете. Такой человек, как я, может придумать надежное укрытие, как вы полагаете?

— Если бы вы попытались меня спрятать, я стал бы, разумеется, звать на помощь.

— Долго бы это не продлилось. Я мог бы оглушить вас за три минуты, не оставив ни единого следа. Но дело в том, что вас здесь не будет. Знаете, что я собираюсь с вами сделать? Я уже однажды проделал это, восемь лет назад, и еще раз четыре года тому. Ваше мертвое тело я упакую в ящик вместе с пироксилином и взрывателем замедленного действия и отправлю вас куда-нибудь на первом попавшемся товарном поезде. В тридцати милях от Стрэттон-Истерна не останется ни следа от вас или перевозившего ваш труп вагона.

— Понятно, — сказал Монк. — Но даже в этом случае вы не избежите наказания, потому что одному из моих друзей известно о присутствии здесь немого юноши. Его будут искать и, несомненно, найдут, как бы вы его ни прятали.

— Найдут, говорите? Правда это или нет, но ваше утверждение, что кто-то знает о нем, просто заставляет меня исследовать его мозг сегодня вечером, а не на следующей неделе, как предполагалось.

— Тем не менее, следы убийства будут найдены.

— Следов не останется. Его труп отправится в ящике вместе с вашим на железную дорогу.

— Понятно... понятно. Но объясните мне — если именно научные интересы побуждают вас заманивать незнакомых людей в этот дом, как получается, что ваше имя фигурирует в страховых полисах?

Инграм гневно вскинул голову: его честь была задета.

— Что?! Вы знаете об этом? — воскликнул он. — И вы считаете, что мотивы повелителя мысли, такого человека, как я, могут быть запятнаны соображениями грязной выгоды? Да я живу на шесть пенсов в день, если не считать виски; и не будь у меня этих шести пенсов, я обошелся бы без них. Изредка я получаю страховые выплаты за того или иного пациента, но деньги идут не мне, глупое вы существо! В этом доме только двое скряг — Хьюберт и моя сестра, которую вы только что видели — и я отдаю деньги им в надежде, что они разорвут друг друга в клочья. Мерзкие скряги! Этот Хьюберт — скупой зверь, кровожадный зверь! Сумасшедший, как бешеный пес! Глупый дьявол, думает, будто я все время стараюсь украсть те самые деньги, что я ему дал! Спит в одной комнате с безъязыким парнем и никого ни на секунду к ней не подпускает. Как-то пытался меня убить. Бешеный пес!

— Понимаю, — сказал Монк. — Интересно, что сделало вас таким откровенным: виски или еще что-то? Неужели вам не приходит в голову, Инграм, что с теми знаниями о вас, которыми вы сейчас любезно со мной поделились, я могу без труда прикончить вас пятью или шестью различными способами, не пошевелив и пальцем? Может, заставить вас совершить самоубийство, к примеру? или заставить Хьюберта убить вам? или вашу сестру? или заставить вас всех убить друг друга? И, принимая во внимание, в какое кровавое создание вы позволили себе превратиться, Инграм, я здесь и сейчас решительно выношу вам смертный приговор. Клянусь, вы действительно не переживете эту ночь, негодяй!

Баронет даже не поднял глаза, выслушав эту угрозу: вероятно, он полагал, что больной мозг сам по случаю предложил свои услуги его скальпелю. Когда грубая трапеза закон-

чилась, он задумчиво поковырял в зубах; часы пробили полночь; снаружи продолжала завывать буря.

— Хьюберт! — взревел баронет, одновременно звоня в огромный колокольчик.

Снова тяжелой поступью вошел Хьюберт.

— В операционной ты найдешь в шкафу три продолговатых ящика, — сказал ему баронет. — Отнеси верхний к себе в комнату. Немой Уилсон и этот человек должны оказаться в нем, и в пять утра ты должен будешь отвезти ящик на станцию. Понятно?

Хьюберт издал звук, похожий на хрюканье свиньи.

— И не вздумай зажигать над ящиком спички или свечи, глупый дьявол! — сказал Инграм, улыбаясь одной из своих мрачных улыбок. — В ящике пироксилин!

Хьюберт хмыкнул, но не двинулся с места.

— Чего ты ждешь? — спросил Инграм.

— Почему ящик должен быть спрятан в моей комнате? — спросил Хьюберт.

— Ступай и делай, что велено! — сказал баронет. — Никто, черт возьми, не хочет украсть твои дурацкие деньги! Я даже не собираюсь входить к тебе!

Хьюберт хмыкнул, успокоился и вышел. Инграм сразу же начал готовиться к исследованию мозга немого: вынул из бюро два футляра с хирургическими инструментами, осмотрел под лампой один за другим три скальпеля, трепан и пилу и положил их рядом с собой на подоконник, завернув каждый из скальпелей в отрез замши. Полутемная комната была сплошь заставлена полками, на которых стояли сотни банок с химическими реактивами, и, как и весь дом, была пропитана дыханием лаборатории, запахом научных исследований, не лишенным примеси смерти. Едва баронет положил инструменты на подоконник, как в комнату заглянуло желтоглазое лицо со словами:

—Саул, мон Саул, я хотчу гворить с ты.

Баронет подошел к ней, и, пока они стояли у двери и разговаривали, Монк подкрался поближе и прислушался.

— Саул, мон Саул, — сказала женщина, — не есть хорешо этой ничью, я сомневаюсь. Я слышать твой разгвор с

твой костем...

— Ну, так в чем же дело, Элспет? — нетерпеливо спросил баронет.

— Ты обязан операция Уилсон сгодня ничью, Саул? — спросила она. — Слышть совет дуречка, не делать этого, ипо рапота долгая, а у тбя нет время.

— Почему ты не можешь помолчать? Чего ты от меня хочешь?— спросил баронет.

— Немедленно перережь Уилсону горло, как болотной курочке, Саул, — ответила она, — и твой костю тоже, брось их в ящик и на станцию. Слышть совет дуречка, потому что я чувствую ккой-то испуг, мон, на себе. У тбя нет время на долгая операция, ты ведь не знать, ккая помощь этот чловек снаружи, а Хьюберт гворит, одна из опасных змей сбежала, и я чуть не умреть со страха...

Монк, мысленно разработав весь план действий, не стал больше слушать; отойдя он двери, он бесшумно пролетел вдоль ломящихся полок, вглядываясь в сосуды, и наконец нашел бутылочку с надписью «Фосфор»; внутри было несколько восковых полупрозрачных палочек, погруженных в воду. Монк снял ее с полки и вынул одну из фосфорных палочек, предварительно плеснув холодной водой на пальцы, чтобы их тепло не заставило фосфор вспыхнуть; затем, подбежав к подоконнику, он достал из замшевой тряпицы один из скальпелей, полил водой внутреннюю складку кожи, чтобы она оставалась холодной по крайней мере несколько минут, и снова завернул скальпель в замшу вместе с палочкой фосфора. Едва он поставил пузырек на место, как баронет вернулся, подошел к окну, поспешно положил все кожаные свертки, включая и скальпель с фосфором, в наружный карман своего халата и крикнул:

— Хьюберт!

— Послушайте, — сказал Монк, мрачно нахмурившись, — позвольте мне избавить вас от некоторых хлопот, сэр. Я думаю, вы сейчас зовете этого Хьюберта, чтобы послать его за немым, которого вы желаете видеть в вашей операционной. Но я хотел бы известить вас, что пациент ваш ушел — сбежал — и в данный момент находится на свободе...

Инграм побелел как полотно.

— Что вы такое говорите? — прошипел он.

— Говорю вам, он сбежал. Если вы мне не верите, идите и посмотрите. Я сам освободил его.

Услышав эти слова, баронет вылетел из комнаты. До сих пор исчезновение Уилсона не было обнаружено — вероятно, благодаря тому, что Монк, заперев немого в шкафу, удачно изобразил с помощью одеяла фигуру спящего человека. Как бы то ни было, страшное известие настолько поразило баронета, что он даже позабыл запереть Монка — впрочем, позабыл лишь на одно мгновение, поскольку тотчас влетел обратно в комнату, вытащил из замочной скважины ключ, захлопнул дверь, запер ее снаружи на ключ и с бешеной быстротой снова помчался к комнате Уилсона, принадлежавшей также и Хьюберту. Едва баронет скрылся, как Хьюберт, отвечая на его зов, повернул в двери ключ, вошел и огляделся в поисках Инграма. Монк расхохотался.

— Кого ты ищешь, Хьюберт? — спросил он. — Конечно же, не баронета? Очнись! Где твоя голова? Он позвал тебя только для того, чтобы убрать с дороги, а сам побежал к тебе в комнату. Он ведь только что обещал тебе вообще туда не заходить, не так ли? Но ты же светский человек и легко можешь догадаться, что сегодня ему не хватает немного наличных, чтобы купить мое молчание. Послушайся моего совета: затаись и ничего не предпринимай.

Пока Монк говорил, на лице Хьюберта сменялись выражения недоверия, доверия, ярости, безумия; и вдруг, вскинув руки, он бросился бежать. Монк надеялся, что в страхе за свои деньги слуга забудет запереть дверь; так и случилось, но миг спустя он, как и Инграм, подскочил к двери, повернул ключ и снова бросился прочь.

Итак, Монк все еще оставался пленником — но, как только слуга убежал, он принялся кричать, превосходно подражая голосу Инграма:

— Эй! Элспет! Элспет!

Через минуту в комнату заглянула сестра баронета, беспокойно оглядываясь в поисках брата. Монк, поклонившись, сказал ей:

— Баронет только что вышел из комнаты, мадам. Как я понимаю, он очень торопится провести эксперимент на немом и теперь ушел, чтобы все приготовить; но, как бы он ни спешил, могу вас заверить, что сегодня у него не хватит времени для операции. Вы готовы заключить со мной сделку?

— Нуу? — спросила Элспет, лукаво подмигивая и подергивая щеками.

— Сударыня, — сказал Монк, — этой ночью мне грозит большая опасность, но и вам тоже; если я подскажу вам, как спастись, вы спасете меня? Согласны?

— Даа, — сказала женщина.

— Хорошо, я вам скажу. Через полчаса мои друзья будут здесь, и поскольку у них есть основания полагать, что Уилсон находится в доме, вам остается только одно: вынести его из дома в ящике, прежде чем они появятся; но баронет решительно настроен провести свой эксперимент над Уилсоном и не откажется от операции, и поэтому, мне кажется, у вас нет другого выхода, кроме как покончить с парнем своими руками прямо сейчас, пока он лежит в постели, а баронет готовится к эксперименту. Баронету не к чему будет мертвое тело, так как он изучает живой мозг. Я сказал вам, как действовать; вы спасете в ответ мою жизнь?

— Посметрим, — ответила Элспет, лукаво подмигивая. Она понимала, однако, всю правоту Монка, тем более что сказанное им соответствовало ее собственным мыслям; понимала, что Уилсон действительно должен был погибнуть от ее рук, так как его убийство больше некому было поручить. И, тут же приняв решение, она повернулась к комоду, отперла ящик одним из ключей, висевших у нее на поясе, и извлекла кинжал с роговой рукояткой; Монк прекрасно сознавал, что сперва Элспет попытается наброситься на него и заколоть, а затем поспешит к постели немого. Пока она возилась с ящиком, он успел схватить и спрятать за спиной графин Инграма, остававшийся наполовину полным; поглядев на пол, он обнаружил, что тот был немного наклонным, как и многие полы в доме; и, когда женщина выпрямилась и стала поворачиваться к нему, Монк сквозь зубы прошипел:

— Змея!

Элспет в панике уставилась в том направлении, куда он указывал пальцем, и увидела в полумраке скользящее к ней по полу, извивающееся существо. Это была змея, сотворенная Монком: он слышал, как Элспет сказала, что одна из ядовитых змей баронета сбежала; вода из графина, который он держал за спиной, текла по полу волнистым ручейком. Женщина бросилась наутек; на бегу она оглянулась и снова увидела на наклонном полу разъяренную змею; она не осмелилась взглянуть еще раз, но — поскольку змеи явно были ее слабым местом — издала пронзительный крик, разнесшийся по всему дому, и исчезла, оставив дверь открытой. Монк последовал за ней, прислушиваясь к звуку ее шагов — и прошел незамеченным сквозь весь громадный лабиринт этого дома, хранившего так много ужасных тайн, оказавшись в конце концов у комнаты Уилсона.

По словам Монка, он в точности предвидел ситуацию, сложившуюся к тому моменту в комнате, словно заранее наблюдал все своими глазами. Он послал баронета на поиски Уилсона, а скрягу Хьюберта — на поиски баронета. Монк был уверен, что Инграм по-настоящему боялся рычания слуги и бешеных фурий его скупости; он знал, что как только баронет обнаружит исчезновение Уилсона, он услышит приближающееся хрипение и гневное ворчание Хьюберта; очевидно было, что баронет, желая избежать сцены или чего-либо худшего, захочет скрыться. Но Монк также знал, что в комнате спрятаться было негде; в ней имелись только два возможных укрытия — шкаф и смятое постельное белье на кровати Уилсона. Шкаф, где находился Уилсон, Монк запер. Поэтому вполне естественным выходом для Инграма — понимавшего, что Хьюберт и знать не знает о пропаже Уилсона — было забраться под одеяло и притвориться спящим Уилсоном. А затем Монк убедил Элспет в необходимости убить Уилсона; если та сделает все быстро и тихо, то неизбежно, словно длань судьбы, заколет своего брата.

Видимо, что-то более или менее соответствовавшее расчетам Монка действительно имело место. Хьюберт, войдя в комнату Уилсона, должно быть, чиркнул спичкой, огляделся по сторонам, не увидел баронета и, вероятно, уже собирал-

ся выйти, когда услышал шаги — шаги Элспет, торопящейся убить Уилсона. Подозрительность скупого Хьюберта, надо полагать, расцвела с новой силой, и он присел на корточках где-нибудь в тени, выжидая развития событий. Когда Элспет вошла в комнату, Монк был уже совсем рядом, но прежде чем он успел подойти к двери, она закрыла ее и заперла. Он застыл снаружи, напряженно прислушиваясь. Женщина, передвигаясь, несомненно, на четвереньках со сталью в руке, поползла к кровати, на которой лежал ее брат, предполагаемый Уилсон — ибо до слуха Монка донесся короткий и хриплый крик.

При этом предсмертном крике убитого баронета Хьюберт, скорее всего, вскочил на ноги, потому что вскоре Монк услышал, как Элспет объяснила слуге причину, побудившую ее немедленно избавиться от немого; за этим последовало шарканье ног, когда тело подняли и положили в ящик, приготовленный для останков Монка и Уилсона. Одежда, которую носил Уилсон, была того же покроя, что и одежда Инграма, и преступники никак не могли заподозрить, что убитым был хозяин дома; конечно, они были достаточно благоразумны, чтобы не чиркать спичками над пироксилином, и Монк услышал, как крышка ящика закрылась над телом.

Он понимал, что нужно спешить. В кармане баронета лежала в замше палочка фосфора, ибо Монк, который умел быть безжалостным, обрек на гибель всех троих. Фосфор должен был вскоре воспламениться от тепла не успевшего остыть тела, упакованного в тесное вместилище — влажная замша теперь, вероятно, почти высохла. Монк бросился за ломом, затем возвратился и, тяжело налегая на лом, начал взламывать дубовую доску примерно в том месте, где у стены стоял в комнате шкаф. Элспет и Хьюберт, оцепенев, с трепетом прислушивались, должно быть, к глухим ударам лома, к дыханию, вырывавшемуся из груди Монка; наконец дуб затрещал и доска раскололась; Монк поддел ломом другую, протянул руку, почувствовал прикосновение холодной плоти, вытащил немого через образовавшее отверстие, закинул исхудавшее тело на плечо и помчался вслепую по дому, спотыкаясь и оступаясь, словно сам дьявол преследовал

его по пятам. Рука Уилсона обхватила его за шею, чуть не задушив, и из немого горла вырвался стон; тем временем Монк, задыхаясь под тяжестью ноши и весь дрожа, наугад бежал все вперед, пока не заметил в щели свет, похожий на лунный; он снова и снова колотился спиной о какие-то доски; наконец он вывалился наружу и, упав с высоты пятнадцати футов, покатился по папоротнику.

Снова подняв Уилсона, Монк побежал прочь от дома, но не успел пробежать и тридцати ярдов, как позади него послышался шум, напоминавший грохот исполинского барабана; земля содрогнулась, и Монк, оглянувшись назад, как испуганная куропатка в луче яркого света, увидел летящий рой обломков. Затем последовали еще три резких удара, и взрывы прекратились, уничтожив лишь бывшую комнату Уилсона. Но некое предчувствие всеобщего разрушения удержало Монка на месте; минуты две он простоял в жутком ожидании, как вдруг от дома, на достаточно близком расстоянии от взорванной комнаты, отделился пласт каменной кладки и с глухим стуком упал на землю; ветер завыл еще яростней, и дом, казалось, зашатался в падении; большая каменная стена обвалилась в дыму и пыли; изнутри раздался громкий крик, соединивший в единый хор множество голосов, и миг спустя весь особняк закачался, взревел и обрушился. Немой, всхлипывая, прижался головой к груди Монка.

КНЯЗЬ
ЗАЛЕССКИЙ



PRINCE ZALESKI

BY M. P. SHIEL

Come now, and let us reason together.
ISAIAH

Of the strange things that befell the valiant Knight in the Sable Mountain; and how he imitated the penance of Beltenebros.
CERVANTES

'Αλλ' ἔστ' ἐκείνῳ πάντα λεκτὰ, πάντα δὲ τολμητά;
SOPHOCLES

LONDON: JOHN LANE, VIGO ST
BOSTON: ROBERTS BROS., 1895



Тогда придите — и рассудим.

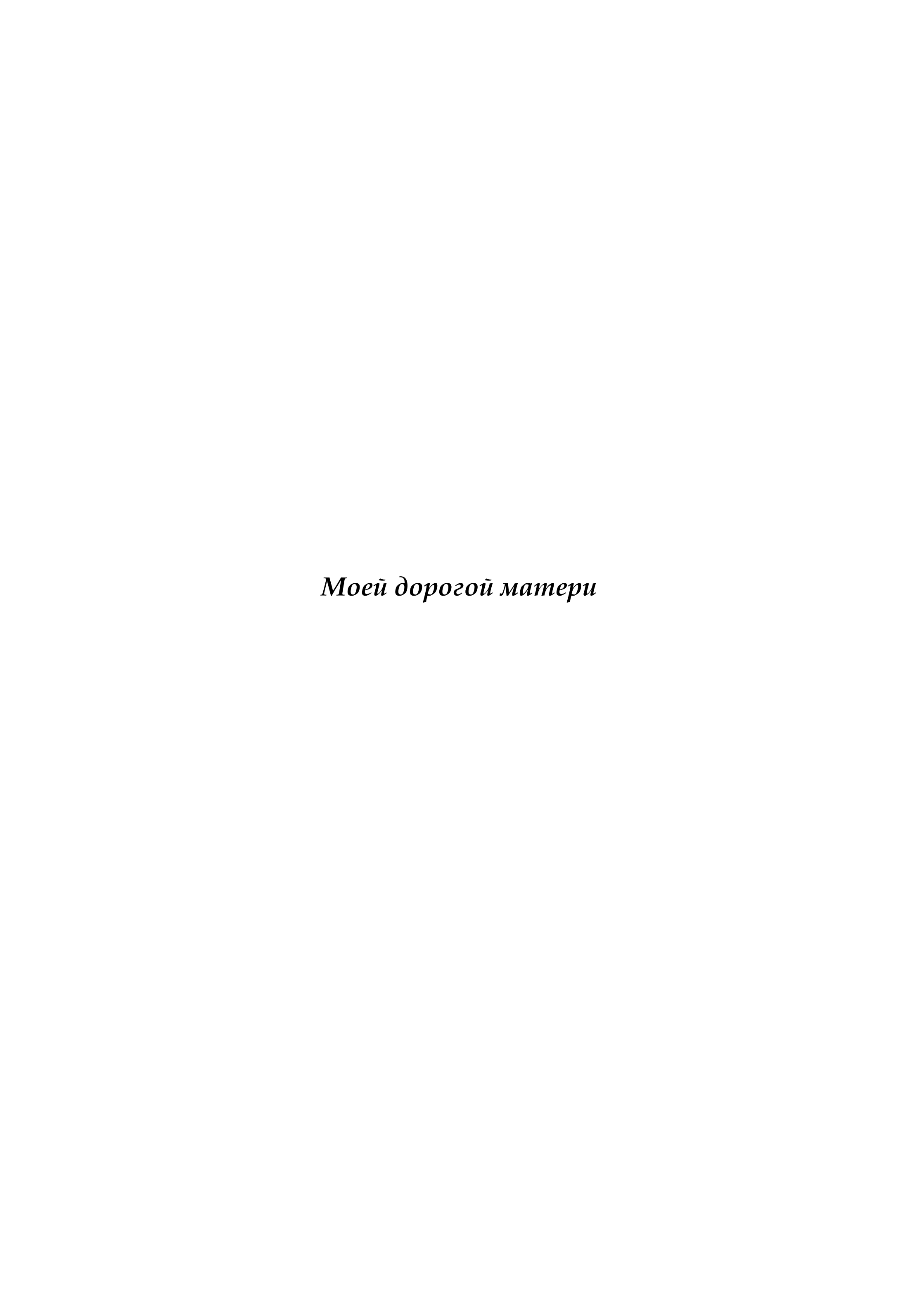
Исайя

О необычайных происшествиях,
случившихся в Сьерре Морене с
отважным рыцарем Ламанчским,
и о покаянии, которое он по примеру
Мрачного Красавца на себя наложил.

Сервантес

О! все сказать способен он,
на все дерзнуть.

Софокл



Моей дорогой матери

РОД ОРВЕНОВ

Никогда не мог я без печали и боли думать о судьбе князя Залесского — жертвы столь страстной, столь несчастной Любви, что ее не смутил и блеск трона; изгнанный насильно из родной страны, добровольно изгнал он себя из мира людей! Князь отверг свет, где мелькнул ослепительной и загадочной падшей звездой, и свет быстро забыл о нем; и даже я, знавший ближе других эту благородную и пылкую душу, лишь изредка вспоминал о нем в повседневной суете.

Но в те дни, когда лучшие умы страны бились над так называемой «загадкой Фаранкса», мои мысли не раз обращались к нему; публика давно позабыла об этом деле, когда ясный весенний день в сочетании, быть может, с подспудным недоверием к *dénoûment* таинственной истории, повлек меня к уединенной обители князя.

На закате я добрался до мрачного жилища моего друга. То был громадный дворец ушедших в прошлое времен, затерянный в лесной чаще; к нему вела темная аллея кипарисов и тополей, чьи кроны едва пропускали солнечный свет. Остановив экипаж у дома, я направился на поиски опустевших конюшен, но вместо благословенного убежища нашел одни развалины и в конце концов оставил *calèche* в ветхой ризнице старинной доминиканской часовни, кобылу же на ночь отпустил на выгул за домом.

Я толкнул дверь и вошел, не переставая дивиться угрюмой прихоти, что заставила этого своенравного человека избрать своим обиталищем столь безотрадное место. Оно показалось мне огромной гробницей Мавсола, и какой гений, какая культура, дарование, власть были похоронены в нем! Зала была устроена на манер римского *atrium*, и от прямоугольного бассейна с зацветшей водой в центре ее разбежалась при моем приближении, слабо попискивая, стайка жирных ленивых крыс. Разбитые мраморные ступени

привели меня к коридорам, окружавшим открытое пространство; затем я углубился в лабиринт комнат — анфилада за анфиладой выводили меня к бесчисленным переходам, я поднимался и спускался по лестницам. Удушливые облака пыли вздымались с полов, не знавших ковра; ветреница Эхо отзывалась *ricochets* кашля на мои шаги в густеющей тьме, оттеняя могильное уныние жилища. Нигде не было ни малейшего признака мебели — нигде и следа присутствия человека.

Долго блуждал я, прежде чем добрался до одной из отдаленных башен здания и, почти на самом верху ее, богато убранной коврами галереи, с потолка которой свисали три мозаичные лампы, отбрасывая тусклые лиловые, багровые и бледно-розовые огни. В конце ее я различил две фигуры, замершие подобно безмолвным стражам по сторонам двери, завешенной кожей питона. В одной я узнал нагую Афродиту Книдскую, позднюю копию, выполненную из паросского мрамора, в другой — гигантского негра Хэма, единственного слугу князя, чье свирепое и блестящее эбеновое лицо расплылось в улыбке, когда я приблизился. Кивнув ему, я без дальнейших церемоний проник в келью Залесского.

Она была небольшой, но с высоким потолком. Даже при слабом зеленоватом свете напоминавшей кадило узорной золотой *lampas*, висевшей в центре куполообразного расписного потолка, мне бросились в глаза контрасты варварски роскошной обстановки. В воздухе стоял приторный аромат курильницы и наркотический дым *cannabis sativa* – основы *bhang* магометан — которым, как я знал, мой друг утолял обыкновенно свои печали. Тяжелые драпировки пурпурного бархата поблескивали золотистой бахромой и шитьем Нуршедабада. Весь мир знал Залесского как непревзойденного *cognoscente* — глубоко образованного любителя искусств — а также эрудита и мыслителя; тем не менее, меня потрясло само многообразие редких вещиц, громоздившихся вокруг князя. Орудие времен палеолита соседствовало со статуэткой китайского мудреца, гностической геммой, амфорой греко-этрусской работы. Все это *bizzar-*

rerie производило впечатление почти фантастической роскоши и мрачности. Медные фламандские надгробные рельефы причудливо сочетались с руническими табличками, миниатюрами, крылатым быком, тамильскими надписями на вощеных пальмовых листьях, щедро инкрустированными средневековыми раками для мощей и браминскими божками. Целую стену занимал орган, чьи громоподобные раскаты в тесной комнате, должно быть, заставляли эти реликвии мертвых эпох звенеть и сталкиваться друг с другом в призрачном танце. В туманной пелене, застилавшей комнату, трепетали тихие металлические звуки невидимой музыкальной шкатулки. Князь возлежал на кушетке, с которой ниспадало волною на пол шитое серебром покрывало. Рядом, в открытом саркофаге, стоявшем на трех медных опорах, покоилась мумия обитателя древнего Мемфиса; коричневые погребальные покровы на голове и туловище сгнили или порвались, и безобразно обнаженное, ухмыляющееся лицо было теперь выставлено напоказ.

Отбросив инкрустированный чубук и старое издание Анакреона в пергаментном переплете, Залесский поспешно вскочил и тепло приветствовал меня, не преминув сообщить, какую «радость» доставил ему мой «нежданный» визит. Затем он велел Хэму приготовить мне постель в одной из соседних комнат. Большую часть вечера мы провели за теми очаровательными, полусонными, полумистическими разговорами, завести и поддерживать которые способен был лишь князь Залесский; и все это время он настойчиво угощал меня смесью из напоминающей *hashish* индийской конопли, приготовленной собственными руками и довольно безобидной. Только на следующее утро, после нехитрого завтрака, я обратился к теме, отчасти ставшей причиной моего появления. Князь откинулся на кушетке, завернувшись в турецкий *beneesh*, и слушал меня поначалу рассеянно, сплетя пальцы, с потухшим, обращенным в себя взглядом, какой бывает у старых анахоретов и астрологов; зеленоватый отсвет лег на его вечно бледные черты.

— Вы знали лорда Фаранкса? – спросил я.

— Мы встречались с ним в «свете». Его сына, лорда Рэндольфа, я также видел однажды при дворе, в Петергофе, и еще как-то в Зимнем дворце государя. Величественная стать, лохматая грива волос, весьма любопытная форма ушей и известная напористость манер — отец и сын похожи, как две капли воды.

Я привез с собой стопку старых газет и, время от времени обращаясь к ним, рассказал князю о случившемся.

— Отец, — сказал я, — занимал, как вы знаете, высокий пост в прошлом правительстве и был одним из светочей нашей политики; вдобавок, лорд Фаранкс возглавлял советы нескольких научных обществ и написал книгу по вопросам современной этики. Его сын уверенно делал карьеру в *corps diplomatique* и недавно объявил о своей помолвке с принцессой Шарлоттой Марианной Наталией Морген-Уппигенской, дамой, в чьих венах течет, вне сомнения, королевская кровь Гогенцоллернов; говоря по правде, брачный союз несколько *unebenbürtig*. Семейство Орвенов, конечно же, старинное и знатное, но далеко не богатое, особенно в наши дни. Однако, вскоре после помолвки Рэндольфа с этой дамой королевских кровей, отец его застраховал свою жизнь на громадные суммы в нескольких компаниях, как в Англии, так и в Америке, и тем избавил Орвенов от угрозы позорной бедности. Полгода назад, почти одновременно, отец и сын *en bloc* вышли в отставку с различных занимаемых ими постов. Такова подоплека событий; разумеется, я исхожу из предположения, что вы не читали о происшествии в газетах.

— Современные газеты со всеми присущими им особенностями, — произнес Залесский, — невыносимы для меня. Поверьте, я и взглядом их не удостою.

— Итак, лорд Фаранкс, отказавшись в расцвете сил от всех постов, удалился в одно из своих сельских имений. Много лет назад между ним и Рэндольфом случилась ужасная ссора из-за какой-то мелочи, и с тех пор, со свойственной их роду непримиримостью, они не обменялись ни словом. Но спустя некоторое время после отставки отец отправил послание сыну, находившемуся тогда в Индии. Послание, ес-

ли считать его первым шагом к *rapprochement* этой пары гордых и самолюбивых созданий, было весьма примечательным, и неудивительно, что впоследствии служащий телеграфной компании представил его в качестве улики. Оно гласило: «*Возвращайся. Близится начало конца*». С тем Рэндольф действительно вернулся, а ровно через три месяца, считая с даты его появления в Англии, лорд Фаранкс был мертв.

— *Убит?*

Что-то в тоне, с каким Залесский произнес это слово, озадачило меня. Я не мог понять, был ли то утвердительный возглас или простой вопрос. Видимо, лицо мое выдало эти чувства, поскольку он тотчас же сказал:

— По манере вашего изложения, знаете ли, нетрудно было сделать такой вывод. Не исключаю, что еще много лет назад я мог бы это предсказать.

— Предсказать — что? Неужели убийство лорда Фаранкса?

— Нечто в таком духе, — отвечал он с улыбкой, — но продолжайте, мне хотелось бы знать все факты.

Подобные загадочные высказывания часто слетали с уст князя. Я продолжал свой рассказ.

— Итак, эти двое встретились, и примирение состоялось. Но в примирении том не было сердечности или искренней привязанности – рукопожатие дуэлянтов поверх барьера, не более; и даже рукопожатие это было лишь метафорическим, так как дело у них, как кажется, не зашло дальше ледяных поклонов. Впрочем, отец и сын предоставляли любопытным не слишком много возможностей наблюдать за собой. Вскоре после возвращения Рэндольфа в Орвенхолл, отец его повел жизнь абсолютного затворника. Дом представляет собою старинное трехэтажное здание; верхний этаж занят в основном спальнями, на втором этаже – библиотека, гостиная и так далее, а в нижнем, помимо столовой и прочих обычных для поместья комнат, имеется еще одна маленькая библиотека, выходящая (с боковой стороны дома) на лужайку с цветочными клумбами. Из меньшей библиотеки убрали все книги, превратив ее в спальню графа. Туда он перебрался и там жил, почти не выходя из

комнаты. Рэндольф, в свою очередь, поселился в комнате на втором этаже, прямо над маленькой библиотекой. Почти все слуги были уволены, а горстка оставшихся перешептывалась, гадая с удивлением и тревогой, что принесут с собой эти перемены. В поместье воцарилась тишина, поскольку за малейшим шорохом, где бы он ни раздался, непременно следовала гневная тирада хозяина, раздраженного неподобающим шумом. Как-то раз, когда слуги ужинали на кухне, в той части дома, что наиболее удалена от господских покоев, в дверях появился лорд Фаранкс, в домашних туфлях и халате, багровый от ярости, и пригрозил выставить всю их братию за дверь, если они тотчас не умерят стук ножей и вилок. В доме его всегда боялись, теперь же его голос стал воплощением ужаса. Еду приносили лорду в комнату, ставшую его обиталищем, и было замечено, что он, отличавшийся ранее простотой гастрономических вкусов, теперь — возможно, по причине своего затворнического образа жизни — сделался привередлив и настаивал на самых *recherché* блюдах. Я упоминаю эти подробности — как буду приводить и другие — отнюдь не потому, что они каким-либо образом связаны с произошедшей трагедией, но потому только, что они мне известны, вы же просили меня рассказать все, что я знаю.

— Да, — отозвался князь с ноткой *ennui* в голосе, — вы, должно быть, правы. Если уж мне приходится слушать вашу историю, лучше выслушать все.

— Все это время Рэндольф навещал отца по меньшей мере раз в день. Он стал таким же отшельником: к примеру, многие друзья считали, что Рэндольф все еще находится в Индии. Лишь в одном отношении он сделал исключение. Вам известно, конечно, что в политике Орвены являются и, думаю, всегда были самыми твердолобыми консерваторами; это ярко выделяет их даже среди прославленных древностью семейств Англии. И только представьте – внезапно Рэндольф выставляет свою кандидатуру на парламентских выборах от Радикальной ассоциации округа Орвен, намереваясь идти против нынешнего депутата! Документально подтверждено, что он — как сообщали местные газеты —

выступил на трех общественных собраниях, где во всеуслышание объявил о смене своих политических взглядов; что он заложил затем фундамент новой баптистской часовни, председательствовал на методистском чаепитии и, проявив никак не свойственный ему интерес к униженному положению рабочего люда из окрестных селений, устроил в одной из спален на верхнем этаже Орвен-холла классную комнату и собрал там целую толпу местной деревенщины, каковой по вечерам, дважды в неделю, демонстрировал опыты из области элементарной механики.

— Механики? — вскричал Залесский, на мгновение выпрямившись. — Преподавать механику крестьянам! Отчего не элементарную химию? Или основы ботаники? *Почему* механику?

Он впервые проявил какой-то интерес к моему рассказу. Я был воодушевлен, но отвечал:

— Это не столь важно; да и едва ли найдется объяснение всем капризам человека, подобного Рэндольфу. Мне кажется, что он хотел дать молодым невеждам некое представление о простых законах движения и силы. Но позвольте мне перейти к новому действующему лицу нашей драмы — главному персонажу, по сути говоря. Однажды в Орвен-холл явилась женщина и потребовала встречи с хозяином. В речи ее чувствовался сильный французский акцент. Женщина была не молода, ближе к среднему возрасту, и тем не менее все еще красива: горящие черные глаза, млечная бледность лица. На ней было поношенное, безвкусное, дешевое платье кричащей расцветки; волосы неухожены; манерами она ничуть не напоминала порядочную даму. Некая озлобленность, раздражительность, беспокойство сквозили во всех ее словах и жестах. Лакей отказался ее впустить; лорд Фаранкс, заявил он, никого не принимает. Она впала в ярость, ринулась в дом, оттолкнув лакея, и ее пришлось выдворить насильно; все это время из коридора доносился рев хозяина, взбешенного непривычным шумом. Незнакомка удалилась, бурно жестикулируя и осыпая проклятиями лорда Фаранкса и заодно с ним весь мир. Позднее выяснилось, что она поселилась в одной из соседских деревушек, под названием Ли.

Эта особа, назвавшаяся Мод Сибра, затем еще три дня подряд приходила в Орвен-холл, и всякий раз ее отказывались принять. Сочли благоразумным, однако, сообщить о ее визитах Рэндольфу. Он велел провести женщину к нему, если та вернется. Незнакомка появилась на следующий день и долго беседовала с ним с глазу на глаз. Как поведала служанка, некая Хестер Дайетт, гостья разговаривала на повышенных тонах, словно бы резко против чего-то протестовала, а Рэндольф тихим голосом пытался ее успокоить. Велась беседа на французском, и служанка не сумела разобрать ни слова. Наконец женщина вышла с чрезвычайно самодовольным видом и наградила лакея, ранее преграждавшего ей путь в дом, улыбкой площадного торжества. Более она не являлась с визитами в Орвен-холл.

Но ее связь с обитателями поместья, казалось, только крепла. Все та же Хестер утверждает, будто однажды вечером, возвращаясь домой через парк, заметила на скамейке под деревьями какую-то пару, поглощенную беседой, подобралась ближе, скрываясь за кустами, и узнала в этой паре странную гостью и Рэндольфа. Служанка та стала свидетельницей их встреч и в других местах; в корзинке для исходящих писем попадались послания, адресованные Мод Сибра и написанные рукою Рэндольфа. Позже одно из этих писем было обнаружено. Встречи с незнакомкой так занимали Рэндольфа, что, судя по всему, даже несколько охладили радикальный пыл новообращенного политика. *Rendezvous* — всегда проходившие под покровом тьмы, но открытые взору бдительной Хестер — зачастую совпадали по времени с научными лекциями Рэндольфа, и тогда последние откладывались, пока не стали назначаться все реже и реже и, наконец, почти не прекратились.

— Ваше повествование становится неожиданно занимательным, — заметил Залесский; — но что с тем найденным письмом Рэндольфа — что было в нем?

Я прочел ему следующее:

«Дорогая м-ль Сибра,
я неустанно пытаюсь замолвить за вас слово перед отцом,

но он и слушать ничего не желает. Если бы я только мог убедить его встретиться с Вами! Но он, как Вы знаете, человек непреклонный. Вам остается поверить, что я всецело на Вашей стороне. В то же время я вынужден признать, что положение дел довольно шаткое: я убежден, что в соответствии с имеющимся завещанием лорда Фаранкса Вы будете хорошо обеспечены, однако же он собирается — в течение, вероятно, ближайших трех-четырех дней — составить новое; поскольку он весьма разгневан Вашим появлением в Англии, Вам согласно новому завещанию, надо полагать, не достанется ни *centime*. Пока это не случилось, мы должны все же надеяться на благоприятный для Вас поворот событий; умоляю Вас тем временем удерживать свое более чем справедливое возмущение в границах разумного.

Искренне Ваш,
Рэндольф».

— Прелестное письмо! — воскликнул Залесский. — Заметьте этот смелый, искренний тон! Но *факты* — каковы факты? Граф *в самом деле* составил новое завещание?

— Нет, — вероятно, смерть помешала ему это сделать.

— И *действительно* ли мадемуазель Сибра была упомянута в старом завещании?

— Да, — по крайней мере в этом Рэндольф был прав.

Болезненная тень прошла по лицу князя.

— Теперь, — продолжал я, — настало время заключительной сцены, в которой одному из самых выдающихся мужей Англии предстоит пасть от рук таинственного убийцы. Письмо к Мод Сибра, которое я зачитывал, датировано пятым января. Далее, шестого числа, лорд Фаранкс на целый день оставил свою комнату и перебрался в другую, а в спальню хозяина привели искусного мастера с целью произвести в комнате некоторые изменения. Когда Хестер Дайетт спросила у механика, уже покидавшего дом, в чем именно заключалась его работа, тот ответил, что устанавливал на окне, выходящем на балкон, патентованное устройство для

защиты от грабителей, так как недавно в окрестностях было совершено несколько краж. Внезапная смерть мастера, случившаяся незадолго до трагедии, лишила нас, к сожалению, его показаний. На следующий день, седьмого, Хестер приносит лорду Фаранксу обед, тот сидит спиной к ней, в кресле у камина, однако ей кажется — хоть она так и не может объяснить, почему — что хозяин «многовато выпил».

Восьмым числом означено неожиданное событие: граф согласился принять Мод Сибра, и тем же утром собственной рукой написал ей записку, сообщая о своем решении. Эту записку Рэндольф передал посыльному. Содержание записки также стало достоянием публики. В ней говорилось:

«Мод Сибра — можете приходить нынче вечером, после наступления темноты. Обогните дом с южной стороны, подойдите к ступеням у балкона; через открытое окно войдете ко мне в комнату. Помните, однако, что от меня ждать Вам нечего, и что с сегодняшнего вечера я навечно вычеркиваю Вас из своей памяти. Я выслушаю, пожалуй, вашу историю, зная заранее, что она окажется ложью. Уничтожьте эту записку.

Фаранкс».

Продолжая рассказ, я заметил, что лицо князя Залесского стало постепенно приобретать своеобразное застывшее выражение. Тонкие и резкие черты сложились в маску необычайного *любопытства* — распаленного любопытства самого нетерпеливого и бесцеремонного свойства. Зрачки, сократившись до точек, превратились в центральные *puncta* двух пылающих кругов огня; мелкие острые зубы едва не скрежетали. Лишь однажды довелось мне видеть на его лице такое же жадное выражение, и было это, когда князь, схватив побелевшими от напряжения пальцами древнюю табличку, покрытую полустершимися иероглифами, скло-

нился над нею с тем же неутолимым любопытством, с тем же пылким вопрошающим взором – и словно месмерическим напряжением воли извлек из нее тайну, сокрытую от прочих глаз; а после он откинулся назад, бледный и обессиленный после такой нелегкой победы.

Когда я прочитал письмо лорда Фаранкса, князь нетерпеливо выхватил газету у меня из рук и пробежал глазами соответствующий отрывок.

— Расскажите — чем кончилось, — бросил он.

— Мод Сибра, — продолжал я, — приглашенная на встречу с графом, в назначенное время не появилась. Выяснилось, что ранним утром она покинула свое деревенское жилище и, по той или иной причине, отправилась в Бат. В тот же день уехал и Рэндольф, но в противоположную сторону, в Плимут. Он вернулся на следующее утро, девятого января, и вскоре пешком направился в Ли; там Рэндольф завязал разговор с хозяином трактира, где снимала комнату Сибра; спросил, можно ли ее видеть и, получив ответ, что та уехала, стал узнавать, забрала ли она багаж; его уведомили, что постоялица увезла все свои вещи, намереваясь тотчас покинуть Англию. Затем Рэндольф возвратился в Орвен-холл. В тот же день Хестер Дайетт заметила, что в спальне графа появилось множество ценных вещей, в том числе тиара со старинными бразильскими бриллиантами, которую иногда надевала покойная леди Фаранкс. Рэндольф – он также находился в комнате – заострил на украшениях внимание служанки, пояснив, что лорд Фаранкс решил перенести к себе в спальню фамильные драгоценности; она получила приказание сообщить об этом прочим слугам на случай, если те заметят близ имения каких-либо подозрительных бродяг.

Десятого отец и сын весь день оставались в своих комнатах, однако последний спускался в столовую; при этом он запирал свою дверь, графу же относил еду сам, объясняя это тем, что отец его занят составлением важного докумен-та и не желает, чтобы ему докучали слуги. В предполуденный час Хестер Дайетт услышала громкий шум в комнате Рэндольфа, точно там передвигали мебель, и под каким-то пред-

логом постучалась в дверь; ей было приказано ни в коем случае больше не беспокоить хозяина, так как он собирает вещи, готовясь наутро уехать в Лондон. Дальнейшее поведение служанки говорит о том, что ее любопытство было возбуждено до предела странным, спору нет, желанием Рэндольфа самостоятельно уложить одежду. Ближе к вечеру одному деревенскому парню было велено привести своих товарищей на научную лекцию, которую Рэндольф назначил на восемь часов. Так проходил этот богатый событиями день.

Мы приближаемся к роковому часу — восьми вечера того же десятого января. Вечер выдался безлунный и ветреный; днем выпал снег, но затем снегопад утих. В верхней комнате Рэндольф втолковывает деревенским неучам основы динамики, а этажом ниже находится Хестер Дайетт – ибо Хестер удалось каким-то образом раздобыть ключ от комнаты Рэндольфа, и теперь, пользуясь его отсутствием, она намерена исследовать помещение. Еще ниже, на первом этаже, лорд Фаранкс — без сомнения, он в постели и, вероятно, крепко спит. Хестер, лихорадочно дрожа от возбуждения и страха, держит в руке зажженную свечу, а другой рукой благоговейно ее прикрывает, поскольку бурные порывы ветра, проникая сквозь старые, дребезжащие оконные створки, отбрасывают на портьеры громадные пляшущие тени, которые пугают ее до смерти. Она едва успевает заметить, что в комнате царит невообразимый беспорядок, но внезапно яростный порыв ветра задувает свечу и она, пребывая в этом запретном месте, оказывается — как ей наверняка показалось — в ужасной, непроницаемой тьме. В тот же миг прямо под нею раздается громкий и резкий пистолетный выстрел. На мгновение она застывает, подобно каменной статуе, не в силах пошевелиться. И тогда потрясенное сознание служанки пронзает, как она клянется, ощущение того, что в комнате что-то движется — движется само по себе, нарушая все известные ей законы природы. Ей кажется, что она видит фантом — нечто небывалое — округлое и белое — похожее, как она утверждает, на «большой моток шерсти» — и это поднимается с пола перед нею и медленно взлетает вверх, точно движимое невидимой силой. Внезап-

ное явление сверхъестественного повергает все ее чувства в смятение и лишает ее способности мыслить разумно. Простерши руки и испустив пронзительный крик, она бросается к двери. Но достичь двери ей не суждено: на полпути она спотыкается о какой-то предмет, падает ниц — и более ничего не помнит; когда час спустя Рэндольф самолично выносит ее на руках из комнаты, кровь хлещет из сломанной правой голени служанки.

Тем временем пистолетный выстрел и женский крик доносятся до комнаты наверху. Все глаза обращены на Рэндольфа. Он стоит в тени механического аппарата, с помощью которого иллюстрировал свою лекцию, пошатывается и облокачивается о механизм. Он пытается заговорить, лицо его напрягается, но он не издает ни звука. И вот ему с трудом удается пробормотать: «Вы это слышали — там, внизу?» Слушатели хором отвечают «да», после чего один из парней берет зажженную свечу, и все толпой выходят, а Рэндольф следует за ними. Один из слуг в страхе мчится навстречу и сообщает, что в доме произошло что-то ужасное. Они спускаются ниже, но на лестнице открыто окно, и ветер задувает свечу. Им приходится подождать несколько минут, пока не принесут другую; затем процессия возобновляет путь. Дверь в комнату лорда Фаранкса оказывается заперта; приносят фонарь, и Рэндольф во главе отряда, проследовав по дому, выводит всех на лужайку. У самого балкона один из парней замечает на снегу следы маленьких женских ног; раздается команда остановиться, и Рэндольф указывает на еще одну цепочку следов, наполовину скрытых под снегом, которые начинаются от кустарника близ балкона и идут под углом к первому следу. Следы эти оставлены большими ногами, обутыми в громоздкие рабочие башмаки. Рэндольф вздымает фонарь над клумбами и показывает, как глубоко вдавлены следы. Кто-то находит самый обычный шейный платок, из тех, что носят рабочие; Рэндольф обнаруживает в снегу кольцо и медальон и делает вывод, что их обронили грабители, спасаясь бегством. Между тем, авангард отряда приближается к окну. Рэндольф откуда-то сзади призывает соратников войти в ком-

нату. Те кричат ему, что это никак невозможно, потому что окно закрыто. При этих словах Рэндольфа, похоже, охватывают изумление и ужас. Кто-то слышит, как он бормочет: «Господи, что могло случиться?» Ужас его только возрастает, когда один из парней приносит ему отвратительный трофей, найденный под окном; это передние фаланги трех человеческих пальцев. Рэндольф вновь издает жалобный стон: «Господи!» и затем, взяв себя в руки, направляется к окну; он видит, что щеколда на раме грубо сорвана и раму можно открыть, просто подняв ее: он так и делает и проникает в комнату. Спальня погружена во тьму; на полу под окном обнаруживается бесчувственное тело Мод Сибра. Она жива, но пребывает в обмороке. Пальцы ее правой руки сжимают рукоятку большого охотничьего ножа, покрытого кровью; пальцы на левой руке частично отрублены. Все драгоценности из комнаты похищены. Лорд Фаранкс лежит на кровати — нож прошел сквозь одеяло и угодил прямо в сердце. Позднее была найдена и застрявшая в его голове пуля. Здесь следует пояснить, что острое лезвие на нижней кромке скользящей рамы и явилось, вполне очевидно, тем орудием, что отсекло пальцы Мод Сибра. Эту острую полосу несколько дней тому установил на окне мастер, о котором я рассказывал. На внутренней стороне нижней, горизонтальной перекладины окна были приспособлены потайные пружины; при нажатии любой из них рама опускалась: всякий, кто не был посвящен в этот секрет и захотел бы выбраться через окно из комнаты, непременно задел бы одну из пружин, обрушив лезвие на свою беззащитную руку.

Разумеется, состоялся суд. Несчастная преступница, в ужасе ожидая смертного приговора, выкрикнула признание в убийстве, едва присяжные, еще не успев огласить вердикт: «виновна», вернулись после недолгого совещания. Она отрицала, однако, что застрелила лорда Фаранкса и похитила драгоценности; и действительно, ни пистолета, ни драгоценностей не нашли ни при ней, ни где-либо в спальне. Как видите, многое в этой истории покрыто мраком. Какую роль в трагедии сыграли грабители? Были ли они в сговоре с Сибра? Имеет ли странное поведение по крайней мере

одного из обитателей Орвен-холла некое сокрытое значение? По всей стране выдвигались самые невероятные предположения; множились версии. Но ни одна из них не объясняла *все* обстоятельства дела. Брожение умов, однако, с тех пор утихло. Завтра утром Мод Сибра окончит свою жизнь на виселице.

На этом я завершил свой рассказ.

Не произнося ни слова, Залесский встал с кушетки и подошел к органу. Хэм, угадывавший любую прихоть хозяина, тотчас очутился рядом, и князь с безграничным чувством заиграл арию из *Lakmé* Делиба; он долго сидел за органом в глубокой задумчивости, наигрывая мелодию и опустив голову на грудь. Когда он наконец поднялся, его высокий лоб разгладился, а губы тронула торжественная, спокойная улыбка. Подойдя к *escritoire* слоновой кости, он быстро написал несколько слов на листе бумаги и передал его негру с приказанием взять мою двуколку и спешно доставить записку на ближайшую телеграфную станцию.

— Мое послание, — сказал он, вновь занимая привычное место на кушетке, — станет последним словом в трагедии и, несомненно, несколько изменит ее финальную часть. А теперь, Шил, давайте-ка обсудим это дело. Характер вашего рассказа свидетельствует, что некоторые обстоятельства вас обескураживают — вам недостает ясного *coup d'oeil* на всю совокупность фактов, их причины, следствия и последовательность. Посмотрим, удастся ли нам обнаружить в этом хаосе известную согласованность, симметрию. Свершается страшное злодеяние, и на общество, где оно происходит, возложена обязанность раскрыть его, выявить все взаимосвязи и покарать виновного. И что же? Общество не отвечает на вызов; оно не проясняет, но лишь затуманивает картину, не замечает истинного преступления и оказывается неспособно воздать за него по заслугам. Думаю, вы согласитесь, что в подобных случаях общество терпит поражение весьма прискорбного свойства, прискорбного не столько самого по себе, сколько по своему значению: и здесь должна иметься определенная причина. Причина эта коренится далеко не в одних только людях, расследующих

злодеяния, но в устройстве мира как таковом – не подобает ли нам смело назвать эту причину отсутствием культуры? Прошу понять меня правильно: под словом «культура» я подразумеваю не достижения в целом, но *умонастроение*. Вы сомневаетесь, должно быть, станет ли культурное умонастроение повсеместным. Что же до меня, то я нередко думаю, что с зарождением эры цивилизации — а прекрасный этот день когда-нибудь несомненно настанет — народы мира наконец превратятся из отар легковерных овец в разумные нации людей, возвещая рассвет десяти тысячелетий культурной *ясности*. Однако на протяжении тех нескольких сотен веков, что человек царит на земле, до сих пор нигде и никогда не являлось ни малейших признаков цивилизованности. У отдельных личностей, бесспорно — у грека Платона, например и, полагаю, у вашего англичанина Мильтона и епископа Беркли — но в человечестве, никогда; и едва ли проявлялась она у отдельных личностей вне этих двух народов. Объяснение, как мне кажется, не столько в том, что человек безнадежно глуп, сколько во Времени; с точки зрения человека оно только начинается, и весьма вероятно, что для создания совершенного человеческого общества, этой предпосылки *режима* культуры, понадобится больший отрезок времени, чем для возникновения, скажем, угольного пласта. Один словоохотливый персонаж — кстати, он принадлежит к вашим драгоценным «новым» писателям, если можно назвать Новизной нечто, в чем нет и попытки сотворить новое — как-то заверил меня, что не может без гордости размышлять о величии нашего века, века могущественной цивилизации, каковой он сравнил со временами Августа и Перикла. Равнодушный взгляд антрополога, который я устремил на его лобную кость, должно быть, поверг беднягу в ступор, и он поспешно ретировался. Разве он не понимает, что наше время величественней века Перикла по той простой причине, что Божество не есть дьявол или нерадивый сапожник; что три тысячи лет человеческого сознания не пролетели впустую; что целое больше части, а бабочка — хризалиды? Однако именно предположение,

что наша цивилизация, следственно, величественней по своей сути — вот что вызвало мое глубокое удивление и, в конечном итоге, презрение. Если цивилизация к чему-то и сводится, то — к искусству, объединяющему людей музыкальным ладом, будь то нежные напевы свирелей или, допустим, триумфальные органные раскаты военных маршевых дифирамбов. Любая формула, определяющая цивилизацию как «искусство безделья и получения разнообразных удовольствий» *слишком* примитивна, *слишком* близорука — и в наши дни может вызвать лишь улыбку на устах взрослых белокожих людей; и тот факт, что определение это до сих пор встречает всеобщую поддержку, может служить показателем того, что истинная *идея*, которая должна в конце концов вдохновить наше бытие, далека — возможно, отдалена на века и тысячелетия — от того, чтобы стать частью общепринятой системы взглядов. Основная проблема существования изначально и не приближалась к решению, не говоря уже о тонкой и сложной задаче *совместного* существования: *à propos*, ваше общественное тело все еще кишит преступниками (как тело природное — блохами); но мало того, его элементарные рефлексы оказываются бессильны против блох поистине атлетических! Тем временем у *Вас* и у *меня* подрезаны крылья. Личность пребывает в юдоли страданий. В борьбе за качество, власть, воздух она расходует силы, и все же не в состоянии избежать удушья. Ей не освободиться от уз духовной гравитации, как Земле не сойти с солнечной орбиты и как всемогущество сковывает Вселенная. Едва проклюнется у кого-либо пушок будущих крыльев, как сознание контраста вызывает смущение и неловкость — и тотчас трагедия: «лишь бессознательное целокупно». Дабы достичь чего-либо, индивидууму должно дышать воздухом будущего, тянуться головой в будущее, но из ног его и рук, распятых на кресте грубого настоящего, сочится темный гной отчаяния — *ужасающий груз*! Еженощно взор его летит к звездным соблазнам, но ему не достичь головою звезд. Будь Земля кораблем, а я капитаном, я знал бы, по каким небывалым азимутам направить ее бег; но сила тяжести, сила тяжести —

главное проклятие первородного греха! — враждебна нам. Когда (как предначертано) престарелая наша мать перейдет на орбиту более возвышенную, мы последуем, сидя у нее на загривке – но до тех пор тщетно станем мы мастерить икаровы крылья. И разве не учит нас Гете, что усильям человеческим положен предел? Ибо Человек, поймите, состоит не из множества — он Един. Смешно предполагать, что Англия может быть свободна, когда Польша прозябает в рабстве; Париж *далек* от начатков цивилизации, Табулу и Чикаго погрязли в варварстве. Возможно, ни один из несчастных сыновей Адама, этих микроцефалов, не совершал более грандиозной и инфантильной ошибки, чем богатей, вообразивший, что может жить в роскоши, в то время как Лазарь сидит в рубище у врат. Не множество, говорю вам, но единство. Даже мы с Хэмом не одиноки в нашем уединенном убежище; к нам вторгается непрошеный дух современности; несокрушимые корни горы, на вершине которой мы стоим, прочно уходят в нижний мир. И все же, хвала Небесам, Гете был *не совсем* прав — что и доказал на собственном примере. Видите ли, Шил, я *знаю,* убила или не убила Мария Стюарт лорда Дарнли; я знаю со всей возможной ясностью и точностью, что Беатриче Ченчи не была «виновна», как якобы «доказывают» некоторые обнаруженные недавно документы, и что версия Шелли соответствует истине, хоть она и являлась с его стороны лишь догадкой. Мышление позволяет возвыситься над собою на локоть — пусть на ладонь, на палец; вы *можете* немного развить свои способности — чуть-чуть, но заметно и с точки зрения количества, и качества — и несколько возвыситься над массами, что обитают в одном временно́м цикле с вами. Но только когда способности и возможности, о которых я говорю, разделят массы, когда отдельный человек сможет без труда понимать их и применять — когда настанет наконец то, что я, за неимением иного термина, называю веком Культурного Умонастроения — кто сможет сказать, какие предвидения, прозрения и *séances*, какие путешествия в глубины разума и откровения Гениев станут *тогда* доступны тем немногим, что превзойдут в своем духовном развитии

остальное человечество?

Как вы понимаете, я излагаю все это в качестве некоего оправдания: быть может, мы с вами несколько помедлили, разгадывая небольшую головоломку, которую вы мне предложили — в то время как ее никак нельзя счесть сколько-нибудь сложной. Итак, рассматривая все факты, мы неизбежно останавливаем внимание на том обстоятельстве, что у виконта Рэндольфа имелись серьезные причины желать смерти своему отцу. Они — заклятые враги; он *fiancé* принцессы и в настоящее время слишком беден, чтобы жениться на ней, однако станет, весьма вероятно, достаточно состоятелен после смерти отца и так далее. Все это лежит на поверхности. С другой стороны, мы — то есть вы и я — знаем этого человека: в нем течет благородная кровь, он разделяет, как мы полагаем, моральные устои обычных людей, и занимает высокое положение в обществе. По любой из указанных причин невозможно представить, что подобный человек способен совершить или даже задумать убийство. В душе мы, располагая или не располагая доказательствами, едва ли его подозреваем. Сыновья графов, в самом-то деле, людей так просто не убивают. Если мы не можем обнаружить иные мотивы — сильные, достаточные и необоримые, причем под «необоримым» я понимаю мотив, что должен быть *гораздо* сильнее даже самой любви к жизни — нам следует, я считаю, справедливости ради снять с Рэндольфа все подозрения.

И все же необходимо признать, что его поведение может вызвать нарекания. Он неожиданно завязывает близкие отношения с виновницей убийства, которую раньше, видимо, никогда не знал. Он встречается с ней по ночам, переписывается с ней. Кто эта женщина и что она собой представляет? Полагаю, мы будем недалеки от истины, назвав ее очень давней пассией лорда Фаранкса, какой-нибудь актрисой *Théâtre des Variétés*, которую лорд годами поддерживал; но теперь, прослышав о какой-то неприглядной истории, он грозится лишить ее содержания. Как бы то ни было, Рэндольф пишет Сибра — а это женщина вспыльчивая, и в ней бушуют низменные страсти — и сообщает, что

через четыре-пять дней ее имя будет вычеркнуто из отцовского завещания; ровно через четыре или пять дней Сибра вонзает нож в грудь его отца. Последовательность событий вполне естественна — хотя Рэндольф, разумеется, мог и не иметь *намерения* подтолкнуть Сибра своими словами к действию; собственно говоря, письмо самого лорда Фаранкса, будь оно получено, возымело бы тот же эффект: ведь оно не только дает Сибра отличный повод для того, чтобы превратить в действие злобные мысли, которые Рэндольф (безрассудно или злонамеренно) ей внушил, но лишает малейших надежд на графскую милость и тем самым еще больше распаляет ее гнев. И если мы, опять же вполне естественным образом, полагаем, что у графа таких намерений не было, мы *можем* распространить это предположение и на сына. Сибра, однако, так и не получает письма графа: в тот день она утром уезжает в Бат, думаю, с двойной целью — приобрести оружие и убедить всех в своем отъезде из страны. Откуда же ей стало известно точное *местоположение* комнаты лорда Фаранкса? Бывшая библиотека — необычное место для спальни, ни с кем из слуг она не знакома, да и в округе она чужая. Возможно ли, что Рэндольф *рассказал ей* об этом? Но и в таком случае необходимо помнить, что лорд Фаранкс сам указал в записке расположение своей спальни, и взять в расчет возможное отсутствие злого намерения у сына. И впрямь, я мог бы продолжить и доказать вам, что почти все действия Рэндольфа, которые сами по себе видятся *outré* и довольно подозрительными, покажутся не менее *outré*, но гораздо менее подозрительными, стоит нам вспомнить, что лорд Фаранкс знал о них и участвовал в них. Хороший пример — жестокое приспособление на балконном окне; здесь неотесанный ум наверняка рассудил бы так: «Пятого января Рэндольф буквально толкает Мод Сибра на убийство лорда Фаранкса, а шестого он велит установить на окне лезвие и потайные пружины; он подстрекает ее и рассчитывает, что она решит действовать и попадет в ловушку, пытаясь выбраться из комнаты — тем самым преступница будет поймана *en flagrant délit*, сам же он избежит и тени подозре-

ния». Но, с другой стороны, нам известно, что работа была произведена с согласия лорда Фаранкса и, скорее всего, по его инициативе — ведь именно ради западни он на целый день покинул любимую комнату. Так же обстоит дело и с письмом к Сибра от восьмого числа — письмо отправляет Рэндольф, но пишет его граф. То же касается размещения драгоценностей в комнате девятого числа. В окрестностях совершено несколько ограблений, и нашему неотесанному мыслителю немедленно приходит на ум новое соображение: быть может, Рэндольф — узнав, что Сибра «уехала из страны» и он лишился орудия для исполнения своего плана — сам поместил драгоценности в комнату отца, и оповестил об этом всех слуг в надежде на то, что известие разлетится по округе и приведет к визиту грабителей, которые — вполне вероятно — лишат жизни его отца? Похоже, некоторые улики свидетельствуют, что ограбление и в самом деле произошло, и ввиду этого подобное подозрение кажется достаточно резонным. Оно вступает, однако, в противоречие с сведениями о том, что именно лорд Фаранкс *«решил»* держать драгоценности поблизости от себя и что Рэндольф сообщил об этом служанке в его присутствии. В вопросе маленькой политической комедии сын, видимо, действовал самостоятельно; но невольно создается впечатление, что радикальные речи, участие в выборах и прочее были лишь сложной и тем не менее достаточно неловкой прелюдией к *лекциям*. Все это призвано было представить *занятия* с крестьянами под нужным углом, как естественное следствие перемен в его политических взглядах. Но в случае лекций, налицо молчаливое одобрение либо даже содействие лорда Фаранкса. Ранее вы упоминали обет тишины, по той или иной причине наложенный на дом; в этом царстве молчания стук двери или упавшая тарелка могли поднять целую бурю. Но доводилось ли вам слышать, как работник с фермы, в башмаках на деревянной подошве или тяжелых сапогах, топает по лестнице? Шум стоит ужасный. А когда целая армия их является в дом и разгуливает над головой, да еще обменивается при этом, вероятно, громкими и грубыми шутками,

шум должен быть невыносим. Но лорд Фаранкс ничуть не возражает: в его собственном имении, к тому же в доме и, видимо, вопреки всем его принципам создается учебное заведение для крестьян – а он и в ус не дует. В роковой день, заметьте, тишину дома грубо нарушает суматоха и грохот в комнате Рэндольфа прямо у него над головой: сын складывает вещи, готовясь к «поездке в Лондон». Но граф и не помышляет, как заведено, заявить свой гневный протест. Разве вы не видите, что лорд Фаранкс более чем потакает поступкам своего сына — в результате чего поведение Рэндольфа начинает казаться куда менее двусмысленным и подозрительным?

Наш нетерпеливый резонер неизбежно поторопился бы заключить, что Рэндольф повинен в некоем злом умысле, хотя и не смог бы в точности сказать, в каком. Мыслитель осмотрительный здесь остановился бы и задумался*: поскольку* отец был замешан во всех упомянутых действиях и *поскольку* злого умысла у него не имелось, то и сын, возможно — и даже вероятно — ни в чем не повинен. Именно такова, насколько я понимаю, точка зрения официальных лиц, чья логика далеко опережает воображение. Но предположим, что мы сумеем выделить один поступок, несомненно вызванный злым умыслом со стороны Рэндольфа, некое действие, в котором его отец *безусловно* не принимал участия — что тогда? О, тогда мы немедленно согласимся с выводами нетерпеливого резонера и заключим, что и *все* прочие действия были вызваны тем же преступным мотивом; и заключив это, более не сможем сопротивляться искушению предположить, что те действия, в которых принимал участие отец, *могли быть* вызваны схожим преступным мотивом, в свою очередь имевшимся *у него*. Такая мелочь, как явная невероятность подобного положения вещей, никак не должна влиять на нас в роли мыслителей, и мы не можем отвергать сей логически обоснованный вывод. Поэтому я высказываю данное предположение и продолжаю.

Посмотрим теперь, удастся ли нам достоверно указать на какое-либо отклонение Рэндольфа с пути истинного, причем такое, в каком отец его не являлся бы соумышленни-

ком. В день убийства в восемь вечера было уже темно; выпал снег, но затем снегопад прекратился — не знаю, задолго ли до убийства, но в любом случае времени прошло достаточно, чтобы факт этот был отмечен. Отряд, который движется вокруг дома, обнаруживает две цепочки следов, идущих под углом друг к другу. Об одних следах говорится, что они были маленькие и женские, и больше нам о них ничего не известно; другие же, как утверждается, были оставлены большими ногами, обутыми в громоздкие башмаки — причем эти следы были *наполовину занесены снегом*. Итак, выясняются две вещи: люди, оставившие следы, пришли с разных сторон и, вероятно, в разное время. Уже одно это может послужить достаточным ответом на ваш вопрос о том, была ли Сибра в сговоре с «грабителями». Но как ведет себя Рэндольф при виде этих следов? Он держит в руке фонарь, но первые следы — женские — почему-то не замечает, и их обнаруживает деревенский парень; однако же вторые, занесенные снегом, Рэндольф различает очень быстро и сразу же указывает на них остальным. Здесь грабители вышли на тропу войны, поясняет он. Но вспомните, с каким удивлением и ужасом Рэндольф встретил известие о том, что окно закрыто, и разглядывал окровавленные женские пальцы. Невольно он восклицает: «Господи, что *могло* случиться?» Но почему «могло»? Это слово явно не относится к смерти его отца, поскольку об этом он уже знает или догадался по звуку выстрела. Уж не возглас ли это человека, чьи планы нарушила судьба? Кроме того, Рэндольф должен был *ожидать*, что окно окажется закрытым: ведь никто, кроме него самого, лорда Факранкса и умершего мастера, не был посвящен в секрет оконной конструкции; и если бы в комнате побывали грабители, один из них, намереваясь бежать, непременно нажал бы на оконный переплет, и рама рухнула бы ему на руку с известными нам последствиями. Другие тогда разбили бы стекло и спаслись бегством, отступили бы через дом или в растерянности так и остались бы в комнате, словно пленники. Чрезмерное удивление Рэндольфа, следовательно, было совершенно абсурдным и нелогичным, ведь

ранее он успел заметить на снегу след грабителя. Главное же — как вы объясните молчание лорда Фаранкса во время и после визита грабителей, если таковой вообще состоялся? Следует учитывать, что все это время он был жив; *они* его не убивали; и, конечно же, не стреляли в него, ибо выстрел прозвучал после снегопада — то есть позже, много позже того, как воры покинули дом, поскольку снег успел замести их следы. Удар ножом нанесли не они, а Сибра – в чем она и призналась. Почему же, будучи жив, без кляпа во рту, лорд Фаранкс не попытался сообщить о визите непрошеных гостей? Потому, что в тот вечер в Орвен-холле не было никаких грабителей!

— Но они оставили следы! — вскричал я. — В снегу нашли драгоценности — шейный платок, наконец!

Залесский улыбнулся.

— Грабители, — сказал он, — народ простой и честный, и если уж им попадаются драгоценности, они хорошо понимают их стоимость. Идею разбрасывать бриллианты по снегу они разумно сочли бы исключительной глупостью и мотовством — и никогда не взяли бы в компанию недотепу, способного в холодный вечер посеять шейный платок. Вся эта история с ограблением была не более чем чрезвычайно бездарным спектаклем, недостойным своего автора. Уже та ловкость, с какой Рэндольф, при тусклом свете фонаря, обнаружил в снегу украшения, должна была послужить намеком для проницательных полицейских, не боящихся самых невероятных гипотез. Драгоценности *поместили* там, чтобы навести подозрение на воображаемых грабителей; с этой же целью была сорвана оконная защелка, намеренно поднята рама, оставлены следы и похищены украшения из комнаты лорда Фаранкса. Все это было преднамеренно кем-то сделано — и так ли мы поспешим, если сразу скажем, кем именно?

Наши подозрения, как видим, утратили прежнюю расплывчатость и заставили нас двигаться в совершенно определенном направлении — что приводит нас к свидетельству Хестер Дайетт. Мне абсолютно ясно, что на публичных слушаниях показания этой женщины были восприняты с

недоверием. Не приходится сомневаться, что перед нами жалкая представительница рода человеческого, нерадивая служанка, взбалмошная и всюду сующая свой нос пародия на женщину. Может, ее показания и записали, но никто им не поверил; а если ей и поверили, то с большими оговорками. Не было никаких попыток сделать на основе их какие-либо заключения. Однако если бы я лично искал самые надежные свидетельства каких-либо событий, то обратился бы за ними именно к такому созданию. Позвольте мне отобразить умственные качества подобных людей. Они с жадностью набрасываются на любые сведения, но сведения эти непременно должны быть связаны с реальностью; вымысел им чужд; их любопытство к *действительному* диктуется недоверием к кажущемуся. Муза их — Клио, и только она одна. Они вожделеют к знаниям, почерпнутым из замочной скважины, и способны лишь *подглядывать*. Но они лишены воображения, и никогда не лгут; в своей страсти к реальному, они сочли бы искажение истории святотатством. Их мысль устремляется прямо к существенному, к несомненному. По этой причине Пеникулы и Эргасилы у Плавта кажутся мне гораздо более жизненными, чем образ Поля Прая в комедии Джерролда. Надо сказать, что в одном пункте показания Хестер Дайетт в самом деле могут показаться, на первый взгляд, весьма недостоверными. Она заверяет, что видела в комнате круглый белый предмет, взлетевший вверх. Но вечер, как мы помним, выдался темный, свеча ее погасла, вокруг царила, должно быть, кромешная тьма. Как же ей удалось разглядеть этот предмет? Полагали, что служанка намеренно дала ложные показания; высказывалось и мнение, что предмет этот (ввиду возбужденного состояния свидетельницы) был плодом ее расстроенного воображения. Но я уже говорил, что подобные люди, будь они даже истериками или невротиками, не склонны к вымыслу. Поэтому я считаю ее свидетельство правдивым. Теперь посмотрим, какие из этого следуют выводы. Я вынужден признать, что в комнату проникал свет из какого-то источника — свет настолько слабый и рассеянный, что его не заметила сама Хестер. Если так, свет должен был исходить из

самой комнаты, сверху или снизу. Других возможностей просто не существует. В комнате царила непроглядная тьма, а в спальне, как мы знаем, также было темно. Значит, свет исходил сверху — из классной комнаты, где шли занятия по механике. Свет этот мог распространиться в нижней комнате лишь одним способом — для этого в перекрытии *должна была* иметься дыра. Таким образом, мы приходим к заключению, что в полу верхней комнаты было проделано некое отверстие. Сброшен покров тайны с круглого белого предмета, «взлетевшего» вверх. Мы тотчас же задаемся вопросом: не *тянули* ли его вверх через найденное нами отверстие при помощи нити, такой тонкой, что ее невозможно было различить в полутьме? Безусловно, так и обстояло дело. Но если мы обнаружили отверстие в потолке комнаты, где находилась Хестер, нельзя ли заподозрить — даже не располагая достаточными свидетельствами — что и в полу комнаты было проделано похожее отверстие? Однако же и свидетельства эти у нас имеются. Бросившись к двери, Хестер упала, сломала голень и потеряла сознание. Если бы она, как вы предположили, *споткнулась* о какой-то предмет, результатом также мог бы стать перелом, но иного характера; но перелом у Хестер мог быть вызван только тем, что ее нога случайно угодила в отверстие, в то время как она быстро бежала к двери. Это, надо заметить, дает нам некоторое понятие о размерах отверстия — в него могла пройти ступня и нижняя часть ноги, а следовательно, и тот «большой моток шерсти», о котором говорила служанка: размеры нижнего отверстия, в свою очередь, подсказывают нам размеры верхнего. Но почему тогда эти отверстия нигде не упоминаются? Ответ может быть только один: их никто не видел. Однако комнаты наверняка осмотрели полицейские, и если отверстия существовали, их должны были заметить. Следовательно, их там не было — выпиленные фрагменты дерева к тому времени аккуратно вернули на место и, в случае нижнего отверстия, прикрыли ковром, перемещением которого и объясняется шум, доносившийся в роковой день из комнаты Рэндольфа. Хестер Дайетт могла бы заметить и упомянуть в своих показаниях

по крайней мере об одном отверстии, но она потеряла сознание, так и не разглядев, что явилось причиной ее падения, а час спустя Рэндольф, как вы помните, самолично вынес ее из комнаты на руках. Но ведь слушатели в классе непременно должны были заметить отверстие в полу? Бесспорно, если только оно находилось на виду, в середине комнаты. Но отверстие осталось незамеченным и, следовательно, могло располагаться лишь в одном месте — за механизмом, который использовался для опытов. Таково было *единственное* полезное предназначение механизма, а вместе с ним и тщательно разработанной лицемерной постановки, включавшей лекции, предвыборные речи и само участие в выборах. Все это должно было служить занавесом, ширмой. Не имелось ли иной цели? На этот вопрос мы сможем ответить, когда поймем, о какого рода механизме идет речь. И мы вполне в состоянии сделать определенные выводы — ибо единственными «механизмами», которые можно использовать для иллюстрации основ механики, являются винт, клин, весы, рычаг, ворот и машина Атвуда. Математические принципы, воплощенные в любом из этих предметов, в особенности же в первых пяти, конечно, едва ли будут понятны слушателям Рэндольфа, но поскольку лектору необходимо хотя бы делать вид, что он чему-то учит крестьян, я выбираю машину Атвуда; мой выбор станет ясен, если мы вспомним, что после выстрела Рэндольф облокотился о «механизм» и все это время стоял в его тени; но остальные предметы слишком малы, соответственно и их тень; остается ворот, но тот не смог бы послужить опорой для высокого человека, выпрямившегося во весь рост. Следовательно, выбора нет, кроме машины Атвуда; что же до ее конструкции, то машина состоит, как вы помните, из двух стоек с перекладиной между ними, оснащенной шкивами и струнами, и призвана демонстрировать движение тел под воздействием постоянной силы — а именно силы тяжести. Подумайте, как славно можно использовать эти блоки и шкивы, чтобы незаметно опускать и поднимать через два отверстия пресловутый «моток шерсти», пока другие струны с прикрепленными к ним грузами качаются пе-

ред тупыми взорами крестьян. Мне остается только напомнить, что когда вся эта компания покинула комнату, Рэндольф вышел последним, и теперь уже нетрудно понять, почему.

Итак, в чем мы обвиняем Рэндольфа? Прежде всего, мы показали, что следы на снегу явились подготовкой к сокрытию причины смерти графа. Следовательно, эта смерть была по меньшей мере ожидаема, предсказуема. Таким образом, мы обвиняем Рэндольфа в том, что он ожидал смерти отца. Путем независимой линии дедукции мы можем также установить, каким именно *способом* – согласно ожиданиям Рэндольфа — граф должен был покинуть этот мир. Он никак не ожидал, что графа сразит рука Мод Сибра, и это вполне очевидно: он знал, что она покинула округу, высказал неподдельное изумление при виде закрытого окна и, главное, проявил нездоровое стремление обеспечить себе надежное и неоспоримое алиби, причем отправился в Плимут в тот самый день, когда, как он мог подозревать, Мод Сибра совершит злодеяние — то есть восьмого января, когда граф пригласил ее к себе. В роковой вечер мы видим то же болезненное стремление обеспечить себе неопровержимое алиби — Рэндольф окружает себя толпой свидетелей и находится в верхней комнате. Но алиби, согласитесь, не настолько безупречное, как, допустим, поездка в Плимут. Почему же, ожидая смерти графа, Рэндольф не уехал из дома? Видимо, потому, что *на сей раз* необходимо было его личное присутствие. И когда, *наряду* с этим, мы припоминаем, что во время интриги с Сибра лекции прекратились и возобновились сразу же после ее нежелательного отъезда — мы приходим к выводу, что упомянутый выше *способ* лишения жизни лорда Фаранкса требовал личного присутствия Рэндольфа *наряду* с политическими речами, участием в выборах, лекциями и машиной Атвуда.

Но, хотя мы обвинили Рэндольфа в том, что он заранее знал о грядущей смерти отца и имел к ней какое-то отношение, я не нахожу никаких признаков того, что он лично совершил убийство либо имел такое намерение. Свидетельства говорят о его соучастии — и не более. И все же — и все-

таки — даже в *этом* случае, как я говорил ранее, нам придется снять с Рэндольфа все подозрения, если только мы не сумеем обнаружить некий сильный, достаточный и непреложный мотив, объясняющий подобное соучастие. Если же сделать это нам не удастся, мы вынуждены будем признать, что наши рассуждения в чем-то оказались ошибочными и привели нас к выводам, которые полностью противоречат всему, что известно нам о принципах человеческого поведения в целом. Попробуем же отыскать такой мотив — нечто более глубокое, чем личная вражда, более сильное, чем самолюбие, *чем сама любовь к жизни*! А теперь скажите мне: с тех пор, как случилось это таинственное происшествие, кто-либо изучал во всех подробностях историю дома Орвенов?

— Об этом я ничего не могу сказать, — ответил я. — Газеты напечатали, разумеется, несколько биографических статей о лорде Фаранксе — но, кажется, не более того.

— И все же прошлое их известно, оно лишь не привлекло должного внимания. Знайте, что я давно и много размышлял над историей Орвенов, пытаясь раскрыть ужасающую тайну проклятия — проклятия мрачного, как Эреб, и беспросветного, как черный пеплум Ночи, что столетиями отбрасывало роковую свою тень на всех мужчин этого злосчастного рода. Теперь, наконец, я проник в эту тайну. Темна, темна и багрова от крови и ужаса их история; с воплями бежали эти запятнанные в крови сыны Атрея по безмолвным дорогам веков, спасаясь от когтей чудовищных Эвменид. Первый граф получил жалованную грамоту в 1535 году от Генриха Восьмого. Два года спустя он, хотя и считался ярым сторонником короля, восстал против своего повелителя, присоединился к Благодатному паломничеству и был вскоре казнен вместе с Дарси и другими лордами. Ему было тогда пятьдесят лет. Сын его в то время служил в королевской армии под началом Норфолка. Примечательно, между прочим, что девочки в этой семье всегда рождались очень редко, и ни в одном поколении не было более одного сына. Второй граф, в эпоху правления Эдуарда Шестого, внезапно променял гражданскую должность на воен-

ные тяготы и в возрасте сорока лет, в 1547 году, был убит в битве под Пинки. Его сопровождал сын. Третий граф в 1557 году, во времена Марии Стюарт, отказался от католической веры, которую во все века страстно исповедовала семья, и (в возрасте сорока лет) претерпел воздаяние за грех. Четвертый граф умер от естественных причин, но скоропостижно, в возрасте пятидесяти лет; случилось это зимой 1566 года. В полночь, *той же ночью*, сын опустил его тело в могилу. Позднее, в 1591 году, *его* сыну довелось увидеть, как отец, ходивший во сне средь бела дня, упал с высокого балкона Орвен-холла. Какое-то время ничего не происходило, но затем восьмой граф загадочным образом скончался в 1651 году. В его покоях начался пожар, и он выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Вследствие этого граф получил несколько переломов конечностей, но уверенно шел на поправку, когда внезапное ухудшение привело к быстрой смерти. Оказалось, что он был отравлен *radix aconiti indica*, редким арабским ядом, в то время мало кому известным в Европе, за исключением *savants*; впервые о нем упомянул Акоста за несколько месяцев смерти графа. В отравлении обвинили слугу, он предстал перед судом и был оправдан. Сын того графа был членом недавно основанного Королевского научного общества и автором позабытого ныне трактата о ядах, который я, однако же, прочитал. Разумеется, *его* никто ни в чем не заподозрил.

Пока Залесский повествовал о драмах минувших времен, я невольно и с самым искренним удивлением спрашивал себя, не располагает ли он столь же сокровенными сведениями о *всех* знаменитых семействах Европы! Могло показаться, что он посвятил добрую часть жизни изучению фамильной истории Орвенов.

— В том же духе, — продолжал он, — я мог бы и далее излагать историю этой семьи, доведя ее до настоящего времени. И вся она отмечена теми же сокрытыми трагедиями; полагаю, я рассказал уже достаточно и вы сами могли убедиться, что в каждой из них неизменно присутствовало нечто роковое, громадное, нечто такое, чему разум тщетно пытается найти объяснение. Теперь искать ни к чему. Подобно

своим предкам, покойный лорд Орвен стремился скрыть от мира позорную тайну древнего рода. Судьба распорядидилась иначе. То была воля богов — и он выдал себя. «Возвращайся, — пишет он. — Близится начало конца». Какого конца?

Конец — прекрасно известен Рэндольфу, *ему* ничего не нужно объяснять. Древнее, древнее проклятие, что в тумане далекого прошлого заставило первого лорда, хранившего в душе верность своему властелину, предать короля; а другого, по-прежнему благочестивого и набожного, отречься от драгоценной веры, третьего же — поджечь дом своих предков. Вы назвали двух последних потомков рода Орвенов «парой гордых и самолюбивых созданий»; да, они горды и самолюбивы, но вы ошибаетесь, если полагаете, что самолюбие их означает любовь к себе; напротив, к себе, в общепринятом смысле слова, они на удивление равнодушны. Это гордость и самолюбие *рода*. Могло ли что-либо еще, помимо блага семьи, заставить Рэндольфа пойти на бесчестье — ибо он несомненно так считает — обращения в радикализм? Я уверен, что он скорее бы *умер*, чем задумал такое притворство в личных целях. Но он становится радикалом — и причина? Причина в том, что из дома донесся страшный зов, что «конец» с каждым днем все ближе и это событие не должно застать Рэндольфа врасплох, что чувства лорда Фаранкса *слишком уж* обострились и звяканье ножей и вилок слуг в дальнем уголке дома приводит его в бешенство, а воспаленное нёбо не может выносить иной пищи, кроме изысканнейших яств; причина в Хестер Дайетт, которая сумела с первого взгляда заключить, что сознание лорда затуманено; причина, наконец, в том, что к нему подступает чудовищная болезнь, которая именуется в медицине *общим параличем душевнобольных*. Помните, я взял у вас газету с письмом графа к Сибра, чтобы прочесть его своими глазами. У меня были на это причины, и я оказался прав. В письме имеются три орфографические ошибки — вместо «приходить» значится «приходит», «войдете» написано как «водете», а вместо «памяти» стоит «памьяти». Опечатки, скажете вы? Вовсе нет — возможна одна, две едва ли попадутся в таком кратком тексте, три совер-

шенно невозможны. Думаю, если вы внимательно просмотрите всю газету, вы не найдете больше ни одной опечатки. Призовем на помощь теорию вероятности: в ошибках повинен не наборщик, а автор письма. Известно, что общий паралич душевнобольных отражается на способности к письму. Болезнь подстерегает своих жертв по достижении ими среднего возраста — как и случилось со всеми таинственно погибшими Орвенами. Понимая, что ужасное родовое наследие — проклятие безумия — подступает все ближе или уже обрушилось на него, Фаранкс вызывает сына из Индии. Себе он выносит смертный приговор: такова семейная традиция, тайный обет уничтожения себя, который веками передается от отца к сыну. Но ему понадобится помощь: в наши дни акт самоубийства нелегко сохранить в тайне, и если безумие может покрыть позором род Орвенов, то самоубийство — тем более. Кроме того, выплаты по страховым полисам обогатят семью и позволят Орвенам породниться с особами королевской крови; но никаких денег они не получат, если самоубийство будет выявлено. И потому Рэндольф спешит домой и превращается в популярного радикального политика.

Но вот появляется Мод Сибра, и Рэндольф на какое-то время отказывается от своего изначального плана; теперь он надеется, что сможет заставить *ее* убить графа; когда же она подводит Рэндольфа, тот вынужден вернуться к прежнему замыслу – и происходит это внезапно, ибо состояние лорда Фаранкса быстро становится критическим, что заметил бы любой, кто смог бы его увидеть; ведь именно поэтому в последний день слугам не разрешается входить в его комнату. Следовательно, мы должны рассматривать Мод Сибра всего лишь как дополнение, внешний элемент трагедии, но отнюдь не как ее неотъемлемую часть. Не она застрелила благородного лорда, поскольку у нее не было пистолета; не делал этого и Рэндольф, ибо находился вдалеке от смертного ложа и был окружен свидетелями; но и выдуманные грабители не стреляли в графа. Значит, граф застрелился сам, застрелился из маленького круглого серебряного пистолета, подобного этому, — и Залесский извлек

из ящика комода небольшой пистолет венецианской работы с серебряной чеканкой. — Пистолет поднимала в верхнюю комнату машина Атвуда; в полумраке он-то и показался испуганной Хестер «мотком шерсти». Но граф никак не смог бы застрелиться, получив удар ножом в сердце. Следовательно, Мод Сибра пронзила ножом мертвеца. У нее было, разумеется, достаточно времени, чтобы прокрасться в комнату после выстрела и до того, как подоспели люди Рэндольфа — им, как вы помните, пришлось ждать на лестнице, пока не принесут другую свечу, после они замешкались у двери спальни, рассматривали следы на снегу и так далее. Но если нож тот погрузился в мертвое тело, убийства она не совершала. Моя телеграмма, отправленная только что с Хэмом, адресована министру внутренних дел, и в ней говорится, что Сибра ни при каких обстоятельствах не должна быть завтра казнена. Мое имя ему хорошо известно, и вряд ли он окажется настолько глуп, что заподозрит меня в пустословии. Мои выводы легко доказать: вырезанные и возвращенные на место фрагменты пола нетрудно обнаружить, стоит только поискать; пистолет, несомненно, все еще находится в комнате Рэндольфа, и его калибр можно сопоставить с пулей, извлеченной из головы лорда Франкса, а главное, драгоценности, якобы украденные «грабителями», преспокойно лежат где-нибудь в комоде у нового графа, и их не составит труда найти. Поэтому я ожидаю, как уже говорилось, что финальная часть трагедии теперь несколько изменится.

Развязка, которая полностью соответствовала предсказаниям Залесского, известна ныне всем, и потому мне нет нужды излагать дальнейшие события на этих страницах.

КАМЕНЬ МОНАХОВ ЭДМУНДСБЕРИ

Россия, — задумчиво произнес Залесский во время одного из моих посещений сумрачного святилища князя, — Россия может быть сочтена землей, окруженной океаном; иными словами, она представляет собою остров. В той же мере, чрезвычайно неуместно называть островом *Британию*, если только слово это не используется лишь в качестве *modus loquendi*, возникшего благодаря довольно неудачной географической шутке. В действительности же Британия является небольшим континентом. Рядом с нею и немного к юго-западу расположен большой остров — Европа. Таким образом, просвещенный французский путешественник, намереваясь ступить на эти берега, должен сказать себе: «Сейчас я переправляюсь на Материк», а возвращаясь назад по своим стопам: «Теперь я прибываю на осколок, оторванный разрушениями и землетрясениями от материнской почвы». Все это я говорю не парадокса ради, но выражаю совершеннейшую правду. Я имею в виду лишь относительную глубину и степень — в сущности, *необособленность* — влияния, оказанного на мир некоторыми народами. Но и у острова Европы имеется свой остров: это Россия. Вот *terra incognita* всех земель, страна неизведанная; совсем недавно была она и бóльшим — неоткрытой землей, страной, о которой никто и не подозревал. У России *есть* литература, знаете ли, история, язык и предназначение — но обо всем этом мир едва ли слышал. И впрямь, именно она, а не какое-нибудь антарктическое море, есть истинная *Ultima Thule* современности, настоящий Остров Тайн.

Я привожу здесь эти замечания Залесского не по причине весьма лестной оценки моей страны, что содержится в них, но поскольку мне всегда казалось — особенно в связи с происшествием, о котором я собираюсь рассказать — что в данном отношении, по крайней мере, он был истинным

сыном России: если она была Страной Тайн, то он был истинным Человеком Тайн. Я, знавший его ближе других, хорошо знал, что узнать его невозможно. Он был мало сопряжен с настоящим: одной рукой он обнимал все прошлое; пальцы другой подрагивали на трепещущем пульсе будущего. Казалось — и слова мои взвешены и обдуманны — что он обладает несравненной способностью не только распутывать загадки прошедшего, но и предугадывать то, чему лишь предстоит совершиться; мне не раз доводилось быть свидетелем того, как он с невообразимой, детальной точностью описывал *будущие* события. Он несомненно обладал превосходным, отточенным умом: его диатрибы, то завершающиеся *extravaganza* гиперболы, то скользящие на легких крыльях сквозь пушистые, заколдованные горы кучевых облаков в прихотливой и странной *Nephelococcugia* мысли — то диктующие современному миру законы Мидии — часто заставляли меня вспомнить весьма своеобразное определение из древних эпосов, *воздушность*, но в применении к человеческой мысли. Широта его кругозора была не просто невероятной, в ней таился знак, намек на непредставимое, пифическое — нет, сивиллово, пророческое. Разум его, более того, обладал легкой поступью сына гор, и если собеседнику не удавалось проследить за каждым стремительным шагом, какими восходил князь на Альпы своей мысли — он неизменно оставался далеко внизу, охваченный удивительным, необъяснимым чувством духовной вездесущности Залесского.

Я привез с собою один документ, массивную книгу в коже с коваными застежками — дневник сэра Джоселина Саула. Дневник я изъял у знакомого джентльмена, главы лондонской компании частного сыска, в чьи руки он попал за день до того. Кто-то из дальних соседей сэра Джоселина, прослышав случайно о его беде, обратился за помощью в эту компанию; но престарелый баронет, находясь в состоянии крайней немощи, ужаса и, надо сказать, истерического бреда, ни словом не смог объяснить свое состояние или пожелания и лишь молча, дрожащей рукой, протянул агенту компании дневник.

Через день или два по приезде в заброшенный старинный особняк, служивший пристанищем князя, я спросил хозяина, не хотелось бы ему узнать некоторые сведения, почерпнутые мною из дневника: порой Залесского удавалось склонить к рассмотрению некоторых загадок, которые оказывались слишком сложными и трудными для понимания и не поддавались обычному решению. Получив согласие, я приступил к рассказу.

Краткое повествование касалось очень большого и очень ценного овального самоцвета, вделанного в золотую чашу для причастия, каковая чаша находилась некогда в аббатстве Эдмундсбери и веками хранилась в локулусе, или внутреннем гробе, где покоилось тело св. Эдмунда. При нажатии на скрытый механизм чаша (состоявшая из двух половинок, соединенных миниатюрными защелками) раскрывалась, обнаруживая в нижней свой части полое пространство; там-то и лежал драгоценный камень. Род сэра Джоселина Саула восходил к Джоселину Бракелондскому, хотя баронет и не являлся, конечно, его прямым потомком; этот монах из аббатства Эдмундсбери составил знаменитую ныне *Jocelini Chronica*. Чаша оказалась во владении семьи, видимо, за некоторое время до разорения аббатства, около 1537 года. На чаше имелась надпись неизвестной давности, выполненная староанглийскими буквами:

Shulde this Ston stalen bee,
Or shuld it chaunges dre,
The Houss of Sawl and hys Hed anoon shal de.

Сам же камень представлял собой инталию; на поверхности его была вырезана фигура мифологического животного и какие-то полустершиеся от времени буквы; можно было разобрать только те, что образовывали слово «Has». Для вящей сохранности камня, была изготовлена еще одна чаша с точно такой же гравировкой, а внутри ее, довершая обман, помещен был другой камень схожего размера и огранки, но менее ценный.

Сэр Джоселин Саул, натура очень нервическая, жил в уединении в отдаленном старом имении в Суффолке, и единственным его компаньоном был некий человек восточного происхождения по имени Уль-Джабаль. Баронет положил все свои жизненные силы на бесконечные попытки углубиться в бурный Мальстрем ориенталистики и его сознание, вероятно, впитало некоторую болезненность, эзотерическую направленность, налет безумия, характерные для подобного рода ученых занятий. Вот уже несколько лет он составлял капитальный труд по пред-зороастрийской теогонии, а Уль-Джабаль, по всей видимости, помогал ему в роли секретаря. Приведу, однако, *verbatim* отрывки из его дневника:

«*11 июня.* — День моего рождения. Ровно семьдесят лет тому я выскользнул из утробы великой Тьмы, увидев этот Свет и Жизнь. Боже мой! Боже мой! Она промелькнула быстротечней мгновения, мимолетней полуденной дремы. Уль-Джабаль радостно приветствовал меня — похоже, он ждал этого дня — и указал на судьбоносное значение числа «семьдесят», делителями которого выступают лишь семь, пять и два: последнее означает дуальность Рождения и Смерти, пять — Уединение, семь же — Бесконечность. Я сообщил ему, что в этот день родился и мой отец, и *его* отец; и поведал известную историю о том, как последний, ровно семьдесят лет назад, проходя в сумерках близ церковного кладбища, увидел *самого себя*, сидящего на могильном камне, и умер пять недель спустя, корчась в адских муках. Выслушав мой рассказ, этот скептик только оскалил в усмешке два ряда громадных зубов.

Чем объяснить его странный интерес к чаше из Эдмундсбери? Всякий раз, когда я доставал в день рождения чашу, он просил показать ему камень. Я всегда и без особых на то причин отказывал, но сегодня уступил его просьбам. Долго вглядывался он в небесную голубизну и затем спросил, известно ли мне, что означает надпись «Has». Я отвечал, что тайна сия сокрыта в веках.

15 июня. — В нашу здешнюю жизнь вошло нечто новое. Что-то угрожает мне. Я слышу дальнее эхо нависшей над моим здравым рассудком и самой жизнью угрозы. Точно одежды, что на мне, стали слишком жаркими, слишком тяжкими. Сознание подернулось ощутимым покровом сонливости – сонливости, заставляющей мысли течь медленней, но делающей каждую из них в тысячу раз более живой и яркой. О, прекрасная богиня Разума, не оставь меня, возлюбленное свое дитя!

18 июня. — Уль-Джабаль? — это *сам Дьявол во плоти*!

19 июня. — Вот чем обернулась моя щедрость, все благодеяния, что я оказывал этому ядовитому червю. Я нашел его на вершинах гор Ливана, едва тронутого культурой дикаря среди образованных дикарей, и привез сюда, дабы сделался он принцем мысли вблизи меня. Что, если не его состояние, которым я воспользовался — долг мой перед ним — спасало меня от гибели? И разве не *я* раскрывал перед ним сладостные тайны Разума?

Я лежал на постели в предутренний час с тяжестью на душе, точно после приема эссенции опиатов, и живо почувствовал, что он проник в мои покои. В сумеречном свете два ряда блестящих акульих зубов словно ослепили меня — я видел *их*, и ничего более. Не знаю, когда он исчез из комнаты. С первыми лучами солнца я на четвереньках пополз к комоду, где хранится чаша. О, безжалостный убийца! Он украл мой камень, прекрасно зная, что вместе с ним похитил и мою жизнь. Камня нет — нет моего заветного камня. Меня охватила слабость; много часов пролежал я без сна, обнаженный, на мраморном полу.

Неужели глупец воображает, что сможет скрыть это от меня? Неужели он полагает, что я не верну себе любимый камень, камень Саула?

20 июня. — Ах, Уль-Джабаль — мой смелый, благородный Сын Пророка Господня! Он вернул камень на место! Он не собирался убивать старика. Желтые лучи его глаз —

сияние взгляда великого мыслителя, и никак — никак — не злобные искры взоров убийцы. Я снова лежал в полусне и увидел, на сей раз яснее, как он входит в комнату. Он подошел к комоду. На рассвете, через несколько часов после его ухода, я потряс чашу и с радостью услышал, как внутри перекатывается камень. Мне следовало понимать, что он вернет камень; не стоило сомневаться, что он проявит милосердие к такому бедняге, как я. Но какое странное создание! — он взял *другой* камень из *другой* чаши — камень, ни для кого не представляющий ценности! Кто из нас обезумел — Уль-Джабаль или я?

21 июня. — Милосердный Господь! он и *не думал* возвращать на место камень — *тот* камень — но положил вместо него другой. Сегодня я открыл чашу и увидел все собственными глазами. Он положил туда камень такого же размера и огранки, с такой же выгравированной надписью, но иного цвета, качества, ценности — камень, который я раньше не видел. Как он заполучил этот камень — и когда? Мне нужно разобраться, нужно за ним следить — я должен неустанно наблюдать за этим дьявольским отродьем. Моя жизнь, мой тонкий, изощренный Разум, висит на волоске.

22 июня. — Он только что предложил мне бокал вина. Я едва не вылил вино на пол прямо перед ним. Но он смотрел мне в глаза, не отводя взгляда. Я дрогнул и выпил — да, я выпил вино.

Припоминаю, как много лет назад, когда мы с ним были в Баальбеке, он однажды приготовил почти лишенную вкуса настойку на чистейшем черном никотине, которую затем, из беспричинной прихоти, дал выпить каким-то обитателям каспийских берегов. Не осмелится же нечестивец дать этот адский напиток мне — мне, престарелому человеку, мыслителю, провидцу?

23 июня. — Таинственный, непостижимый Уль-Джабаль! Вот и снова, когда я около полуночи лежал в глубоком трансе, он — невозмутимый и безмолвный, как призрак — нару-

шил святость моих покоев. Ток воздуха, пронизанного мягкими розовыми и лиловыми лучами, убаюкивал меня и рождал видения небес; опершись на локоть, я безмятежно возлежал и наблюдал за ним, не шевелясь. Он поместил в чашу современной работы ничего не стоящий ложный камень и похитил теперь из старинной чаши фальшивый, который *сам же* туда положил! Терпением спасу душу свою в преддверии грядущего. Не дам веждам моим дремания!

24 июня. — Никогда — никогда более не приму я вина из рук Уль-Джабаля! Колени подгибаются под весом моего иссохшего тела. Жар раздирает мозг ослепительными ножами. Я также обратил внимание на нервное подергивание правого уголка рта.

25 июня. — Он осмелился войти в мою комнату средь бела дня. Я стоял на лестнице и видел, как он прошел по коридору и открыл дверь. Если бы не ужасное, предсмертное сотрясение моего сердца — я бы тотчас направился к предателю и раз и навсегда покончил с его вероломством. Упоминал ли я, что у меня дергается правый уголок рта, а мозг горит, как в огне? Я не в состоянии работать над книгой – тем хуже для мира, не для меня.

26 июня. — Как ни удивительно, предатель Уль-Джабаль поместил теперь другой камень в чашу из Эдмундсбери — камень этот также почти во всем схож с настоящим. Такова была цель его вчерашнего визита в мою комнату. Итак, сперва он похитил настоящий камень и заменил его другим; затем украл новый камень и снова положил на его место другой; похитил этот другой камень и заменил его третьим; кроме того, он украл подделку из современной чаши и затем вернул ее на место. Этот человек уж точно сошел с ума, совершенно, всецело, окончательно лишился рассудка!

28 июня. —– Я занялся теперь поисками своего камня. Он где-то здесь, и я найду его. Жизнь против жизни — и чья

жизнь драгоценней, моя или этого проклятого измаильтянина? Если придется, я пойду на убийство — я убью его собственной увядшей рукой — и верну свое наследие!

Сегодня, когда мне показалось, что он прогуливается по парку, я пробрался к нему в комнату и запер дверь изнутри. Я весь дрожал при мысли, что он мог меня заметить. Я обыскал всю комнату, проверил одежду, но камня не нашел. В одном из ящиков, однако, я обнаружил нечто неожиданное: длинную белую накладную бороду и парик из длинных снежно-белых волос. Выходя из комнаты, я нос к носу столкнулся с Уль-Джабалем: тот стоял прямо за дверью. Сердце мое пропустило удар и, казалось, остановило свой бег. Ах, должно быть, я смертельно болен, я слаб, как сломленная тростинка под ветром! Очнулся я у него на руках. «Теперь, — сказал он, ухмыляясь мне сверху, — теперь вы наконец все мне отдали». С этими словами он оставил меня, вошел в комнату и запер за собою дверь. Что же отдал я этому безумцу?

1 июля. — Жизнь против жизни — его жизнь, молодая, крепкая жизнь, а не моя, увядшая, рассыпающаяся в прах. Я люблю жизнь. Я *пока еще* не готов сняться с якоря, поднять паруса и направить свой корабль к загадочным глубинам пурпурных вод. О нет. Еще нет. Пусть умрет *он*. Еще много, много дней я буду созерцать свет, ходить, размышлять. Я не готов завершить счет моих лет: порою мне думается даже, что это изношенное тело никогда, никогда не узнает смерти. Чаша предсказывает, что я и весь род мой исчезнем, когда будет утрачен камень – *сперва* это казалось вымыслом, *затем* пустым измышлением, но ныне – ныне — пророчество вошло в ткань бытия, стало реальностью — оно более не выдумка, но Адамант, несокрушимый, как само слово Господне. Разве с тех пор, как камень исчез, не чувствую я ежечасно, как биение жизни стихает, все стихает в моем сердце? Нет, нет, надежда еще осталась. Со мною арабский клинок лучшей дамасской стали, жадный до крови; я видел, как он рассек на улице Вифлеема голову сирийца — бравый удар! Лезвие его я отполировал

до зеркального блеска в ожидании кровавой жертвы.

2 июля. — Вчера я весь вечер обыскивал каждый уголок, каждую щель дома; при себе я имел мощное увеличительное стекло. Временами мне казалось, что Уль-Джабаль следит за мной, что он вот-вот выскочит и убьет меня. Все мое тело судорожно дрожало, словно в лихорадке. Горе мне — боюсь, я слишком слаб для всего этого. Но любовь к жизни движет мною.

7 июля. — Последние дни я посвятил тщательным розыскам у дома, пользуясь, как и ранее, мощной лупой. Уль-Джабаль, изобретая различные предлоги, все время следовал за мною, и я убежден, что ему известен каждый мой шаг. Трава нигде не потревожена. Но земли мои велики, и я не могу быть в том уверен. Огромность труда мне не под силу. Я слабее сломленной тростинки. Убить врага и покончить со всем этим?

8 июля. — Уль-Джабаль снова наведывался в мою спальню! Я наблюдал за ним сквозь щель в панелях. Его частично закрывала кровать, но руки отражались в большом зеркале, которое висит напротив двери. Сначала он — не могу понять, для чего — поставил против зеркала мое кресло. Далее он открыл сундук с моей старой одеждой. Ах, вот и камень — он здесь, здесь! Опасаясь моих хитрых старых глаз, он спрятал его в таком месте, куда я не догадался бы заглянуть — в *моем собственном сундуке*! И все же я боюсь, я страшно боюсь его открывать.

9 июля. — Увы, камня в сундуке нет! Должно быть, в последнюю минуту он изменил свой план. Быть может, невероятно обостренные чувства и проницательность подсказали ему, что я наблюдаю за ним?

10 июля. — Глухой ночью я почувствовал, что мимо двери кто-то крадется. Я поднялся, надел халат, водрузил на голову меховой колпак, взял лезвие закаленной стали и

выбрался из комнаты в темноту. Уль-Джабаль нес в руке небольшой светильник, и я узнал его в тусклом свете. Я был бос, на нем же были войлочные домашние туфли; хотя я обладаю тонким слухом, мне показалось, что движется он совершенно бесшумно. Он начал спускаться вниз; я крался за ним в глубочайшем мраке, скрываясь за углами и стенами. Спустившись вниз, он вошел в кладовую и вдруг направил светильник на то место, где находился я; однако я так быстро скользнул за колонну, что он меня не заметил. В кладовой он поднял люк и спустился еще ниже, в подвалы под домом. Ах, эти подвалы — эти длинные, извилистые, темные катакомбы, — как забыл я о них? Я следовал за ним, содрогаясь от ужаса. Я помнил, однако, о своем оружии; если бы я подобрался ближе, думаю, я всадил бы ему лезвие в затылок. Он отворил железную дверь первого подвала и вошел внутрь. Запереть дверь? — но ключ у него. Он все шел, склонив голову и держа фонарь у самой земли. И *тогда* я подумал, что если я наберусь мужества, если сделаю всего один мгновенный выпад, все закончится. Я подобрался ближе, еще ближе. Внезапно он обернулся и быстро шагнул ко мне. Я увидел его глаза, его ухмылку убийцы. Не знаю, заметил ли он меня в тот момент — все мысли оставили меня. Оружие упало с лязгом и звоном, и я в паническом страхе, простирая руки, стремглав обратился в бегство по темным лабиринтам подземелий и пустым коридорам дома, пока не достиг своей спальни, дверь которой успел запереть, прежде чем рухнул на пол, задыхаясь и жадно хватая воздух ртом.

11 июля. — Мне не хватило смелости увидеться сегодня с Уль-Джабалем. Весь день, без еды и питья, я оставался в своей запертой спальне. Язык мой распух, рот пересох.

12 июля. — Я набрался духу и спустился вниз. Уль-Джабаля я нашел в кабинете. Он улыбнулся мне, а я ему, как будто ничего не случилось. О, наша давняя дружба, что превратилась теперь в жесточайшую ненависть! В кармане моего коричневого халата лежал фальшивый камень из чаши

Эдмундсбери; я твердо решил показать камень Уль-Джабалю и потребовать объяснений. Но стоило мне увидеть его, как мужество снова изменило мне. Мы разделили трапезу, словно в старые добрые дни безмятежной любви.

13 июля. — Не могу избавиться от мысли, что я опять проглотил какое-то усыпляющее снадобье. Почти весь день меня одолевала сильная сонливость. Когда я проснулся, мысли беспорядочно метались, а необычное состояние кожи заставило меня надолго застыть перед зеркалом. Кожа моя суха, как пергамент, и пожелтела, как осенний лист.

14 июля. — Уль-Джабаль уехал! Я остался один — покинутый всеми старик. Он заявил — хоть я и клялся, что это неправда — что я перестал ему доверять! что я что-то от него скрываю! что он не в силах жить со мною! и что больше я никогда его не увижу! Он сказал, что прощает мне долг. Взял с собою лишь небольшой пакет, — и уехал!

15 июля. — Уехал! Уехал! Блуждая, как в лабиринте сна, я с непокрытой головой исходил свои земли вдоль и поперек, но поиски мои были тщетны. Камень у него — драгоценный камень Саула. Биение жизни стихает, все стихает в моем сердце».

На этом рукопись обрывалась.

Князь Залесский слушал, возлежа на мавританской кушетке; он медленно выпускал из полуоткрытых губ густой красноватый дым, который вдыхал из крошечной изогнутой металлической трубки. Лицо его, насколько я мог разглядеть в туманном зеленоватом воздухе комнаты, оставалось бесстрастным. Но, когда я закончил чтение, он резко повернулся ко мне и спросил:

— Вы понимаете, я надеюсь, зловещее значение этих событий?

— А *есть* ли оно?

Залесский улыбнулся.

— Неужели вы сомневаетесь? В форме облака, в пении дрозда, в *пиапсе* раковины вы найдете, если только будете *достаточно* настойчивы, *достаточно* проницательны в своих выводах и умозаключениях, не только значение, но и, я убежден, бесконечную значимость. Несомненно, откровение такого рода содержит скрытый смысл; должен сразу сказать, что для меня он совершенно прозрачен. Жаль только, что вы не ознакомили меня с дневником раньше.

— Почему?

— Потому что тогда мы с вами сумели бы предотвратить преступление и спасти человеческую жизнь. Последняя запись в дневнике была сделана 15 июля. Какое сегодня число?

— Сегодня 20-ее.

— Готов поставить тысячу против одного, что мы опоздали. Остается еще один, ничтожный шанс. Часы показывают семь; полагаю, сейчас семь вечера, а не утра; все конторы в Лондоне уже закрыты. Но почему бы не отправить моего слугу Хэма на поезде с письмом к джентльмену, передавшему вам дневник; последний должен поспешить в имение сэра Джоселина Саула и ни при каких обстоятельствах ни на минуту не спускать с баронета глаз. Хэм будет в Лондоне еще до полуночи, а ваш приятель, понимая, что речь идет о жизни и смерти, наверняка исполнит вашу просьбу.

Я начал было составлять письмо, как и посоветовал Залесский, но остановился и обернулся к нему:

— Что мне написать? От кого исходит опасность — от индуса?

— О да, от Уль-Джабаля; но он никак не индус — он перс.

Глубоко впечатленный столь точными сведениями, которые Залесский сумел почерпнуть из источника, лично мне показавшегося невнятным, я передал записку негру; Хэму я велел в первую очередь купить на вокзале в Лондоне все имеющиеся в наличии газеты за последние несколько дней и тотчас вернуться, если в них обнаружится известие о смерти сэра Джоселина Саула. Затем я вновь занял свое место подле кушетки Залесского.

— Как я уже говорил, — заметил тот, — я вполне уверен, что поездка нашего посланца окажется бессмысленной. Полагаю, узнаем мы следующее: вчера или позавчера, сэра Джоселина обнаружил слуга — надо думать, слуга у него есть, хотя он об этом нигде не упоминает; мертвое тело старика лежало на мраморном полу спальни. Поблизости, скорее всего, рядом с ним, будет найден драгоценный камень — овальный белый камень, тот самый, что Уль-Джабаль поместил в чашу из Эдмундсбери. Никаких признаков насилия, никаких следов яда — смерть сочтут абсолютно естественной. Однако же, в этом случае мы имеем дело с весьма хитроумным убийством. Существует, уверяю вас, сорок три — а считая один остров в южных морях, сорок четыре — известных мне способа убийства, любой из которых никогда не сумеют распознать следственные учреждения, к чьим услугам обычно прибегает общество.

Но давайте-ка уделим внимание деталям происшествия. Прежде всего, зададимся вопросом, *кто такой* этот Уль-Джабаль? Я упоминал, что он перс, и в дневнике имеются многочисленные подтверждения этого, помимо самого его имени. Документ фрагментарен, автор не задавался целью сообщить нам нужные сведения, и все же мы располагаем свидетельствами касательно религиозных верований этого человека, той религиозной секты, к которой он принадлежит, цвета его кожи, причины его пребывания в имении Саула и племени, в котором он жил ранее. «Что, — спрашивает он, когда его жадные глаза впервые расширяются при виде долгожданного камня, — что означает надпись “Has”?»: но значение надписи *ему* прекрасно известно. «Тайна сия сокрыта в веках», — отвечает баронет. Мне сложно понять, отчего ученому ориенталисту понадобилось так высокопарно говорить о том, что кажется мне весьма тривиальным вопросом; понятно, что он либо никогда всерьез не занимался решением загадки, либо — что более вероятно, несмотря на довольно напыщенные оценки собственного «Разума» — ни он, ни его предки не заходили «в веках» дальше монахов из Эдмундсбери. Однако же не *они*, эти монахи, гранили камень, не они извлекли его из глубин

земли где-нибудь в Суффолке — камень монахи от кого-то получили, и нам нетрудно установить, от кого именно. Надпись, таким образом, могла быть выгравирована на камне этим кем-то, или кем-то другим, он кого *он* получил камень, и так далее в дебри времен. Подумайте о характере гравировки: имеется изображение *мифологического животного* и некоторые слова, из которых разобрать можно только буквы «Has». Но животное, по крайней мере, чисто персидское. Видите ли, персы достойно соперничали в глиптическом искусстве с иудеями, египтянами, а позднее греками; и вот что замечательно: точно так же, как изображение *скарабея* на инталии или камее почти несомненно говорит о египетском происхождении предмета, фигура жреца или изображение гротескного животного уверенно указывает на происхождение персидское. Уже по одному этому — хотя можно сослаться и на другие обстоятельства — мы можем заключить, что камень происходит из Персии. Это заключение раскрывает тайну «Has»: мы тотчас же приходим к выводу, что перед нами персидская надпись. Персидская, спросите вы, но написанная английскими буквами? Безусловно, и именно благодаря этому значение надписи стало тем, что баронет по-детски назвал одной из «тайн, сокрытых в веках»: всякий исследователь, считая «Has» частью английской фразы, терял путеводную нить и начинал безнадежно блуждать. На самом же деле «Has» — часть имени «Hasn-us-Sabah», Хасн ус-Сабах, и сам тот факт, что часть имени стерлась, тогда как изображение мифологического животного осталось нетронутым, показывает нам, что надпись на камень нанес один из сынов народа, менее искусного в резьбе по камню, чем персы — иначе говоря, грубый средневековый англичанин; современное же возрождение искусства глиптики началось, разумеется, во времена Медичи, то есть гораздо позднее. Известно ли нам что-либо об этом англичанине, который то ли сам нанес надпись на камень, то ли отдал его для этой цели мастеру? Мы знаем, по меньшей мере, что он определенно был воином, вероятно, норманнским бароном, что на рукаве у него был нашит алый крест

и что он побывал на священной земле Палестины. Для доказательства этого едва ли нужно напоминать вам, кем был Хасн ус-Сабах. Достаточно сказать, что он был глубоко замешан в дела крестоносцев и снабжал своим страшным оружием то одну сторону, то другую. Он был главой еретической магометанской секты ассасинов (отсюда происходит само слово ассасин, наемный убийца), считал себя инкарнацией божества и из неприступной крепости Аламут в Эльбурсе распространял свое пагубное влияние на замысловатые политические игры тех времен. Рыцари алого креста называли его Шейх уль-Джабаль, Старец Горы; это имя безошибочно приводит нас к Уль-Джабалю наших дней. В связи с камнем дома Саула мне вспоминаются три хорошо известных исторических факта: первый, Саладин в каком-то месте и в некий день встретился в битве с Хасн ус-Сабахом или с одним из преемников старца, носивших то же имя, разбил его наголову и *завладел его сокровищами*; второй, что примерно в то же время произошло сердечное *rapprochement* между Саладином и Ричардом Львиное Сердце и между неверными и христианами в целом, что включало свободный обмен драгоценными камнями, которым придавался тогда глубокий мистический смысл — вспомните «Талисман» и «Ли Пенни»; и третий, что вскоре после возвращения воинов Ричарда и самого его в Англию, локулус или гроб св. Эдмунда (как сообщает нам автор *Jocelini Chronica*) был *открыт аббатом* однажды в полночь; тем самым открылось взорам и тело мученика. В подобных случаях в гроб, прежде чем его снова закрывали, принято было класть драгоценные камни и реликвии. Чаша с камнем была взята из локулуса; возможно ли не поверить, что какой-либо рыцарь, которому подарил камень один из людей Саладина, в свою очередь решил даровать его монастырю; но прежде он неловко нацарапал на камне имя Хасна, чтобы подчеркнуть сакральный характер дара — или попросил это сделать монахов? Ассасины же, называемые нынче, как мне помнится, «аль-Хасани» или «исмаилитами» — «этот проклятый измаильтянин», пишет в одном месте баронет —

все еще живы и представляют собой процветающую секту, которая отличается ярым религиозным фанатизмом. И где, как вы думаете, они главным образом проживают? Где же еще, как не на вершинах «Ливана», горного массива, где сэр Джоселин «нашел» своего подозрительного секретаря и помощника!

Теперь становится очевидно, что Уль-Джабаль принадлежал к секте ассасинов, а целью его приезда в имение, финансовой помощи баронету и, возможно, всего путешествия в Англию являлось возвращение священного камня, который некогда блистал на груди основателя его секты. Опасаясь, что чересчур поспешные шаги могут испортить дело, он ждет; возможно, он ждет годами и наконец узнает секрет пружины, открывающей чашу, и убеждается в том, что камень настоящий, так как видит его собственными глазами. Затем он похищает камень. До сих пор все достаточно ясно. Можно также предположить, что, строя планы похищения камня, он заранее позаботился о другом камне, схожим размером и формой — которые были ему хорошо известны — с настоящим; им Уль-Джабаль собирался подменить настоящий камень, что по крайней мере на время скрыло бы кражу. Баронет, вполне вероятно, не так уж часто *открывал* чашу, и с точки зрения Уль-Джабаля план этот был весьма разумен. Но если он мыслил именно так, каким абсурдным покажется его труд по нанесению на фальшивый камень *гравировки*, точно повторяющей надпись на настоящем камне! *Это* никак не помогло бы ему скрыть кражу, ибо замысел основывался на том, что баронет не станет доставать и *рассматривать* камень, а лишь *послушает*, как он погромыхивает в чаше; а вот и доказательство — он подложил камень другого *цвета*. Как я покажу далее, фальшивый камень имел бледный окрас с коричневыми пятнами. И тем более необычным представляется нам третий, белый камень — а я докажу, что он был белым — который Уль-Джабаль подложил в чашу. Возможно ли, что он запасся *двумя* фальшивыми камнями, что на *оба* он без всякой надобности и с бесконечной тщательностью нанес одинаковые надписи? Ваш разум отказывает-

ся это принять; и *далее*, в дополнение к тому, не готов согласиться и с тем, что Уль-Джабаль обзавелся хотя бы одним фальшивым камнем; и я полностью разделяю ваше умозаключение.

Итак, мы можем сказать, что Уль-Джабаль *заранее* не запасался ни единым фальшивым камнем; предположение же о том, что у него *по случаю* имелись два старинных камня, совершенно похожие друг на друга, вплоть до полустертых букв имени «Хасн ус-Сабах», и вовсе выходит за границы вероятного. Как вы можете видеть, я доказал, что камни не были изготовлены преднамеренно и не оказались случайно во владении Уль-Джабаля. Не принадлежали они и баронету, ведь он утверждает, что никогда их не видел. Каким же образом попали они к персу? Вопрос немедленно прояснится, как только мы выясним причину, по которой он заменил один фальшивый камень другим и, прежде всего, похитил ничего не стоящий камень, а затем подменил его. Дабы подвести вас к пониманию этой причины, я начну со смелого утверждения: у Уль-Джабаля никогда и не было настоящего камня из Сент-Эдмундсбери.

Вы удивлены; вы скажете, что принимая свидетельство баронета в целом, мы должны принимать его и в частностях, баронет же решительно утверждает, что видел, как перс похитил камень. В самом дневнике наличествуют, спору нет, несомненные признаки безумия, но это безумие больного сознания, выражающее себя в фантастической чрезмерности чувств, а не тот случай, когда сознание считает собственные галлюцинации действительностью. Следовательно, мы совершенно уверены, что Уль-Джабаль украл камень; но равно очевидны и два других момента: каким-то образом он вскоре утратил похищенный камень и, когда это случилось, решил, что камень вновь очутился у баронета. «Теперь, — торжествующе восклицает перс, застав баронета у себя в комнате, — *теперь* вы наконец все мне отдали». Что же это за «все», гадает сэр Джоселин? Слово «все», конечно, относится к камню. Уль-Джабаль уверен, что баронет сделал именно то, в чем впоследствии

подозревал его самого – спрятал камень в наиболее надежном месте, а именно в чужой спальне. Перс понимает, что победа наконец близка; соответственно, он спешит к себе в спальню и «запирает дверь», чтобы обыскать комнату и завладеть трофеем. Более того, когда баронет вечером осматривает дом с помощью увеличительного стекла, ему кажется, что Уль-Джабаль следит за ним; когда же он распространяет свои поиски на парк, перс под различными предлогами оказывается рядом. Уль-Джабаль следует за ним, как тень. Но предположим, что драгоценный камень и впрямь у перса, и он уже успел спрятать его в безопасном месте; разумеется, на обширной территории усадьбы мест таких предостаточно, и здесь никакая лупа не поможет. В этом случае Уль-Джабалю более подобала бы *rôle* невинного бесстрастия, а не мучительной заинтересованности. На самом же деле он считает, что владелец камня сам занят поисками безопасного тайника — и стремится во что бы то ни стало раскрыть секрет баронета. Возьмем сцену в подземелье — сэр Джоселин сообщает, что Уль-Джабаль «склонил голову и держал фонарь у самой земли»; может ли что-либо лучше описать *поиски*? Но каждый из них уверен, что камень у другого, и потому оба не могут осознать, что в сущности ищут одно и то же.

Но, в конце концов, имеется и гораздо более существенное свидетельство того, что камня у перса не было — и это убийство баронета, ибо я практически убежден, что через несколько минут наш посланец возвратится с печальной вестью. Уль-Джабаль, мне кажется, отнюдь не лелеял планы убийства, внутренне восставал против кровопролития; подумайте, ведь баронет часто оказывается в полной его власти, лежит без сознания у него на руках или, одурманенный наркотиками, покоится в полусне на своем ложе, пока Уль-Джабаль обыскивает спальню; и все же ничего плохого со стариком не происходит. Когда возникает, однако, явная необходимость в убийстве — как очевидном способе завладеть камнем — Уль-Джабаль действует без промедления и колебаний; собственно говоря, он уже успел старательно подготовиться именно к такому исходу.

Когда же возникла эта необходимость? Случилось это, когда баронет положил в карман старого халата фальшивый камень, намереваясь потребовать у перса объяснений. Каков этот карман? Думаю, вы согласитесь, что мужская одежда, подпадающая под определение «халата», имеет обычно только внешние, накладные карманы — большие, прямоугольные карманы, просто пришитые с внешней стороны к халату. Камень такого размера *обязательно* заставил бы подобный карман оттопыриваться. И Уль-Джабаль это замечает. Теперь он убедился, что баронет носит желанный камень при себе. Никаких сомнений нет. Перед ним несколько путей: он может тотчас же броситься на слабого старика и вырвать у него камень; может одурманить его и похитить камень из кармана, пока старик спит. Но во всех этих планах присутствует некоторая угроза провала; похищение камня будет рано или поздно раскрыто, почти наверняка начнется спешный розыск виновника — здесь все же страна Закона. Нет, старик должен умереть: только так, втайне, с полной уверенностью в успехе дела, может быть отомщена попранная честь Хасн ус-Сабаха. На следующий день перс покидает дом: мнительный баронет, который «что-то от него скрывает», больше никогда его не увидит, заявляет Уль-Джабаль. С собой он берет небольшой пакет. Я могу открыть вам, что было в этом свертке: меховой колпак баронета, один из его «коричневых халатов», а также снежно-белая борода и парик. В отношении колпака сомневаться не приходится: покидая в полночь свою комнату, чтобы последовать за персом внутри *дома*, баронет надевает колпак, и это подсказывает мне, что в часы бодрствования он всегда носил колпак; но после отъезда Уль-Джабаля баронет бродит *вдоль и поперек* своих угодий «с непокрытой головой». Разве не предстает перед вашим мысленным взором рассеянный старик, поглощенный своими думами, который повсюду тщетно ищет привычный головной убор? Можно не сомневаться и в отношении халата, так как именно халат привел Уль-Джабаля к сундуку старика — ведь мы теперь знаем, что он не пытался *спрятать* там камень, поскольку камня у него не было;

не пытался и *искать* в сундуке камень, поскольку был убежден: баронет не настолько глуп, чтобы спрятать камень в таком очевидном месте. Что же до парика и накладной бороды, то баронет видел их ранее в комнате Уль-Джабаля. Но до отъезда Уль-Джабалю необходимо завершить еще одно дело: они с баронетом снова разделяют трапезу, «словно в старые добрые дни безмятежной любви», баронет снова выпивает какое-то снадобье, которое погружает его в глубокий сон и, проснувшись, видит, что его кожа «пожелтела, как осенний лист». Об этой детали я и говорил в самом начале: она-то и она служит намеком на цвет кожи перса — желтовато-коричневый цвет осеннего листа. Теперь, когда лицо баронета покрыто этим несмываемым гримом, все готово к финалу трагедии, и Уль-Джабаль уезжает. Он вернется, но не сразу же, ибо глаза жертвы должны привыкнуть к изменившемуся цвету лица; но он не станет слишком мешкать, поскольку нельзя предсказать, не исчезнет ли камень из кармана халата и когда это может случиться. Поэтому я полагаю, что трагедия произошла день или два назад. Здесь я вспоминаю о том, как изможден был старик и в каком невротическом состоянии находился, о «нервных подергиваниях» уголка его рта, что свидетельствует о развитии нервного заболевания, которое чаще всего завершается внезапной кончиной; припоминаю, что баронет верил, будто в камне заключена его жизнь и с утратой реликвии его начнет по пятам преследовать колесница смерти; я учитываю его воспоминания о деде, который умер в ужасной агонии семьдесят лет назад, после того, как увидел собственный призрак на церковном дворе — и я понимаю, что такой человек не вынес бы потрясения при виде *самого себя*, сидящего в кресле перед зеркалом (кресло, как вы помните, *поместил* там Уль-Джабаль) и тотчас замертво пал бы на пол.

Все это позволило мне предсказать причину и место смерти баронета — думаю, он все же мертв. Рядом с ним, как я упоминал, будет найден, вероятно, белый камень. Дело в том, что Уль-Джабаль, покончив со своим зловещим перевоплощением, поспешно вытащит из кармана халата желан-

ный камень; увидев, что это совсем другой камень, перс – — по всей вероятности — швырнет его наземь, бросится прочь от мертвого тела, как от чумы и, я надеюсь, без дальнейшего промедления повесится.

В этот миг портьеры питоньей кожи в дверном проеме раздвинулись и в них, точно в раме, возникло черное лицо Хэма. Я выхватил у него из рук газету двухдневной давности и под заголовком «Внезапная смерть баронета» прочитал почти точное изложение того, о чем только что рассказал мне Залесский.

— Ваша мина говорит мне, что я не слишком ошибался, — произнес князь, издав музыкальную трель смеха, — однако нам необходимо еще выяснить, каким образом Уль-Джабаль заполучил два фальшивых камня, причину, по которой он подменил один другим и похитил грошовую подделку; но, главное, мы должны понять, где находился настоящий камень, пока эти двое так старательно искали его, и где он находится сейчас. Обратимся к этому камню и спросим себя для начала, какой свет на загадку может пролить надпись на чаше? Надпись заверяет нас, что если камень будет украден — «Shulde this Ston stalen bee» — или «chaunges dre», дом Саула и его глава «тотчас» погибнут: «The Houss of Sawl and hys Hed anoon shal de». Слово «anoon» означает здесь «anon», то есть «немедленно». Что же касается «dre», то это, позволю себе напомнить вам, староанглийское слово, встречающееся, если не ошибаюсь, у Бернса; оно совпадает с саксонским *dreogan*— «страдать». Итак, «если сей Камень украден будет, или изменения претерпит, Дом Саула и Глава его тотчас умрут». Как мы видим, автор надписи по крайней мере предусматривал возможность того, что камень «претерпит изменения». Но какие перемены — внешние или внутренние? О внешних, то есть изменении обстановки, уже сказано выше, ибо он пишет: «если этот камень будет украден». Следовательно, «изменения» для *автора* носят внутренний характер. Может ли такое случиться с каким-либо драгоценным камнем и в частности с этим? На данный вопрос мы сможем ответить, узнав, о каком камне идет речь. Об этом ничего не

говорится в рукописи, и все же определить его мы можем без труда. Это «небесно-голубой» камень»; небесно-голубой, священный камень; небесно-голубой, священный, персидский камень. Мы сразу же можем заключить, что это – бирюза. Способна ли бирюза, согласно познаниям средневекового автора, «претерпевать изменения»? Обратимся за ответом к старине Ансельму де Бооту: он вон там, в переплете свиной кожи, за бронзовой статуэткой Геры.

Я протянул книгу Залесскому. Он указал на следующий отрывок:

«Assurément la turquoise a une âme plus intelligente que l'âme de l'homme. Mais nous ne pouvons rien establir de certain touchant la presence des Anges dans les pierres precieuses. Mon jugement seroit plustot que le mauvais esprit, qui se transforme en Ange de lumiere se loge dans les pierres precieuses, à fin que l'on ne recoure pas à Dieu, mais que l'on repose sa creance dans la pierre precieuse; ainsi, peut-être, il deçoit nos esprits par la turquoise: car la turquoise est de deux sortes, les unes qui conservent leur couleur et les autres qui la perdent». *Anselm de Boot*, книга II*.

— Как видите, — продолжал Залесский, — в давние времена считалось, что бирюза способна менять цвет — причем, по широко распространенному поверью, изменение цвета означало болезнь и смерть владельца камня. Добрый де Боот, увы, приписывал это свойство многим другим камням, что делали и иудеи в отношении своих «урим и туммим»; но по крайней мере в отношении бирюзы, речь идет о хорошо известном природном феномене, и я сам видел

---

* «Бирюза без сомнения обладает душою, что разумней души человека. Однако же мы не можем быть совершенно уверены в присутствии Ангелов в драгоценных камнях. Я склоняюсь скорее к суждению, что в сих драгоценных камнях обитает злой дух, притворяющийся Ангелом света, дабы мы обращались не к Господу, а к драгоценному камню; и так, возможно, обманывает он дух наш бирюзою, ибо бирюза бывает двух видов: та, что хранит свой цвет и другая, что утрачивает его» (*фр.*.).

подобный образчик. В некоторых случаях изменение случается постепенно, в других оно может произойти внезапно, буквально за час — особенно после того, как камень, долго хранившийся в темном месте, попадает под яркие солнечные лучи. Но я должен сказать, что в этой метаморфозе всегда бывает промежуточная стадия: камень сперва из голубого становится блеклым, испещренным коричневыми точками, и наконец чисто белым. Уль-Джабаль похищает камень, видит, что тот имеет неправильный цвет, и вскоре подменяет его; он считает, что перепутал в темноте чаши, и потому крадет из современной чаши подделку. Затем он подменяет и ее; донельзя озадаченный, он в отчаянии снова похищает камень из чаши Эдмундсбери и в полном недоумении снова подменяет его; в конце концов он заключает, что баронет раскрыл его планы и подменил настоящий камень фальшивым. Но вот совершена последняя подмена; камень обретает итоговый белый цвет, и баронет думает, что оба камня были подброшены Уль-Джабалем взамен его бесценного сокровища. И все это время камень невозмутимо лежит на своем месте, в чаше. Так в имении сэра Джоселина Саула случилось довольно много Шума из Ничего.

Залесский на миг замолчал; после он повернулся, положил руку на коричневый лоб лежащей рядом с кушеткой мумии и произнес:

— Мой египетский друг охотно поведал бы вам прекрасную историю о той чрезвычайно важной роли, какую во все века играли драгоценные камни в человеческой истории, религиях, институциях, идеях. Он жил за пятьсот лет до Мессии, был мемфисским жрецом Амсу и, как рассказали мне иероглифы на его гробу, главным фаворитом некоей царицы Аминтас. Под этими тленными погребальными пеленами большой рубин на указательном пальце его правой руки все еще хранит свою кроваво-красную тайну. Весьма любопытно, что во *всех* землях, во *все* времена, люди наделяли драгоценные минералы мистическими качествами. Персы, к примеру, верили, что шпинель и гранат приносят счастье. Попадались ли вам высказывания ста-

родавнего архиепископа Реннского по этому поводу? В самом деле, я начинаю думать, что во всем этом должно быть какое-то зерно правды. Инстинкты человечества редко отклоняются слишком далеко от истины. У нас уже появился едва ли не комический способ лечения алкоголизма с помощью золота, и вы слышали, конечно, о геофагии некоторых африканских племен. Быть может, ученому будущего предстоит узнать, что алмаз, и только он один, излечивает холеру, что измельченный розовый турмалин помогает от лихорадки, а хризоберилл — от подагры? Это полностью соответствовало бы моим наблюдениям, касающимся врожденной склонности Природы к некоторой извращенности и причудливости.

Примечание. Определенным примером тонкости интуиции, выказанной Залесским (в отличие от его более заметных и очевидных способностей к логическому мышлению), может послужить то обстоятельство, что через несколько лет после описанной мною выше трагедии в подвале господского дома в имении Саула был найден человеческий скелет. У меня нет и тени сомнения, что то был скелет Уль-Джабаля. Зубы сильно выдавались вперед; вокруг шеи обвилась полусгнившая веревка, завязанная в виде петли.

С. С.

Благородные и здоровые дети наделены многим...

Природа открыто отринет то, что ей противно; творение, коему быть не должно, не может возникнуть, творение, которое живет не по праву, обречено рано погибнуть. Бесплодие, жалкое прозябание, довременное разрушение – вот недобрые приметы ее суровости.

Гете

Аргос же настолько опустел, что рабы захватили там верховную власть и управляли всеми делами до тех пор, пока сыновья погибших не возмужали.

Геродот

Сказать, что бывают эпидемии самоубийств, означало бы повторить то, что давно стало общеизвестным. И поскольку случаются они нередко, доказано даже, что всякое сенсационное *felo de se*, о каком пишут газеты, обязательно сопровождается другими, но привлекающими к себе меньшее внимание: частота их, в самом деле, никак не соразмерна величине каждой такой вспышки. Иногда, однако, особенно в деревнях и маленьких городках, безумие распространяется, как лесной пожар, и становится всепоглощающей страстью, чья ярость напоминает тогда великие эпидемии, известные из истории. Такого рода вспышка безумия охватила Версаль в 1793 году, когда это бедствие унесло около четверти населения; эпидемия же в *Hôtel des*

Invalides в Париже была лишь одним из заметных эпизодов в числе многих, что имели место в нашем веке. В такие моменты зрение словно изменяет целым общинам, и безносая Смерть, жнец в черном одеянии, начинает казаться им прекраснейшим ангелом. Подобно созревшей деве, уставшей нести бремя целомудрия и в полуобмороке падающей в пропасть сладкого и страшного своего желания — душа, тяготясь воздержанием жизни, по доброй воле нисходит в могильную тьму и в прелюбодейном союзе том обращает Смерть в свою подругу.

...где она,
Наткнувшись по пути на луг цветущий,
Со вздохом говорит своим служанкам:
«Здесь хорошо бы хоронить влюбленных!»
Велит нарвать цветов и, словно труп,
Себя обильно ими осыпает.

Мода ширится — и становится всеобщей; дышать — это уже не современно; саван делается *comme il faut*, и сей погребальный покров обретает притягательность и *éclat* подвенечного платья. Гроб не слишком узок в роли нечестивого брачного ложа, и сладкие глыбы долины не лишат бесплодного жениха корчащегося в смертных муках потомства. В самом действии подобной вспышки самоубийственного безумия, однако, нет ничего особенно таинственного: оно столь же постижимо, если не столь же объяснимо, как заражение холерой; ведь душа не менее чувствительна к прикосновению другой души, чем тело — к воздействию другого тела.

Во время достопамятной вспышки этой странной болезни в 1875 году я решился нарушить покой глубокого Молчания, каковым, словно плащом, окутал себя мой друг, князь Залесский. Собственно говоря, я написал ему письмо, интересуясь его мнением об эпидемии. Ответ его повторял лаконичные слова, адресованные Господу дома скорби в Вифании:

«Пойди и посмотри».

К этому, однако, он добавил постскриптум: «Но о какой эпидемии речь?»

Я совсем не принял в расчет, что Залесский совершенно отрешился от мира и не мог ничего знать о ряде ужасных происшествий, которые я имел в виду. Можно без преувеличения сказать, что эти события привели большую часть Европы в состояние ужаса и даже паники. В Лондоне, Манчестере, Париже и Берлине волнение было особенно сильным. В воскресенье, предшествовавшее отправке письма Залесскому, я присутствовал на громадной демонстрации в Гайд-парке; толпа единодушно подвергала правительство осмеянию и порицанию — ибо необходимо помнить, что многие прозревали в таинственных обстоятельствах случавшихся ежедневно смертей значение еще более зловещее, нежели то, что заключено в самоуничтожении как таковом, а именно некую последовательность бесцельных и жутких убийств. Речи демагогов, должен сказать, были путаны и бессвязны. Немало ораторов обвиняли полицию и утверждали, что дело лучше было бы отдать в руки муниципальных, а не имперских властей. Изобретались тысячи панацей, звучали тысячи бессмысленных проклятий. Но люди едва слушали. Я никогда еще не видел население Лондона таким возбужденным и одновременно таким подавленным, точно охваченным чувством близящейся гибели. Горящие глаза выдавали волнение, смертельная бледность говорила о сомнении, о навязчивом *страхе*. Никто не чувствовал себя в безопасности, люди дрожали, завидев в воздухе ухмылку смерти. Трепетать от страха и не знать его причину — вот истинно трансцендентный ужас. Страх, внушаемый пушечным жерлом — ничто в сравнении с угрозой Тени. Чума, приходящая *ночью*, невыносима. Что же до меня, признаюсь, что в эти недели я также испытывал безымянный, парализующий ужас. Это чувство, казалось, охватило всю страну. Журналы обсуждали только одну тему, партийные издания забыли о политике. Я слышал, что на бирже, как и на парижской *Bourse*, почти не заключались сделки. В парламенте сошли на нет дебаты о новых законах, а министры каждый день отвечали на десятки обозленных «запросов»

и бесконечные предложения о роспуске легислатуры.

В разгаре этого смятения я и получил краткое послание Залесского. Я был польщен и обрадован: польщен потому, что был, вероятно, единственным человеком, кому он мог направить подобное приглашение; обрадован же потому, что не раз посреди городской суеты и всего кричащего и пыльного мира вокруг мысль о его громадном дворце, о сумрачных и тихих покоях князя наполняла меня дремотным романтическим чувством; и наконец, пронзительная меланхолическая сладость этой картины заставляла меня смыкать веки. Могу сказать не таясь, что эта одинокая комната — печальная в блеклых лучах мягкого благоуханного света — покоящаяся в грустной соблазнительности пышных, дышащих дурманом тканей — пронизанная таинственным мыслящим сознанием князя — все больше овладевала моими фантазиями, пока воспоминания о ней не стали казаться мне прохладным ветерком сна в летнюю ночь, в росистых глубинах этолийской рощи, полной кизильника, лотосов и рубиновых звезд асфоделей. И потому я выехал по возможности быстрее, спеша разделить на время уединение моего друга.

Залесский принял меня чрезвычайно сердечно; не успел я ступить в его святилище, как он разразился потоком бессвязных, воодушевленных слов; он торопился с восторгом сообщить мне, что как раз в эту минуту поверял одним из исчислений определенные новые свойства, обнаруженные им в параболе; затем он с бесконечным удовольствием высказал свою «твердую» убежденность в том, что древние ассирийцы давным-давно открыли все, что известно нам о параболе, движении тел в целом и небесных тел в частности; более того, как показывают некоторые его наблюдения, связанные с Крылатым диском, ассирийцы прекрасно знали, что свет не есть эфир, но лишь вибрация эфира. Далее он предложил мне немедленно принять участие в этих исследованиях, отметив своевременность моего визита. Мне, со своей стороны, не терпелось узнать мнение князя о других вещах, имевших куда большую важность, чем воззрения древних ассирийцев, о чем ему и сообщил. Два дня он упорст-

вовал в молчаливом нежелании выслушать мой рассказ; и я, заключив, что он не желает подвергать себя мучительному беспокойству, которое всегда охватывало его при столкновении с любой загадкой, ненадолго обременявшей его разум, был вынужден ждать. На третий день, однако, он сам осведомился, какую эпидемию я имел в виду. Тогда я поведал ему о некоторых странных событиях, будораживших внешний мир. Он сразу же заинтересовался, затем его любопытство превратилось в страсть, в жадное, поглощавшее всю душу стремление к истине; оно разгорелось с такой силой, что в конце концов я даже пожалел князя.

Я вновь изложу здесь факты в том виде, в каком представил их Залесскому. Цепь событий, как известно, началась с необычайной смерти выдающегося ученого, профессора Шлешингера, который был консультантом-ларингологом госпиталя Шарите в Берлине. Профессор, человек уже престарелый, собирался вступить в третий брак — с красивой и одаренной дочерью герра тайного советника Отто фон Фридриха. Предполагаемый союз, который всецело относился к *mariages de convenance*, так распространенным в высшем обществе, был вызван пылким стремлением профессора оставить наследника, которому должно было отойти все его весьма значительное состояние. Два первых брака уже подарили профессору большие семьи, и его окружала целая армия маленьких внуков (все его прямые потомки умерли), из которых мог бы выбрать себе наследника; но старые германские предрассудки в подобных вопросах все еще сильны, и он продолжал надеяться, что по смерти сможет оставить наследство собственному сыну. Ради этой прихоти очаровательная Оттилия была принесена родителями в жертву. Свадьба, однако, была отложена в связи с небольшим недомоганием старого ученого; он был уже близок к выздоровлению, когда смерть нарушила все его планы. Никогда еще смерть одного человека не становилась такой сенсацией, и *никогда еще смерть не вызывала более ужасные последствия*. Резиденция ученого располагалась в величественном особняке близ университета, на бульваре *Unter den Linden*, то есть в самом фешенебельном *Quartier*

Берлина. Спальня профессора находилась довольно высоко, окна ее выходили на небольшой сад позади дома. В этой комнате он допоздна беседовал со своим коллегой и лечащим врачом, доктором Иоганном Гофмейером. Все это время он казался веселым и живо переходил с одного предмета на другой. В частности, он показал Гофмейеру любопытный листок, напоминавший древний папирус, с какими-то гротескными и бессмысленными изображениями. Этот обрывок, сказал профессор, он нашел несколько дней назад на кровати нищей женщины в одной из ужасных трущоб в предместье Берлина, куда был приглашен для *post-mortem* указанной женщины. Она страдала частичным параличом. Маленькие дети покойной не могли объяснить, однако, откуда взялся листок, и только одна девочка заявила, что вынула его «изо рта матери» после смерти последней. Обрывок папируса был загрязнен и от него исходил сладковатый запах, как будто его намазали медом. Вынужденно прикованный к постели недомоганием, профессор все это время неустанно рассматривал изображения. Он заключил, что фигуры должны иметь некое археологическое значение; но, в любом случае, он продолжал задаваться вопросом, каким образом попал обрывок папируса на кровать бедной обитательницы Берлина, женщины из самого низкого сословия. Конечно же, он не верил, что обрывок был вытащен *изо рта* женщины. Происшествие одновременно и развлекло, и озадачило профессора, взывая к присущему ему неутолимому инстинкту исследователя, ученого. Целыми днями, сообщил профессор, он тщетно старался уяснить себе значение рисунка. Доктор Гофмейер также осмотрел обрывок папируса, но был склонен считать, что подобные фигурки — грубые и неуклюжие — мог нарисовать в минуту безделья какой-нибудь школяр. Рисунок изображал мужчину и женщину, сидящих на скамье и окруженных чем-то наподобие орнамента. После приятного вечера, проведенного за учеными разговорами, доктор Гофмейер ушел; было это около полуночи. Час спустя слуги были разбужены низким и хриплым воплем, донесшимся из спальни профессора. Они бросились к двери; дверь оказалась

заперта изнутри; в комнате царила тишина. На зов никто не откликнулся, и слуги взломали дверь. Их хозяин, мертвый и недвижный, лежал в постели. Окно было открыто, но никаких признаков чужого вторжения не обнаружилось. Послали за доктором Гофмейером, который вскоре прибыл. Осмотрев тело, тот заявил, что причину внезапной смерти своего друга и наставника установить не может. Одно обстоятельство, однако, заставило доктора Гофмейера задрожать от ужаса. Войдя в комнату, он заметил, что на постели лежит обрывок папируса, который профессор ранее показывал ему, и отложил клочок папируса в сторону. Теперь же, собравшись уходить, он случайно вновь оказался рядом с мертвым телом, склонился над ним и заметил, что губы и зубы покойного слегка раздвинуты. Раскрыв силой окоченевшие к тому времени челюсти, он — к своему глубочайшему изумлению — увидел под мертвым языком аккуратно сложенный обрывок папируса, который в точности походил на тот, что был обнаружен им на кровати. Он потянул — обрывок показался ему клейким. Поднес к носу — папирус издавал запах меда. Он развернул клочок папируса — и увидел рисунок. Сравнил его с рисунком на другом листке — изображения были схожи, как если бы два рисовальщика в спешке копировали один и тот же оригинал. Доктор в волнении заторопился домой и немедленно подверг найденный на папирусе мед скрупулезному химическому анализу: он подозревал, что в меде содержался яд — трудноуловимый, тонкий яд — послуживший орудием самоубийства, страшного, безумного самоубийства. Но вещество оказалось совершенно безобидным — чистый мед и ничего более.

На следующий день Германию потрясло сенсационное известие: профессор Шлешингер покончил с собой. Самоубийство, правда, некоторые газеты заменили убийством, не располагая ни крупицей доказательств того или другого. На следующий день в Берлине покончили с собой еще три человека, двое из которых были молодыми медиками; день спустя число умерших достигло девятнадцати, причем к бешеной пляске смерти присоединились Гамбург, Дрезден и Аахен. На протяжении трех недель с той ночи, когда про-

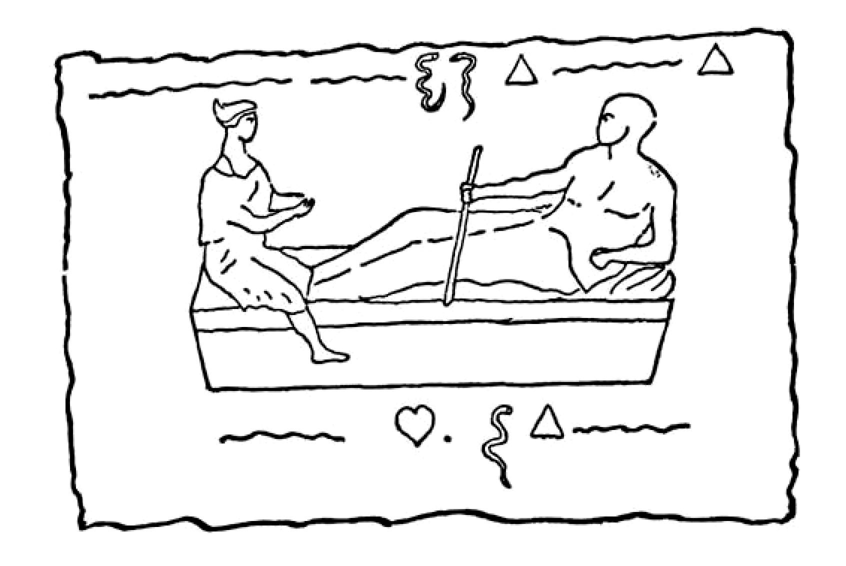
фессор Шлешингер встретил свой необъяснимый конец, восемь тысяч человек в Германии, Франции и Англии умерли тем неожиданным и таинственным образом, что мы называем «трагическим»; многие, очевидно, наложили на себя руки, и у многих, как знак рабского и рокового подражания, под языком лежал намазанный медом обрывок папируса с нарисованными фигурками. Даже теперь — теперь, спустя годы — я содрогаюсь при этом ужасном воспоминании; но пережить такое, вдыхать каждодневно губительные миазмы, несущие удушающий запах смерти — ах, ужас и отвращение слишком глубоки и непосильны для смертного. Новалис где-то намекал на возможность (или желательность) одновременного самоубийства и добровольного возвращения всего рода людского во всепрощающее лоно нашего Отца — и *тогда* я этого ожидал, верил уже, что это происходит. Казалось, что старый, добродушный, кроткий ученый своей смертью навлек на мир проклятие и тем обратил нашу цивилизацию в одну всепожирающую могилу, всеобщий склеп.

Несколько дней я зачитывал Залесскому по порядку все известия о новых смертях. Казалось, он никогда не уставал от моего чтения; чаще всего он слушал меня с непроницаемым лицом, откинувшись на кушетке, покрытой шитым серебряной нитью покрывалом. Иногда он вставал и начинал бесшумно расхаживать по ковру; когда внимание князя привлекал тот или иной отрывок, шаги его делались быстрее, обретали сходство с раскачивающейся, неровной походкой плененного зверя в клетке — и после вновь возвращались к неторопливой размеренности. При любом перерыве в чтении он мгновенно с нетерпением оборачивался ко мне и просил продолжать; а когда запас газет подходил к концу, он впадал в настоящую ярость. Поэтому негр, Хэм, дважды в день — перед рассветом и в сумерках — брал мою двуколку и отправлялся в ближайший городок, откуда возвращался, нагруженный газетами. Мы с Залесским утро за утром и вечер за вечером жадно и нетерпеливо выхватывали газеты у него из рук и долгие часы пожирали глазами все удлинявшиеся списки мертвецов. Князь был не в

состоянии спать. Он был очень умерен в потребностях и презирал ограниченность человеческих возможностей; когда его разум мчался в погоню за тайной, он забывал о еде; даже легкие наркотики, которые стали теперь его единственной едой и питьем, казалось, больше не могли его поддержать и успокоить. Очнувшись от дремы в самые глухие, как мне думалось, ночные часы — в этом сумрачном жилище стирались различия между днем и ночью — я заглядывал в комнату со сводчатым потолком и видел, как он сидит под синевато-зеленым светом кадильницы, выпуская из губ свинцовый дым и устремив неотрывный взгляд на квадратную пластину черного дерева, установленную на саркофаге лежащей рядом мумии. На этой доске он разместил бок о бок несколько вырезанных из газет гравюрок, которые воспроизводили рисунки на обрывках папируса, найденных во ртах мертвых. Я понимал, что все его мысли сосредоточились теперь на этих изображениях, ибо подробности смертей следовали с безотрадным однообразием и не давали никаких зацепок для расследования. В тех случаях, когда самоубийца оставлял ясные свидетельства того, каким именно образом расстался с жизнью, расследовать было нечего; а другие — богатые и бедные, пэры и крестьяне — тысячами уходили в далекий путь, не отметив начало его ни единым следом.

Возможно, именно поэтому Залесский через некоторое время забросил газеты, предоставив их просмотр мне, сам же посвятил свое внимание исключительно эбеновой доске. Зная, с какой смелостью и успехом он пускался в прошлом в духовные приключения — его изобретательность, силу воображения, царственную мощь его разума — я не сомневался, что Залесский сделал правильный шаг, который в конце концов себя оправдает.

Гравюрки, получившие ныне такую печальную известность, казались точными копиями друг друга, однако в изображениях встречались мельчайшие несовпадения. Привожу факсимиле одного из рисунков, выбранного мною случайно:



Время тянулось медленно. Я с горечью наблюдал, как смертельная бледность постепенно разливалась по всегда пепельному лицу Залесского; бешеный огонь, что сверкал и плясал в его запавших глазах, начал казаться мне слишком вулканическим, демоническим, если быть честным: тайна, рассудил я наконец — если в эпидемии самоубийств имелась какая-то тайна — оказалась для него слишком глубокой, слишком темной. Быть может, по этой причине я все больше времени проводил в соседней комнате, служившей мне спальней. Именно там я как-то сидел, просматривая в газете последний список ужасов, когда из комнаты Залесского донесся громкий крик. Я подбежал к двери и увидел, что он застыл с безумным видом, вперив взгляд в эбеновую доску, которую держал в руке.

— Клянусь небом! — вскричал он, яростно затопав ногами. — Клянусь небом! Я *последний* глупец! *Это ведь посох Феба в руках Гермеса*!

Я поспешил к нему.

— Скажите же, — произнес я, — вы что-то нашли?

— Возможно.

— И за какой-либо из этих смертей стоит преступление — убийство?

— В этом, по крайней мере, я был уверен с самого начала.

— Господь всемогущий! — воскликнул я. — Способен ли человек сделаться таким дьяволом, диким зверем...

— Вы рассуждаете в точности как все, — сказал он с некоторым раздражением. — Убийство не по закону всегда является ошибкой, но не обязательно — преступлением. Вспомните Корде. Но если убийство одного человека носит поистине дьявольский характер, почему оно в качественном отношении уступает столь же дьявольскому убийству многих? С другой стороны, если бы Брут убил тысячу Цезарей — и всякий раз снова выказывал то же величественное самоуничижение — он, должно быть, стал бы на небесах святым.

Значение и смысл этого довода остались непонятны для меня, и я решил дождаться дальнейших событий. На протяжении этого и следующего дня Залесский, казалось, и думать забыл о трагедии — и преспокойно обратился к прежним занятиям. Он больше не интересовался новостями и не изучал рисунки на доске. Газеты, однако, продолжали прибывать ежедневно, и вскоре он разложил передо мной несколько газет, указав с загадочной улыбкой на небольшое объявление в каждой из них. Все объявления были одинаковы, и каждое гласило:

«Истинный сын Ликурга, *располагающий важными известиями*, желает знать *место* и *время* следующей встречи своей Филы. Адрес: Залесский, аббатство Р----, графство М----».

Не говоря ни слова, я удивленно переводил глаза то на газеты, то на него. Здесь мне стоит прерваться и упомянуть об одном примечательном ощущении, которое иногда рождала во мне дружба с князем. В этот миг оно охватило меня со всей остротой, с неприятной, раздражающей пронзительностью. Я ощущал, что меня вздымает в воздух — вверх — какая-то действующая извне сила; таковы, возможно, ощущения земляного червя, которого уносят в безграничные

небесные выси крепкие когти орла. То было чувство утраты почвы — меня точно подхватил и унес в далекие новые земли всемогущий порыв яростного ветра. Нечто подобное я ощущал в «экспрессе», когда он вместе со мною несся с драконьим кличем по резким изгибам рельс — крылатый, качающийся, исступленный. И ощущение это нельзя назвать приятным.

— Я думаю, что на это, — произнес Залесский, указывая на объявление, — мы очень скоро получим ответ. Остается надеяться, что мы сразу же сумеем его понять.

Мы ждали весь этот день и всю ночь, и оба скрывали нетерпение, делая вид, что с головой ушли в свои книги. Если мне случалось задремать — я, открыв глаза, находил его бодрствующим над большим томом. Но ранним утром, когда невидимая нам предрассветная серость, должно быть, уже разлилась над землей, самообладание изменило Залесскому; было больно видеть, как он непрестанно расхаживает по комнате, что-то бормоча себе под нос. Он остановился лишь много часов спустя, завидев в дверях Хэма с конвертом в руке. Залесский схватил конверт — надорвал его — просмотрел содержимое — и с бранью швырнул конверт на пол.

— Проклятие! — простонал он. — Ах, проклятие! не могу понять — каждый слог непонятен!

Я поднял конверт и осмотрел его. Послание представляло собой обрывок папируса с хорошо известным ныне зловещим рисунком, однако центральные фигуры были нарисованы довольно небрежно. Внизу стояла дата, 15 ноября, и имя: «Моррис».

Мои веки невольно смыкались, туманный воздух комнаты словно опьянял все чувства; забыв о мелькнувшей было надежде, я поплелся к себе в спальню и забылся глубоким сном, длившимся, полагаю, до того сумрачного часа, когда на землю начинают ложиться ночные тени. Встав с постели и не увидев Залесского, я принялся искать его по комнатам. Князя нигде не было. Негр, с дрожью искренней привязанности и тревоги в голосе, сообщил мне, что его хозяин оставил свои покои и ничего при этом не сказал. Я велел

слуге спуститься и проверить ризницу маленькой часовни, где я оставил свою *calèche*, а также осмотреть поле за часовней, где должна пастись моя лошадь. Он вернулся с известием что двуколка и кобыла исчезли. Залесский, заключил я, несомненно отправился в путешествие.

Потянулись долгие часы. Я был глубоко тронут поведением Хэма. Он, как потерянный, бродил по комнатам. Так материя вздыхает и плачет об утраченном духе. Князь Залесский никогда прежде не удалялся от *surveillance* этого надежного стража, и его исчезновение словно потрясло до основания их маленький космос. Хэм снова и снова молил меня, если возможно, как-то объяснить смысл этой катастрофы. Но я, как и он, пребывал в полном недоумении. Титаническая фигура эфиопа содрогалась; ломаными детскими словами он поведал мне, что инстинктивно чувствует близость страшной опасности, нависшей над его хозяином. Так миновал день, и еще один. На следующий день он разбудил меня и протянул конверт; вскрыв его, я увидел, что внутри было письмо от Залесского. Оно было поспешно нацарапано карандашом, датировано «Лондон, 14 ноябр.» и гласило следующее:

«Тело мое — если я не вернусь к вечеру пятницы — вы, я уверен, разыщете. *Спускайтесь* вниз по реке, держась все время левого берега; сверяйтесь с папирусом; и остановитесь у *Descensus Aesopi*. Ищите внимательно, и обрящете. В остальном, как вам известно, я предпочитаю кремацию: можете отвезти тело, если пожелаете, в крематорий *Père-Lachaise*. Все свое состояние я завещаю Хэму, ливийцу».

Хэму не терпелось узнать содержание письма, но я отказался сообщить ему хоть слово. Я был изумлен, я был более, чем когда-либо, сбит с толку, я был поражен безумным порывом Залесского. Вечер пятницы! А сейчас утро четверга! И все это время я должен был ждать, ждать в незнании, страдании, бездействии! Я был обижен на своего друга, и мне казалось, что его поведение свидетельствует о сильном душевном возбуждении. Свинцовые часы тяжко

ползли один за другим, пока я, приняв снотворное, пытался утопить острое беспокойство в забвении насильственного сна. На следующее утро, однако, пришло еще одно — и довольно толстое — письмо. Адрес был написан рукой Залесского, а на конверте он надписал: «Вскрыть только в том случае, если я не вернусь до субботы». Я отложил конверт, не вскрывая.

Я прождал всю пятницу, решив, что если до шести часов ничего не случится, нужно будет действовать. Но с шести до десяти вечера я так и просидел, не сводя глаз с двери. Я был совершенно растерян и ничего не соображал, а любое действие в создавшемся положении казалось мне абсурдным. В полночь я вскочил с места — я был больше не в силах выдерживать гнетущую неизвестность. Я взял свечу и вышел в коридор. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как свеча погасла. Тогда я с ужасом вспомнил, что к выходу мне предстоит пробираться по всему огромному и темному зданию. Пройти в глубокой тьме весь лабиринт галерей и залов, крутых лестниц и населенных летучими мышами катакомб, бессмысленных углов и поворотов казалось делом безнадежным, но я со каким-то слепым упорством все шел вперед, нащупывая путь руками. Так я блуждал около четверти часа, как вдруг мои руки наткнулись на что-то холодное и влажное, похожее на человеческое тело. Волнение дало о себе знать, и я отпрянул с испуганным возгласом.

— Залесский? — прошептал я, сдерживая дыхание.

Я напряг слух, но ответа не было. Волосы на моей голове от ужаса встали дыбом.

Я снова шагнул вперед и вновь что-то нащупал. Быстрым движением я провел рукой сверху вниз.

Это и в самом деле был он. Он опирался, полусидя, о стену комнаты; его тяжелое дыхание сразу же сказало мне, что он жив. И действительно, когда я принялся тормошить его и растирать ему руки, он быстро пришел в себя и пробормотал: «Я потерял сознание; я хочу спать — только спать». Я понес его в освещенную комнату; на последнем отрезке пути мне на помощь пришел Хэм. Радость Хэма была без-

гранична; он и не надеялся снова увидеть своего хозяина. Негр освободил его от мокрой и грязной одежды и надел на князя узкий багряный халат вавилонского образца, доходивший до пят, но оставлявший нижнюю часть шеи и предплечья открытыми; затем он подпоясал князя широким, расшитым золотом *ceinture*. С достойной женщины нежностью слуга уложил своего хозяина, облаченного в это одеяние, на кушетку. Он стоял на страже, как Аргус, целую ночь и целый день, охраняя покой распростертого перед ним Залесского, и все это время тот спал глубоким сном. Когда спящий наконец проснулся, его глаза — полные божественного разума — сверкнули, как меч, привычным блеском отточенного, обоюдоострого интеллекта; сдержанная, строгая, застенчивая улыбка торжества тронула его губы; ни следа боли и усталости не было заметно в его облике. После обильной трапезы, состоявшей из орехов, осенних фруктов и самосского вина, он снова устроился на кушетке; я сел рядом, чтобы послушать историю его скитаний.

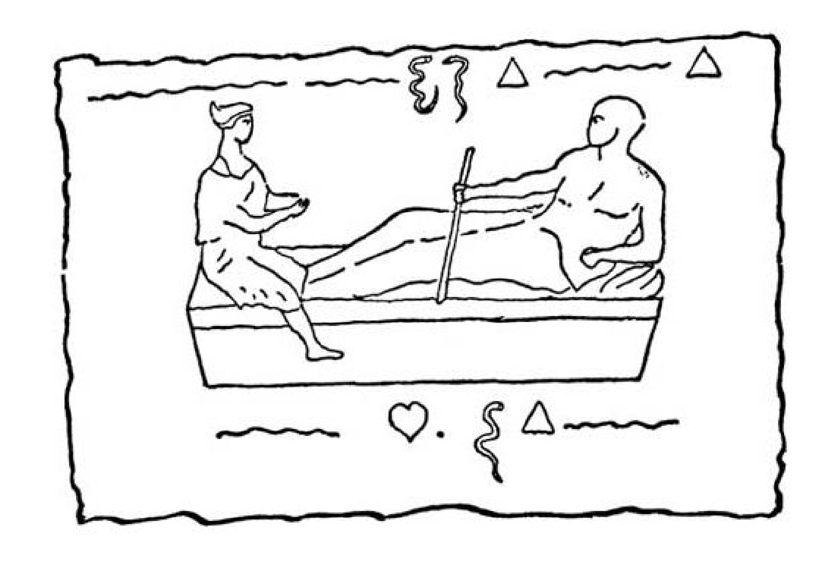
— Перед нами, Шил, — произнес он, — весьма примечательная цепочка убийств и равно примечательная цепочка самоубийств. Имелась ли между ними какая-нибудь связь? Мне кажется, что сам таинственный, беспрецедентный характер убийств привел к болезненной угнетенности общественного сознания, что в свою очередь вызвало эпидемию самоубийств. Хотя подобная эпидемия коренится в инстинкте подражания, столь свойственном человеку, не следует думать, что этот душевный процесс происходит *осознанно*. Человек чувствует побуждение к действию, но он не понимает, что в своей основе побуждение это вызвано желанием поступить *так же*, как другой. Он станет решительно отрицать подобное предположение. И вот один человек убивает себя, а другой ему подражает — но если первый использует пистолет, второй избирает веревку. Следовательно, мы никоим образом не можем полагать, что во всех тех случаях, когда во рту у умерших обнаруживались обрывки папируса, причиной смерти было рабское подражание, порожденное манией самоубийств — ибо подражание, как я говорил, никогда не бывает *рабским*. Итак, папирус — в от-

личие от явных свидетельств самоубийства, которые неизбежно оставляет каждый покончивший с собой — дает нам точный и безошибочный критерий, позволяющий разделить все летальные случаи на две группы; и таким образом, общее число их разделяется почти поровну.

Вы вздрогнули — вы обеспокоены — вы никогда не слышали и не читали о подобных преступлениях, об одновременном убийстве тысяч людей на громадном пространстве земного шара; вы чувствуете, что это превосходит ваше понимание, что вы не в силах это вообразить. На вопросы «Кем совершено?» и «С какой целью?» ваш ум не в состоянии дать ответ. А ответ, тем не менее, должен звучать: «Совершено человеком и по человеческим мотивам», — ибо Ангел Смерти с пылающим взором и огненным мечом сам давно уже умер; далее, мы можем сразу заключить, что совершено это деяние не *одним* человеком, но многими, когортой, армией; и опять-таки, не *обычными* людьми, но людьми дьявольски (или божественно) хитроумными, наделенными силой и средствами и объединенными единой целью; неловкие профилактические меры общества могут вызвать у этих людей лишь презрительную улыбку; бесконечная уверенность в себе и духовная цельность отличают их от заурядного и легко попадающего в руки закона преступника наших дней.

Все это, по крайней мере, было понятно мне с самого начала; я немедленно занялся вычислением мотива, обратившись к внимательному изучению каждого случая. Мотив со временем также стал мне ясен, — но к мотиву, вероятно, правильней будет обратиться позднее. Затем мое внимание привлекли рисунки на папирусе, и я искренне надеялся, что их разгадка ближе подведет меня к раскрытию тайны.

В первую очередь я обратился к фигурам орнамента, и само *прочтение* их не составило для меня труда. Но я был уверен, что прочитанное скрывает некий глубокий эзотерический смысл — а он почти до самого конца ускользал от меня. Как вы можете видеть, орнамент состоит из двух волнистых линий разной длины, изображений змей, треугольников, похожих на греческую «дельту» и предмета, напо-



минающего по форме сердце, за которым стоит точка. Эти изображения следуют друг за другом в определенном порядке на всех папирусах. Что же, спросил я себя, должны означать эти фигуры, — буквы, цифры, вещи или абстрактные понятия? Определить это мне удалось сравнительно легко, так как я часто, размышляя об изогнутых формах латинской буквы «S», задавал себе вопрос, не пытался ли создатель буквы изобразить *змею*; S — это сибилянт или шипящий звук, а змея — животное шипящее. Мысль эта, мне кажется (хотя я могу и ошибаться), не приходила на ум филологам; но вы, конечно, знаете, что первоначально все буквы являлись *изображениями вещей*, а что может изображать буква S, как не змею? Поэтому мое исходное предположение гласило, что все змеи на рисунке обозначают сибилянт, то есть букву С или S. Приняв это допущение, я заключил: во-первых, все прочие фигуры также обозначают буквы; и во-вторых, все фигуры являются изображениями вещей, которые первоначально отображали соответствующие буквы. «М» — один из «плавных», *текучих* звуков, а буква М в современном написании есть лишь сокращенная волнистая линия; первоначально она и писалась в виде волнистой линии и представляла на пись-

ме *поток бегущей воды*; своим названием она обязана тому обстоятельству, что звук «М», издаваемый со сжатыми губами и некоторым усилием, в известной степени напоминает журчание воды. Поэтому я принял более длинную волнистую линию на рисунке за «М», а отсюда немедленно следовало, что короткая линия обозначает «N» — ибо в наиболее часто встречающихся европейских алфавитах нет других пар букв, различающихся по длине (в отличие от формы), кроме «М» и «N», а также «W» и «V»; в самом деле, если французы именуют W «двойным V» или «дубль вэ», мы можем с полным правом назвать М «двойным N». Но в данном случае длинная волнистая линия не обозначает W, и короткая никак не может быть V. Итак, это N. Оставались лишь треугольник и сердце. Я не мог припомнить ни единой буквы, которая могла бы изображать сердце; но я знал, что треугольником обозначена буква А. Первоначально ее писали без поперечной перекладины, а две ножки писались не раздельно, как сейчас, но слитно — таким образом, буква образовывала треугольник. За исключением сердца, я расшифровал всю надпись; с пропусками на месте сердца, она читалась следующим образом:

```
     { ss
«mn  {  anan ... san»
     { cc
```

Но «С» перед «А» никогда не бывает шипящим (за исключением группы так называемых «романских» языков) — оно всегда гортанное и потому могло быть отброшено. Почти нет и слов, начинающихся с «мн», помимо «мнемоники» и тому подобного; поэтому я заключил, что между этими буквами была опущена гласная—– и следовательно, опущены все гласные, кроме «А»; далее, поскольку двойное S никогда не может следовать за N, я понял, что либо между двумя S была опущена гласная, либо первое слово заканчивалось первым S. Так я получил:

«m ns sanan … san»

или, подставляя теперь уже очевидные гласные:

«mens sana in … sano»

Теперь я уже мог догадаться, что сердце означает слово «corpore»*, тело (латинское слово для сердца — «cor»), точка же — указывающая на то, что слово написано в сокращении — полностью подтверждала все мои выводы.

До сих пор все шло гладко. Но обратившись к центральным фигурам, я на протяжении многих дней лишь понапрасну истощал свои силы. Вы слышали, как я издал возглас радостного изумления, когда луч света наконец рассеял тьму. Собственно говоря, я с самого начала осознавал *общее* значение этих фигур, так как сразу заметил их сходство с погребальными рельефами классической древности. Если вы не знакомы в подробностях с *техникой* подобных рельефов, я покажу вам один из них – я сам нашел его на древней могиле в Таренте.

Залесский извлек из ниши небольшой фрагмент мелкозернистого мрамора размером примерно в квадратный фут и положил его передо мною. На одной из сторон был высечен изысканный рельеф.

— Это, — продолжал он, — типичный образчик греческого надгробия; увидев одно из них, вы можете смело сказать, что видели все, так как они на удивление мало различаются между собой. Как вы можете заметить, здесь изображен мужчина, возлежащий на ложе; в руке он держит *patera*, или блюдо, наполненное виноградом и плодами граната, а

* И, таким образом, в рисунке зашифровано латинское изречение «Mens sana in corpore sana» («В здоровом теле – здоровый дух»), представляющее собой цитату из сатиры X римского поэта Ювенала (*Прим. перев.*).

за ним треножник с яствами, которыми он лакомится. У его ног сидит женщина — греческие дамы никогда не возлежали за столом. К этим фигурам временами добавляется конская голова, собака или змея; такие изображения практически без изменений повторяются на всех погребальных рельефах. Не приходилось сомневаться, что подобное надгробие легло в основу рисунка на папирусе — особенно учитывая, с какой абсурдной на первый взгляд последовательностью во всех случаях убийства под язык жертвы помещали обрывок папируса, намазанный медом. И тогда я сказал себе: это может объясняться только тем, что убийцы следовали некоему строгому и точному ритуалу, отклонение от которого не дозволялось ни при каких обстоятельствах — возможно, потому, что ритуал этот служил для их соратников сигналом к дальнейшим действиям. Но что это был за ритуал? Здесь я мог дать ответ, лишь ответив на остальные вопросы: почему *под языком* и *для чего мед*? Причины как таковой нет, если не считать того, что греки (у римлян этот обычай появился достаточно поздно) всегда клали *obolos*, или мелкую монету, под язык умершего в качестве платы за переправу через Стикс, реку призраков; что для тех же греков мед являлся священной субстанцией, которая тесно связывалась в их сознании со скорбной темой Смерти — и этой субстанцией они умащали тела умерших, а иногда, особенно в Спарте и на пеласгическом юге, использовали ее для бальзамирования; мед употреблялся дли возлияний Гермесу Психопомпу, проводнику умерших в страну теней, мед жертвовали всем хтоническим божествам и душам усопших в целом. Вы ведь помните, к примеру, меланхолические слова Елены, обращенные к Гермионе в «Оресте»:

И прядь волос моих ты бережно возьмешь
И, посетив могилу Клитемнестры,
Там медомлечьем с пеною вина
Гробницу ей ты оросишь...

И то же везде. Итак, ритуал убийц был греческим, а их культ — греческим культом, вероятней всего южногреческим, спартанским: чрезвычайно консервативные обитатели тех мест дольше других упорно придерживались подобных полуварварских обрядов. Это соображение укрепило меня в мысли, что центральные фигуры папируса были скопированы с греческого образца.

Далее, однако, я зашел в тупик. Меня совершенно озадачил жезл в руке мужчины. Ни на одном из греческих надгробий нет ничего похожего на жезл, кроме одного хорошо известного примера, где бог Гермес — обычно изображаемый с *кадуцеем*, или посохом, полученным от Феба — ведет умершую деву в страну вечной ночи. Во всех прочих известных мне случаях изображен был не умерший в Гадесе, но *живой* мужчина, наслаждающийся трапезой на *этом свете* в компании своей живой подруги. Что же мог означать жезл в руке живого человека? Лишь после многодневного напряжения всех сил, после многих дней жесточайшей тревоги, меня осенила мысль, что образ Гермеса, уводящего покойную деву, в данном случае претерпел некоторые изменения; что мужская фигура изображает не живого человека и не человека вовсе, но *самого Гермеса*, который пирует в Гадесе с душою своей освобожденной от телесной оболочки *protégée*. Эта мысль привела меня в неописуемый восторг, и вы сами были свидетелем моего волнения. Однако же я увидел в этом рисунке и серьезнейшее отступление от принципов греческого искусства и мысли, тогда как в целом копиисты старались им набожно следовать. Обязана была существовать причина, веская причина для такого вандализма. Найти ее оказалось нетрудно, поскольку я уже знал, что мужская фигура изображает не смертного, но бога, духа, ДЕМОНА (в греческом смысле слова); короткое платье на женщине подсказало мне, что она не афинянка, а спартанка; и не матрона, а девица, девушка, каких называют «LASSIE» — и в моем сознании вспыхнули слова «lassie daemon», *Lacedaemon*, Лакедемон.

Я понял, что передо мною знак, искусно сокрытый герб тайного общества. Меня по-прежнему удивлял и сбивал с

толку лишь один факт, выявившийся в самом начале: почему *греческое* общество использовало *латинский* девиз? Либо я ошибался, полностью ошибался в своих умозаключениях, либо же девиз *mens sana in corpore sano* содержал какое-то неясное, ускользавшее от меня значение, для выражения которого не нашлось подходящего греческого девиза. В любом случае, сделанные до сих пор выводы позволили мне совершить еще один шаг — я заключил, что общество, несмотря на размах своих операций, является в основном *английским* или по крайней мере англоязычным, о чем ясно свидетельствовало слово «lassie»; теперь легко было вычислить, что штаб его должен находиться в Лондоне, в этом городе-чудовище, где теряется все и вся. На данной стадии своих исследований я и разместил в газетах объявления, которые вы видели.

— Но даже сейчас, — воскликнул я, — я никак не могу понять, какой таинственный ход мысли привел вас к тексту объявления: мне оно все еще кажется полнейшей бессмыслицей.

— Это станет ясно, когда мы приблизимся к пониманию пагубного *мотива*, вдохновлявшего этих людей. Я уже говорил, что раскрыл его довольно быстро. Сделать это можно было лишь одним путем — всеми способами, любым способом обнаружить некую характеристику или общую черту, что объединяла при жизни всех жертв. В некоторых случаях, не стану скрывать, сделать это мне не удалось, но я был убежден, что неудача объяснялась недостатком сведений, имевшихся в моем распоряжении, а не отсутствием указанной общей характеристики. Возьмем любые два случая и попробуем найти эту общую характеристику: к примеру, первые два, что привлекли внимание всего мира — нищую женщину из берлинских трущоб и видного деятеля науки. Между ними огромная пропасть, и все-таки при внимательном рассмотрении мы найдем в каждом случае те же жалкие приметы еще не искорененных *striae* нашего бедного человечества. Женщина не стара, так как у нее имеются «маленькие дети», а если бы она прожила дольше, ее семья могла бы увеличиться; тем не менее, она страдает

гемиплегией, «частичным параличом». У профессора также имеется семья, и даже не одна, а две, и вдобавок целая «армия внуков»; но заметьте поразительный, чудовищный факт: *все его дети умерли*! Зев могилы готов поглотить *каждое* из этих истощенных тел, лишенных жизненного импульса, гражданственности, страсти, исхудавших до прозрачности и продуваемых всеми сквозняками — но не прежде, чем они наградят всеми достоинствами своей немощи целую «армию» убогих внуков! Однако же этот мудрец собирается снова жениться и во имя блага собственного рода произвести на свет дополнительное количество негодного человеческого материала! Вы прозреваете жуткий смысл, точку соприкосновения — видите ее? О небеса, разве это не печально? Скажу вам, что мне видится здесь зрелище трагическое и грустное, какое и не выразить словами. Но обратимся к более серьезному вопросу. Мне интересно было бы услышать, что вы, современный европеец, усвоивший все идеи нашего ничтожного века, что *вы* считаете на сегодняшний день главной, самой существенной проблемой европейских народов? Прав ли я, предполагая, что вы немедленно перечислите полдюжины спорных тем, что заставляют враждебные фракции в вашей стране скрещивать шпаги, выберете одну и назовете ее «вопросом нашего часа»? Хотел бы я смотреть на вещи так, как вы; Бог свидетель, я счастлив был бы не заглядывать глубже. Дабы подвести вас к смыслу моего рассуждения, позвольте спросить, что *именно* уничтожило народы древности — что, например, в конце концов поставило Рим на колени? Вы скажете: централизация, империализм, отягощенный бюрократией, дилетантский пессимизм, любовь к роскоши. Но в основе всего были не эти красиво поименованные причины — а просто-напросто война; сумма битв, шедших веками. Я поясню, что имею в виду. Взгляд этот для вас нов, и вы, вероятно, не можете понять, как и отчего в древнем мире война становилась фатальным явлением — вы ведь видите, сколь мало вреда она наносит миру современному. Если отобрать случайным образом несколько миллионов современных англичан и одновременно их убить — ка-

ков, по-вашему, будет результат с точки зрения государства? Влияние этого события, полагаю, будет ничтожно малым, чудесно преходящим; конечно, в кипении волн возникнет на мгновение лакуна; но лоно человечества исполнено жизненных соков и плодородно: Океан, лаская многогрудую Илифию, вновь нахлынет волной, и пустота заполнится. Но влияние события будет ничтожным только в том случае, когда — как я говорил — отбор будет случайнам (наподобие современной армии); если же то будут особо отобранные люди, потеря — или выгода — станет избыточной и перманентной. Военные силы древних держав, которые не могли полагаться на механические приспособления современной армии, по необходимости составлялись из лучших людей: сильных, мужественных, крепких духом и телом. И потому, когда один из сынов страны погибал на поле брани, все государство содрогалось, трепет пробегал по всему его костяку. Поскольку дома оставались лишь слабые и престарелые, число их после каждой битвы *увеличивалось по отношению к целому*. Народ все больше и все быстрее утрачивал свои телесные и, конечно, духовные качества, пока не наступал *конец* и Природа не поглощала без остатка этих слабых существ; и таким образом война, которая для современного государства выступает в худшем случае как недалекие и неблаговидные *affaires d'honneur* лиц, облеченных властью — и которая, конечно же, будет полностью искоренена еще до того, как мы с вами покинем этот мир — была для древних истинным, неумолимым, роковым бичом Божьим.

Позвольте мне теперь приложить это рассуждение к современной Европе. Мы более не ведем настолько разрушительных войн — но вместо них у нас имеет место бедствие, чье влияние на современное государство *полностью соответствует* влиянию войны на государства древние, но только, в конечном итоге, становится для нас куда более гибельным, тонко действующим, неотвратимым, ужасным, отвратительным. Имя этой чумы — Медицина. Истинно так — трепещите, трепещите, если так вам угодно! Лучший друг человека обращается в его объятиях аспи-

дом и жалит, награждая самой недостойной смертью! Губительное развитие медицинской и в особенности хирургической науки — вот что, знайте, и есть для всех нас «главный вопрос нашего времени»! И каков вопрос! вопрос наивысшей важности, рядом с которым все остальные «вопросы» превращаются всего лишь в академические банальности. Подобно древнему государству, смертельно раненому гибелью своих здоровых сынов на поле битвы, современное государство истекает кровью, когда медики латают и штопают его больных детей. Конечный результат в обоих случаях одинаков: изменяется соотношение общего репродуктивного здоровья и общего количества репродуктивных болезней. Древние неосмотрительно утрачивали лучших; мы усердно сохраняем худших — и подобно тому, как они чахли и умирали от анемии, мы — если не искупим свою вину — непременно погибнем в судороге черной венозной апоплексии. Судьба наша становится еще более очевидна, когда мы вспоминаем, что врач, каким мы его знаем, возник — в отличие от других людей и вещей — отнюдь не в процессе постепенного роста, медленной эволюции: от Адама до середины прошлого века не было в мире ничего подобного современному врачу. О нет, *он* не сын Пеана; он возник, лишенный отца, из бурлящей материнской породы Нового Времени, что так гораздо производить на свет «Химер убийственных, Горгон и гнусных Гидр»; вы поймете, о чем я говорю, если припомните, что анестетики и антисептики, рефлексология, бактериология и даже такая доктрина, как учение о циркуляции крови, появились у нас совсем недавно. Теперь же, если я правильно понимаю, мы стоим на пороге новых прозрений, и человек вскоре сможет восторжествовать над болезнью — восторжествовать в смысле искоренения естественной тенденции болезни порождать смерть, хотя, разумеется, человеку не удастся уничтожить само вечно растущее и ширящееся *бытие* болезни. Известно ли вам, что в настоящую минуту ваши больницы переполнены существами в человеческом обличии, страдающими тысячами неизвестных и едва ли излечимых болезней; и если бы их оставили в покое, они умерли бы поч-

ти сразу — однако же девяносто из ста выйдут из больничных палат «излеченными» и, подобно посланцам ада и жутким теням Ночи и Ахерона, испустят в чистые воды человеческой реки отравленную струю многообразной мерзости? Знаете ли вы, что уже четверть детей в ваших школах недоразвиты? Сознаете ли, к чему приводит ваше безудержное потребление шарлатанских лекарств и доходы от их продажи, распространение современных нервных заболеваний, беззубые дети и трижды более отвратительные старики среди класса илотов? Говорил ли я вам, что во время последней поездки в Лондон прошел от площади Пикадилли до Гайд-парка и в числе пяти сотен попавшихся навстречу людей смог насчитать лишь тридцать семь совершенно здоровых, хорошо сформированных мужчин и восемнадцать здоровых, красивых женщин? Повсюду — и я говорю это с глубочайшей радостью! — мы видим если не наступление цивилизации, то прогресс, всемирное движение к ней; и только здесь, в самом сердце — упадок, дегенерация. Развитие сознания — и попутный ветер — и созревшее время — и молчаливая Божья воля, воля Господа — все они стоят за нами, направляя наш корабль к непредставимым землям красоты и славы — как вдруг! этот штиль, искусственный, предотвратимый. Меньше смерти, больше болезней — такова печальная и неестественная картина; и особенно дети, так легко поддающиеся умениям докторов: они выживают сотнями тысяч и несут в себе заразу всеобщего страдания, хотя в прежние времена обязательно бы умерли. А если вы вспомните, что истинная задача врача строго ограничена лечением того, что излечить возможно — но отнюдь не самодовольным преумножением неизлечимого — вы едва ли сможете дать осмысленный ответ на простой вопрос: *для чего*? Вполне очевидно, что это жестокость по отношению к индивидууму; нет сомнений, что по отношению к человечеству это — зло; сказать, что такой-то и такой-то был послан в мир Премудрым Господом и, *следовательно*, ему необходимо не просто позволить жить, но сложными путями побуждать и принуждать к жизни, значит произнести такое кощунство по адресу Человека, пе-

ред каким остановится и распутный язык священника — и между прочим, общество, справедливо презирающее такого рода аргументы, не колеблясь вешает, ради собственного блага, посланных ему небесами католиков, протестантов, баранов, скотокрадов и так далее. Как же, спрашиваете вы, предлагаю я поступить с этими нечистыми? Стану ли я, во имя спасения государства, нанизывать их на меч или обреку на медленную смерть в корчах агонии? Ах, не ожидайте от меня ответа на этот вопрос, ибо я не знаю, что ответить. Дух современности есть дух широкого и прекрасного, пусть и довольно бездумного, гуманизма; и я, дитя современности, влекомое этим духом, невольно разделяю его. «Прекрасного», сказал я: ибо если вы видели в мире зрелище прекраснее, чем седовласые *savants*, склонившиеся с бесконечным тщанием над бездомным младенцем на госпитальной койке и вдыхающие в это хрупкое тельце все человеческое искусство и мудрость веков, то я — не видел. Вот где истинная притча, что божественнее истории о человеке, шедшем из Иерусалима в Иерихон. Итак, прекрасное, по крайней мере внешней своей красотой, как змея *lachesis mutus*; но, как и многие прекрасные вещи, одновременно смертельное, *не*-человеческое. И, в целом, ответ должен быть найден. Что же до меня, то я часто сомневаюсь, может ли центральный догмат и иудаизма, и христианства действительно являться одной из внутренних истин нашего земного существования — а именно, что благодаря пролитию невинной крови, и только этому, род человеческий обретет очищение и спасение. Не перечеркнут ли мучительные сомнения необходимость в смерти одного, «дабы не погибли все?» Истинно ли, что только «три дня моровой язвы» очистят землю от греха; предстанет ли древняя божественная альтернатива перед нами в новой, современной форме? Действительно ли непостижимая Артемида требует жертвоприношений и человеческой крови, дабы утихомирить свой гнев? Прискорбно, что человеку было надобно, хоть когда-либо понадобилось осквернить руки током своих вен! Но что есть, то есть. Можно ли представить себе, что краеугольным камнем славы и величия

самой развитой цивилизации будущего станет наиболее варварский из всех ритуалов варварства — гекатомбы жертв, испускающих жалобный человеческий вой? Предречено ли волею странных судеб в безднах Времени, что однажды человек станет возделывать себя, словно сад, страшась обратиться в пустыню? Наденет ли врач, *accoucheur* времен будущих и предначертанных, ефод и наперсник, умастив главу елеем и прибавив к званию целителя звание Первосвященника? Вопросы эти безумны и темны, вы скажете. Да, они достаточно безумны и достаточно темны. Мы знаем, как отвечала на эти вопросы Спарта — «укрощающая смертных», как именовал ее Симонид. Здесь всякая индивидуальная жизнь была полностью подчинена благу Целого. Ребенок, лишь только появившись на свет, переходил в руки государства; не родители, как в других местах, решали, растить его или нет, но особая комиссия Филы этого ребенка. Если он был слаб или в чем-то уродлив телом, его оставляли в горах, называемых Тайгет, и он погибал. Вследствие всего этого солнце никогда не освещало своими лучами мужчин и вполовину столь богоподобных и сильных, женщин столь прекрасных и соблазнительных, какие жили в суровой и отважной древней Спарте. Смерть ждала их, как любого смертного; но с болезнями они решили покончить раз и навсегда. Слово, каким они обозначали понятие «уродства», означало также нечто «отвратительное», «презренное», «позорное»; мне едва ли необходимо подчеркивать важность этого, ибо они считали — и справедливо — что нет никаких естественных причин, по каким каждый житель земли не может быть совершенно здоровым, цельным, разумным, красивым — раз для достижения этого божественного результата требуются достаточно небольшие усилия. Один тамошний житель, на чувствительный взгляд спартанцев, несколько разжирел, и его, насколько помню, регулярно подвергали бичеванию. В стране с такими варварскими порядками, конечно, никогда не прозвучал бы нежный и эгоистичный голос хромоногого лорда Байрона: одно недолгое эгоистическое «стенание» на Тайгете, и дело с концом. Не исключено, однако, что мир

прекрасно обошелся бы и без лорда Байрона. Но несомненно и то, что он не может обойтись без кумира, и эта болезнь, равно у отдельных людей и народов, может возвещать только одно — почти полную или окончательную гибель.

Залесский, завершив эту знаменательную *tirade*, смолк; вернул в нишу погребальный рельеф; укрыл свои обнаженные ноги и подол древнего вавилонского платья серебряным покрывалом; и затем продолжал:

— Спустя некоторое время пришел ответ на объявление; каково же было мое разочарование, когда я понял, что он мне совершенно непонятен! Я спрашивал о дате и адресе; в ответе содержались и дата, и адрес — но адрес был зашифрован; конечно же, ожидалось, что я, как предполагаемый член тайного общества, сумею этот адрес прочитать. В любом случае, я понял теперь значение определенного несоответствия, а именно использования латинского изречения *mens sana* и так далее в качестве девиза греческого общества; значение же это заключалось в том, что девиз *содержал в себе адрес* — адрес места их встреч или, по крайней мере, их штаб-квартиры. Далее мне предстояло разгадать — и разгадать быстро, не теряя ни часа — новую загадку; и я признаюсь, что лишь благодаря бешеному и невиданному напряжению того, что я назвал бы аналитическими способностями, мне удалось своевременно это сделать. Как ни странно, она оказалась довольно простой. Глядя на зашифрованный девиз, я осознал, что для разгадки тайны необходимо отбросить фигуру в форме сердца: если в системе шифров имеется какая-то *последовательность*, эта фигура относится к группе символов, отличающихся от всех остальных, так как не является, подобно им, буквой-изображением. Опустив ее и подставив все согласные и гласные, вне зависимости от того, были они отображены на рисунке или нет, я получил изречение в виде *mens sana in ... pore sano*. Я записал его — и меня тотчас поразило громадное, абсолютно необычное количество *плавных звуков* в девизе: их было шесть, что составляло не менее трети общего количества букв! Если записать их все подряд, получится

mnnnnr; вы можете видеть, что все эти наползающие друг на друга M и N (особенно *на письме*) уже создают впечатление водного потока. Заключив ранее, что местом встречи является Лондон, я никак не мог избежать теперь логического следствия — речь идет о *Темзе*; на берегу или поблизости от реки я найду тех, кого ищу. Таким образом, сочетание *mnnnnr* означало Темзу; но что означали остальные буквы? Я выписал подряд оставшиеся буквы и получил *aaa*, *sss*, *ee*, *oo*, *p* и *i*. Переставив их согласно частоте появления и порядковому месту в латинском алфавите, вы тотчас и неизбежно получите слово *Aesopi*, «Эзопов». Кем был Эзоп? Рабом, получившим свободу благодаря своим мудрым и остроумным басням: следовательно, он воплощает свободу, которой наделены мудрецы, моральное неподчинение преходящим и сковывающим их законам; он был также другом Креза и потому олицетворяет союз мудрости и богатства — истинной мудрости и настоящего богатства; наконец, и самое главное, дельфийцы в наказание за мудрость сбросили его со скалы: Эзоп символизирует смерть — кровопролитие — по причине мудрости, а эта мысль развивает великую максиму Соломона: «Во многой мудрости много печали». И как точно соответствовало это воззрениям людей, по следу которых я шел! Я более не сомневался в справедливости своих умозаключений и тотчас, пока вы спали, отправился в Лондон.

О моем пребывании в Лондоне рассказывать особенно нечего. Встреча была назначена на 15-е, и утром 13-го я очутился в местечке под названием Уоргрейв, на Темзе. Здесь я нанял легкую лодку-каноэ и стал спускаться вниз по течению, двигаясь зигзагами и внимательно осматривая оба берега в поисках любого знака, вывески, дома, что могли иметь какое-то отношение к слову «Aesopi». День прошел в бесплодных поисках; оказавшись на судоходном участке, я причалил к берегу и в духе *diablerie* провел ночь в захудалой гостинице, в компании самых любопытных человеческих существ, отличавшихся запахом алкоголя и некоторой навязчивой *bonne camaraderie*, каковая пробивалась и сквозь царивший повсюду страх смерти. На рас-

свете 14-го я снова был в пути — я плыл вперед и вперед. Я нетерпеливо осматривал берега, надеясь заметить хоть какую-то надпись; но я недооценил людей, чьей изобретательности решил противопоставить собственную. Мне следовало лучше помнить, что были то люди незаурядные. Как выяснилось впоследствии, девиз скрывал более сокровенные и таинственные смыслы, чем я мог себе представить. Я долго плыл вниз по реке, миновал Гринвич и теперь видел справа и слева пустынные и ровные берега. Направив лодку от правого к левому берегу, я достиг места, где в берег вдавался на несколько ярдов небольшой речной рукав. Плоская местность, поросшая низким кустарником, казалась особенно мрачной и безлюдной. Лодка замерла посреди стоячей воды; я облокотился о весло, устало размышляя, что делать дальше. Но тут, оглядевшись, я к своему удивлению увидел, что в конце протока от берега отходит короткая и узкая, извилистая тропинка. Я встал в лодке во весь рост и принялся ее рассматривать. Тропинка переходила чуть дальше в другую тропу, которая также извивалась между кустами, но шла в ином направлении. В конце ее я заметил дом — невысокое круглое строение с высокой крышей, без дверей и окон. И затем — и затем — содрогаясь в восторженном экстазе — я увидел у этого строения пруд, чуть дальше еще один невысокий домик, копию первого, еще дальше, в том же направлении, еще один пруд — большую скалу в форме сердца — еще одну извилистую тропинку — и снова пруд. Пейзаж повторял — *до мельчайших деталей* — изображение на папирусе! Первой длинной и волнистой линией служила сама река; три короткие волнистые линии обозначали проток и пруды; три змеи стали тремя извилистыми тропками; два треугольника буквы «А» были представлены двумя строениями с высокими крышами, а сердце – скалой! Я волнении выскочил из лодки и стремглав бросился по тропинке к последнему пруду. Берега его заросли высоким и довольно густым кустарником; однако, раздвинув ветви, я увидел столб с белой продолговатой доской; на ней чернели слова «Descensus Aesopi». Итак, далее путь мой лежал вниз: тайное общест-

во собиралось под землей. Не без труда я обнаружил небольшое отверстие в земле, почти скрытое зарослями; я увидел, что прямо вниз ведут деревянные ступени, и начал смело спускаться по ним. Но не успел я оказаться внизу, как предо мной предстал древний воин в эллинской одежде, вооруженный греческим *xiphos*, с *peltè* на руке. Его глаза, привыкшие к полумраку, долго и подозрительно рассматривали меня.

— Вы спартанец? — наконец спросил он.

— Да, — поспешно ответил я.

— Тогда почему вы не знаете, что я глух, как камень?

Я пожал плечами, показывая, что на мгновение позабыл об этом.

— Вы *спартанец*? — повторил он.

Я выразительно закивал головой.

— Тогда почему вы не подали знак?

Вам не стоит полагать, что я был ошеломлен, так как это предположение не учитывает странную врожденную способность разума реагировать на внезапную опасность — и в один миг собирать все силы для противодействия ей; скажу без преувеличения, что *никакое* стечение обстоятельств не поставит в тупик живой и бдительный, владеющий собой мозг. С быстротой, что посрамила бы молнию, я вспомнил, что именно на это место указывал папирус и что папирус этот всегда помещался *под языком* умерших; я вспомнил также, что у всех народов, чей язык это позволяет, выражение «свернуть *большой палец*» (*pollicem vertere*) служило синонимом смерти. Я провел большим пальцем под языком. Воин был удовлетворен. Я прошел внутрь и огляделся по сторонам.

Я находился в громадной круглой зале, чей сводчатый потолок поддерживали колоннады; сами колонны, насколько я мог судить, были высечены из порфира. Посередине и вдоль стен были расставлены столы, изготовленные из того же материала; стены закрывали драпировки черного бархата, на которых бесконечно повторялось вышитое изображение — знакомый рисунок, скрывавший девиз общества. Стулья были обиты таким же бархатом. Бли-

же к середине круга располагалась огромная статуя из чистейшего, как мне показалось, чеканного золота; на огромном постаменте черного дерева значилось имя «Ликург». С потолка свисал на медных цепях единственный неяркий светильник.

Разглядев все это, я вновь взошел в страну света; я твердо решил явиться на встречу, назначенную на следующий день или ночь — и, не зная, что уготовила мне судьба, написал вам письмо, указывая, как можно будет отыскать мое тело. Но на следующий день новая мысль пришла мне в голову; я рассуждал так: «Эти люди — отнюдь не простые убийцы; они ведут слишком поспешную и опрометчивую войну против больной жизни, но не жизни как таковой. Вероятней всего, среди них распространено неумеренное и достаточно болезненное почтение к святости жизни здоровой. Следовательно, они не лишат меня жизни, *если только* не сочтут, что лишь мне одному удалось проникнуть в их тайну и потому для успеха их благотворного начинания необходимо принести меня в жертву. Значит, мне следует заранее позаботиться о том, чтобы у них такого намерения не возникло, то есть разделить с кем-либо их секрет и — если потребуется — *дать им это понять*, не раскрывая имени другого посвященного. Такой шаг позволит мне сохранить жизнь». В тот же день я послал вам полный отчет о своих открытиях, однако в надписи на конверте предупредил, что в течение некоторого времени вы не должны вскрывать письмо.

Большую часть следующего дня я прождал в подземном храме; но заговорщики начали собираться лишь ближе к полуночи. О том, что происходило на этой встрече, я не поведаю никому — даже вам. Ритуал был священным — торжественным — внушающим благоговение. О хоральных гимнах, что пелись там, иерофанте, что возглавлял службу, литургиях, пеанах, великолепной символике — о богатстве, культуре, искусстве, самопожертвовании, представленных этими людьми — о смешении всех языков Европы — я не скажу ни слова; не стану и перечислять имена, которые вы тотчас узнаете — хотя я могу, вероятно, упомянуть,

что «Моррис», чьим именем был подписан присланный мне папирус, является известным *littérateur*. Я говорю вам это по секрету; храните молчание по крайней мере ближайшие несколько лет.

Позвольте мне, однако, перейти сразу к финалу. Пришла моя очередь говорить. Я бестрепетно встал и спокойно назвал свое имя; все смолкли и застыли, глядя на меня широко раскрытыми глазами; и тогда я объявил, что полностью разделяю их взгляды, но никак не могу одобрить методы, считая последние слишком поспешными, жестокими и преждевременными. Единый громыхающий рев ярости и презрения внезапно заглушил мой голос; меня окружили, схватили, связали и положили на стол в центре залы. Все это время, в надежде и жажде жизни, я громко кричал, что не один знаю их тайну; но мой голос снова и снова тонул в бушующем море криков. Никто меня не слушал. Принесли сильный и малоизвестный анестетик, с помощью которого и были совершены все убийства. Мой рот и ноздри закрыла пропитанная этой жидкостью ткань. Я задыхался. Чувства отказывали мне. Инкуб вселенной сгустился в сознании черным пятном. О, как тянул я упирающиеся мандрагоры речи! как боксировал с языком! В глубинах отчаяния, помню, туманным облаком прошла сквозь гаснущее сознание обрывочная мысль, что теперь, быть может — теперь — вокруг наступило молчание; что *теперь*, обрети мои недвижные губы речь, меня услышат и поймут. Все силы души слились воедино — и тело дернулось вверх. В тот миг мой дух был истинно велик, воистину возвышен. Ибо я что-то *произнес* — мой мертвый иссыхающий язык пробормотал нечто связное. Затем я упал навзничь и вновь погрузился в древнюю Тьму. Я очнулся на следующий день: я лежал на спине в своей маленькой лодке; Бог знает, кто перенес меня туда. Одно было ясно: я что-то *произнес* — я был спасен. С трудом, напрягая остаток сил, я добрался до места, где оставил вашу двуколку, и отправился в обратный путь. Я боролся со сном — губительные пары анестетика все еще давали о себе знать; вот почему, после долгого пу-

тешествия, я потерял сознание, пробираясь через дом; в ту минуту вы меня и нашли.

Такова история моих размышлений и дел, связанных с этим неразумным сотовариществом; и теперь, когда тайна их стала известна другим — скольким, *им* не ведомо — мы, как я могу предположить, больше не услышим о Сообществе Спарты.



Приложение

Филипп Листер

ОБИТАТЕЛЬ ГРОБНИЦЫ МАВСОЛА: ВОЗВРАЩЕНИЕ КНЯЗЯ ЗАЛЕССКОГО*

Самый декадентский и имперский из всех литературных (и, вероятно, реальных) детективов, князь Залесский М. Ф. Шила — как и детектив По, шевалье Огюст Дюпен — изначально появился лишь в трех рассказах: они составили томик в серии *Keynotes*, опубликованный Джоном Лейном в 1895 г. Не будь Шил так многосторонен — он писал научную фантастику, рассказы ужасов, криминальные и исторические романы, истории о будущей войне и романтические мелодрамы — он мог бы стать гораздо более популярным писателем: для этого нужно было только усмирить плодовитое перо и одно за другим создавать продолжения *Залесского*. Князь Залесский вошел бы в читательское сознание как соперник Шерлока Холмса и отца Брауна, не знающий поражения борец с преступностью, и викторианско-эдвардианская публика с жадностью следила бы за его подвигами. Многие поколения любителей детективной литературы приняли бы Залесского в свои коллективные объятия; Шил провел бы своего героя через многие странные и экзотические приключения, и тот счастливо дожил бы до старости — как поступил Конан Дойль с Холмсом (в *Его прощальном поклоне*, то есть во время Первой мировой войны, герою Бейкер-стрит уже около шестидесяти). И если бы дело обстояло так, Голливуд вполне мог бы открыть Залесского в тридцатых или сороковых годах, и Бэзил Рэтбоун, Антон Уолбрук или Винсент Прайс подписали бы контракты с «РКО» и «Юниверсал» и воплотили бы на экране интеллектуального детектива Шила. Увы, Шил не стремился к легкой литературной славе; он постоянно завоевывал новые территории и расширял их границы. В апреле 1895 г., после выхода *Князя Залесского*, он писал своей сестре Гасси: «Спасибо тебе за похвалы. Но почему ты так настойчиво сравниваешь меня с Конан Дойлем? Конан Дойль не претендует на роль поэта. Я — да». В те дни Шил еще готов был

* Впервые: *The Lost Club Journal*, № 3 (Winter 2003 / Spring 2004). Публикуется с сокращениями.

удовлетвориться философией «искусства ради искусства» (в поздние годы он пытался использовать свои книги для воспитания читателей, что сказалось на их литературном качестве). Но большинство поэтов не пишут длинные серии детективных рассказов, и Шилу пришлось забыть о князе, по крайней мере на время.

Первые рассказы о Залесском считаются классикой жанра. В *Шести загадках дона Исидро Пароди* Хорхе Луис Борхес и Адольфо Биой Касарес высоко оценивают «роскошного М. Ф. Шила». Уединенная сидячая жизнь князя навеяла Борхесу и Касаресу образ дона Исидро, который решает загадки, сидя в неудобной камере буэнос-айресской тюрьмы. Авторы пишут:

Не покидая своего кабинета в Сен-Жерменском предместье, Огюст Дюпен помогает задержать обезьяну, которая стала виновницей трагедии на улице Морг; князь Залесский, удалившись в древний замок, где великолепно сосуществуют драгоценный камень и музыкальная шкатулка, амфоры и саркофаг, идол и крылатый бык, раскрывает лондонские тайны; Макс Каррадос не расстается со своего рода портативной тюрьмой – собственной слепотой.

Залесский появился в очень подходящий момент литературной истории. В 1891 г. катастрофа на Рейхенбахском водопаде лишила британскую публику любимого героя: это известие было напечатано в журнале *Стрэнд* в 1893 г., и люди на улицах носили черные траурные повязки. Еще один детектив, которому суждена была долгая жизнь, Секстон Блейк, явился на свет годом ранее, в апреле 1894 г. Не всем критикам, однако, понравился *Князь Залесский*. В апреле 1895 г. в *Saturday Review* на книгу обрушился не кто иной, как Г. Уэллс, который позднее восхищался апокалиптическим блеском *Пурпурного облака* и хвалил роман в одной из собственных книг. Выступая в хоршемском Ротари-клубе в 1933 году, Шил упомянул «своего друга Г. Уэллса»; с другой стороны, гнусный распутник Крукс в розенкрейцерском произведении Шила *Предстоятель Розы* считается карикатурой на Уэллса. Любопытно, как воспринял Шил отзыв в *Saturday Review*:

Эта книга, мы искренне надеемся, отмечает низший уровень серии Keynotes. Сомневаемся, что за свою короткую, но блистательную карьеру м-р Джон Лейн опубликовал что-либо и вполовину столь бездарное. Князь Залесский — это Шерлок Холмс,

завернутый в «турецкий beneesh»... Бейкер-стрит заменяет «одинокая комната, покоящаяся в грустной соблазнительности пышных, дышащих дурманом тканей». Нет сомнений в том, что перед нами Шерлок: бледность, сплетенные пальцы, привычка к стимулянтам и длительной концентрации ума, блеклый друг-рассказчик и прочие знакомые черты.. Стиль книги неподражаем — подлинное безумие языковых неправильностей. Книга, однако, настолько глупа, что и смеяться над ней грешно.

Что ж, Залесский либо нравится, либо нет. Мы так и не узнаем, почему князь оказался в изгнании; возможно, если бы он стал героем долгой серии произведений, Шил поведал бы нам о его роковой любви. Загородное имение князя — позднее читателю становится известно, что это бывшее аббатство — окутано мрачной и туманной атмосферой, достойной Эдгара По, и напоминает «огромную гробницу Мавсола». В доме нет ни людей, ни мебели, в залах и коридорах клубится пыль, и только в покоях князя на самом верху дальней башни царит роскошь и громоздятся сокровища ушедших веков.

Этот дворец — двойник дома Эшера; и действительно, Сэм Московиц называет Залесского «Шерлоком Холмсом в доме Эшера». Начало *Рода Орвенов* совпадает с рассказом По. Неназванный рассказчик приближается к угрюмой усадьбе; его проводят в комнату Родерика Эшера: «Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись во всю длину». Комната в башне многим обязана описаниям покоев в *Падении дома Эшера* и *Лигейе*. Жилище Эшера насыщено готической мрачностью:

Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие стрельчатые окна помещались на такой высоте от черного дубового пола, что были совершенно недоступны изнутри... Темные завесы свешивались по стенам. Мебель была старинная, неудобная и ветхая.

В *Лигейе* покои отличаются бóльшим богатством и роскошью:

Являясь частью высокой башни аббатства, укрепленного как замок, комната эта представляла из себя пятиугольник и была очень обширна... Дубовый потолок, смотревший мрачно, был необычайно высок, простирался сводом и тщательно был

украшен инкрустациями самыми странными и вычурными, в стиле наполовину готическом, наполовину друидическом. В глубине этого угрюмого свода, в самом центре, висела на единственной цепи, сделанной из продолговатых золотых колец, громадная лампа из того же металла, в форме кадильницы, украшенная сарацинскими узорами... В каждом из углов комнаты возвышался гигантский саркофаг из черного гранита, с царских могил Луксора; их древние крышки были украшены незабвенными изображениями.

Залесский почувствовал бы себя как дома посреди этого мрачного великолепия. У подобных романтических гнезд давняя литературная традиция — они восходят к Горацию Уолполу и миссис Радклиф. Даже сегодня немногие читатели обладают необходимыми для жизни в таких местах средствами (сам Эдгар По ютился в жалких жилищах), и благодаря этим описаниям нетрудно вызвать опосредованный восторг и у них, и у самого автора.

Ситуация гения-детектива и его верного спутника, помощника и летописца, зеркально отражает рассказы По о Дюпене. В середине первого рассказа мы узнаем, что компаньона Залесского зовут Шил. В *Убийстве на улице Морг* безымянный рассказчик (сам Эдгар По, в сновидениях?) и Дюпен живут в «изъеденном временем и гротескном доме, давно заброшенном, благодаря суевериям, о коих мы не расспрашивали, и находившемся в полуразрушенном состоянии в уединенной и пустынной части Сен-Жерменского предместья». Дюпен, совсем как Залесский и Родерик Эшер, овеян печалью и сумраком:

У друга моего была прихоть фантазии (ибо как иначе мне это назвать?) быть влюбленным в Ночь во имя ее самой; и в эту причудливость, как во все другие его причуды, я спокойно вовлекся... Черное божество не могло бы само по себе пребывать с нами всегда; но мы могли подделать его присутствие. При первых проблесках утренней зари мы закрывали все тяжеловесные ставни нашего старого жилища и зажигали две свечи, которые, будучи сильно надушены, бросали лишь очень слабые и очень призрачные лучи. При помощи их мы после этого погружали наши души в сновидения — читали, писали или разговаривали, пока часы не возвещали нам пришествие настоящей Тьмы.

Помимо Дюпена, в предки Залесского зачисляли также графа Стенбока, принца Флоризеля из *Новой 1001 ночи* и *Динамит-*

чика Стивенсона и аристократов из *Парижских тайн* и *Полы Монти* Эжена Сю. Стивен У. Фостер пишет в статье *Князь Залесский и граф Стенбок* (1983): «В покоях Стенбока на мызе Колга можно было увидеть картины прерафаэлитов, восточные шали, павлиньи перья, четки, бронзовую статую Эроса и так далее». Стенбок был опиоманом; впрочем, наркотические привычки Залесского, по-видимому, были непосредственно подсказаны автору пристрастием Шерлока Холмса к кокаину.

Как и в случае Дюпена, чистая логика позволяет Залесскому раскрыть первые два дела (по крайней мере, первые два из числа известных нам), не покидая своего уединенного пристанища. Он заявляет:

Видите ли, Шил, я знаю, убила или не убила Мария Стюарт лорда Дарнли; я знаю со всей возможной ясностью и точностью, что Беатриче Ченчи не была «виновна», как якобы «доказывают» некоторые обнаруженные недавно документы, и что версия Шелли соответствует истине, хоть она и являлась с его стороны лишь догадкой. Мышление позволяет возвыситься над собою на локоть — пусть на ладонь, на палец; вы можете немного развить свои способности — чуть-чуть, но заметно и с точки зрения количества, и качества — и несколько возвыситься над массами…

Залесский, как и Шил, этот социальный дарвинист, надеется на эволюцию человеческих способностей и морали; оптимистически настроенный писатель и не предвидел, что в будущем веке человечество станет все больше полагаться на технологии, а наши духовные дарования скорее атрофируются, нежели разовьются. И, конечно, он самым прискорбным образом ошибался, когда предсказывал исчезновение войн.

Из историй о Залесском наибольшее внимание — в связи с философским измерением, не говоря уже о спорном и пророческом (смотри название) характере текста — привлекал рассказ *С. С.*. Самым загадочным аспектом рассказа является дата, к которой приурочены события: 1875 год. В 1875 г. Мэтью Фиппс Шилл (так изначально писалась фамилия писателя) был неугомонным десятилетним мальчишкой, который лазил по горам и иследовал серные источники на своем родном острове Монтсеррат в Вест-Индии. Возможно, Шил с помощью этого приема хотел отдалить себя от персонажа — «Уотсона» при Залесском; быть может, 29-летний автор желал предстать перед читателями как человек бо-

лее почтенного возраста и опыта. Не вызвана ли эта датировка стремлением «опередить» Холмса и представить Залесского как первого частного детектива? Или то была просто литературная шутка? В конце века, в трилогии *Пурпурное облако, Властелин морей* и *Последнее чудо*, Шил вывел себя в качестве получателя записных книжек, содержащих откровения ясновидящей Мэри Уилсон, которая под гипнозом излагает будущие события — причем, как не раз указывалось, видения этого будущего в трех романах противоречивы. Единственный способ примирить различные сценарии заключается в концепции альтернативных миров с тем или иным историческим развитием. Не исключено, что Шилу нравилось дразнить читателей и критиков подобной неопределенностью: противоречия он безусловно заметил в ходе работы над романами. В *Князе Залесском* Шил, вдобавок, называет Англию «своей страной» — странный оборот для ирландского уроженца Монтсеррата.

Читатели Шила должны были знать, что никакой эпидемии самоубийств в 1875 г. в Европе не происходило; возможно, Шил пытался тем самым проверить, до какой степени читатель будет готов поддаться иллюзии. В этом рассказе Залесский покидает аббатство, чтобы выследить убийц из «Сообщества Спарты», решивших очистить человечество от людей слабых и больных. Как ни парадоксально, Залесский поддерживает идеи евгеники, хотя и говорит: «Если вы видели в мире зрелище прекраснее, чем седовласые *savants,* склонившиеся с бесконечным тщанием над бездомным младенцем на госпитальной койке и вдыхающие в это хрупкое тельце все человеческое искусство и мудрость веков, то я – не видел».

Шил, несомненно, наблюдал подобные сцены, когда посещал лекции по медицине в госпитале Св. Варфоломея. Терминология Залесского — «*эти нечистые*» — заставляет кровь холодеть в жилах. После того, как нацисты применили на практике доктрины «расовой гигиены», концепции евгеники и селективного отбора «лучших и наиболее приспособленных» кажутся нам аморальными и отвратительными; но подобные идеи были распространены в викторианском и эдвардианском обществе, среди и правых, и левых мыслителей. Например: «... целые массы человеческого населения... малоценны в притязаниях на будущее... им нельзя даровать возможности или доверить власть... Дать им равноправие означает пасть до их уровня, защищать и оберегать их означает утонуть в их плодовитости». Новые хозяева мира должны «избегать воспроизводства низменных и сервильных лично-

стей, робких и трусливых душ и всего злобного, уродливого и зверского в человеческих душах, телах и поступках», а будущий мировой порядок обязан «искоренять все темные уголки, где может собраться гной людей Бездны». Что это — истерическая гитлеровская проповедь из *Майн кампф* или речь на нюрнбергском съезде? Нет, эти слова написал в *Прозрениях* (1901) гуманист Г. Уэллс. Подобная наивная философия не учитывает, что здоровье не обязательно автоматически подразумевает благородство. Человечество нельзя морально улучшить путем простого оздоровления его представителей. Бетховен был глух, Гомер и Мильтон — слепы, и кто вычеркнет из человечества Стивена Хокинга?

Шил, будучи эволюционистом, больше думал о человечестве, чем о людях, и писал о подобных вопросах с холодной отстраненностью. Но некоторые научные убеждения, кажущиеся полезными и приемлемыми в кресле, посреди заполненного книгами викторианского кабинета, неотвратимо приводят к газовым камерам Освенцима.

Примечания

До 2013 г. произведения М. Ф. Шила практически не существовали на русском языке; исключением являлись два известных нам рассказа, переведенных еще до революции, и сокращенный и местами искаженный перевод одной из детективных новелл.

Книга *Кселуча и другие фантазии* заполняет этот пробел. Издание существенно превышает по объему большинство англоязычных собраний малой прозы Шила, выпущенных со времен его «второго пришествия» в 1970-х гг., но главное — включает, среди прочего, все рассказы и новеллы писателя, так или иначе считающиеся «каноническими».

Эта книга является итоговой и завершает работу, начатую в 2013 г., когда издательством Salamandra P.V.V. в рамках серии *Новая шерлокиана* был опубликован первый полный перевод книги М. Ф. Шила *Князь Залесский* — выдающегося образца декадентского детектива.

В 2014 г. в качестве внесерийного издания был выпущен первый том *Собрания рассказов* писателя; второй и третий тома вышли в 2019 г.

В книгу *Кселуча и другие фантазии* полностью включен материал *Собрания рассказов* и *Князя Залесского*. Издание дополнено тремя ранее не переводившимися или не переиздававшимися новеллами и рассказами. Все переводы были заново просмотрены и при необходимости исправлены; в некоторых случаях были расширены (или немного сокращены) и добавлены примечания.

Все вошедшие в книгу произведения, за исключением трех, указанных ниже, переведены А. Шерманом. В оформлении обложки (как и обложек всех трех томиков *Собрания рассказов*) использована работа Гарри Кларка (Harry Clarke).

Мы благодарим С. Т. Джоши, А. Гулетта, а также А. Тарнавского и Ю. Лукача за помощь в работе, и выражаем глубокую признательность А. Сорочану за возможность опубликовать перевод новеллы *Печальная участь Саула*. Б. Лисицын любезно поделился с нами переводом рассказа *Место страданий*. Отдельно хотелось бы поблагодарить переводчика новеллы *Вайла* А. Миниса, предоставившего целый ряд оригинальных и зачастую раритетных текстов М. Ф. Шила и неизменно оказывающего нам дружеское внимание и поддержку.

Кселуча

Рассказ *Xélucha* вошел в сб. *Shapes in the Fire* (1896).

С. 7. *Тотчас он пошел за нею... и не знает...* — Притч. 7:22-23. Цитируется рассказ о блуднице и следующем за нею юноше: «Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как пес — на цепь, и как олень — на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они — на погибель ее».

С. 7. *...petit mal* — легкий приступ эпилепсии (*фр.*).

С. 7. *«Гробницы, черви, эпитафии»...* — искаж. цит. из *Ричарда II* Шекспира: «Let's talk of graves, of worms, and epitaphs».

С. 7. *...détraqués* — здесь: люди испорченные, извращенные (*фр.*).

С. 8. *...Хамоса! и Ваал-Фегора* — Хамос, Ваал-Фегор — упоминаемые в Библии божества моавитян, поклонение которым связывалось с мерзкими и нечестивыми обрядами; в христианской демонологии Ваал-Фегор превратился впоследствии в демона Бельфегора.

С. 8. *...бдолаха* — Бдолах — ароматическая смола (*ивр.*); в Библии этот термин встречается также в значении драгоценного камня.

С. 8. *... Здесь Люси Хилл пронзила сердце Какафого... принцесса Эгла...* — ряд намеков и аллюзий, понятных лишь автору и немногим посвященным. Люси Хилл — литературная дама, дочь издателя писем Д. Г. Россетти (см. ниже) Джорджа Хилла; Какафого — персонаж пьесы английских драматургов XVII в. Ф. Бомонта и Д. Флетчера *Женись и управляй женой*; принцесса Эгла — героиня поэмы *Зофиэль* американской поэтессы М. Брукс (1794-1845).

С. 8. *...elle dérangera l'Enfer!* — здесь: «Она растормошит сам Ад!» (*фр.*).

С. 8. ...*Тофет* — в Библии место в Иерусалиме, где идолопоклонники приносили детей в жертву Молоху и Ваалу; в переносном значении ад, преисподняя.

С. 8. ...*pas de tarantule* — здесь: коленца тарантеллы (*фр.*).

С. 8. ...*manat rara meas lacrima per genas!* — букв. «редкая слеза стекает по моим щекам» (*лат.*). Цитируются *Оды* Горация, IV:1.

С. 8. ...*Фаргелия* ...*Аспазия* ...*Семирамида* — перечислены знаменитые женщины древности: ионийская куртизанка Фаргелия, афинская гетера и любовница Перикла Аспазия (ок. 470-400 до н. э), легендарная царица Ассирии Семирамида.

С. 8. ...*savants* — здесь: искусницы, умелицы (*фр.*).

С. 8. *Tarare...* — хм, гм (*фр.*).

С. 8. ...*созвездием на небо, подобно дочери Леды* — Герой Шила контаминирует образ дочери Леды — Елены Прекрасной — с ее братьями, близнецами-Диоскурами Кастором и Полидевком; как считали греки, они были помещены на небо в виде созвездия Близнецов.

С. 9. *«Среди пути, на степи Сериканы...»* — цит. из *Потерянного рая* Д. Мильтона (1608-1674); нами использован пер. А. Штейнберга.

С. 9. *Ourania Hierarchia* ... — небесная иерархия (*лат.*). Очевидно, намек на трактат *О небесной иерархии* Псевдо-Дионисия Ареопагита (V-VI в.)

С. 9. ...*прахом яблок Содомских* — Привлекательные на вид «содомские яблоки» в руках сорвавшего, согласно *Иудейской войне* И. Флавия, превращались «в прах и золу» (IV, 8:4). Широко ассоциируются с плодами растения Calotropis procera.

С. 9. ...*Никс* — также Нюкта, древнегреческое божество, персонификация ночи.

С. 10. ... *grotesquerie* — гротескность (*фр.*).

С. 10. ...*Буффо* — здесь в значении «площадной шут» (ср. буффонада).

С. 10. ...*bon camarade* — добрый товарищ, подруга (*фр.*).

С. 10. ...*«Цветов Сиона» старины Драммонда* — речь идет о сборнике стихотворений шотландского поэта В. Драммонда из Госорндена (1585-1649).

С. 11. ...*fille* — здесь: уличная девка (*фр.*).

С. 11. *Не заслоняй мне остаток света, Диогена ради!* — По легенде, на обращение Александра Великого «Проси у меня, чего хочешь», древнегреческий философ Диоген ответил: «Не заслоняй мне солнца».

С. 11. ...*«Испанского курата» — Испанский курат* — комедия Д. Флетчера и Ф. Мессингера (1622).

С. 12. ...*petite* — маленькая, миниатюрная (*фр.*).

С. 13. ...*Kjökkenmöddings* — кьёккенмединги или т. наз. «кухонные кучи» (букв. «кухонные свалки», дат.), скопления раковин моллюсков, костей рыб и животных и пр. пищевых отбросов на некоторых прибрежных стоянках первобытных людей эпохи мезолита и неолита.

С. 16. ...*Пеана* — Пеан (Пайеон) — врач богов в греческой мифологии.

С. 16. *Кидаться в силки...* — Здесь автор возвращает читателя к эпиграфу из Притч. 7.

С. 16. ...*Мара* — в скандинавской мифологии злой дух, насылающий кошмары и иллюзии.

С. 16. ...*и были там жилища смерти* — Притч. 7:27: «Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти».

С. 16. ...*иду долиной смертной тени* — парафраз Пс. 22(23):4.

С. 18. ...*Бегемота* — Бегемот — сухопутное чудовище библей-

ской книги Иова, олицетворение Божественного могущества, позднее — один из демонов христианской демонологии.

Тулса

Рассказ вошел в сб. *Shapes in the Fire* (1896).

Тулса содержит большое количество нарочито архаизированных или искаженных имен, понятий и описаний религиозных представлений; за невозможностью слошного комментирования некоторые оставлены нами без объяснений. Следует отметить, что основными источниками Шила были, судя по всему, сочинение *Айн-и-Акбари* Абу-ль-Фадля ибн Мубарака Аллами, историографа и визиря Великого Могола (XVI в.), переведенное на английские в конце XVIII в. как *Ayeen Akbery or The Institutes of the Emperor Akber*, и опирающиеся на него труды, напр. *Continental India* Д. У. Масси (1840), откуда и почерпнуто, похоже, имя «Тулса»; ниже они использованы для истолкования ряда понятий.

С. 19. *...мукут* — согласно *Ayeen Akbery*, состояние растворения в Божестве.

С. 21. *...йоуга* — ср. там же с отсылкой к Патанджали: «*Мукут* может быть достигнут только посредством *Йоуга* или полной победы над страстями». Необходимо упомянуть о многолетнем увлечении Шила йогой.

С. 21. *...йати* — в джайнизме и ряде других традиций Монкаскет.

С. 21. *...Шафры* — так в тексте; вероятно, имеется в виду Хафра или Хефрен (см. ниже).

С. 22. *...сабеизма* — Сабеизм — поклонение звездам и обожествление небесных светил.

С. 23. *...Йокайя... ничем* — прямая цитата из *Ayeen Akber*.

С. 25. *...бханга* — Бханг — известное в Индии с глубокой древности психотропное вещество, получаемое из индийской конопли;

используется для приготовления ряда пищевых продуктов, напитков и курительных смесей.

С. 25. *...сати* — в индуизме похоронный ритуал, предполагающий сожжение вдовы вместе с телом супруга на погребальном костре; ныне запрещен.

С. 26. *...зенане* — Зенана — в Индии часть дома, отведенная для женщин.

С. 28. *...сардия* — Сардий — камень, упоминаемый в Библии (напр. Исх. 28:17 в церковнославянской версии) и др. источниках как одно из украшений наперсника иудейского первосвященника; чаще всего понимается как рубин или сердолик.

С. 32. *...Ахеронта* — Ахеронт — в древнегреческой мифологии общее название подземного мира и конкретно река в царстве мертвых.

С. 33. *Саранью* — в древнеиндийской мифологии жена солярного божества Вивасвата и мать божественных близнецов Ашвинов; со второй половины XIX в. различными учеными, на основе этимологических соображений, отождествлялась с древнегреческими эриниями.

Бледная обезьяна

Рассказ вошел в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911).

С. 35. *Ни дать, ни взять, как у свиньи* — Аристофан, *Осы*.

С. 39. *...Пепи II... Хети... Сети I* — древнеегипетские фараоны различных династий и исторических эпох.

С. 40. *...Хуфу, Хефрене* — Хуфу, он же Хеопс, и Хефрен (Хафра) — фараоны IV династии; им принадлежат две пирамиды из знаменитого комплекса пирамид в Гизе.

С. 43. *...кассоне... жирандоли* — Кассоне — во времена Возрождения декорированный резьбой или инкрустациями сундук для

приданого невесты, шире — большой расписной и резной сундук; жирандоли — фигурные канделябры.

История Генри и Ровены

Рассказ вошел в сб. *Here Comes the Lady* (1928).

С. 49. *…Мета Суданс* — букв. «потеющая мета», монументальный конический фонтан близ Колизея в Древнем Риме. В описываемое время еще сохранились руины фонтана, которые были снесены в 1930-х гг. при постройке транспортной развязки вокруг Колизея; основание фонтана, раскопанное в 1990-х гг., ныне находится в пешеходной зоне.

С. 49. *...barberi и moccoletti* — традиционные развлечения во время римского карнавала, соответственно, скачка лошадей без всадников по Корсо и шуточная битва масок, во время которой участники старались потушить друг у друга горящие свечи-мокколетти (подробно описана в *Графе Монте-Кристо* А. Дюма).

С. 49. *...Россетти* — Д. Г. Россетти (1828-1882) — английский художник, поэт, переводчик и иллюстратор, один из основателей Братства прерафаэлитов.

С. 50. *...вомитория* — Вомитории — в Колизее арочные проходы под трибунами для входа и эвакуации зрителей.

С. 52. *...кальпаке* — Кальпак — высокая войлочная или овчинная мужская шапка в Турции, на Кавказе, Бл. Востоке и т.д.

С. 53. *...так Саул... царство* — см. I Цар. 1.

С. 54. *...озера Цана* — устаревшее название оз. Тана в Эфиопии.

С. 54. *Una lonza leggiera … mac...* — «Проворная и вьющаяся рысь, / Вся в ярких пятнах пестрого узора» (Данте, *Ад*, песнь I. Пер. М. Лозинского). Использованное у Данте «lonza» чаще всего интерпретируется именно как «леопард».

С. 59. ...*Пуны* — Пуна — город в Индии в современном штате Махараштра.

Великий царь

Рассказ вошел в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911).

С. 60. *Бельфегор... демоном* — отсылка к новелле Н. Макиавелли (1469-1527) *Черт, который женился* (1518), где Бельфегор (Бальфагор) описан как «архидемон».

С. 61. ...*нению* — от *лат.* nenia, погребальная песнь.

С. 63. *Ваиезафа* — в Библии имя одного из сыновей злокозненного Амана (Есф. 9:9).

С. 64. ...*Нисроха* — Нисрох — упоминаемое в Библии ассирийское божество или идол, предположительно покровитель сельского хозяйства. В позднейшей христианской демонологии один из демонов.

С. 66. ...*Зереш* — имя жены Амана в библейской кн. Есфирь.

С. 67. ...*«резьба таинственная... сфинкс»* — цит. из поэмы П. Б. Шелли *Аластор, или Дух одиночества* (первое изд. 1816, пер. В. Микушевича).

С. 68. *Кто приручит его?* — Ср. Иов 40:19-26.

С. 78. *И он был отлучен...небесной* — парафраз Дан. 4:22.

Жена Югенена

Впервые: *The Pall Mall Magazine*, 1895, апрель. Позднее с некоторыми сокращениями и добавлением эпиграфа из поэмы Д. Китса «Ламия» (1819) «Ah! Bitter-sweet!» (не переданный в известных русских переводах фрагмент описания Ламии: «Her head was serpent, but ah, bitter-sweet!», букв. «Глава ее была змеиной,

но ах! столь горько-нежной») в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911). Переведено по первому изд.

С. 71. *Югенена* — Возможно, в выборе имени/фамилии героя (Huguenin) сказался весьма известный в истории ведовства случай некоего Югенена де ла Меу и его жены Жанны, живших в середине XV в. в нормандской деревне Торси. Супруги, в особенности жена Югенена, как до нее его отец, подозревались в колдовстве и были объектом преследования соседей-крестьян.

С. 71. *...boulevardier... persifleur* — фланер (бульвардье), насмешник (*фр.*).

С. 71. *...Делос, священный остров, где родился Аполлон, сын Лето!* — Здесь и далее в тексте обыгрывается мифологическая история о. Делос (Дилос). Соблазненная Зевсом титанида Лето навлекла на себя гнев ревнивой жены громовержца Геры, запретившей земной тверди предоставлять ей место для родов. После долгих скитаний Лето обратилась за помощью к пловучему о. Делос, обещая в награду обогатить остров и прославить его храмом нового бога, а затем родила на острове Аполлона и Артемиду. Когда Лето разрешалась от бремени, Зевс прикрепил остров к морскому дну цепями или колоннами, сделав его неподвижным.

С. 71. *...Кинта... Киклад* — Кинт (Кинф) — гора на Делосе, Киклады — островной архипелаг, окружающий Делос.

С. 71. *...приношения... божественных посланниц... «песни избавления»* — Шил намекает на одну из версий мифа о Лето, по кот. титанида, окруженная сочувствующими богинями, долго мучилась в родовых схватках; дочь Зевса и Геры, богиня-родовспомогательница Илифия, согласилась помочь ей вопреки воле матери и в обмен на дары других богинь. «Песни избавления» — библейское выражение, взятое из английского перевода Пс. 31/ 32:7.

С. 73. *...аула... таламосов* — Аула — открытый двор в греческом доме, таламос — внутреннее помещение.

С. 73. *...Зевса Геркейоса* — т. е. Зевса в ипостаси покровителя оград и домашнего очага, от гр. herkos — забор, ограда.

С. 74. *...Ламия Китса... злата* — В рассказе Шил использует мотивы поэмы Китса, у кот. Ламия, превращенная в прекрасную женщину, разоблачается как чудовище, что приводит к гибели ее жениха. Цитата дана в пер. С. Александровского.

С. 74 *...Апеллеса* — Апеллес — знаменитый древнегреческий художник IV в. д. н. э.

С. 76. *...«дыханием Чейна-Стокса»* — речь идет о типе аномального дыхания, описанном в XIX в. медиками Д. Чейном и У. Стоксом.

С. 76. *...Ортигии* — здесь на Лето переносится старинное название Делоса (Ортигия).

С. 78. *...Гипатии* — Гипатия (Ипатия, 350/370-415) — выдающаяся женщина-ученый эллинистического мира, философ, математик, астроном, жившая в Александрии. Выступала как защитница язычества и, обвиненная в колдовстве, была растерзана толпой христианских фанатиков.

С. 83. *...Ринию* — Риния — один из кикладских островов к западу от Делоса.

С. 47. *...Тофета* — см. прим. к с. 8.

С. 86. *...кобылицами Диомеда* — Кобылицы Диомеда — в древнегреческой мифологии кобылицы-людоеды фракийского царя Диомеда, похищенные Гераклом.

Вайла

Рассказ вошел в сб. *Shapes in the Fire* (1896). Позднее публиковался в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911) в сокращенном и переделанном виде под загл. *The House of Sounds*.

С. 87. *E caddi come l'uom cui sonno piglia* — «И я упал, как тот, кто схвачен сном». Данте, *Божественная комедия*, «Ад», финал песни III (пер. М. Лозинского).

С. 88. *...feuille* — листок, газета (*фр.*).

С. 88. *...оксиэкойя* — также гиперакузия, болезненная чувствительность к слышимым звукам, иногда наблюдаемая при поражении или параличе лицевого нерва.

С. 89. *...диплакузию* — Диплакузия — расстройство слуха, при котором один и тот же тон воспринимается правым и левым ухом по-разному. Здесь имеется в виду то, что Творец слушает одновременно идеальный и материальный миры.

С. 90. *...ménage* — здесь: проживание (*фр.*).

С. 90. *...séance* — здесь: спиритический сеанс (*фр.*).

С. 90. *...полыни и эфирных масел* — Имеется в виду абсент, крепкая полынная настойка, обладавшая наркотическим эффектом, излюбленный напиток французской богемы.

С. 90. *...soirée* — суаре, званый вечер (*фр.*).

С. 90. *...Зетландии* – Зетландия — устаревшее название Шетландских островов.

С. 91. *...helix* — завиток ушной раковины (*лат.*).

С. 91. *...клипеус и пельта* — Клипеус (аспис) — щит древнегреческой тяжелой пехоты (гоплитов), пельта — щит легкой пехоты (пельтастов).

С. 93. *...Сумбург-Хед* — скала на южной оконечности о-ва Мейнленд Шетландского архипелага.

С. 93. *...трэллей* — здесь не совсем точно используется древнескандинавское понятие «трэлл», означавшее людей из сословия рабов.

С. 95. *...сиксерна* — Сиксерн — рыбачья лодка, традиционно используемая на Шетландских островах.

С. 95. *...по-киммерийски суровым* — Киммерийцы — древние племена, населявшие Северное Причерноморье в VIII-VII вв. до н.

э. В гомеровской традиции считались выходцами из северной страны, где царит вечная тьма.

С. 96. *...грюлях* — В шетландском фольклоре грюли — ужасные существа неопределенной формы, способные спускаться по дымоходам и похищать непослушных детей. По мнению фольклористов, они ведут свое происхождение от Грилы, страшной старухи-великанши исландской мифологии и легенд.

С. 96. *...барбаканам* — Барбакан — навесная крепостная башня.

С. 98. *...пролог «Гекубы»* — Трагедия Еврипида *Гекуба* начинается словами тени Полидора, злодейски убитого сына Гекубы: «Хранилище усопших и врата / Аидовы покинул я, которых / Чуждаются и боги» (пер. И. Анненского).

С. 99. *...Хорив* — Хорив или Синай — гора в Аравийской пустыне, точное местонахождение неизвестно. Близ этой горы было явление Божие Моисею в купине неопалимой (Исх. 3-4); здесь Моисей ударом жезла источил воду из скалы (Исх. 17:6); здесь же Господь дал Моисею Десять заповедей.

С. 101. *...ривлинами* — Ривлины — старинная шотландская кожаная обувь с тонкой подошвой, напоминающая мокасины.

С. 102. *...морески* — Мореска — преимущественно итальянский танец эпохи Возрождения, гротескно представлявший «мавров», обязательный атрибут шествий и карнавалов; танцоры часто прикрепляли к одежде бубенцы или колокольчики.

С. 104. *... levées* — здесь: пробуждения (*фр.*).

С. 105. *...гиперпиретической лихорадки* — т. е. лихорадки, характеризующейся чрезмерно высокой температурой тела.

С. 105. *...Paracusis Willisii* — паракузис Веллизия (от греч. parakousis, дефект слуха), феномен улучшения слуха у тугоухих больных в условиях внешнего шума и сотрясения.

С. 106. *...tinnitus* — тиннитус (от лат. tinnīre, «звенеть подобно колокольчику»), шум или звон в ушах.

С. 107. *...имплювий римского атриума* — т.е. четырехугольный открытый бассейн во внутреннем дворе древнеримского дома.

С. 109. *...всеведающему карлику* — Рассказчик подразумевает, очевидно, Альвиса (букв. «всеведающий», *др. исл.*), карлика из скандинавской мифологии, который согласно *Старшей Эдде* сватался к дочери бога Тора и в беседе с последним описал мир на языке богов, людей и обитателей подземного царства.

С. 111. *...змееподобные динотерии* — Громадные динотерии, вымершие представители семейства Deinotheriidae, никак не походили на змей; возможно, автору напомнили о змеях их хоботы.

С. 112. *...picaresque* — нечто плутовское, авантюрное, забавное (*фр.*).

С. 112. *...«Пройдоха» ...Хейквилла* — Речь идет о романе испанского писателя и поэта Ф. де Кеведо (1580-1645) *История жизни пройдохи по имени Дон Паблос, пример бродяг и зерцало мошенников*, астрономических трудах датского астронома и астролога Тихо Браге (1546-1601) и написанном в 1627 г. сочинении английского священника и духовного писателя Д. Хейквилла (1578-1649).

С. 113. *«Sapientia... repetitits»* — «Мудрость, в итоге, дает советы, коими возможно стяжать долгожительство – сода, опиум, многократно повторяемые очищения...» (*лат.*). Эту цитату из примечания швейцарского анатома и физиолога А. фон Галлера (1708-1777) к сочинениям знаменитого нидерландского врача XVIII в. Г. Бургаве автор почерпнул из предисловия к вышедшему в середине XIX в. собранию философских трудов английского философа, ученого и государственного деятеля Ф. Бэкона (1561-1626).

С. 113. *...Дхаммапады... Бэкона* — упомянуты, соответственно, одно из центральных произведений буддийской литературы (ок. III в. до н.э.), энциклопедия швейцарского врача и гуманиста Т. Цвингера (1533-1588) *Театр человеческой жизни* (1565) и сочинение Ф. Бэкона История жизни и смерти (1623).

С. 113. *...барона Верулама* — Ф. Бэкона, носившего этот специально созданный для него титул.

С. 115. *...ataxie locomotrice* — локомоторная атаксия (спинная су-хотка), сифилитическое заболевание нервной системы.

С. 117. *...плачу иудеев в Раме* — цитируется Иер. 31:15 («Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание»); в гор. Раме, по Библии, были собраны пленные иудеи перед переселением их в Вавилон.

С. 117. *...посреди великого запустения* — «И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле» (Ис. 6:12).

С. 120. *...средь сынов противления* — см. Кол. 3:6.

С. 120. *...«как тот, кого объемлет сон»* — отсылка к эпиграфу из Данте (см. прим. к с. 38).

С. 121. *...Источники самой Великой Бездны* — цитируется библейское описание всемирного потопа в Быт. 7:11 («В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились»).

С. 124. *...чудесный Рефидим* — Это географическое название использовано как олицетворение чудесного спасения. В Библии Рефидим – местность близ Хорива (см. прим. к с. 70), где Моисей ударом жезла извлек воду и скалы (Исх. 17:1-6) и тем самым спас свой народ от жажды. У Шила грозная водная стихия в конце концов спасает жизнь и разум рассказчика.

Печальная участь Саула

Впервые: *The Grand Magazine*, 1912, февраль, позднее в сб. *Here Comes the Lady* (1928) и антологии *Full Score* (1933). Русский пер. Сергея Бархатова (коллективный псевдоним четырех переводчиков) впервые в русском изд. вышеупомянутой антологии — *Коллекция кошмаров* (2017).

С. 125. *...фатомов* — Фатом — английское название морской сажени (ок. 1.82 м).

С. 125. *...Томаса Стакли* — Т. Стакли (ок. 1520-1578) — известный

английский авантюрист, наемник и пират; сражался во Франции и Ирландии, участвовал в битве при Лепанто (1571) и погиб в битве при Эль-Ксар-эль-Кебире вместе с португальским королем Себастьяном I.

С. 125. ...*Дрэйком* — Ф. Дрэйк (Дрейк, ок. 1540-1596) — английский мореплаватель, знаменитый корсар, вице-адмирал. Ниже достоверно изложены обстоятельства его похода с английским адмиралом, работорговцем, мореплавателем, кораблестроителем, дельцом и пиратом Д. Хокинсом (1532-1595).

С. 126 ...*злодейски нарушил в полдень... «Юдифь»* — имеется в виду т. наз. битва при Сан-Хуан-де-Уллоа (1568).

С. 126. ...*prado* — здесь: площадь (*исп.*).

С. 127. ...*callejôn* — проулок, узкий проход между домами (*исп.*).

С. 142. ...*«Ты, Господи, видишь меня»* — парафраз Быт. 16:13: «Ты Бог видящий меня».

С. 146. ...*фурлонга* — Фурлонг — британская и американская единица измерения длины, ⅛ мили или около 201.17 м.

С. 147. *Боже мой! Боже мой! Зачем Ты сотворил меня?* — отсылка к Мф. 27:46 и Мк. 15:34 («Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?») и одновременно Рим. 9:20 («А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: “зачем ты меня так сделал?”»).

С. 151. ...*сокровищу... это поле* — парафраз библейской притчи о сокровище (Мф. 13:44).

Призрачный корабль

Впервые: *Cassell's Family Magazine*, 1896, сентябрь; позднее в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911).

С. 153. ...*трэлл...карл* — в Скандинавии эпохи викингов, соответственно, раб и представитель свободного сословия крестьян и

землевладельцев.

С. 154. ...*вала* — в древней Скандинавии провидица, колдунья, шаманка.

С. 154. ...*Всеотец* — одно из прозвищ Одина.

С. 156. ...*йотун* — В скандинавской мифологии йотуны (ётуны) — существа, противопоставленные асам и людям, часто понимаются как великаны или чудовища.

С. 157. ...*идти в викинг* — Понятие «викинг» употреблялось в древней Скандинавии и как обозначение морского плавания или разбойничьего похода.

С. 157. ...*«Тюрфинг»... фальшион* — «Тюрфинг» — волшебный меч скандинавских сказаний; фальшион — короткий меч с расширяющимся к острию лезвием и односторонней заточкой.

С. 170. ...*Хьятланде* — Хьятланд — древнее норвежское название Шетландских островов.

С. 170. ...*«Скидбладнира»* — «Скидбладнир» — в скандинавской мифологии корабль асов, «лучший из кораблей».

Колокол Святого Гроба

Рассказ вошел в сб. *Here Comes the Lady* (1928).

С. 175. ...*«менгирами»* — Менгир — сооружение в виде удлиненного и установленного вертикально грубо обработанного камня или каменной глыбы, иногда с орнаментами или барельефами. В основном относятся к культурам неолита, медного и бронзового веков. В Западной Европе насчитываются десятки тысяч менгиров, точное предназначение которых неизвестно.

С. 179. ...*patois* — местное наречие, диалект (*фр.*).

—————

Место страданий

Впервые: *The Red Magazine*; 1914, май; под загл. *The Place of Pain Day* вошел в сб. *The Invisible Voices* (1935).

С. 189. *...Ah, monsieur, ça va bien?* – А, месье, как поживаете? (*фр*.).

Выстрел в солнце

Впервые: *The Pictorial Magazine,* 1903, октябрь.

С. 199. *...марон* – Здесь: потомок выходцев из сообщества беглых негров.

С. 200. *...обеа* – Система колдовства, народной магии и религиозных верований, изначально зародившаяся в Западной Африке; благодаря работорговле распространилась в бассейне Карибского моря и США.

Невеста

Впервые: *The English Illustrated Magazine*, 1902, апрель-сентябрь; позднее в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911).

С. 206. *Не видать... молоком* — Иов 20:17.

С. 206. *...Маленькой Британии* — Маленькая Британия — исторический район Лондона, включающий одноименную улицу.

С. 210. *...в поезде* — имеется в виду поезд лондонской подземной железной дороги.

С. 219. *Серпентина* — Серпентин — искусственное озеро в лондонском Гайд-парке, созданное в 1730 г.

Многие слезы

Рассказ вошел в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911).

С. 224. ...*Тайденхем-Чейз* — район близ дер. Тайденхем, крупнейшая низменная пустошь в английском графстве Глочестершир.

С. 232. ...*суде малых сессий* — Речь идет о коллегии мировых судей, обычно рассматривающей мелкие преступления; в данном случае суд призван установить виновность подсудимой до передачи дела в суд присяжных графства.

Предстоятель Розы

Новелла вошла в сб. *Here Comes the Lady* (1928).

С. 237. ...*клубе «Сэвидж»* — «Сэвидж» — лондонский мужской клуб литераторов, журналистов и музыкантов, созданный в 1857 г. и существующий по сей день; в 1887 г. при клубе была создана масонская ложа. Русскому читателю знаком по *Затерянному миру* А. Конан Дойля, хотя в наиболее распространенных переводах «Сэвидж» ошибочно именуется клубом «Дикарь» (на самом деле клуб назван именем английского поэта XVIII в. Р. Сэвиджа).

С. 238. ...*перо к шляпе* — имеется в виду манера охотников украшать шляпы перьями убитых птиц.

С. 238. ...*National Liberal* — лондонский клуб, основанный в 1882 г. и изначально объединявший членов Либеральной партии; в клуб входили многие известнейшие английские писатели (Г. Уэллс, Г. К. Честертон, Дж. Б. Шоу, Б. Стокер, Д. К. Джером и др.).

С. 240. ...*Чарльз Лэм* — Ч. Лэм (Lamb, 1775-1834) — английский поэт, публицист, литературный критик, крупнейший эссеист.

С. 240. ...*«Бал Булье»* — известный парижский танцевальный

зал, просуществовавший с середины XIX в. до 1940 г.

С. 243. *...имя ему было Легион* — отсылка к Лк. 8:30 (также Мк. 5:9): «Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, — потому что много бесов вошло в него».

С. 249. *...Рене Мараном* — Р. Маран (1887-1960) — французсский писатель, по происхождению креол из Французской Гвианы, лауреат Гонкуровской премии (1921).

С. 250. *Fiat* — да будет так (*лат.*).

С. 251. *...часы Беннета* — часы с фигурами, украшавшие фасад магазина известной часовой фирмы Д. Беннета на ул. Чипсайд.

С. 255. *...амикт* — наплечник, также прикрывающий шею, часть литургического облачения священнослужителя в католической и ряде других церквей.

С. 255. *...пуньял* — короткий и прямой испанский боевой кинжал.

С. 256. *....«простертых рук, шагов переплетенных»* — Цит. из поэмы А. Теннисона (1809-1892) *Мерлин и Вивиана*, вошедшей в цикл *Королевские идиллии* (пер. О. Чюминой). Приведем весь немаловажный в контексте новеллы отрывок:

Он говорил однажды ей о чарах
Простертых рук, шагов переплетенных.
С их помощью возможно человека
Опутать так, околдовав его,
Что будет он, как в башне заключен,
Откуда сам не убежит вовеки
И где его вовеки не найдут.
И лишь того, кем заколдован был,
Увидит он при входе и уходе.
Так будет он, как мертвый, там лежать:
Для жизни, славы и трудов потерян.

_____

Лев

Впервые: *The Royal Magazine*, 1910, май, под загл. *Miche*. Анонимный русский пер. впервые: *Мир приключений*, 1911, № 5. Орфография и пунктуация текста приближены к современным нормам.

Ночь в Венеции

Впервые: *The Cornhill Magazine*, 1897, октябрь.

Рассказ представляет собой откровенную пародию на всевозможные истории о венецианских «ужасах».

С. 269. ...*Покаянному дню* — Покаянный день (также Жирный вторник, Марди Гра и пр.) — в западных странах карнавал накануне Пепельной среды, знаменующей начало Великого поста.

С. 271. ...*Санта-Мария-делла-Салюте* — венецианский собор XVII в. в квартале Дорсодуро.

С. 271. ...*Мерчерии* — Мерчерия — район торговых улиц в Венеции между Риальто и площадью Сан-Марко.

С. 272. ...*barcaroli* — гондольеры, лодочники (*ит.*).

С. 275. ...*Джудекки* — имеется в виду канал, отделяющий одноименный остров от центральной части Венеции.

С. 278. ...*Каналаццо* — венецианское наименование Большого канала.

Дело Евфимии Рапхаш

Рассказ вошел в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911).

С. 288. *От Господа направляются шаги человека*... — Притч. 20:24.

С. 289. ...*Хорсабада* — Хорсабад — селение и городище в 50 км к северу от г. Мосул (Ирак), остатки ассирийского города Дур-Шаррукин. В 1843 г. французский археолог П. Э. Ботта открыл здесь дворец царя Саргона II, что положило начало ассириологии.

С. 298 ...*Эреб* — в греческой мифологии олицетворение мрака, по-рождение Хаоса.

С. 303. ...*Радаманта* — в греческой мифологии Радамант — сын Зевса и Европы, критский законодатель и братоубийца; после смерти стал одним из судей в загробном мире (Аиде).

Он пробуждает эхо

Рассказ вошел в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911) в качестве заключительной части цикла *Cummings King Monk*.

Он пробуждает эхо — лучший из трех рассказов, составивших цикл *Cummings King Monk*. Это была вторая, после *Князя Залесского* (см. ниже) и гораздо менее удачная попытка Шила создать цикл детективных рассказов. Впервом из них Монк описан как один из «шести или семи» богатейших людей Британии, унаследовавший громадное состояние отца и двоюродного деда, человек «благородного происхождения, с некоторой долей еврейской крови». Монк «близко напоминает покойного принца-супруга — среднего роста, с гибкой и худощавой фигурой и загорелым лицом, увенчанным мертвенно-бледным высоким лбом и двумя затейливыми завитками волос над ушами, в одном из которых он носил золотую затычку, как мне кажется, в качестве средства от слабости глаз. Его манеры отличаются крайней лихорадочностью, речь острая, порой даже яростная и многословная. <...> Его часто можно было встретить в самых странных заведениях; он любил царство кокни и носил в кармане ключи от пяти-шести домов, в которых часто скрывался, исчезая из виду. В отношении свойств его интеллекта лучше всего будет сказать, что Монк от рождения был фокусником и жонглировал то философскими концепциями, то человеческими созданиями». По мнению некоторых исследователей, в

самом имени этого персонажа «зашифрованы» два аспекта личности Шила — «король» (King) и «Монк» (Monk).

С. 305. *Кажется... василиск* — возможно, цитата вымышленная; см. Плиний, *Естественная история*, кн. VIII:78, XXXIX:66.

С. 305. ...*Котсуолдсе* — Котсуолдс — живописный холмистый район на территории английских графств Оксфордшир и Глостершир.

С. 307. ...*«даровать воздушным... названье»* — Шекспир, *Сон в летнюю ночь* (пер. М. Лозинского).

КНЯЗЬ ЗАЛЕССКИЙ

Впервые как отдельное изд.: *Shiel M. P. Prince Zaleski. London & Boston, 1895.*

Книге предпосланы эпиграфы из Библии (Ис. 1:18), *Дон-Кихота* М. Сервантеса (в пер. Н. Любимова) и трагедии Софокла *Филоктет* (пер. С. Шервинского).

Род Орвенов

С. 329. ...*dénoûment* — развязка, исход дела (*фр.*).

С. 329. ...*calèche* — коляска (*фр.*).

С. 329. ...*гробницей Мавсола* — речь идет о пышной гробнице царя Мавсола (Мавзола), правившего Карией в 377-353 гг. д н.э.; отсюда пошло понятие «мавзолей».

С. 329. ...*atrium* — атриум или атрий, внутренний двор в римском жилище (*лат.*).

С. 330 ...*ricochets* — рикошеты, здесь: отзвуки (*фр.*).

С. 330. *...Афродиту Книдскую* — Афродита Книдская – знаменитая статуя работы древнегреческого скульптора Праксителя; сохранилась только в копиях.

С. 330. *...lampas* — лампа, светильник, от древнегреч. λαμπάς.

С. 330. *...cannabis sativa* — конопля посевная, источник марихуаны.

С. 330. *...Нуршедабада* — Видимо, Муршидабад в Индии.

С. 330. *...cognoscente* — знаток, человек с крайне утонченным вку-сом (итал.).

С. 330. *...bizarrerie* — здесь: собрание причудливых и странных предметов, кунсткамера (*фр.*).

С. 331. *...beneesh* — парадный широкий кафтан с расширяющимися на концах рукавами, распространенный в свое время в Египте.

С. 332. *...corps diplomatique* — дипломатический корпус (*фр.*).

С. 332. *...unebenbürtig* — здесь: неравный брак (*нем.*).

С. 332. *...en bloc* — здесь: разом, одновременно (*фр.*).

С. 333 *...rapprochement* — примирение, сближение (*фр.*).

С. 334. *... recherché* — изысканный (*фр.*).

С. 334. *...ennui* — скука (*фр.*).

С. 336. *Rendezvous...* — свидания, рандеву (*фр.*).

С. 337. *...centime* — сантим (*фр.*).

С. 343. *...Lakmé Делиба — Лакме* (1883), опера французского композитора Л. Делиба (1836-1891).

С. 343. *...escritoire* — секретер (*фр.*).

С. 343. ...*coup d'oeil* — здесь: общий, цельный взгляд (*фр.*).

С. 345. ...*«лишь бессознательное целокупно»* — выражение из *Прошлого и настоящего* (1843) британского философа, историка и писателя Т. Карлейля (1795-1881).

С. 246. ...*богатей... Лазарь в рубище у врат* — герои евангельской притчи Иисуса (Лк. 16:19-31).

С. 346. ...*убила или не убила Мария Стюарт лорда Дарнли* — Имеется в виду убийство Генриха Стюарта, лорда Дарнли (1545-1567), короля-консорта шотландской королевы Марии Стюарт; широко распространенные подозрения в соучастии королевы в этом убийстве привели в конце концов к ее свержению.

С. 346. ...*Беатриче Ченчи... версия Шелли* — Беатриче Ченчи (1577-1599) — благородная итальянка, участница убийства своего злобного отца, героиня народных легенд и многочисленных литературных произведений, в том числе стихотворной трагедии *Ченчи* (1819) П. Б. Шелли (1792-1822).

С. 347. ... *fiancé* — жених (*фр.*).

С. 348. ...*Théâtre des Variétés* — Театр-варьете (*фр.*).

С. 348. ...*outré* — из ряда вон выходящий, чрезмерный (*фр.*).

С. 348. ...*en flagrant délit* — на месте преступления (*фр.*).

С. 353. ...*Пеникулы и Эргасилы у Плавта* — параситы Пеникул и Эргасил, выведенные, соответственно, в комедиях древнеримского комедиографа Тита Макция Плавта (ок. 254-184 д. н. э.) *Близнецы* (*Менехмы*) и *Пленники*.

С. 353. ...*Поля Прая в комедии Джерролда* — речь идет о персонаже, давшем имя фарсу (1827) английского драматурга Д. У. Джероллда (1803-1857).

С. 355. ...*машина Атвуда* — устройство для изучения поступательного движения с постоянным ускорением, изобретенное в 1784 г. английским физиком и математиком Д. Атвудом (1745-1807).

С. 357. *пеплум* — также пеплос, древнегреческая и древнеримская верхняя женская одежда без рукавов, надевавшаяся поверх туники.

С. 357. *...сыны Атрея* — также Атриды, в древнегреческой мифологии Агамемнон и Менелай, сыновья царя Микен Атрея, над которыми тяготело родовое проклятие.

С. 357. *...Эвменид* — Эвмениды (эринии) — древнегреческие богини-мстительницы.

С. 367. *...Благодатному паломничеству* — здесь используется как общее название серии народных восстаний в северной Англии, вызванных разрывом Генриха VIII с католической церковью и рядом политических и социально-экономических причин.

С. 357. *...Дарси* — Томас Дарси, первый барон Дарси де Дарси (до 1468-1537); был казнен как один из видных участников «Благодатного паломничества».

С. 358. *Третий граф в 1557 году...* — Здесь и далее Шил допускает курьезные ошибки в хронологии; как ядовито заметил рецензент *Манчестер Гардиан* в выпуске от 26 марта 1895 г., «среди прочих примечательных черт рода Орвенов не последним является и то, что третий граф родился, когда его отцу было всего десять лет, а четвертый “превзошел” и его и появился на свет за год до собственного отца».

С. 358. *...radix aconiti indica* — корень индийского аконита (лат.).

С. 38. *...savants* — ученые (*фр.*).

С. 38. *...Акоста* — Хосе де Акоста (1539-1600), иезуит, выдающийся испанский историк и натуралист, автор ряда сочинений о культуре и природе Америки.

С. 41. *...круглого пистолета* — имеется в виду маленький круглый пистолет «Защитник», разработанный в 1882 г. Ж. Тербио; круглый корпус такого оружия, служивший барабаном для 10 девятимиллиметровых патронов, помещался в ладони.

Камень монахов Эдмундсбери

С. 362. *...modus loquendi* — Оборот речи, способ выражения (*лат.*).

С. 362. *...Ultima Thule* — «Крайний Север» (*лат.*), у древних географов самая северная точка населенного мира; здесь также подразумевается легендарная северная земля или остров Туле.

С. 363. *...extravaganza* — экстравагантность, несдержанность.

С. 363. *...Nephelococcugia* — термин из комедии *Птицы* великого древнегреческого драматурга Аристофана, означающий поиск определенных форм (людей, животных и т.д.) в облаках.

С. 364. *...аббатстве Эдмундсбери... св. Эдмунд* — речь идет о Сент-Эдмундсбери, в свое время одном из богатейших бенедиктинских монастырей Англии, месте паломничества и захоронения англосаксонского короля-мученика IX в. Св. Эдмунда. Аббатство было разорено во время упразднения монастырей при Генрихе VIII в 1530-х гг.

С. 364. *...Джоселину Бракелондскому... Jocelini Chronica* — Джоселин Бракелондский — монах из Сент-Эдмундсбери, живший в конце XII – начале XIII в., автор известной хроники, изданной в 1840 г.

С. 364. *Shulde this Ston stalen bee...* — смысл надписи разъясняется ниже в тексте.

С 365. *...Мальстрем* — система водоворотов в Норвежском море; для автора, впрочем, важнее был рассказ Э. По *Низвержение в Мальстрем.*

С. 365. *...verbatim* — дословно (*лат.*).

С. 367. *...на чистейшем черном никотине* — так у автора.

С. 368. *Терпением спасу душу свою... веждам моим дремания* — Парафраз Лк. 21:19 и Пс. 131:4.

С. 373. ...*nuance* — здесь: завиток, изгиб (букв. «нюанс», «тонкость», *фр.*).

С. 376. ...*rapprochement* — см. прим. к с. 333.

С. 376. ...*«Талисман» и «Ли Пенни»* — «Ли Пенни» — известный в Шотландии и северной Англии амулет (темно-красный камень, вделанный в монету); по легенде, камень был получен сэром Симоном Локхардом в 1330 г. как часть выкупа за богатого сарацина. Этот амулет, до сих пор хранящийся в семье Локхардов, вдохновил роман *Талисман* (1825). В. Скотта (1771-1832).

С. 379. ...*rôle* — роль (*фр.*).

С. 383. ...*Ансельму де Бооту* — имеется в виду Ансельм Боэций де Боот (1550-1632), бельгийский ученый, минералог, придворный медик Рудольфа II, автор сочинения *История самоцветов и камней*.

С. 383. ...*«урим и туммим»* — загадочные ветхозаветные предметы, украшавшие наперсник иудейского первосвященника; использовались для предсказания будущего, вопрошания Бога и т.д. Иногда понимаются как сверкающие драгоценные камни.

С. 384. ...*много Шума из Ничего* — обыгрывается заглавие одной из наиболее известных комедий (1598-99) В. Шекспира.

С. 384. ...*Амсу* — Амсу (Мин) — древнеегипетский бог плодородия.

С. 385. ...*геофагии* — Геофагия — употребление в пищу земли, золы, минеральных выделений на камнях и т.п.

С. С.

Эпиграфы к новелле взяты из произведений И. В. Гете *Годы странствий Вильгельма Мейстера, или отрекающиеся* (пер. С. Ошерова) и *Годы учения Вильгельма Мейстера* (пер. Н. Касаткиной), а также *Истории* Геродота (пер. Г. Стратановского).

С. 386. *...felo de se* — букв. «преступление против себя» (*лат.*), устаревший юридический термин, означающий самоубийство.

С. 386. *...Hôtel des Invalides* — Дом инвалидов в Париже, изначальльно (XVII в.) место призрения армейских ветеранов, ныне мемориальный комплекс с несколькими музеями и военным некрополем.

С. 387. *...где она...* — цит. из трагедии Ф. Бомонта (1584-1616) и Д. Флетчера (1579-1625) *Трагедия девушки* (ок. 1609, пер. Ю. Корнеева).

С. 387. *...comme il faut* — комильфо, здесь: входит в моду (*фр.*).

С. 387. *...сладкие глыбы долины* — цитируются библейские слова об умершем: «Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа» (Иов 21:33).

С. 387. *...éclat* — успех, популярность (*фр.*).

С. 388. *...дома скорби в Вифании... «Пойди и посмотри»* — Цитируются слова жителей Вифании («дома скорби», «дома бедности»), сообщающих Христу о смерти Лазаря. После этих слов «Иисус прослезился» (Ин. 11:34-35). Многозначное послание — на английском «Come and see» — говорит, таким образом, что Залесский скорбит об умерших; одновременно его можно понять как «Приезжайте и повидайтесь со мной»: вот почему рассказчик ниже расценивает «лаконичные слова» князя как «приглашение».

С. 388. *...Bourse* — биржа (*фр.*).

С. 389. *...Крылатым диском* — Крылатый диск или крылатое солнце — символ божественности и царской власти, распространенный в Древнем Египте, Месопотамии, Персии и т.д.

С. 390. *...mariages de convenance* — браки по расчету (*фр.*).

С. 391. *...Quartier* — квартал (*фр.*).

С. 372. *... post-mortem* — здесь: вскрытие (*лат.*).

С. 395. *...посох Феба в руках Гермеса* — Т. е. жезл или посох,

подаренный Фебом (Аполлоном) Гермесу после того, как последний вернул Аполлону похищенный скот и подарил солнечному богу лиру.

С. 396. ...*Корде* — речь идет о Шарлотте Корде (1768-1793), убившей одного из лидеров французской революции Ж. П. Марата.

С. 396. ...*Ликурга* — Ликург — легендарный законодатель, которому приписывается создание общественного устройства древней Спарты.

С. 396. ...*Филы* — Фила — родовое объединение граждан; филы составляли крупнейшие политические подгруппы в древнегреческих городах-государствах.

С. 398. ...*calèche* — см. прим. к с. 329.

С. 398. ...*surveillance* — здесь: присмотр, наблюдение (*фр.*)

С. 399. ...*Descensus Aesopi* — Спуск Эзопа (*лат.*).

С. 399. ...*Père-Lachaise* — Пер-Лашез, кладбище в Париже.

С. 400. ...*ceinture* — пояс, кушак (*фр.*).

С. 404. ...*Таренте* — Тарент — в свое время процветающий древнегреческий полис в Южной Италии; ныне на этом месте находится г. Таранто.

С. 406. ...*И прядь волос моих ты бережно возьмешь...* — цит. из трагедии Еврипида *Орест* (пер. И. Анненского).

С. 406. ...*Гадесе* — Гадес (Аид) — древнегреческое царство мертвых.

С. 406. ...*protégée* — протеже (*фр.*).

С. 407. ...*Лакедемон* — самоназвание Спарты, по имени мифологического царя.

С. 408. ...*striae* — здесь: черты, характерные признаки (*лат.*).

С. 409. *...многогрудую Илифию* — Илифия — богиня деторождения, богиня-родовспомогательница в Древней Греции.

С. 409. *...affaires d'honneur* — дела чести (франц.).

С. 410. *...Пеана* — Пеан — в древнегреческой мифологии врач богов; также прозвание Аполлона как бога медицины.

С. 410. *...«Химер убийственных, Горгон и гнусных Гидр»* — цит. из *Потерянного и возвращенного Рая* Д. Мильтона (пер. А. Штейнберга).

С. 412. *...истории о человеке, шедшем из Иерусалима в Иерихон* — Т. е. евангельской притчи о добром самарянине (Лк. 10:30-37).

С.412 *...lachesis mutus* — правильно *lachesis muta* или буш-мей-стер, крупнейшая ядовитая змея Южной Америки.

С. 412. *...«три дня моровой язвы»* — В Библии Бог, наказывая царя Давида, предлагает тому выбор между семью годами голода, тремя месяцами военных поражений или тремя днями моровой язвы (2 Цар. 24:13).

С. 413. *...accoucheur* — акушер (фр.).

С. 412. *...Симонид* — Симонид Кеосский (ок. 556 - ок. 468 до н. э.), один из выдающихся лирических поэтов Древней Греции.

С. 415. *...«Во многой мудрости много печали»* — Еккл. 1:18.

С. 416. *...diablerie* — комедийная интермедия о проделках дьявола в средневековых мистериях, в переносном смысле комедийное приключение с переодеванием и т.д. (*фр.*).

С. 416. *...bonne camaraderie* — здесь: панибратство (*фр.*).

С. 417. *...вооруженный греческим xiphos, с peltè* — т. е. вооруженный прямым обоюдоострым мечом-ксифосом и легким щитом.

С. 419. *...littérateur* — литератор (*фр.*).

С. 419. *...как тянул я упирающиеся мандрагоры речи* — Этот вычурный оборот обыгрывает поверье о том, что корни мандрагоры, упоминаемые в колдовских рецептах, при выкапывании упираются и стонут.



Оглавление

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.